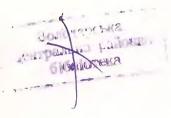




А. ЯКУБОВСКИЙ

нивлянский бык



Я 70302-165 151-79.

4702010200



ЗЕМЛЯНИКА В СНЕГУ



YETBEPO

В этой повести нет преувеличений. Оглянитесь — город полнится брошенными животными; спросите егерей и лесников — в пригородных лесах появляются собачьи стаи. Я видел их сам... Но, чтобы не быть голословным, сошлюсь на журнал, уважаемый всеми охотниками, к которым я, по давней привычке, еще отношу и себя.

Я беру журнал «Охотник» № 9 за 1971 год. Вот данные работников Балхашской экспедиции ВНИИОЗ: в угодьях Прибалхашья держится около двух тысяч собак. Они охотятся стаей даже на кабанов. А это сильный и жестокий зверь.

Встречали стаи по десять-двенадцать собак в алтай-

ских степях.

Старший наблюдатель Хоперского заповедника сообщает: зимой 1967/68 года собаки задрали двадцать четыре оленя, а волки всего трех! Он растил диких щенят — нашел их, и они выросли недоверчивыми, злобными. Это показало, что домашняя собака вполне может одичать. Как дикая одомашниться.

Уже отмечено появление помесей волков и собак. Живут в лесах и собаки, вовсе не знавшие человека. Но в большинстве случаев они брошены — в Прибалхашье ли, в степях ли Алтая, на землях Хоперского заповедника.

Это настрадавшиеся, озлобившиеся, «поумневшие» звери. Их любовь не востребовал человек, он пренебрег

их преданностью.

Как же так получается? Зверь этот шел бок о бок с человеком из тьмы истории. Можно утверждать, что без помощи собаки человек не стал бы хозяином природы.

Отчего мы иногда видим свирепое отношение к ней?

Я попытался в повести ответить на эти вопросы.

4

Когда темнеет небо и всюду зажигаются огни, приходит Час стариков. Приходит раз в сутки, на границе ночи.

Вот стрелки часов движутся к десяти вечера, к одиннадцати, а вся жизнь — к ночному сну, чтобы утром начаться снова. Свет из окон желтит верхушки тополей, небо еще сохраняет голубизну — пятнами.

И загораются огни на телевизионной башне, вспыхи-

вает ранняя звезда. Красная. Дрожащая.

И выбегают на ночные вольные прогулки собаки и кошки, а старики становятся бодрыми. Жизненная их усталость, что портила стариковский день, сменяется бодростью.

В промежутке между десятью часами вечера и две-

надцатью ночи старики почти молоды.

И если им есть где собраться и припасено варенья, то старики собираются. Они пьют чай и рассуждают о разных случаях жизни.

Говорят о том, что ушло, что есть, что любят. А ста-

рики еще очень способны любить — детей, внуков, чай,

варенье, ночные туфли, солнце...

К середине августа 197... года сибпрское лето уже повернуло к осени, и в лесах по-осеннему гоковали глухари. Было одиннадцать вечера. Луна сията, роняя красные тени. Алексин угощал Иванова. Старики были на пенсии уже лет по шести-семи, когда-то работали шженерами и слыли горячими охотниками. Ушлн на пенсию. Иванов еще сохранил немалые силы: охотился, держал собаку. А вот Алексин силы неразумно потратил и теперь пытался вернуть их, занимаясь садоводством. Он копал, окучивал, прищипывал.

Жена Алексина расставила перед ними блюдечки с вареньем полутора десятка сортов: двух сортов вишни, черноплодной рябины, облепихи, пяти сортов смородины, шести — яблок. Но Иванову больше нравилось плодовое вино, что Алексин производил сам из яблок-

падунков и белой смородины.

Старики рассуждали о прошлой охоте, о собаках, о великолепных старинных ружьях. Говорили о ружьях с различно устроенными стволами, вспоминали и склачывающиеся — пополам! — двустволки. Германские.

Они наливали чай (или вино) и говорили об умерних собаках, какие они были чутьистые. Не нынешние,

ет, куда им!..

— Слушай, друже, — вдруг сказал Иванов, потягизая кисленькое, даже глаза сводило, вино. — Почти таром отдается Гай.

— Какой такой Гай?

Алексин зацепил ложечку красносмородинового варенья.

Он поднял эту ложечку, чтобы лампа уронила на тего свет, и залюбовался— рубин! Хоть в лазер его ставляй.

Подумав о лазере и отдав этим долг современности, лексин проследил путь ягод из земли, сквозь корни к ягодным кисточкам. Их же так сильно, так по-сибирски грело солнце. Оно вогнало в них невыразимо красный цвет.

Словом, Алексин замечтался.

- Будто не знаешь, сказал Иванов, отхлебнув еще глоток и закусив хлебом с кусочком сыра в частых дырочках.
 - От Цезаря Камышина и Цыганки Суслова?

Он самый.

— Линия черных пойнтеров?

Алексин съел варенье и запил его чаем. И взволновался, так как любил именно черных пойнтеров, считая их лучшими собаками для охоты с ружьем.

— Черный пойнтер!..

Он встал и заходил по комнате — мог думать только на ходу. Он семенил, шаркая туфлями, подтягивая брюки. Память же его работала, пробегая долгий ряд предков черного пойнтера Гая, который отдается даром.

— Сколько ему лет? — спросил Алексин. Иванов начал припоминать, связывая возраст собаки с памят-

ными датами. Но мешало выпитое вино.

— Он родился... значит... после того, как я у Кондакова перекупил трехстволку фирмы Гейма. Значит... Сейчас Гаю восемь месянев.

— А я вспомнил родословную Гая. У него в жилах кровь чемпионов Хэндсон-Ара, чемпиона Хэндсон-Глэдис. У него в крови гены Джонни-Холинда Первого. Помнишь, тот самый, что разбился на охоте. Обо что он разбился?

— Набежал на пень в траве, — пояснил Иванов. — На полном ходу. А бежал километров сорок в час!.. Искал он тетеревов, поле было ровное, широкое, пу-

стое, и вдруг обгорелый пень.

— Черный пойнтер, с огромной страстью к охоте... Отлично, я его возьму! — Но зачем? — изумился Иванов.

- Охотиться!

Алексин остановился, схватив лацканы пиджака, **О\ДТО ВОЖЖИ**

- Тпру-у... засмеялся Иванов. Купишь? Да ты ке не охотишься. Или забыл?
- Так коего черта он его продает? спросил Алексин.
- Ну, во первых строках, владелец Гая начинающий охотник, ничего не понимает в собаках и неуме-ха. Кроме того, грызет его жена — продай. Дом их сносят, дают квартиру. Отсюда и нападения жены: не хочет пускать собаку в новую, «с иголочки», квартиру.

— Надо перекупить собаку, иначе попадет в скверные руки — к воскресному охотнику. Или пижону. Родословная-то какая! А будет валяться по диванам, про-

падет ее талант.

- Ее берет начальник стройтреста, сказал Ивапов, — занятый выше головы человек. Ты прав, пропадет собака!
- Сообразим! Черный пойнтер, в потенциале замечательный пес, ему угрожает диван... — бормотал Ллексин.
- Из-под него можно бить зайцев на лежке, вставил Иванов. Но Алексин не одобрял этой охоты.

- Молчи! Я собаку брать не могу, ты брать не мо-

жешь. Кто у нас в городе отличный собачей?

- Сам знаешь, у нас утятники да зайчатники. Им лаек подавай.
 - А сколько он просит?

Сотню.

— Слушай, возьмем пополам? А? Ты его натаскаешь, и мы продадим его неторопливо, с выбором, в хорошие руки.

Алексин сел и успокоился. Хорошо придумано - ку-

шить собаку пополам.

Иванов же завозился — стул вдруг стал чертовски неудобным. Хорошо Алексину кидать деньги, у него сад. Если продаст пуд-второй яблок, то и оправдает собаку. А что станет делать он, Иванов? Пенсия железно и по копейкам распределена.

— Не могу, супруга восстанет.

— Ладно, я плачу, — решил Алексин. — Подержу

его до лета, а ты натаскаешь. Лады?

— Друже, если так... — Иванов перевел задержанное дыхание, — если так, я твой с потрохами, руками, ногами. Плесни-ка еще кислятинки... А цену мы собъем, будь уверен, и начальника я отважу.

2

— Продаешь щенка? — спрашивал Иванов муж-

чину. И осматривался.

Да, комнатка и мала и неудобна. Давно пора дать молодым людям что-то получше этой узенькой комнаты с печуркой, топящейся углем, с баком воды, поставленным в угол.

Это хорошо, что дают новое жилье. Плохо — это со-

бытие уводит из их жизни замечательную собаку.

— Жена грызет, — шепотом отвечал владелец собаки, мотая головой, большой и лысоватой. Тосковал, это видно; молод, но рыхлый какой-то.

А ну покажь ее.

Хозяин вышел — он на время сборов и увязывания всего в узлы держал Гая в сараюшке. Жена его, высокая, с распущенными волосами, презрительно глядела на Иванова. Тот угадывал ее мысли: «Как не стыдно быть таким старым и красноносым. Неужели мой Петя (Коля, Ваня или Саша) станет когда-нибудь таким же?»

Дешево собаку она уступать не собиралась — трат

предстояло множество, а собака была с родословным превом. Но богатый покупатель уже отказался по телефону.

— Это редкая собака, — сказала она Иванову. —

Много на нее охотников.

«Ври, голубушка», — думал Иванов. Он прикидывал, что будет дальше. Если это «дальше» представлялось даме с распущенными волосами в виде получения за собаку пачки денег, которые уйдут на наем грузовика, на перевозку вещей, то Иванов знал его гораздо гочнее.

Он знал, что примерно через десять минут сюда придет Алексин и станет дико критиковать собаку, бегая и

размахивая при этом руками.

Они будут делать вид, что незнакомы. Иванов махнет рукой на собаку, Алексин тоже махнет. Так они собьют цену со ста запрошенных рублей до пятидесяти: столько денег было у Алексина.

Петя или Саша привел собаку. Вел, отворачиваясь,

ему было стыдно.

Иванов откинулся в кресле. Он рассматривал щенка, старался провидеть, что же получится в конце концов из этого подростка, в котором сейчас все не так. И хвост его слишком длинный, и лапы кривые. Что поделаешь: растет.

Но родословная щенка прекрасна, нос широко распахнут всем на свете запахам, морда объемиста. Значит, обонятельные нервы развиты в мощные образова-

ния, проводящие запахи из ноздрей в мозг.

Голова щенка широка и выпукла, а глаза веселые, с юмором. И стало Иванову жаль свою молодость, захотелось схватить собаку за поводок и удрать с ней домой.

Вот бы Алексин ахнул! Но щенок, кажется, скуласт. Не злобен ли он?

Пришел Алексин и спросил сквозь двери о собаке.

Красивая жена радостно улыбнулась, а Гена или Ваня сильнее затосковал.

— Здравствуйте! — входя, Алексин впился взглядом в щенка. — Этого уродца продаете?

— Почему же уродца продастся
— Почему же уродца? — обиделся хозяин.
— У него зубы редкие и неправильные.
Алексин схватил щенка. С ловкостью многократного собачьего судьи приподнял ему губы, открыв щенячьи, неровные зубы. «Однако же ловок», — рассердился Иванов. Но следовало работать по созданному плану.

- Мне что-то разонравились его зубы, сказал он. Ста рублей он не стоит. Он и двадцати рублей не стоит.
- Или купить кота в мешке? задумчиво протянул Алексин.
- Он не кот, а собака, сказала жена. Вы на родословную смотрите.

— Я, милая, покупаю собаку, а не бумагу.

Но все же Алексин взял родословную Гая и стал читать, презрительно фыркая носом. Хотя он мог немало порассказать глупому хозяину о далеких предках Гая, что были записаны еще в английском Кинель-Клубе — шествие этой семьи пойнтеров в Россию началось из Англии.

Но Алексин не стал рассказывать. Наоборот, все силы он употребил на презрительное фыркание и сокрытие блеска глаз. Он был готов отдать и сто рублей. Иванов приметил это и пожалел деньги приятеля.

Он встал и очень строго посмотрел на Гая. Щенок

заворчал.

— Собака будет злобная, — сказал Иванов строго. — И это еще не собака, а щенок. Он кое-что обещает, не спорю. Но все мы многое обещали в молодости и не выполнили обещанное в зрелые годы. Даю двадцать!

— Тридцать рублей! — сказал опомнившийся Алексин.

— Восемьдесят! — сказала жена.

Столковались на пятидесяги пяти рублях, и хозяева чали в придачу два ошейника, простой и парадный, с ыклепками. Отдали поводок и отличного качества плеть.

— Вот-вот, — сказал Алексин, сворачивая ее и кладя в карман. — Плеточку-то вы не забыли приобрести.

Так черный пойнтер восьми месяцев от роду, по кличке Гай, потерял свой первый дом и обрел второй, временный — можно было считать его полубездомным.

Старики поспешили увести собаку.

Они вели Гая суетящимся, кипящим, готовящимся к переезду двором. Вдруг Алексин остановился.

— Слушай, — сказал он Иванову, дергая тянуще-го пазад щенка. — Дом мне знаком. Почему?

— Еще бы, — сказал Иванов. — Ты же его и стропл. А с покупочкой тебя, приобрел верхочута. сбрызнуть покупку. Ставишь коньяк? А?

Но Алексин увильнул от прямого ответа.

— Начинаю вспоминать дом, — сообщил он Ива-

пову.

Старики остановились и наблюдали суету жильцов, как при пожаре тащивших все из комнат. Несли чемоданы, узлы, фикусы в кадках, тащили пианино вчетвером, кряхтя и ругаясь.

Дом переселялся.

3

Там, где быть новым кварталам, вначале убирают старые дома. Ломают их.

Они еще стоят, щелястые и темные, в них живут.

Но в планах города эти дома уже мертвы. Их метят, ставят белилами номер дома, не тот, что он носил живым, а номер дома, обреченного смерти. А если у рабочих нет белил, то номер пишут черной краской топором стесывают крошащееся старое бревно пишут.

Затем уезжают владельцы. Если дом небольшой, то отъезд их малозаметен. Придет грузовик, в нем приедут грузчики. Они станут говорить хозяевам, как

что выносить и поднимать. И сами помогут.

Но если дом был старым общежитием, то отъезд из него суматошлив: гудят машины, бегают люди, старики тащат доедаемую жучками мебель, а им кричат вслед великовозрастные дети, что надо ее нести не к машине, а на свалку.

Остановится старик, держа крепкий еще стул или ящик, вынутый из пузатого комода. «Как же так, думает он. — Это выбросить? Я его Лизавете, жене, дарил».

...Испуганные, улетают воробьи, что жили за наличниками окон, и голуби, ходившие по латаной

крыше.

Сбегают мыши, что жили во множестве нор, проры-

тых всюду, в подполье и в рыхлых стенах дома.

Уползают пауки, двухвостки, косиножки. Но эти уходят последними, когда бульдозеры упирают плоские лбы в стены дома и начинают подталкивать его.

Стены трескаются, падают доски, рушатся потолки, поднимая вверх клубы известковой пыли, светлой и ед-

кой, от которой свербит в носу и жжет горло.
Затем пыль садится. И видно, что дома нет, а лежит куча бревен и досок. Воет чья-то собака. Но лишь ночью приходят к бывшему дому — прощаться! — жившие в нем кошки.

Собака, та привязана к человеку, а кошка любит сам дом.

Вспугнутые суетой, то и дело к Гаю подбегали нюхаться знакомые собаки, чувствуя перемену в своей и

его судьбе.

Приходил щенок такой окраски, будто его шили из разных лоскутков: белых, черных и рыжих; подбегала первная рыжая собака, сухонькая и дрожащая. Кряхгя, подходил пес лет десяти-двенадцати, бело-рябый без намека на породу, но с чертами всех на свете собачьих пород. И если к нему внимательно присмотреться, то можно было увидеть в его приспущенных ушах признаки легавой, в низком туловище кровь такс, а в широкой груди узнать дога.

И морда его была широкая и длинная. Это доказывало, что старик не обделен чутьем. Но беспородная

собака.

«Сорная», — думалось Иванову.

Пес сел рядом и стал вздыхать. Он вздыхал глубо-🕥 ко и долго, и стало ясно, что просто тяжело дышал.

Дом стремительно пустел. Звенели выбитые стекла, трещали наличники окон (многие пытались просунуть

в окно шкаф или стол).

Являлась на белый свет мебель, которой пришла пора исчезнуть либо на свалке, либо в квартире любителя старых предметов.

Хохочущие молодые люди вывалили из окна старинное резное бюро и превратили его в щепки и рыжую

труху.

ху. Да, Алексин узнал до ... Когда в двадцатые годы он вернулся смертельно усталый поеле тражданской войны, ему грезилась тихая работа додовода в городском парке, ибо воображал он себе Коммунистический город в виде прекраснейшего сада из красивых деревьев (включая и пальмы).

Но потребность была в строителях, чтобы дать жилье созидателям абсолютно новой жизни на земле. Тогда-то и родились эти дома в два этажа, построен-

method / Tar to LICHTEN ?

ные бог знает из чего, но простоявшие половину столетия.

— Сады? Нет, брат, будь строителем! — велел Глухов, их отрядный комиссар, теперь сидевший в горкоме. Сказал громко — еще не отвык командовать. Алексин возразил, и Глухов обрушился на него.
— Что? Способностей нет! — закричал он. — Ты их

поищи, поищи и найди!

Алексин еще не отвык подчиняться, — способности к строительству нашлись. Надо было брать знания опыт.

Первые месяцы Алексин просидел чертежником-копировщиком. Потея ночами над учебниками, он через три месяца стал конструктором домов и принес немалую экономию городу, изобретя деревянные шпингалеты для окон, что сберегало металл. Но проектирование и надежное строительство домов!.. Год пришлось вгрызаться в учебники.

Неизвестно, одолел ли бы он их, но Глухов поговорил с Ивановым, желавшим в мирной жизни рисовать пейзажи, и они потели над книгами вдвоем. А через год

уже ставили первые здания.

Начали с проекта театра оперы и балета и небоскреба в триста с чем-то этажей. Глухов театр и небоскреб одобрил, но обратил их, то есть Алексина и Иванова, просвещенное внимание (так и сказал — «просвещенное») на острую нехватку жилья. И кинул идею двухэтажных домов-общежитий.

— А небоскребы у нас, голуби мои, развалятся: ни

опыта, ни материалов добрых нету.

Да, с материалами было не то чтобы плохо, а невыносимо. Не хватало кирпича, ограничивали в дереве: оно было валютой, нужной для покупки новых станков. Зато в изобилии давали опилки, горбыли и сколько угодно замечательной, превосходнейшей глины. Ее брали в городском овраге.

— Хоть ешь ee! A цемент бо-ольшой дефицит, — говорил Глухов. — Обойдитесь глиной.

Обошлись. Но работать кое-как Алексин не умел и

не хотел.

Он разработал проект двухэтажного дома на двадцать однокомнатных квартир. Алексин был немного изобретатель и философ. Он рассуждал так: города в парках — это недалекое, но все же Будущее. Оно впереди. А сейчас нужно глядеть на дома, как на машииы для житья.

Да и кто знает, как все обернется? Вот и Чемберлен грозит, и Германия замахивается. Значит, дома должны иметь запас прочности. Где его взять? А вот где: можно сделать наружную обшивку этаким прочным внешним скелетом дома. Пример — хитиновый панцирь

жука.

И произошло техническое чудо: гибли по старинке поставленные добротные дома, а алексинские щепки (так дразнили их) стояли.

Он сказал, что хочет смотреть, как будут ломать

дом.

Иванов ответил:

— Наплачутся с ним... Пойдем-ка домой. Гай, пошли.

...Чай в этот вечер они пили дольше обыкновенного: Иванов опробовал пятнадцать сортов варенья, а Алексин хлебнул винца.

Скулил Гай тоненьким голоском.

А к брошенному дому двое парней в это время несли канистру с бензином.

Во будет фейерверк! — говорили они.

Часов в двенадцать ночи Алексин пошел проводить Иванова. Выйдя на улицу, они обратили внимание на странное красноватое небо.

Оно было цвета сажи, перемешанной с клюквенным киселем. Пахло гарью.

— Что это? — удивился Иванов.

- Я бы сказал, что это пожар, но звуков не слышно.
- Айда до дома! вдруг предложил Иванов. И точно, горел их дом. Должно быть, его поджег рассерженный бульдозерист.

Это был странный пожар — без людей, без пожарных машин: огонь не угрожал никому и ничему.

Пламя ревело, то и дело взлетали искры, мелькали над домом летучие мыши, бросая огромно-черные, бегучие тени. И было далеко видно, как светились глаза ночных кошек, пришедших смотреть на пожар.

Веяло сухим жаром. Три собаки сонно жмурились на огонь: пестрый щенок, рыжая собака и старый бе-

лый пес.

Сгорев, дом рухнул, и старики пошли прочь. За ними увязались все три собаки. Алексин нашел конфеты в кармане и бросил их. Но собаки не брали конфеты, а шли за ними.

Шел, смущаясь, пестрый щенок, ковылял грузный белый пес. В стороне бежала рыжая собака, диковатая.

Бежала боком, словно готовясь укусить и тотчас отпрыгнуть.

- Бросили вас, сказал им Алексин и повернулся к Иванову. Вот чего я не пойму: живем мы сытно, а дома призрения для брошенных животных открыть не соберемся.
- Тоже придумал, заворчал Иванов. Дома призрения... Говори для беспризорных, и все!

Он зазвал собак к себе и вынес им еду — колбасу, залежавшуюся в холодильнике, старый желтый творог,

улеб и сахар. Потом долго стоял у окна, глядя, как уходит ночь, а собачья троица, понурясь, не ест, а сицит во дворе и ждет его слова.

Что он мог сказать? Что сделать?

Он лег спать, но сон не шел. Иванов ворочался, долго скрипел пружинами: нет сна! Тогда он встал и ушел пить чай на кухню. К нему явился, неся в зубах свою подстилку, Том, его гладкий и толстый пойнтер.

— Буржуй! — обругал его Иванов.

Так в день отъезда и пожара к бегавшим по улицам города кошкам и собакам прибавились еще бездомные кошки и собаки. Некоторых кошек взяли люди, а судьба трех собак получила необычное развитие. Тому випой были сибирские леса, обступавшие город, теплая зима, летевшая в Сибирь на ветрах Атлантики, да парни.

Черный щенок Гай, наплакавшись, спал у двери.

А по улицам метались три собаки. Одна из них была пестрым смешным щенком. Его хозяева торопливо уехали в то время, когда он бегал на улице, обнюхивая все, что нюхают на улице щенята: заборы, камни, окурки, кошек, сумки, ноги...

Рыжая Стрелка... Ее отказался брать зять старухи Александры Ивановны, что годы растила собаку. Желание тихих отношений в доме заставило ее бросить

собаку.

Третьим брошенным, знакомым Гая, был пес Антон. Его держали в знак памяти об умершем отце. Дома он только спал, проводя остальное время во дворе или коридоре.

Когда его оставили, уехав на машине, он не стал

гнаться и лаять.

— Видишь, — сказал муж. — Не очень-то мы ему нужны.

— Может, его подберет хороший человек, — ответила жена.

Когда подожгли дом, щенок дремал. Он слышал шаги тех, кто поджигал, и сквозь сон повилял им хвостом.

Заскулил.

Это был добрый щенок. Он не имел имени, хозяин звал его просто Щен. Он был сыт: последний уезжающий вынул из холодильника кусок языковой колбасы. И пока рабочие поднимали его холодильник на машину, хозяин ходил по двору и смотрел, кому отдать колбасу. К нему-то и стал подползать на брюхе, повизгивая, щенок.

Он был в пыли, с мокрыми дорожками у глаз. Уезжавший сунул колбасу щенку. И был рад — не пропала.

— Ты бы собаку не бросал, хозяин, — сказал груз-

чик. — Нехорошо.

— Не моя она, — ответил тот. — Чужая.

Машина ушла, рыча и пуская газы, а щенок съел эту очень вкусную колбасу. Затем послышался ужасный

грохот — пришел и начал работать бульдозер.

Щенок убежал в палисадник и сидел под кленом. Около стояли два парня лет по пятнадцати, с волосами до плеч. Они курили, сплевывая, лениво переговариваясь о том, как надо ломать старые дома и на каком по счету толчке этот дом упадет.

Румпель! — говорил один. — Спорю! Двадцать

первый толчок свалит с ног эту халупу.

— Нет, Толик, десятый, — сказал носатый Володька по прозвищу Румпель.

К ним подошли двое Сережек — Окатов и Кутин.

— Даю три бумажки, если на двадцать четвертом толчке, — предлагал Окатов. Но с ним не спорили, боялись: чужие деньги он брал, а отдавать свои не торопился. А если попросить, молчал и улыбался. Но улыбка его узкого лица была странной. Как говорили в

классе девчонки, у него не глаза, а холодные стекляшки.

— Ставлю пять, если дом исчезнет раньше завтрашнего дня, — сказал он после пятьдесят пятого удара, когда бульдозерист махнул на дом рукой и задумался, не уйти ли ему, а сломать дом завтра.

— Согласен! — сказал Румпель.

— Разбейте! А деньги?

— Предки дают на химнабор.

Когда бульдозер ушел, щенок устроился спать под домом. И все прислушивался, не позовут ли его. Но слышал только шуршание и стуки опадавшей штукатурки. Затем прибежала Стрелка. Учуяв запах съеденной колбасы, она лизнула щенка. Прошел мимо, раскачиваясь, старый белый пес. Он вздыхал на ходу. А часов в двенадцать ночи к углу дома подошли Сережка. Они несли канистру бензина.

— Плакала Румпелева пятерка! — хихикнул Кутин. Окатов промолчал. Они прошли в дом. Вскоре невыносимая вонь бензина обожгла ноздри щенка и про-

гнала его на другую сторону улицы.

Там он сел. Фыркая, продувал нос и дивился па странное явление — дом осветился. В нижнем этаже окна стали красными, будто глаза страшного зверя, что снится иногда. Они смотрели на него, помаргивая. Страх!

Щенок прижался к земле и заскулил. Земля быля

холодная-холодная.

Стали краснеть, и моргать, и плеваться искрами и другие окна дома. И вдруг дом высунул из окон красные языки и стал ими облизываться. От него несло сухим теплом.

Щенок замерз. Он пошел навстречу теплу. Подошел и сел. Снова взлетели искры — рухнула балка. Щенок

завизжал и кинулся вдоль улицы. Но красное не гналось за ним. Когда он снова вернулся к горевшему дому — там уже сидели рыжая собака и белый пес. Затем подошли и стали разговаривать два старика. Они увели их всех троих. Но домой не взяли, пришлось спать в подъезде, на кирпичах.

Утром щенок бегал смотреть дом. Но его не было, а только скверно пахло и на его месте лежала сухая чер-

ная грязь.

Щенок убежал в чей-то сад. Там, забыв и дом и хозяев, он долго гонялся за стрекозой и не поймал ее. Но вышла из дома кошка. Она зашипела на него, оцарапала нос и прогнала.

На улице его часто останавливали люди, говоря друг другу, какой он смешной, даже удивительно. Они давали конфеты и пирожки, но с собой не брали.

Один человек присел к нему — щенок тотчас лег на спину. Сначала тот почесал голый живот щенка, а затем прижег огоньком сигареты. Потом он хохотал нал людьми, которые собрались и ругали его. Даже упал на спину. И тут же заснул. Боль ожога была сильная, щенок бежал от нее и не мог убежать.

Теперь он жил в палисадниках, кормился тем, что

ему давали.

Щенок стал грязен, длинная пестрая его шерсть свалялась. Щенка ожидала бы участь всех неприятного вида существ, но он имел веселый характер и был умен.

Довольно быстро он научился определять добрых

людей и смело доверялся им.

Он нашел место, где мог спокойно жить. Теперь ночевать он ходил не в палисадники, а на склад пустой тары: познакомился со сторожами этого склада, людьми достойными, молчаливыми, сдержанными. Они не ласкали его, кормили только хлебом, зато и не обижали и часто разговаривали с ним.

— Вот, брат Пестрый, ты вроде бы беспризорник, —

говорил ему моложавый старик с бородой. — Как после гражданской войны.

Беспорядок это — гнать живое существо, — за-

мечал другой, морщинистый, бритый.

Спал Пестрый в огромной куче древесных стружек и опилок, пахших скипидаром, питался в кафе, где ему давали остатки. Играл с такими же бездомными и грязными собаками.

Он искал хозяев. Однажды Пестрый обходил рынок. нюхая мусорные ящики. И вдруг взял чутьем след хозяйки. И пошел-пошел по ее следу, а там и побежал.

След пах восхитительно. Он бежал, опустив нос к земле, и чуть не попал под машину. Пестрому сильно повезло: хозяйка купила полную сумку яиц и не рискнула с ними садиться в автобус, понесла их пешком.

Новый дом был недалеко, и щенок выследил хозяйку до дверей. Повизгивая, захотел войти в них, даже

царапался. Но дверь оставалась закрытой.

Щенок скулил тонко и долго, но его не пускали.

Пестрый щенок вышел во двор.

Задрав голову, увидел на балконе мужчину в красной майке. Хозяина! Тот стоял и смотрел на него.

День был с северным ветерком, холодный. Но мужчина в одной красной майке ел красный и большой помидор. Он откусывал и лениво жевал.

— Нашел-таки, паскуда? — спросил он щенка.

Тот завертелся, виляя хвостиком да, да, нашел, теперь все будет хорошо.

Он улыбался, ерзал, скулил, просясь в дом. Даже подпрыгивал — сидя! — показывал, что готов бежать к двери.

- Посуди сам, рассудительно говорил ему мужчина, — на что мне ты? Вид у тебя безобразный, породы никакой, шерсть линючая. И раньше брать тебя не следовало. Ты моя ошибка.
 - М-мм-м, скулил внизу щенок. М-мм-м!

— И тебе лишние переживания, и квартиру ты не украсишь. Но делать, видно, нечего.

Мужчина доел помидор и вышел во двор. Щенок

бросился к нему в ноги. Припал.

— Ну и грязи же на тебе, — холодно сказал мужчи-

на и толкнул щенка ногой. — И пользы никакой.

Он огляделся, не смотрит ли кто. Затем поднял ногу, прицелился и так поддал, что щенок взлетел и описал полукруг в воздухе. Перелетев штакетник, он упал в глину.

Его охватил страх. Щенок вскочил, крича, и побе-

жал по улице.

— Вот и с плеч долой, — угрюмо пробасил муж-

чина.

— А и сволочь же ты, — сказал кто-то сверху. Мужчина в майке быстро поднял голову, оглядывая окна, и никого не увидел в них. Он пошел к двери подъезда, но упало мокрое на голову. Мужчина провел ладонью по волосам — плевок! В него плюнули! Кровь бросилась в голову. Он стал красен, как съеденный им помидор.

— Трус! Выходи! — заорал мужчина. Никто не вышел. Мужчина прошел к себе и в ванной долго мыл го-

лову хозяйственным едким мылом.

Утром, когда он вышел на балкон поразмяться двухпудовой гирей, нашел дохлую крысу. Большую, мерз-

кую, сдохшую давно.

К ней привязана веревочка. Понятно, ее закинули на балкон. И тогда он напугался. Понял, его ненавидят мальчишки. А уж они найдут способ отравить ему жизнь. Их память крепка, прощать они не умеют.

Он сбросил крысу с балкона.

— Но ругался-то взрослый, — ворчал он. — У-у, проклятые...

Внизу разгорелся скандал.

— Kто мне гадость бросил? — визгливо кричала дворничиха.

- Дядя в красной майке, пояснил тонкоголосый мальчишка.
- Эй ты! визжала глупая дворничиха. Ты, который в красной майке и живешь на втором этаже! Выходи! Погляди! Люди, да что же это? Дохлых крыс бросают!

Жена его вышла и поглядела с балкона: дворничиха

держала крысу брезгливо, зацепив ее щеткой.

— Это тебя зовут, — сказала, вернувшись, жена. — Возьми совок и выброси ее в мусорный ящик.

Но следующим утром крыса снова была на их балконе. Она разбудила мужчину своим запахом на рассвете. Пришлось ее завернуть в газету и далеко унести, и закопать поглубже!

Пестрый щенок, перелетев кучу глины, бросился бежать. Со всех ног.

Он был неуклюж, еще толстоват, но бежал стреми-

тельно, взвизгивая на бегу.

Болел зашибленный точным пинком бок. Жгло нос, которым он ткнулся в кучу твердой глины. Но у киоска его вдруг угостили недоеденным пирожком, в другом месте он нашел мороженое. Кто-то уронил, и мороженое клевали воробьи. Лакомились! Щенок прогнал их и стал лизать сам. Даже пинок ногой забыл — так было вкусно!

Съев мороженое, щенок подумал и съел бумажку.

Затем убежал на склад.

Там сидел сторож, тот, что постарше, в облаке вкуснейших запахов. Он готовился есть: выпул из сумки хлеб и помидоры, достал кусок вареного мяса и тонко порезал его ножом. Затем вынул из кармана челюсгь, завернутую в носовой платок, отвернулся от щенка и вставил ее в рот. Постучал зубами — держится! И стал есть мясо.

Щенок подсел сбоку, заглядывая в рот. Старик жевал мясо и ворчал: оно было недоваренным, жестким. В конце концов он дал его щенку, сам же ел помидоры с хлебом: обмакивал в соль, перемешанную с черным

перцем, и жевал. Неторопливо.

— Так и жить будем, — говорил щенку. — Впереди, конечно, суровая зима, но этим не смущайся. Пока я здесь, еда и жилье у тебя будет. А что с тобой случилось, это я понимаю. Но свет не без добрых людей, проживешь...

Стрелка чувствовала себя одинокой, но не очень тосковала. Ее и маленькой часто гнали из дому. Она привыкла и к ремню, и к щелчкам пальцем по носу: зять хозяйки не любил ее.

Когда грузили машину, Стрелка угадала податливость хозяйки: старушка покормила ее жареной картошкой и двумя котлетами, всхлипнула, пообещала

найти.

И толкнула к двери — ступай!

Стрелка ушла. И раньше ей приходилось часто убегать: она живала бездомной по два-три дня. Потом ее снова впускали.

Она бывала даже в лесу.

Стрелка не голодала. На рассвете она обегала город и успевала сытно поесть: многие люди поздно вечером бросали из окна кости и хлеб.

Стрелка знала наперечет все богатые мусорные

яшики в городе.

Она ловила голубей, чрезвычайно ловко прыгая на них: была легка на ногу, пружиниста, зверовата в движениях. В ней было много дикого, в ее маленькой сухой голове, в черной, будто обугленной, морде.

Дикое просвечивало и в ее выпученных карих гла-

зах — она боялась рук человека и не верила им. Потому ее редко угощали. Только однажды она сытно, даже брюхо отвисло, поужинала колбасой в компании с человеком, который не решался идти домой.

— Жена моя тигр, а жизнь погублена, — плакал он. — Ты ешь, а я еще приложусь. — И пил из бутыл-

ки, вынимая ее из кармана.

Он давал Стрелке колбасу, отрезая по маленькому кусочку, чтобы она слушала его исповедь до конца. Стрелка просидела с ним ночь, а утром проводила домой.

Она шла, глухо надеясь, что ее позовут в дом. Но человек и сам шел шаткой, неуверенной походкой. Должно быть, от страха.

Так поняла его Стрелка и убежала спать в одно известное ей место. Было оно среди брошенных строите-

лями труб.

Эти трубы лежали долгие годы, среди них много раз вырастала и умирала трава: полынь, лебеда, про-

свирник.

Там Стрелка устроила свое логово. Но характер ее начинал портиться. Однажды мальчишки подманили и ударили ее камнем. В другой раз они подкараулили ее и заложили камнями оба выхода из трубы: она сидела голодной три дня.

С тех пор Стрелка встречала каждую протянутую к

ней руку захлебывающимся рычанием.

Рычала и прикидывала путь отступления. Но сама не отходила — ей было тоскливо по временам.

Быть может, в конце концов и нашелся бы человек

и оценил ее диковатую изящность.

Или, идя на рынок, ее встретила бы старуха и уговорила зятя пустить Стрелку.

Но случилось другое.

В день тоски, когда листья сыпались от холодного ветра, она убежала к дому, которого не было. Там уви-

дела Белого пса. Он шел, исхудавший, чумазый, с перекошенной легким параличом мордой.

Стрелка почувствовала — ему плохо, много хуже,

стрелка почувствовала — ему плохо, много хуже, чем ей. Она ощутила его несчастье... и пошла за ним Пес приковылял к дому. Но дом исчез. Теперь здесь был высокий забор, пахнувший сосновыми досками. Белый пес прошел сквозь этот запах прямо в щель. Он вошел в нее уверенно, будто в свой дом.

Стрелка постояла, слушая его уходящие шаги. Заглянула в щель и вместо двора увидела земляную

яму. Будто пасть.

Яма распахнула глинистые желтые губы. Стрелка

влезла в дыру и села у забора.

Работы по закладке фундамента кончились, и строители временно ушли, оставив краны дремать.
Их караулил сторож. Этот лысый старик ходил

вдоль ямы и курил.

Белый пес шатающейся походкой брел краем котлована. Временами он останавливался и что-то жевал. И тогда к Стрелке приносился то запах хлеба, то извивающийся и быстрый запах колбасы — остатки вчерашнего ужина строителей.

Сторож начал ломать доски. Он разбивал их топором и складывал в кучу. Затем поджег. Теперь он сидел, глядя в огонь. Доски весело сгорели, оставив красные угли. К ним подошел и сел, греясь, Белый пес, по-

добралась Стрелка.

Сторож говорил о чем-то сам с собой. Стрелке это не понравилось, и она убежала. Она завыла из трубы и напугалась своего голоса. Вернулась на стройку: там, в теплой золе прогоревшего костра, спал Белый пес. Стрелка прилегла рядом с ним Крепко.

С тех пор она стала приходить на стройку и днем. А ночью больше не приходила: нашла сарай с автомашиной и спала в нем. Она охраняла этот сарай — так

решила. И хозяин машины прикармливал ее. Приносил ей теплый суп в большой алюминиевой миске.

Суп был густой, вкусный, с покрошенным мясом, иногда со сметаной или молоком. Постель хозяин тоже дал

хорошую.

Кормить-то он Стрелку кормил, но домой не брал... Быть может, она и прижилась бы в конце концов. Но однажды Стрелка гуляла, и за ней погнались собачники. Они бежали, огромные, страшные, размахивали круглыми сетями. Пришлось убежать на стройку. Здесь было тихо. Сторож куда-то ушел. По кромке котлована брел пес, когда-то бывший белым. На кирпичах сидели парни и ели колбасу.

Они приметили собак и засвистели им. Белый пес привык к такому обращению — он заковылял к парням. Он шел к ним так прямо и уверенно, что и Стрелка побрела следом. Им дали конскую вкусную колбасу с белыми кусочками сала: такой Стрелка еще не ела. Парни смеялись над собаками, их широкие лица были красные, улыбчатые, веселые. Глаза блестели.

Они переговаривались между собой.

— Откуда берутся эти собаки? — спрашивал один.

— Ходят, заразу по городу носят. Надо их поймать, — говорил другой.

— Не дело это, — возразил первый. — Ловить не-

счастных. Ты им помоги!

— А если взбесятся? А? Что делать?

— Врешь ты.

 Десять уколов в брюхо хочешь? Чего болтать, схватим их.

И собак схватили. Нашлась веревка: их привязали к забору. Парни ушли, решив позвонить в трест очистки из ближайшего автомата. Чтобы приехали и взяли собак.

Привязанный Белый пес лег и задремал. Он верил если привязали, то и отвяжут, надо ждать. И в памяти его шли случаи, когда старый хозяин привязывал его за молодое баловство к ножке стола. И еще, когда они бывали в гостях, — чтобы пес не обижал хозяйских кошек.

Стрелка же, ощутив веревку, стала рваться. Петля стянула ее горло. Собака опомнилась. Она повернулась

назад, припала на бок и стала жевать веревку.

Это была крепкая, выпачканная в машинном масле

веревка. Но собака грызла и грызла ее.

Веселые парни не нашли в карманах двух копеек и не позвонили в трест очистки. И собаки дождались бы сторожа, тот отвязал бы и успокоил их. Но во двор заглянули Володька Румпель и Окатов. Увидели собак.

 — Алло, собратья! Это вы нас выводили в люди? сказал Окатов. Подобрав камень, он метнул его в Стрелку: та завизжала. Окатов швырнул камень в Белого пса — он взревел и поднялся.

Теперь у забора выли и метались на веревках две собаки. Окатов прикрыл ворота и, подперев их доской,

пошел набирать камни.

— Расстреляем! — сказал он Румпелю. — Я, быть может, и не хотел быть человеком, а они вывели.

— Не хочу! — сказал Румпель. — Тогда попрошу пятерку. Ну!

И Окатов глядел тем взглядом, которого (он хорошо, знал это) все боялись.

— Лалы!

— Сразу бы! Кого на себя берешь?

— Рыжую, она смешнее

Окатов сложил камни аккуратной горкой. Его охватывала странно веселая злоба. И было ему и жутко, и стыдно, и хотелось кричать: «Я боюсь, боюсь и все же сделаю!» Но кричать не стоило, еще привяжутся. И нужно спешить, того и гляди сторож вернется на стройку.

— Темп! — велел Окатов.

Они взяли по камню и швырнули: Окатов — в Белого пса, Румпель — в Стрелку.

Кидали близко, промахнуться невозможно.

Металась Стрелка, то и дело взревывал старик пес. Окатов видел: перед ним вертелось что-то белое, оно расплывалось в глазах, его хотелось бить-бить... И посмотреть, что из этого выйдет.

Румпель кидал в Стрелку лениво — камнем в бок, камнем в лапу, в заднюю, в переднюю... С забора им

кричали пацаны:

— Эй! Что делаете!.. Мы вот скажем...

Вдруг Стрелка рванулась. Сильно. Надкушенная веревка лопнула, и собака бросилась на Окатова так нежданно, что тот упал на спину. Она рванула его зубами и унеслась к забору, в щель. Румпель швырнул ей вслед еще камень и метко. Она завизжала. Исчезла.

— Ты мне заплатишь за это, старик, — сказал Окатов, поднимаясь. Он вытер платком укушенную руку и

перевязал ее.

И пошел за кирпичами-половинками.

— Да брось ты, — просил его Румпель.

— В тебя?

Окатов скалился, будто смеялся. Вот только глаза его были тоскливы. «Черт с ним, с психом, — думал Румпель. — Кончим дело, и сбегу, и дружить с ним пе-

рестану!»

Половинками кирпичей они стали добивать Белого пса. Вдруг Румпель вскрикнул и схватился за голову. Окатов повернулся — на них шли с камнями в руках мальчишки, человек десять соплячков. Одолели-таки забор.

Они были хитрые, эти соплячки, они шли россыпью и кидали, кидали издалека, с ловкостью окраинных мальчишек. Первый их залп попал в цель, и второй, и

третий.

Окатов бешено орал на них, Румпель отступал к во-

ротам с достоинством почти взрослого человека. Пока они убирали доску и открывали ворота, в них летели камни.

Выскочив за ворота, Окатов припал к щели и стал

разглядывать и запоминать детские рожицы.

— Проклятые микробы, — ворчал он. — Ничего, еще наплачутся!

— Пошли, — торопил его Румпель.

— A пятерку все равно отдашь, лениво бил.

Пришел сторож из магазина со свертком под мышкой. Он взял Окатова за плечо и удивился, какой рослый!

— Ты чего? — спросил он. — Чего подглядываешь?

— Отец! Попрошу не распускать лапы!

Окатов дернул плечом и глядел на него сверху — он был выше старика на две головы. Тот даже изумился — молодые, а такие длинные. Аж прогибаются. Совсем другое племя...

— Что делаешь, спрашиваю?

— Наблюдаю, как подрастающее поколение калечит животных, — сказал Окатов и быстро пошел. А из ворот бежали ребятишки. Они гнались за Окатовым и Румпелем, крича и грозясь. Бежали до одного, розовой окраски, дома. Там (это хорошо знал Окатов) жил знакомый его отцу хирург. Фамилия его Розов, занимается он в институте и заседает в родительском комитете. Это неприятно вежливый тип, едкий, будто кислота. С ним наплачешься, он такой.

— Доктора надо звать, доктора, — переговаривались мальчишки: они тоже знали Розова. И такая удача: он был дома, перекапывал грядку. К нему и ввалились в огород и стали просить — в один голос — пойти

к собаке. Доктор пошел.

У полного доктора была одышка, шел он медленно. Хотя и пыхтел, будто все время бежал.

— Камнями били? — спрашивал он.

— Ага, дяденька, половинками!

— Ах... паразиты...

- Они в нашей школе учатся, одного кличут Румпелем.
 - Вы... молодцы...

Белый пес лежал в кирпичной пыли, лапы ero дрожали.

— Он же весь хрустит! — кричали им оставшиеся мальчишки. — Он будто с самолета упал!

— И я не узнаю собаку! — сокрушался сторож. — А ведь кормил вчера. До чего осатанели, проклятые!

— Ах наглецы, ах паршивцы! — твердил врач.

Он присел над собакой и ощупал ее. И та лишь покряхтывала, когда длинные тонкие пальцы врача пробегали по телу, задевая одно, нажимая другое.

Врач хмурился — пес был изломан. Расколот гребень лопатки, сломаны ребра... Плюсны раздроблены,

их и не соберешь.

Практически эта собака убита жестоко и подло. Перебита ее переносица, сломаны обе челюсти. Будто пес побывал в молотилке.

«Усыпить бы его, — тоскливо думал врач. — И мучиться не будет. Дать морфия, чтобы отошел без мучений. Но хорошо бы и спасти, это будет великий урок и награда ребятам».

— Унесем его ко мне! — велел он и носовым плат-

ком вытер руки. — В чем бы его унести?

— Возьмите носилки, — предложил сторож.

Ребята схватили тяжелые носилки — в них носили бетонный раствор для мелких работ. Понесли собаку — доктор шел впереди.

Ребята, человек десять, сзади и с боков поддержи-

вали носилки.

В коридор они внесли собаку предельно осторожно, на руках. Положили на пол. Доктор шепнул жене, и та увела ребят.

Он стал возиться со шприцем: перебирал ампулы и не находил морфина. Тогда набрал шприц димедрола.

— Все же легче тебе будет, старина, уверяю.

И уколол. Пес трудно дышал засыпая. Доктор же позвонил приятелю и спросил у него морфия. «Тут, старик, возникло такое дело...» — объяснил он. Затем набрал другой номер — ему пришла в голову одна мысль. Неожиданная.

— Мне бы Ивана Васильевича, — сказал он в трубку. — Да, да. Розов спрашивает. Слушай, есть пациент, на нем сможешь опробовать свой препарат. Безнаде-

жен, множественные переломы!

— С ума сошел! — возмутился Иван Васильевич. — Не человек это, собака! Ставь опыт. А переломы ее прямо для твоего клея. Она... безнадежно сломана для обычных методов.

— Ты уверен?

— Это прекрасная возможность опробовать костный клей! Но только я требую это делать под полной анестезией, боли пес вытерпел выше головы, его били хулиганы. Я думаю, и сердце у него неважное, и склероз...

— Посмотрим, — отвечал Иван Васильевич. — Ты

сможешь его принести?

— Тяжел.

Тогда выезжаю.

И через пятнадцать минут к дому бойко подбежал голубой «Москвич». Из него вылез бородатый толстый человек в белом халате. Он нес большую корзину.

Розов встретил его на крыльце.

Толстяк присвистнул и нагнулся, разглядывая собаку:

— Обработали!

Он вынул коробочку со шприцем, протер руки спиртом. Они сделали псу укол и уложили его в корзину. Бородатый набрал номер и по телефону велел «готовить все».

— Сразу и на стол, — сказал он Розову.

— А ты не теряешь время, — удивился тот.

— Поможешь?

— С удовольствием.

...В машине они говорили только об операции.

6

Стрелка проскочила в щель, задев гвоздь. И не остановилась лизать рану, бежала. На бегу тонко повизгивала

Визг далеко обгонял Стрелку. Прохожие останавливались, глядели, а мимо них проносилась рыжая собака, и визг ее стихал в отдалении.

— Взбесилась, — предполагали прохожие.

Куда бежала рыжая собака?

Поблизости от города еще оставались леса. Летом там часто отдыхали горожане, сейчас же леса были поосеннему пустые.

В их тишину бежала собака.

Ей случалось и раньше убегать из города в лес. Стрелка уходила в компании городских собак, охотившихся в лесу за птичками, беспомощно гонявших зайцев: неслась их визгливая, пузатая, криволапая стая, выпучив азартные глаза. Взвизгивая и хрипло лая, они воображали себя охотниками.

Стрелка бывала в лесу. Но, побродив в нем день, вечером она видела его Ужасным Лесом, в котором бродил Волк. Ей вспоминалась хозяйка, и Стрелка возвращалась в город, радуясь смелости — была в лесу! Скуля и повизгивая, она рассказывала это хозяйке, и та слушала, кивая, оглаживая ее голову, и говорила:

— Хорошо, ты молодец...

В лесу Стрелка бывала летом, изредка весной или осенью и иногда зимой — мерещились волки за каждым деревом.

Сейчас, пробежав от высоких домов к низким и мимо них к торговой базе, огороженной дощатым забором, она переплыла речку и взлетела на бугор, поросший соснами.

Исчезла в лесу, стихали ее визги.

...Стрелка затаилась в лесном глубоком логу, в глиняном его закоулке. Сверху ей были видны клин неба да торчки сосен, пускавших запахи. Здесь же глина, песок,

застоявшееся дневное тепло.

Утром она вышла к речке полакать воду, но увидела людей, шагавших с лопатами (Алексин вел Иванова в сад), и сбежала в лес. Ей кричали вслед, звали ее, но Стрелке казалось: в нее швырнут камень, тяжелый и острый.

От людей она уходила глубже в пригородный лес. И все гуще становился лес, смелее перемешивал жел-

тые березы и красные осины с голубыми соснами.

В лесу было хорошо, покойно, безопасно.

В нем тишина, шорохи мелких зверей, стуки крыльев летающих туда-сюда дроздов.

В кустах перепархивают синицы. С ними вместе,

единой стаей, летают поползни и дятлы.

И повсюду лежат упавшие листья, вороха мертвых листьев.

Среди них копошатся муравьи. Вот пень, в котором гудят шершни. Собака подошла — их сторожа зареве-

ли на Стрелку, и она убежала.

Собака вдруг ощутила неясную радость от тишицы, вялого осеннего солнца и желтых листьев. Радость заливала ее всю, от лап до кончиков ушей, поднятых торчком; от носа, чуявшего лесные запахи, до кончика повиливающего, довольного хвоста.

Она весь день ходила в лесу, знакомилась, нюхала

все.

Сунула нос в нору к барсуку, пробежалась за выскочившим зайцем, схватила в траве полевую красную

мышь и понесла ее не зная куда. Мышь завозилась в пасти, и Стрелка глотнула. Нечаянно.

Царапучий клубок прошел в горло и стал возиться и

царапать внутри. Затих.

Собака перепугалась. Она вытаращила глаза, расставила лапы. Вытянулась.

Так и стояла, прислушиваясь к себе. И с тех пор ей

казалось, что красная мышь живет в ней.

Следующую мышь она загрызла и съела мертвой. Сытая, она переночевала под кустом дикой акации. Но утром обнаружила здесь муравьев, до сих пор не спавших из-за теплой осени. Они кусались, и Стрелка убежала. Вспугнула зайца и села на хвост от изумления, глядя на него.

Заяц скакал огромнейшими прыжками. Будто летел. Стрелка азартно визгнула и погналась, сгоряча то и де-

ло налетая на кусты. Она кричала:

— Ай, ай-ай!...

Лес отозвался ей:

Эй-эй-эй!..

И Стрелке казалось, что зайца гонит не она одна, а большая стая собак.

Это был счастливый для Стрелки день — она убежала далеко, в сплетение глубочайших лесных оврагов, где ее не смогли бы найти. Это успокоило собаку: лес будет ее домом, здесь она всегда сможет укрыться.

Ночью Стрелка убежала в город. Она долго рылась в знакомых мусорных ящиках и хорошо поела. На рассвете ушла в лес: вдоль домов, мимо спящей базы и

шлеп-шлеп-шлеп через речку.

И вот он, лес... На лужах его тонкий ледок, поблескивают промерзшие за ночь купола муравейников, лежит змея — окоченевшая, будто мертвая, от приморозка.

Стрелка проспала до середины дня. Потом встала, напилась в лужице, что скопил родник, понюхала кисло

пахнущий муравейник. Затем лениво гонялась за бурундуком и чуть-чуть не схватила вылетевшего из куста те-

терева.

Но промахнулась, зря щелкнула зубами. И убежала на огромное картофельное поле, клином входящее в лес. Там причуяла куропаток — запах нависал над полем, словно шатер.

Она прыгнула в середину этого густого и сладкого запаха. Птицы разлетелись, подняв пыль, и Стрелка за-

дохнулась ею.

Остаток дня собака провела, напрасно пытаясь схватить какую-нибудь птицу. Даже подкралась к последнему в этих местах глухарю, токовавшему по-осеннему

лениво. Но тот был в сварливом настроении. И, жесто-ко клюясь, он гонял Стрелку между деревьями. Ночью Стрелка снова убежала в город. Быть может, она бы постепенно превратилась в пригородную собаку, что не может прожить без города, а в нем не находит

свое место.

Но в один холодный день она поймала зайца, разо-

спавшегося в кустах.

Заяц глупо влез в куст шиповника, из которого был

один выход. К нему-то нечаянно подошла Стрелка. Однажды ей повезло с тетеревом, раненным охотником-браконьером. Затем она наловчилась охотиться

сама. Все реже и реже она появлялась в городе.

Ей везло! Егеря, хранившие лес от браконьеров и бродячих собак, не заметили ее — Стрелка в лесных оврагах проживала одна, бродячие ватаги собак не забегали так далеко. А вот кошки, те приходили и лазали к птицам на деревья. Но даже они бывали редко. В полное господство Стрелки попал кусок леса площадью в два-три квадратных километра. Достался без драк и рычания: проживавшие здесь барсуки бродили себе потихоньку, городские коты претендовали на одних только птиц, да и тех ловили на деревьях, а лисы еще

не перебирались на зиму к городу, к его мусорным свалкам.

Жители леса отлично ладили между собой: лоси питались осинами и тем сеном, что косили им егеря.

Мыши обитали в травах, землеройки и кроты — в

норах.

Белки, бурундуки, дрозды, синицы, дятлы, поползни шатались где им заблагорассудится. Как-то Стрелка лаяла на бурундука, евшего рябину. Он брал ягоды с той ветки, которую быстрыми клевками очищал серый дрозд. Это кормящееся содружество чем-то возмутило Стрелку.

В этот же день Стрелка нашла барсучью широкую нору и проследила, что жил в ней, кроме барсука, еще и кот, похожий запахом на того, что вырос с ней когдато. Он так же густо пах паутиной, съеденными мышами

и птичьими перьями.

Стрелка приходила к норе и долго нюхала ее. Бар-сук сердито гудел, а кот шипел на нее из теплого земляного нутра.

Она лаяла на них, ей хотелось в нору, она звала иг-

рать, но те не выходили.

Однажды она встретила этого кота, черного, возвра-щающегося с охоты. Он нес в зубах сороку, птичий хвост волочился по жухлой траве. Стрелка подбежала к коту, весело помахивая хвостом. Но кот бросил сороку, зашипел, выгнулся.

И вдруг залез на сосну.

Он висел на ней, впаяв когти в толстую кору, а Стрелка ждала внизу. Потом она стала есть сороку, а кот сердито выл. Наконец он спрыгнул вниз и с ужас-

ным криком пробежал в нору.
На время Стрелка позабыла его, увлекшись ловлей белки, та жила в гнезде, сплетенном на сходе веток двух сосен. Таким образом, у гнезда было два выхода, что приводило в отчаяние жившую невдалеке куницу.

Затем все переменилось.

Однажды Стрелка остановилась у ручья: барсук, живший с котом, лежал на бережке. Стрелка насторожилась — зверь не пил, он просто лежал, всунувши нос в воду. Дыхания его не слышно.

И чем-то незнакомо и страшно пахнет. Стрелка подняла голову — по ту сторону ручья, у обомшелой ко-

ряги, стояла огромная кошка. Рысь.

Стрелка зарычала и ощетинилась.

Рысь забежала сюда из тайги. Она увидела барсука, пившего воду. Она подкралась к нему и готовилась прыгнуть и схватить. Тот поднял голову, посмотрел на нее и закряхтел странно: рысь замерла, а барсук сунулся носом в воду. Умер от страха.

Стрелка, попятившись, ушла. Рысь перепрыгнула ручей и взяла барсука, встряхнула его и понесла: он

был ее добычей.

Лишь через неделю Стрелка прошла к норе и долго слушала завывание кота. Затем собака на локотках влезла в нору и стала устраиваться в ней, рыть, делать ее шире и удобнее.

Кот, вякнув напоследок, сбежал из норы и ушел из

леса в город.

Но Стрелка жила в норе всего несколько дней: вдруг проснулась от враждебного запаха. Подняла голову — на нее глядела лиса. Из другого хода жутко светила глазами вторая лисица. Они зарычали вместе, и Стрелка быстренько выползла в запасной ход и сбежала.

С той поры в норе жили лисы, пришедшие зимовать около города. А Стрелка нашла сгнивший черный стог

и спала в нем.

Выпал снег. Стрелка пышно обросла зимней шерстью. Теперь она умела мышковать, не хуже лисиц искала и находила под снегом мышиные зимние городки. Она сделала нору в стогу, ей было тепло спать.

Зима этого года была мягкой, даже барсуки в ноябре еще выходили из нор пить воду в ручье. Но в декабре крепким морозом (однажды ударило за сорок градусов) Стрелке прихватило кончики торчащих ушей. Эти мороженые кончики поболели-поболели и отпали. И надо было зализывать уши. Языком их не достанешь, как ты ни старайся. И Стрелка лизала переднюю лапу, а ею протирала раны.

Зато в виде платы за примороженные уши лес улыбнулся собаке щедрой и жесткой улыбкой: Стрелка нашла лося. Браконьер ранил его выстрелом в шею, гнал-

ся и не догнал.

Лось истек кровью в лесном овраге, умер смертью спокойной, будто уснул. Он и лежал-то, будто спал. И Стрелке даже показалось, что вот сейчас он встанет, огромный и сильный. Но снег пах кровью. Она заскули-

ла просяще и поползла к нему.

С другой же стороны к лосю нагло и весело шла красная лисица. Она схватила его за копыто и потянула. К ней подбежала другая. С этими двумя лисами, выгнавшими ее из норы, Стрелка и съела лося. Хватило его надолго — лишь в феврале она сгрызла последние кости, поддающиеся зубам.

Зимой всего два или три раза ходила собака в город. Она даже нашла хозяйку, идущую пз магазина. Вздрогнула — запах был незабываемо свой, но шел от незнакомой старухи. Не так давно была хозяйка полной и бодрой. Теперь же шла с авоськой худая белепькая старушка, шла и оглядывалась на собаку.

Она не узнала Стрелку.

Не признала своим этого рыжего зверя с пышным хвостом и круглыми ушами. Но в память о Стрелке

бросила старуха кусок мороженого мяса.

Стрелка понюхала и взяла мясо. Она долго провожала старуху, но подойти к ней не решилась. Да и не было в ней больше тоски по дому — лишь по стае.

В лесу ей было хорошо жить: зайцы-беляки носились по снегу, не проваливаясь, будто на лыжах, мыши спали, завернутые в пуховички, сделанные ими еще осенью.

Проголодавшись, Стрелка ходила от одного такого мышиного города к другому и сытее сытого ложилась спать. Но глубокой ночью она просыпалась и выходила на холод. Ей было так одиноко, тоскливо... Глаза сами начинали жмуриться, уши прижимались к голове. Она садилась на снег и начинала безостановочный бег на месте, перебирая лапами.

Она выла... Уносился вверх ее тонкий и дрожащий вой, откликались ей со всех сторон призрачные собаки.

Стрелка затихала и прислушивалась: нет, не было здесь стаи лесных собак, она одна среди черного леса.

И снова выла Стрелка, и ее опять обманывало лес-

ное эхо.

И проносился, неся огни, самолет, ронял гул на леса. С ним пролетала между деревьями огромная черная тень. Как птица.

И так страшно, так яро светила луна.

7

В городе шла зима-многоследица. То и дело подтаивал снег, и по нему печатали следы все, кому не лень.

Сел воробей — оставил след, прокатил ветер репейник — и оставались следы. Крохотные, будто жук прополз.

Когда же приходили северные ветры и снег охватывала ледяная корочка, тротуары посыпали солью, чтобы не падали горожане: от соли опять подтаивал снег.

Новый дом на месте старого рос. На его стройке шла великая суета. Ненужные теперь краны убрали и обрабатывали дом снаружи, с подвесных люлек. Работали штукатуры и маляры, по этажам вверх и вниз бегали сердитые бригадиры в сапогах, выпачканных известкой

Приходил к дому Пестрый, рассматривал следы, искал знакомые. Не нашел. Потом долго сидел, подвернув хвост, и глядел на суету.

Это был уже не смешной щенок, а рослый и сильный

пес с узкой и изрядно лукавой мордой.

Наряд его был по-прежнему клоунски смешон — пятнами, торчащими древесными стружками. Но вид он имел благополучный, сытый.

Удачливый был пес! Ему везло даже с окраской.

Видя Пестрого, люди невольно улыбались. Он же подходил к ним неуклюже-ласковыми шажками. Ноглаза его следили за руками человека, опыт боролся с добродушием.

Пестрому везло: склад ящиков хотели убрать и объединить его с другим складом, побольше. И не убирали,

а сторожа были предобрые старики.

Пестрый ночевал, если хотел, с ними в теплой проходной. Но в такой шубе ему редко хотелось ночевать в помещении, он предпочитал закапываться в стружки или в снег.

Сторожам нравилось — охрана на дворе!..

Им же в тепле можно пить чай и прочитывать очередной толстый роман. Или курить, размышляя о жизни. А надоест думать, можно позвать собаку, и та будет

слушать с вниманием, что ей ни говори.

Пестрый считал склад домом. Охраняя его, он часто лежал, высунув нос из подворотии, и лаял на прохожих басом: «Гау! Гау! Гау!..» Желудок его был отличный и переваривал все, что удавалось съесть. Но счастья Пестрому хватило только до января — склад перевели в другое место, а дряхлое помещение снесли. Пестрый ушел и спал в снегу. Он ложился и ждал, когда его занесет теплым снегом.

Есть же ходил к старику сторожу домой. Тог впус-

кал его и давал кости, хлеб, вчерашний суп. Ну а если старик болел и выпадало несколько голодных дней, пес пристраивался к воронам.

С холодами в город прилетела эта стая больших серых ворон. Ночевали они в лесу, но прилетали в го-

род кормиться.

Они были пожилые, умные, солидные вороны. Пестрый быстро заметил, что они постоянно что-нибудь находят в снегу и едят все вместе. Он следил за ними и тоже прибегал есть. Но не отбирал, не набрасывался, а ждал свою долю.

Вороны привыкли к нему и присматривали за псом с деревьев, зданий. И частенько, добыв что-нибудь съедобное, он обнаруживал вокруг себя кружок ожидающих ворон. Чувство справедливости было заложено

в нем — пес оставлял еду воронам.

Так он жил, и хорошо жил: покидал места, где его не терпели, не слишком часто бывал там, где и привечали, безошибочно ловил ту грань, за которой собака начинает надоедать.

Пестрый изучил людские слова и жесты.

Вот старик говорит ему: «Ты несчастный пес, я дам тебе поесть». Но рука сжимается, ноги сердито топчутся и говорят: «Ты приходишь слишком часто, у тебя бездонный желудок, я же совестлив и не могу отказать». И Пестрый исчезал на несколько дней и приходил,

когда старик начинал тревожиться.

Из Пестрого вырабатывалась та беспризорная родская собака, что неистребима и вольнолюбива, может жить без человека и не может без него.

Пестрый все ждал, что его позовут в какой-нибудь дом. Иногда часами разглядывал освещенное окно и людей за непроницаемым прозрачным стеклом.

Вот едят, разговаривают, смеются... Повиливая хвостом, Пестрый частенько засыпал напротив чьих-нибудь окон. А однажды он долго рассматривал Гая, сидевшего на диване (тот принюхивался — запах Пестрого входил в раскрытую форточку). Но пес не озлобился, не стал угрюмым добытчиком, его спасало добродушие. Дурных людей он только остерегался и всех прощал.

Удача быстро вернулась к нему: в феврале друг-сторож караулил новый магазин «Промтовары». Пестрый стал жить при магазине. Там было много ящиков, кучи превосходных стружек. В Сибирь же шла весна, и на солнечном припеке весело запрыгали воробьи. Наконец пришел теплый март. Снег таял, ходили туманы. Вороны каркали, сидя на деревьях. Весело свистели чумазые жуланы, и повисали копья сосулек. Мальчишкам до смерти надоели зима и уроки. И тогда малыши вспомнили Окатова и Володьку Румпеля: они швыряли в них жеваный хлеб, наливали чернила в шапки, сшибали с ног, как будто нечаянно набежав.

В конце концов был устроен показательный школьный суд, свидетелями приходили сторож и оба врача.

В марте была сделана последняя операция Белому псу. Не сраставшиеся сами по себе кости, оставленные срастаться для контроля и не сросшиеся, тоже были соединены клеем. Пес лежал в гипсовых бинтах, скованный ими.

Он дышал легкими движениями грудп, не забирая воздух сразу, а брал его постепенно, мелкими вдохами. И когда в форточку к нему влетал жулан — поклевать еду из миски — и оглушал его бойким посвистом, Белый пес считал его сном.

Руки людей тоже снились ему. Добрые, они гладили и ласкали. И в этой же яви или бесконечном сие он видел бородатого человека в очках, видел тех, страшно бивших его...

В марте Алексин закончил домашнюю дрессировку Гая. Пес выполнял команды «лежать», «сидеть». Слу-

шался приказа «ко мне!», умел ходить без поводка на улице, полной соблазнов: бегающих кошек, валявшихся костей, заманчивых столбиков. А их так любят обнюхи-

вать гуляющие собаки.

Занялся Алексин и отработкой поноски — заказал гантели из дерева. Он так решил: пусть Гай развивает мускулы шеи, пусть в будущей своей жизни охотника приносит хозяину убитую дичь. Любую, даже тяжелую — глухарей и зайцев.

Иванов противился гантелям.

— Ты что, собаку шаху персидскому готовишь? — яловито спрашивал он.

— А почему пойнтеру не приносить дичь хозянну?

— Легаш не должен носить дичь, он слишком утончен, слишком нервен, в этом и сила его и слабость. Только очень нежные, тонкие нервы, заметь, могут усилить чутье собаки.

— Плевать!

— Гай — комок нервов. Он только внешне спокоен, убитая дичь его раззадорит. Он мне стойки будет срывать! Пойми! Ведь его стойка — это приостановка хищника перед броском на дичь, а его бросок охотник заменит выстрелом. Понимаешь, напряжение работы Гая не разряжается в прыжке. Стрессовая ситуация! А тебе еще и дичь подавай. Сорвет он стойку.

— Не сорвет! — возражал Алексин. — Я миллион раз повторил команду «лежать!» и «ко мне!». Эти команды вошли в каждую его клеточку. Если ты ему отрежешь хвост и тот погонится за кошкой, крикни «лежать!» — и хвост ляжет. Скажи «ко мне!» — и хвост

вернется.

— Хвост, а не собака. Она с темпераментом, дай бог

мне летом справиться.

...Охотники спорили, Гай дремал на коврике, а в лесу дробил дятел, и глухарь пробовал токовать, чертил крыльями снег.

К нему кралась Стрелка, ловчила из-за деревьев — ее мечтой было схватить эту черную, огромную, грозную птицу.

8

Хорошо быть собакой в весеннем городе!

Приятно бегать улицами, шлепать лапами по снежным лужам, нюхать вытаявшие из снега рукавицы, слушать визг котов, грызть низко повисшие сосульки. Хорошо быть весенней шалой собакой и нестись во все лопатки, и лаять на прохожих не потому, что ты зол, а потому, что рад.

Вкусно лакать из первых луж.

Хорошо влюбиться в болонку, которую выпускают гулять в подстеженной шубке, оставляющей открыты-

ми тонкие ее лапы и пружинку хвостика.

Можно долго ждать, когда вынесут ее. И кинуться навстречу, вывеся язык и пыхтя от изобилия весенних чувств. Пестрый, выросший в огромного, но пресмешного пса, бегал по весеннему городу и влюблялся.

Сначала он влюбился в ту болонку, что хозяин выносил гулять в кармане пальто, чтобы она не пачка-

ла лап.

Болонка глядела на всех из этого удивительно глубокого кармана, дышала свежим воздухом и лаяла.

— Ты не лай, а дыши, Миля, ты дыши, — внушал

ей хозяин.

Но та лаяла на всех, даже на Пестрого. А тот брел за хозяином удивительной собачки и принюхивался к его карману. Хозяин кармана не гнал прочь. Он смеялся и говорил:

— Что, брат, любовь не картошка... Ах ты, грузовик.

Тяв-тяв! — кричала болонка.

Хозяин болонки сочувствовал Пестрому. Он брал в

другой карман хлеб или большую кость, завернутую в газету. И угощал его.

Пестрый так и ходил за ними — с костью во рту и

нежностью в глазах.

— Адью, — говорил ему болонкин хозяин, возвращаясь в подъезд, пропахший кошками, и оставляя Пестрого за дверью. — Сильвиль, как говорят французы! — смеясь, кричал он ему, высунувшись с балкона, через полтора или два часа. — Что значит: «Жизнь есть жизнь». Держи! — и бросал сахар или конфету, иногда даже шоколадную.

Но собачка не покидала кармана. Легкомысленный Пестрый влюбился в бульдожку, толстенькую, французскую. Он понравился ей, но их жестоко разлучили. Это не разбило сердце Пестрого: он немедленно проникся симпатией к овчарке. Та скучала на балконе третьего этажа в том же доме, где по нему тосковала бульдож-

ка цвета модных ботинок.

Овчарка глядела на Пестрого сверху: он казался ей красивой таксой. Пестрый созерцал ее снизу. Приходил он часто. Хозяева овчарки заметили его и назвали Клеопатриным поклонником (овчарку звали Клео-

патрой).

Та не сердилась на Пестрого. Ее сердце победила неотступность и его многочасовое сидение в снеговой луже под балконом. Но когда ее вывели гулять, Пестрый увиделся ей совсем другим, нежели с балкона. Запах был тот же самый, но вид, вид!.. Поклонник оказался до отвращения длинноногим и лохматым. Клеопатра со злостью принялась его рвать и грызть — Пестрый едва унес ноги. Несколько дней он пролежал в стружках, зализывая раны. И Клеопатрины хозяева говорили всем по телефону, что Клеопатра «заела» насмерть поклонника.

Через три дня Пестрый снова бегал по городу. Но Клеопатра выбила дурь из его головы. Его тянуло

серьезное — лесные запахи, приходившие в город вместе с ветрами. Он выходил к ним навстречу, на окраину. Там видел лес. Весна входила в него проталинами и остекленелым снегом, резавшим лапы. Пробегавшие шайки собак звали с собой, но Пестрый не шел, оставался на опушке: сидел, смотрел, принюхивался.

Лес манил Пестрого, но он был слишком осторожен, чтобы просто так войти в него. И все же стал приходить на опушку и смотреть в темноту высоких древесных

СТВОЛОВ

Потом вскакивал и убегал BO BCC лопатки. Но ходил.

Чтобы попасть на лесную опушку, надо было перебегать речку. Подо льдом плескалась ее невидимая вола.

Пестрый то слушал воду, то долго следил, как сороки и вороны пролетают в лес. И, судя по всему, ничего с ними плохого не случается.

...Белому псу — в снах его — также виделся лес. Будто идут они в него с хозяином и вдвоем ищут грибы-боровики. Он, если хочет получить конфетку, должен найти гриб и полаять на него.

Белый пес тихо лаял и бежал, бежал впереди своего давно умершего хозяина, бредущего за ним с кор-

зиной

Весной трудно добывать еду в лесу. Лапы проваливаются в снег, ледяная корка кровянит их. Хочешь не хочешь, а приходилось бегать в город, к мусорным ящи-

кам. Весна гнала Стрелку в город.

Еще одиночество: Стрелка попыталась дружить с лисами. Но те не верили даже собаке, жившей в лесу. Убегали. И однажды злющий красный лисовин прокусил ей лапу. Стрелка тотчас порвала ему ухо и ушла на трех лапах в город. Но, сытой вернувшись в лес, об-

радовалась его тишине и покою.

Как-то ночью она бежала из леса к одному зна<mark>ко-</mark> мому ящику. И вдруг учуяла Пестрого, это был запах не горьковатый, щенячий, а сильного, крепкого пса. Стрелка была усталая и голодная, с ободранными в

кровь лапами. То и дело она садилась и зализывала их. Она чувствовала себя несчастной, одинокой, голодной. Ей хотелось твердой помощи от сильного пса, который бы бежал с ней рядом.

Она остановилась, не зная, куда идти: к мусорному

ли ящику или по следам Пестрого.

Хотелось есть. Очень! Но Стрелка побежала по следу Пестрого. Она теряла след в густой вони разлитого машинного масла и бензина и находила вновь.

Подбежала к промтоварному магазину.

Шла весенняя глухая ночь. Со столба, поставленного напротив магазина, лампа бросала широкий желтый круг. В нем блестели ледяные острые корочки.

Стрелка обошла световое пятно стороной. Подошла к воротам. Принюхалась — запах Пестрого. Вот огромным клубком он подкатился, дышит в щели... Заску-

лил, он вспомнил ее.

Пестрый кинулся в сторону, к дыре в заборе — Стрелка встревожилась и перебежала улицу. Там и стояла. Видела — в щель, визжа, протискивается крупный пес. Застрял, вертится, вырвался.

Пестрый перебежал дорогу прыжками. Но чем ближе он подходил к Стрелке, сжавшейся в ком, тем мед-

леннее шел. Наконец лег на брюхо и пополз.

Лизнул ее в морду, Стрелка отпрыгнула. Подошел — она отбежала. Погнался — Стрелка бежит.

Он бежал за ней, но Стрелка и с больными ла<mark>пами</mark> легко уходила от него в ночь.

Они выбежали за город. Там, запыхавшись, <mark>долго</mark>

сидели — она на лесной стороне речки, он по другую

сторону, что ближе к городу.

К Пестрому неслись бодрые стуки города, а на той стороне речки висла, как туча, лесная страшная тишина. И оттого Стрелка казалась ему таинственной и тоже страшной. Она манила, она и пугала его.

Пестрый ощетинился и зарычал. Попятился. Побежал — Стрелка заскулила ему вслед.

Пестрый бежал не останавливаясь. Он вбежал в го-

родской центр. Хорошо! Светло!

 Мохнашкин!.. Мохнашкин!.. — позвал его ночной милиционер. Он прозяб, и ему было скучно бродить од-

ному. — Подь сюда! Конфетку дам, — звал он.

Пестрый вдруг повернул и крупными прыжками унесся обратно к речке. Выбежал на берег — пусто. Стрелка ушла. Он перебежал к лесу и попятился. Город он знал, жил в нем, а вот лес он не знал.

Ощетинясь, Пестрый убежал на городскую сторону речки, там и лег. Утром его спугнула проезжая машина.

А когда он вернулся к магазину, его ругал сторож. Схватив за шиворот, он шлепал Пестрого ладонью и

приговаривал:

— Будешь убегать? Будешь? Будешь?..

Пестрый тихо повизгивал. Не от слабых ударов, а от

того тоскливого, что родила в нем ушедшая ночь.

Весь день он ждал следующую ночь, но Стрелка не пришла. Тогда под утро Пестрый пришел к ламповому кругу и сел в него.

Он сидел, ясно высвеченный и далеко видный.

Прошла мимо тяжелая машина, громыхнула кузовом, ничего плохого не сделала. Прошагали веселые полуночники. Где-то очень далеко и красиво свистели милицейские свистки.

Ходили коты.

Пролетела сова, с гулом ударилась о провод и упала поблизости. Коты напали на нее. Они долго грызли сову, затем потащили ее куда-то. В темноте произошла ужасающая драка между котами — с криками и визгом, с дикими воплями.

Тогда и Пестрый завыл.

Он выл неожиданно тонким и дребезжащим голосом. Разбуженный им сторож вышел и постоял рядом,

держа ружье, будто метлу или лопату.

— Ночь-то, ночь... — сказал он, широко зевая. — Звезд-то сколько высыпало. Весна... Ты, часом, не бесишься? — спросил он Пестрого и подумал вслух: — Прививку тебе сделать, что ли? А? Пойдем-ка спать, парень!

Пестрый ушел с ним в теплую сторожку. Заснул. Спал он долго — начался день, и пришел кладовщик.

Выгнал.

Пестрый сходил к столовой и поел из ящика вчерашних макарон в томатном соусе. Затем убежал к лесу и долго сидел на опушке.

Днем лес не был страшным. Знакомые вороны перелетали с макушки на макушку и кричали знакомым

криком.

Пришла Стрелка. Шла она из города и походила на долгоногую лисицу. Подошла и обнюхала его морду, определяя, что он ел. Пестрый лизнул ее в нос, Стрелка побежала, оглядываясь и зовя.

Пестрый стоял в нерешительности. Стрелка вернулась и сама лизнула его. И теперь уверенно потрусила

в лес. Не оглядываясь.

И Пестрый шел за нею — в мир незнакомых ему

запахов.

Шел настороженный, на прямых лапах, готовый к

внезапному прыжку назад.

Запахи обступили Пестрого. Они затопляли его, обволакивая, все незнакомые, дерзкие запахи. Они завихрялись, то шли на него стеной и разбегались вокруг узкими струйками. Пахло все: разбухающие почки берез и осин, шел крепкий, самоуверенный запах сосен.

Наконец собаки пришли к стогу. Его темная куча сначала напугала Пестрого. Он остановился. Стрелка пробежала к этому темному, исчезла в нем (Пестрый ощетинился) и бежит обратно, насмешливо раскачиваясь на бегу.

Хвост ее и дразнящий язык болтаются из стороны в сторону... Пестрый обнюхал ее, вздыбив шерсть, — она снова показалась ему чужой и страшной. Но понял — она смеется над ним. Пестрому не хотелось быть смешным. Он, щетинясь, подошел к прелому стогу, понюхал и вполз внутрь, откуда пахло Стрелкой. И нашел там округлое и теплое логово. Стрелка тоже вползла, собаки легли рядом, вытянулись и вдруг уснули.

Очнулся Пестрый неожиданно. Ему показалось, что его поймали и крепко держат и рядом что-то мягкое и страшное. Но Стрелка лизнула его в морду, и Пестрый успокоился. Он лежал и глядел в отверстие лаза. Видел — наступает ночь, и в ней растворяются темные

деревья.

Утром собаки вышли из логова на мороз. В воздухе, не то падая, не то взлетая, висла блестящая морозная пыль. Она прикрыла деревья, делая их незнакомыми. И если бы Пестрый был человеком, он бы сказал:

— Здесь удивительно красиво...

Вдруг Пестрый уловил странный, с привкусом затхлости и гнили запах. Он шел из талого снега. Стрелка бросилась на запах, разрыла снег и съела мышь. Пестрый всегда учился быстро. Стрелка поймала еще одну мышь, он проследил ее движения и тоже поймал. Бросил — мышь лежала на снегу мертво, но хвостик ее дрожал...

После этой странной для Пестрого охоты Стрелка растянулась на солнцепеке. Она грелась и зализывала

лапы. Ёй было тепло и покойно.

Пестрый же бегал вокруг стога и обнюхивал кусты, деревья. Поискав, он понял — нет здесь мусорных ящиков, а еду нужно добывать. И убежал к городу. Вот речка. Подо льдом она тихо шумит.

Он сел и глядел на город.

Поднимался дым, пахло машинами и мусорными

ящиками, полными еды. Где еда, там и нужно жить.

Подошла Стрелка и села рядом. Она скулила, зовя, и убежала в лес. Пестрый тяжело бежал за ней он не привык еще к легкому быстрому бегу, которым бегают звери, живущие в лесу. Но сделал выбор!

В лесу пошла его жизнь, полная охот, игр, любви,

удач, неприятностей.

Снежная Весна вошла на его глазах в лес проталинами. Пришла голая Весна с набухшими почками, с очнувшимися комарами, с прилетевшими горихвостками.

Выходили на солнцепек муравьи, рыжие и черные, расцветали желтые мать-мачехи, летали бабочки — лимонные и крапивницы. Оживали мухи. Они садились на кончик носа, нахально лезли в уши.

А после Голой Весны закричала кукушка о том, что

идет-идет Зеленая Весна.

Собаки видели, как женились барсуки, по-весеннему играли зайцы, токовали глухарь и селезни, ухаживая за утками, шавкали на снежных лужах, на токах. Хохотали белые куропатки, а мелкие птицы уже завивали гнезда.

Охотиться на лесных зверей и птиц, по-весеннему

шалых, было легко.

Мышей Пестрый ловил быстро. С дичью покрупнее приходилось труднее, но Пестрый соображал. Это он, а не Стрелка проследил перелеты тетеревов на ночевку, он предложил охотиться на молодого барсука, он выгнал из норы, щипля за ляжки, крупного лисовина.

Нора стала свободной, и они поселились в ней.

Пестрый, обнаружив, что зайцы убегают кругами, ввел охоту из засады. Он находил, и вспугивал зайца, и ложился в кустах. Затанвался.

Стрелка же, долгоногий и легкий на ногу зверь, гна-

ла зайца, лая свежим голосом.

Эхо отзывалось ей. И какой-нибудь охотник, блуждая по лесу просто так, из интереса, прислушивался к звукам гона и ухмылялся. Он думал, что вот забежала в лес собака-дура и развлекается. А между тем шла серьезная охота. На первом или втором кругу зайца в охоту вмешивался Пестрый.

Заяц, не подозревавший опасности и скакавший полегонечку, вдруг обнаруживал крупного пса в нескольких шагах. Ужасом сжималось его сердце, начи-

нался смертный пробег.

Пестрый даже научился ловить сорок. Он ложился в весенние травы, около брошенной кости — манил. Лежал мертво.

Но вот белку ему никогда не удавалось схватить. Пестрый приходил в неистовство, когда белка дразнила его с ветки.

Он прыгал, лаял, метался. Стрелка в это время смотрела с широкой ухмылкой. Она не могла смеяться, лишь вздергивала верхнюю губу. Уши, вечно настороженные, вдруг распускались и опадали. Стрелка валилась на спину, а Пестрый, опомнясь, бежал к ней танцующей пробежкой, мотая головой и хвостом.

И они начинали игру — бегали друг за другом, шутливо грызлись. Потом ложились рядом и лежали, ши-

роко и блаженно раскрыв пасти. Дымок вырывался из них — весна была хоть и сол-

нечная, но с северо-восточным морозным ветром.

Но временами Пестрого охватывала тоска по городу. Он уходил на опушку и сидел там, глядя на город, вдыхая его дымы и запахи. Многие видели его сидящего. Заговорили о появлении лесных собак. Старший

егерь, прослышав, пришел смотреть. Но Пестрый был счастливчиком — пока егерь сидел в засаде с малокалиберкой, Пестрый и Стрелка перебрались в город. Там жили неделю около столовой. Они усердно питались, отъедались на будущее.

Ночевали на складе магазина «Промтовары». Сторож не забыл Пестрого, пускал в калитку вместе со Стрел-

кой, говоря:

— Вот, теперь ты семейный человек.

Пестрый вилял хвостом.

— Это хорошо, правильно, — одобрял сторож. Ну-ка сгрызите этот сахар.

И угощал...

Зеленая Весна пришла с третьей волной прилетающих птиц, с посадкой картофеля и капусты. Потеплело. Теперь можно было натаскивать Гая по куликам вода в болотах согрелась.

Речная, что и говорить, была еще холодна и мутна, но болота мелки и недвижны, они легко прогреваются. И для полевой дрессировки удобны — открыты, и видно,

правильно ли ведет себя пес.

Иванов горячо взялся за дело и ожидал быстрого результата. Но на болоте Гай переменился. Дома он был мягок, не нахвалишься, а здесь вдруг стал сердитым, хулиганил.

Так вот почему ты скуластый! — горестно изум-

лялся Иванов. — Это у тебя дурь выставилась! На болоте Гай забывал, что стоял всю зиму над миской, над брошенным сахаром и просто так, по приказу. Он причуивал болотных куликов — а чутье у него было свежее и громадное — и кидался ловить их.

Гнался, не слушая криков, так был горяч. Понять, почему он должен не ловить, а замирать над куликом, делая стойку, Гай не мог. Врожденную в поколениях стойку ломало страстное желание охотиться для себя.

Но охотиться-то он должен был для человека.

Опытный Иванов всегда отказывался учить собакфлегматиков. Знал — это спокойно, но из них хороших собак не выходит. Пусть уж страстная, пусть непослушная собака. С ней тяжело, учить ее трудно, но толк будет. И все же Гай его утомлял.

Иванов знал по опыту: безумная гонка по болоту пройдет, стоит Гаю понять, что ему надлежит делать на болоте и почему именно. Вот только когда он поймет? И не станет ли за это время его привычкой сумасшед-

шая гонка за птицами?

Иванов мог себе помочь. Он был изобретателен.

С тех пор как прежний натасчик Фанов бросил полевую натаску, Иванова осаждали владельцы молодых легашей. Частью по доброте, частью для приработка, чтобы старуха не кричала, что вот-де опять покупает

ружье, Иванов брался натаскивать.

В июне он набирал пять-десять щенков, а не удалось отбиться, то и пятнадцать. С этой воющей, лающей, кусающей ватагой он ехал куда-то в дальнюю деревню на попутном грузовике. С собой брал куль овсянки, кило витаминов А, Б. С, Д, рыбий жир (бутыль) и ящик крепко посоленной трески. С этим грузом исчезал, как в воду.

Что он там делал в деревне со щенками, неизвестно, но привозил их обратно рабочими собаками, без памяти

влюбленными в него.

Он выводил их на полевые испытания, они брали там

третью степень, а иногда и вторую.

И хозяева вручали ему расчет, благодарили. Секрет же успеха Иванова был прост: он любил собак, не бил их, а те лекарства, которыми успоканвают нервных людей, давал собакам.

И щенки, успокоенные, не отвлекались незнакомой

летней обстановкой, а быстренько схватывали азы охот-

ничьей мудрости и начинали работать. Слава Иванова-натасчика росла. Но к Гаю он не хотел применять эту методику: до середины июля, когда он набирал собачью команду, времени было достаточно, да и хотел Иванов натаскать пойнтера Гая «чистым» методом, похвастаться перед Алексиным: «Вот мы ка-кие талантливые! И пес и я!»

Даже соблазн взять своего пса, чтобы он показал

Гаю, как работать на болоте, Иванов отринул. Когда он с Гаем впервые пришел на болото (накануне здесь Алексин нашел дупелей), они вспугнули камышницу, птичку размером с наперсток. Так себе, ерунда, птичка-свистулька, но с запахом дичи. За нею Гай рванулся так, что и болотную воду поднял буруном, и осока засвистела.

Исчез в кустах. Что он делал в тальниках, неизвестно, но выскочил из них, почти держа хвост впереди ле-

тящего дупеля.

Иванов сначала восхитился: страсть-то, страсть! а затем пришел в бешенство. Он засвистел, кричал, звал Гая. Погнался за ним... Когда Иванов поймал Гая, тот дрожал. В выпученных глазах его травяным огнем светилось охотничье безумие.

Иванов увел его с болота — в наказание.

На следующий день они пришли на болото с веревочкой. Иванов привязал ее к ошейнику Гая с расчетом наступить, когда тот погонит птицу. И не успел насту-

Упрямый, как все натасчики собак, он неделю ходил с веревкой и надвязывал ее. Суть метода заключалась в том, чтобы заметить приостановку Гая по дупелю и за веревку придержать его. И из этой-то приостановки и вырабатывать привычку делать стойку. Но, когда Иванов не смог угнаться за веревкой длиной в тридцать метров, он вышел из себя.

Они здорово поругались с Гаем, а там и подрались

среди болотных кочек.

Сначала Иванов всыпал Гаю. Крепко. Затем тот взялся за Иванова: старику приходилось тяжело. Отбиваясь и упав два раза, он отступил к шалашу огородного сторожа. Тем и спасся.

Гай, рассвирепевший и не желавший простить порку, долго ловил Иванова, подкрадываясь к нему с разных сторон шалаша. Но Иванов вовремя убегал, примечая то выдвигающуюся тень, то горящий глаз пойнтера.

«Выкормили битюга на свою шею, — бегая, горько думал Иванов. — Друг Алексин... В саду возится, а я

сражаюсь с этим чистокровным драконом».

...Дома Иванов успокоился, и они с Гаем стали

друзьями. Водой не разольешь!

Больше Иванов не горячился. Он пил успокоительные таблетки. Он твердо (но мягкой рукой) направлял Гая. Тот, благодарный и любящий (и помня порку), спрашивал глазами его совет.

Дупелей он больше не гонял, явилась стойка. Мертвая! Такую и положено было иметь пойнтеру высоких

кровей.

Затем Иванов совершил тайный грех: убил из-под Гая дупеля. Никто не заметил его выстрела, не оштрафовал, обошлось, слава богу. Зато Гай понял, для чего

он работает на болоте.

Все поняв, Гай заработал, как чудного устройства механизм. Иванов в июле, несколько отдалив натаску других щенят, прошел с Гаем и кое-что из того, что положено охотничьей собаке проходить лишь на второй год обучения, то есть работу по тетеревам, Гай воспринял.

— Ты мое утешение, — бормотал ему, возвращаясь с болота, Иванов. Он забыл все прежние неурядицы, Глаза его были влажные: Гай показывал работу не

просто хорошую, но исключительную.

Алексину, Иванов за вечерним чаем говорил нет, не зря он старался достичь высот в обучении собак, попался-таки ему Пес с большой буквы. Он его, Иванова, прославит... Милый Гай!..

всего происшедшего Отдавая тетрадку с записью

(исключая таблетки), Иванов говорил:

— Нет, мы с тобой не напрасно жили: такой пес!

— Положим, моя Дина была лучше Гая, — хорохорился Алексин, поднимая на макушке волосяной хо-

Иванов принимался описывать Алексину, как Гай ловил запах бекаса за сто шагов. Рассказывал, что он шел следами кулика-ручейника, а следы были третьедневочные.

— Что же, не продавать его? — спрашивал Алек-

син. — Ты возьмешь? А?

— Продавай, ладно! Я... я недостоин. Гаю нужен

молодой охотник, а я... жизнь моя кончается.

И всхлипнул. Теперь старики часами перебирали знакомых городских охотников, но не находили среди них достойного. Так себе охотники, воскресники, бухалы да ахалы.

Это угнетало стариков.

Гай же был счастлив. Он видел сны, в которых искал

Наконец Иванов припомнил пригородного старшего егеря, человека, влюбленного в охоту, в собак, в лес. Когда-то он работал инженером-электроником, но бросил свою инженерию и электронику. И ушел в егеря. Переродился!

— Жена ero собачница, — говорил Иванов.

 Он что, фанатик охоты, твой егерь? — спрашивал Алексин.

— Но дело охоты знает не хуже нас с тобой. Он мо-

лод, силен, у него все впереди.

— Сколько ему?

— Сорок лет. Завидуешь?

— Счастливчик!

- Он такой. Удачливый во всем: в стрельбе, в ружьях...
 - Бывает.
- Он проохотится всю охотничью карьеру Гая девять лет. И еще двадцать лет охоты впереди с другими собаками.

Старики обсуждали вопрос недели две, перебирали

все «за» и «против» и наводили справки.

- Отдадим Гая даром! предлагал восторженный Иванов.
- После наших хлопот? спрашивал Алексин. Это нас, конечно, не разорит. Но (он поднимал палец) все, что достается само собой, не ценится и не бережется.

— Пусть-ка посмеет не беречь!

— Ничего, ничего, пострадает карманом. Пусть поднатужится, беря Гая. В конце концов, мы с тобой едва ли вернем наши расходы.

И они дали знать стороной, что-де продается по случаю болезни владельца (Алексина) пойнтер высоких

кровей и таких-то качеств.

Егерь объявился в момент, приехал на «газике» в час ночи. Наутро он уезжал обратно с собакой, отдав двести пятьдесят рублей и думая, что недодал Алексину еще столько же.

- Бери, бери, заслужил, говорил Алексин, отсчитав Иванову сто двадцать пять рублей. Отдай их жене.
- Дудки, сказал Иванов. Я продам свой тройник, приложу деньги и возьму тот, «шогрен». Помнишь Суслова? Он помер, а жена распродает его оружие.

— Опять новое ружье? Ты с ума сходишь!

— Друже, — говорил ему Иванов. — Я люблю ружья. А ты, ты сухарь, ты с одним ружьем на всю жизнь! Не понимаю тебя...

— Я однолюб!

— Ты просто деревяшка...

11

Полундин, изобретатель клея для костей, завтракал,

читая фенологический очерк.

Газета была за семнадцатое июля, очерк развертывался: «В поле и лесу все молодо, цветет лесное крупнотравье — борец, пучка, дудник, — и кончают петь птицы. Им уже некогда развлекаться, они выкармливают птенцов, продолжая эстафету жизни...» Эстафета жизни... Полундин выпил еще кофе, съел

еще один рогалик с маслом. Крошки он смел со стола

в ладонь и рассеянно бросил их в рот. Затосковал.

Вот, добряк-автор, подписывающий заметки «Серый

воробей», осведомил его, что уходит лето.

Да, уходит еще одно лето, практически не замеченное им. Потеряна лучшая часть года, не выслушаны песни и свисты малых птиц, не собраны в букет любимые

Он не был даже на рыбалке, где так хорошо думается. И не будет — дела! Сколько их... Опыт с клеем заканчивается, накопилась тьма наблюдений, анализов,

рентгеновских снимков. Горы снимков.

Эстафета жизни... А перед ним, хирургом, всегда маячит чужая смерть. Теперь она, проклятая, дежурит у клетки. В ней проживает Белый пес... Да жив ли он?

Приехав в НИИ, Полундин вбежал в свой кабинет. Он бежал тревожась. Но пес был жив. Он сидел тихо и глядел в темный угол. Полундин увидел, что глаза собаки запали и пес сжался в тайной борьбе со

Бедный пес! И Полундин, говоря: «Хороший пес, славный, милый пес», — протянул было руку погладить и не решился. Пес заскулил, побрел к себе в клетку,

где лежала подстилка и были поставлены алюминиевые чашки (одна со сливками, принесенными ему Полунди-

ным). А ведь ходит. Ходит!

Последние анализы мочи и рентген показывали, что клей рассосался и вышел из собаки вон. Это даже не повредило почки. Возник, правда, легонький нефроз левой почки, но он уйдет.

Намаялся Белый пес — лубки, операции, лекарства...

— Бедный ты, бедный старик, — вздохнул Иван Сергеевич, поднимаясь и растирая поясницу. Задумался... Итак, клей рассосался, а рентген показал, что теперь кости собаки — крепкие кости. Хоть двадцать лет живи! Удачей был новый состав клея. Победа! Успех!

Клей заменит нынешнюю грубую гехнику сращивания костей, свинчивания их шурупами, соединения штырями из металла.

Но за победу надо платить: Белый пес умирал. Старость. Пришел его срок. Сколько ему лет? Ветеринар Котин сказал, что двенадцать или пятнадцать: резцы стерты, клыки сносились.

Старичок наш на пределе, ему каюк, — сказал ветеринар, моя руки. — Дней через шесть будет готовый

препарат.

Жестоко сказано! Несправедливо к лаборатории, к Белому псу. Но прав ветеринар — пришел срок Белого пса, и с этим ничего не поделаешь.

12

Пестрый застрял в городе на целую неделю.

Он познакомился со многими собаками. Они же принюхивались к Пестрому, пахнущему лесом, смолой, пойманной и разорванной дичью, и ходили за ним, словно мальчики за удачливым охотником, несущим домой много дичи.

На окраине в заброшенном сарае (Пестрый перебрался в него) теперь ночевали не две, а пять собак:

Пестрый, Стрелка и три другие.

Был старый пес густо-черного цвета, был очень веселый и хромой щенок. Третья же собака низкая, приземистая, длинная, была помесью таксы и фокстерьера. Она попала в город проездом. Хозяин пустил ее прогуляться у вокзала, а сам пил пиво да глядел на нее. Но отвлекся, заговорился, а когда хватился собаки, надо было срочно бежать в вагон. А собака осталась.

Затем пришли еще две собаки, обе помеси дворняг с

овчарками.

Это были очень сильные, крупные псы. Вели они себя непереносимо грубо. У них Пестрый научился драться и рычать, ощетинивать не только загривок, но даже XBOCT.

Затем — стаей — они ушли в лес. И такая была

их удача — днем раньше старший егерь снял засаду. Он ушел домой, а удачливый Пестрый вбежал в лес,

и за ним тянулась длинная цепочка собак.

Она распалась на опушке. Пестрый и Стрелка ушли глубоко в лес, а собаки побегали, поиграли и повернули в город. Но с тех пор они часто встречались с Пестрым и постепенно привыкали к лесу. Одна за другой эти собаки уходили в лес.

Первым ушел щенок.

Ласково повизгивая, он бежал за Пестрым. Когда отставал, он начинал скулить, и Пестрый ждал его. Щенок поселился бы рядом с ними, но Стрелка не пустила его в логово. В конце концов щенок стал жить в стогу, питаясь мышами, бабочками, кузнечиками. Пестрый уделял ему часть добычи.

Это был добродушный щенок — подошел к бредущему лесом егерю и лег перед ним на спину, скуля и прося взять отсюда домой. Он лежал, стуча хвостом и повизгивая от радости. Ему хотелось одного: чтобы его увели в тот дом, запахи которого пропитали одежду егеря.

Егерь рассматривал щенка в полной растерянности.

То, что предстояло, не радовало его.

Правила охраны леса были суровы — бродячая собака должна быть убита. Иначе она станет хищником в лесу, будет отнимать законную добычу человека и разносить болезни. Но стрелять во взрослую собаку это одно, а в глупого и доверившегося щенка — совсем другое. Был выход — обойти правило. Скажем, взять к себе.

Или отстегать его прутом, да так, чтобы он страшился человека.

Егерь, сняв ружье с плеча, разглядывал собаку.

Взять домой? Но она больна, испорчена шатаниями. Оставить? Будет нарушен закон. Егерь кисло мор-

щился. В конце концов он выстрелил и ушел.

Первыми к убитому щенку явились жуки-могильщики, те, что похожи на опилки. И начали зарывать его. Затем пришел и обнюхал щенка Пестрый. С ним была Стрелка.

Увидев мертвого, она заметалась, манила Пестрого.

звала его уходить скорее.

Она лаяла на него, даже кусала. И Пестрый пошел за нею. Они ушли в самые дальние лесные овраги. Там нашли другую пустую нору. Долго работали — углубляли ее, ходили перемазанными в глине. Они поселились в этом глубоком овраге. Стог теперь заняли черный пес и отставшая от поезда собака. С ними пришли еще три: два щенка и помесь борзой и дворняги — огромный пес, желтый и сухопарый. Они повели жизнь полугородских собак, ту, которую с уходом в дальний лесной овраг окончательно бросили Пестрый и Стрелка.

Собаки — черный пес и другие — кормились в городе и учились охотиться в лесу. И если им везло и они

бывали сыты, оставались там неделями. Голодные же, они уходили в город и копались в мусорных ящиках.

Шло лето, темнело поздно — их увидели многие. И даже старший егерь. Он стал искать собак и находил их следы, прислушивался к шуму игр и драк. В конце концов он нашел стог-общежитие и даже сфотографировал его. К тому времени стая увеличилась до семи собак. Правда, щенков поймали в городе — сетями — работники треста очистки, а полуборзую приманил деревенский мужичок. И увез ее в степное далекое село охотиться на лис и зайцев. Но шли и шли к стогу другие собаки. И однажды егерь прихватил с собой автоматическую мелкокалиберку. Он лег, положил ствол винтовки на пень и всмотрелся в оптический прицел.

Сердито морщась, он навел его синий пронзительный взгляд на голову дремавшей собаки. Нажал спуск: собака охнула и откинулась. Егерь тотчас же перевел прицел на другую собаку — он был отличным стрелком. Из пяти спящих на угреве собак он взял трех, сбежали лишь черная и полутакса. Да и та лишилась кончи-

ка хвоста.

Егерь подошел к стогу, бросил на него убитых собак и поджег, карауля огонь, чтобы не убежал в лес. Он был доволен своей отличной стрельбой и недоволен сделанным...

Зато теперь старший егерь был уверен: собаки не придут в его лес. Они перестанут браконьерствовать в его лесах. А вот Пестрого и Стрелку егерь не искал. В этом и была его ошибка.

13

Коллеги поглядывали на собаку, ждали ее неизбежную смерть и обязательное вскрытие. Любопытство грызло их, вызывало споры. Что клей? Как он спаял кости?.

Но Полундин за время работы как-то сроднился с собакой: Белый пес был покорен и терпелив, и Полундин ощутил вину. У этого пса люди отобрали молодость, преданность, тело. Он похоронит пса. Черт с ним, с клеем! И Полундин уже присматривал место похорон в саду института. Он нашел его около березы. Она роняла превосходную дырчатую тень.

Шумят листья, поют кузнечики. Было и другое хорошее место, под дубком, что так бодро принялся расти в их саду. И пришел этот день — собака упорно лезла в темный угол, она собиралась умереть. Полундин сел

рядом с ней.

Он тихо, ласково и долго говорил, успокаивал ее словами. Так дождался смерти. Потом взял унесенную из дома простыню и завернул в нее Белого пса. И понес в сад, припоминая, где их дворник ставит лопаты.

Но его караулили. В дверях Розманов остановил и взял его за плечо. Рука была твердая, жесткая, недоб-

рая. Пальцы так и впились в мускул.

— Слушай, — тихо сказал Розманов, — не устраивай эмоциональное буйство.

Полундин держал сверток. Розманов говорил:

— И так уже все в институте говорят, что клей — ерунда, самореклама. А ведь это первая удача лаборатории. Да, да, ты любил пса и так далее. Но... надо вскрыть собаку, завершить наше дело...

Не дам! — сказал Полундин и попытался пройти.

Розманов не пустил.

— Так нужно! Знания, не забывай, превыше чувств.

— Это осквернение трупа.

— Ну и что? — сказал Розманов, холодным умом

иногда походящий на марспанина.

Полундин не сердился на него. Он знал его преданность науке. Помнил — обычная, человечья жизнь не интересовала Розманова. «Все время и все клетки мозга, — твердил тот, — нужно отдать познанию».

— Я отдам себя, я жду перелома своих костей, и ты меня склеишь... Пойми, нужно исследовать прочность твоего клея. — Полундин сжал сверток. — Нужно исследовать кости на излом, нужны гистологические исследования...

И был прав.

— Черт с тобой, бери! — сказал Полундин и отдал сверток.

Розманов взял его и осторожно, как ребенка, понес. Полундин шел следом. Он знал — телефон уже надрывается, звонит всем, кому интересен их опыт. И едут сюда люди — на трамваях, в такси, в автобусах. Нехорошо получилось, но, по сути дела, прав Розманов, а не он, Полундин, изобретатель, но не ученый-исследователь.

Сейчас Розманов в клеенчатом фартуке и со скальпелем в руке будет вскрывать и объяснять. Потом коллеги, трудясь до полуобморока, в считанные дни сделают блестящие препараты.

Бедный старый пес, — бормотал Полундин.

...Щенята явились в июне: Пестрый с громадным изумлением нашел их в норе. Потянулся нюхать, но Стрелка выставила его из норы и даже укусила.

Пестрый вылез и лег рядом. Взодрав уши и виляя хвостом, он прислушивался к новым звукам — Стрелка кормила щенят. И Пестрый вдруг понял, что он должен сделать: искать еду и принести ее Стрелке.

Еда должна быть сейчас же, много вкусной еды. Он побежал в город. Часа два спустя с огромным батоном хлеба в зубах (он вынул его из чьей-то хозяйственной сумки) Пестрый был впущен в нору. Ему даже позволили обнюхать щенков.

И у Пестрого пошла суетливая жизнь. Он стал забо-

тливым семьянином, добывал птиц, ловил зайцев. Он то и дело убегал в город и приносил хлеб, колбасу. Однажды принес апельсин веселого цвета - им долго играли щенята. В августе Пестрый научил их ловить мышейполевок и показал им, как надо скрадывать уснувших в кустах зайнев.

Ўчил их всему, что умел делать сам. Стрелка, склонив голову, глядела на него с одобрением. А в стороне лежали и смотрели равнодушные ко всему черный пес и полутакса. И топтался, повизгивая от возбуждения.

щенок, увязавшийся за Пестрым в лес.

В сентябре дюжина собак поселилась в глубоком овраге. Это были осторожные, проученные псы. Днем они

крепко спали, охотились же только ночью.

Проследив их, сунулся было старший егерь в овраг, но тот был глубок и неудобен, с болотом посредине. Егерь поскользнулся, упал и поломал ружье. Он махнул рукой на собак — временно, до зимы, когда болото замерзнет.

14

- Это же сумасшествие, ворчал Алексин. Охотиться с легашем глубокой осенью? Где он найдет дичь? Какая птица выдержит стойку? Подпустит к себе? Он что, взбесился?
- Друже, не наша это забота, успокаивал Иванов. Он разлегся в кресле и ухмылялся был доволен. Алексин вынул из шкафа ружье, сморщился и поста-

вил обратно.

— А что я возьму? «Зауэр» в четыре кило весом? Его нести мне сердце не дает. Вчера перебои были, камфару пил.

— Верное возражение. Знаешь, у егеря бельгийка есть, двадцать восьмого калибра, бескурковка, вес в

лва кило.

— Детское ружье? Не хочу. Ну, стреляй пальцем!

Дело было такое. Старший егерь пригласил их по-охотиться. С удобством: он располагал машиной. «Га-

зик» стоял у подъезда.

Алексин долго одевался. Наконец старики вышли к машине. Впереди шел Алексин с сеткой, полной вкусных продуктов (колбаса, сыр, яблоки, конфеты). За ним Иванов нес огромнейший рюкзак и зачехленный, недавно им купленный, шведский дробовик — автомат «шогрен».

Он был в кирзовых сапогах сорок пятого размера, в ватнике и в брезентовом плаще поверх него. «Не человек — гора! Как он здоров!» — завидовал Алексин.

Они втиснулись в «газик», и шофер рванул с места так, что Иванов клюнул носом в спину друга, севшего впереди.

— Как вы там охотитесь? — спрашивал Алексин. — Хорошо охотится один Ефрем Иванович, да ведь у него и собака. Мы же охотимся на городского браконьера, это наша осенняя дичь.

- И... много их?

— Изрядные трофеи: за месяц двадцать пять ружей отобрали, а убегло еще столько. Автомобилистов отловили восемь штук. Но вы хорошо поохотитесь.

И они заговорили о сложностях осенней охоты в

близких к городу и практически бездичных местах.

— То есть как бездичных? — вдруг обиделся шофер. — Мы куропаток разводим и подкормку устраиваем. Зайцы вам что, не дичь? Их много. Есть один глу-

– Я бью зайцев на дневной лежке, — похвастал

Иванов.

— Надо охотиться по первой пороше, — говорил егерь-шофер, притормаживая машину. Он подвернул

к маленькой деревеньке, выскочившей вдруг из-за поворота. Подвез к дому.

— Здесь наш старшой. Но его нет дома, он в лесу. Старший егерь пригородного леса жил в бревенча-

том доме. Свежем, желтом, пахшем смолой.

Высок был дом. На крыше торчало штук пять скворечников. Их воробьи готовили для зимовки, носили со-

ломины и белые куриные перья.

К остановившемуся «газику» шли от дома гуси — присадистые важные птицы. Охотники вылезли, и Алексин сказал Иванову, что любит гусей, этих полных достоинства птиц. Иванов, усмехнувшись, ответил, что тоже их любит — с капустой да под стопочку.

Охотники прошли в дом. Их встретили собаки егеря: Гай и другие — гончий пес с седлом на спине из пятна черного цвета и лайка, очень рыжая и хитрющая, если

судить по ее раскосым глазам.

Гай был равнодушен, чем обидел стариков.

— И все же он машина для охоты! — сказал Иванов. ...Жена егеря провела стариков в кабинет мужа.

Там был конторский дешевый стол, книжная полка из досок, на которой стояли три издания «Жизни животных» Брема — два на русском, а одно на немецком языках. На стене повис яркий коврик из ленточек.

На этом коврике висело пять штук ружей. Всяких. Была трехлинейная старая винтовка и дробовой автомат. Висели дорогой «зауэр три кольца», гулка шестнадцатого калибра, бельгийка двадцать восьмого калибра — изящное, легкое ружьецо. То, которым Иванов пугал Алексина.

— С этой пукалкой ты заставляешь охотиться меня? — упрекнул Алексин.

— С ней, — ухмылялся Иванов.

Тут жена егеря принесла чай и картофельные ватрушки, еще горячие, и к ним топленое масло.

Старики пили чай и ели ватрушки, поливая их горя-

чим маслом. Поев, стали ждать хозяина. Сидели рядышком — им не хотелось на улицу, где было сыро, ветрено, знобко. Им вообще ничего не хотелось, только бы дремать в этой теплой комнате, поглядывая ружья, то на чучела, что сидят в каждом углу.

Отличные чучела! Превосходные!

Старики разглядывали вечно токующего глухаря, созерцали тетерева, серую куропатку, ястреба, дупеля.

В коллекции старшего егеря был даже рябчик, истребленный в этих местах лет двадцать назад. Но чу-

чело свежее, чистое.

- Голову даю на отсечение, это овражный рябчик, — сказал Иванов. Они заговорили о тех рябчиках, что не улетели с глухарями в тайгу, а ушли в овраги, густо заросшие осиной, черемухой и ольхой. Живут там, а охотники в них не верят.

Прищел егерь, бодрый, красный, пахнущий смолой и потом. Он заговорил о рябчиках, перебравшихся в ов-

раги. Видел их сегодня — живут, не тужат. Умные! На манок их не возьмешь, их ничем не возьмешь, такие заросшие овраги.

После чая и разговоров укладывались спать.

Алексина хозяева уложили на диване, Иванову принесли раскладушку. Постельное белье было свежее, прохладное, приятное, лунный свет то и дело прорывался сквозь бегущие тучи. Поблескивали ружья и стеклянные глаза филина, посаженного на этажерку у окна.

Старики лежали и слушали звуки дома.

Вздыхая, бродил по комнатам Гай, стучал когтями по половицам. Звякал цепью во дворе гончак. Лайка влезла на завалинку и заглядывала в окно.

Она поднималась на задние лапы и смотрела, вырисовывая свой легкий и островатый силуэт на темном

стекле.

Временами она сбегала с завалинки и помогала

лаять гончаку резким и звонким лаем. Гончак вел основную партию голосом могучего колокольного звучания.

Это было красиво.

Старикам после крепкого чая расхотелось спать. Они долго слушали лай собак (он несся в ночи к звездам), потом говорили о ружьях. Иванов шептал другу, что ружья егеря хуже его автоматического «шогрена».

Старший егерь не спал. Он ушел на кухню и там сидел в одном белье, чтобы озябнуть и добыть еще не-

много сна.

Но сон не шел, и старший егерь пил холодный чай

с медом да размышлял об охоте, какой она будет.

Старичков надо удивить, так он решил. Затем поразмышлял о своем — слишком уж близок город, мало зверя и птицы. Скучно!

Пришел Гай и лег к его ногам, грея их. В окно заглядывала луна. Поблескивала железная крыша соседа.

И старший егерь немножко помечтал, как он будет восстанавливать здешний лес, сея березы и сосны. Вот бы еще вырастить такую свирепую крапиву (и посеять где надо), чтобы туристы не вытаптывали лес, боялись. А охота... Ничего, он еще разведет куропаток, серых...

Егерь не мог отрешиться от беспокойства за лес, от разговора со стариками, которые за ужином много го-

ворили о древних ружьях.

Старички находили, что ружья «зауэр» не так уж хороши, толковали, что англичане — вот те выделывали

первоклассное оружие.

Ох эти мудреные, лукавые, обожаемые старички, давшие ему такую собаку! Они многоопытные, беспощадные судьи всех охотничьих собак на полевых испытаниях, на выставках. Какие они охоты пережили! Сколько повыбили дичи, стреляли за одну охоту по пятьдесят-сто куликов или уток-крякух!.. И рядом с четкой мыслыо о завтрашнем дне шли глухие и неяс-

ные мысли о человеке и природе вообще, сейчас и в будущем. К пяти часам утра охота представлялась егерю так: они уезжают в поле. Там есть тетерев, живут и куропатки — штук сто. Правда, места эти открыты всем ветрам, зато старики узнают силу чутья собаки, увидят Гая на открытом месте. Будто в кино.

Итак на рассвете они сядут в «газик» и уедут, а затем побредут с ружьями. Спать некогда. Старший егерь

оделся и занялся готовкой, не беспокоя жену.

Он принес дров и затопил печь, с удовольствием нюхая горький дымок. Это давало ему радость. Острую.

Поставил на огонь котел — сварить овсянку со-

бакам.

Старикам и себе он приготовил завтрак — картошку, яйца и вареную тетерку.

Пахло пищей, стучал крышкой закипающий чайник,

посвистывал носом кот...

Старший егерь вышел на крыльцо. День обещал быть холодным и ветреным. Ежась, он глядел на просыпающееся село: хозяйки затопляли печи. Затем пошел к Алексею — шоферу — и застал того проснувшимся.

— Здорово! — сказал он. — Через полчасика подъезжай ко мне. Затем возьмешь Ивана, с ним заезжайте

в квадрат номер семь.

— Как стариканы? — спросил шофер.

— Спят без задних!

Но старший егерь ошибся — старики проснулись ровно в шесть. Они быстренько вскочили, увидели в окне начинающийся день, холодный, быть может, со снегом...

— Разве собака покажет в такой день хорошую работу? — расстраивался Алексин. — Ветер унесет

запахи.

— Пропала охота, — соглашался Иванов. — Тетерева сейчас все настороже.

Егерь снял ружье для Алексина. С удовольствием:

не ружье — перышко. Двадцать восьмой калибр! Редкая вещь!

Из стола он вынул патроны к нему.

Хороши были патроны— гильзы латунные, сияющие, новенькие, капсюли загнаны до упора, пыжи, чтобы не выпали, залиты пчелиным воском. Сам у пасечника брал. А ружьецо, даром что легкое, бьет недурно,

старик приятно удивится.

Да и много ли старикашке надо? Возьмет парочку куропаток — и за глаза. Себе егерь взял «зауэр» двенадцатого калибра и тихонько прошел в кухню. Мимоходом взглянул в окно — все угадывающий Гай уже сидел в «газике». По временам он выглядывал из машины.

...Они ехали на охоту в молчании, как и положено. Дорога шла полями — сумрачными, оголенными, бесконечными. Небо было мятущееся, серое, низкое, с загадом.

Не поймешь его: то ли оно прояснится, то ли осыплет дождем. Или, чего доброго, снегом.

15

Машина ушла. Охотники и черный пойнтер Гай остались у бурого поля. Огромного, пустого. И если бы не березы на краю его, не далекий лес, то казалось бы, что вся земля — поле.

Лежали вороха соломы. Стерня торчала, будто грубая щетина. Подувал пробными вздохами ветср-сне-

говик.

— Не простудить бы Гая, — встревожился Алексин.

— На ходу он не замерзнет, а кончит охоту — попонку надену. Как бы снег не пошел. — Старший егерь поглядывал на небо.

— Нет, его не будет, — уверил Иванов. — Поясница не болит.

Охотники подождали, когда чутье Гая освободится от бензиновой сладковатой вони и станет свободным и сильным, в миллион раз сильнее человеческого. Пока что они собирали ружья.

Было легко сложить двустволки: раз, два — и готово. Но с автоматом «шогрен» Иванову пришлось мучиться. И несложна была его сборка, да забывчива старость.

Он складывал ружье, и все неудачно. Но сложил-та-ки и зарядил, опуская патроны в магазин один за дру-гим, громко восхищаясь удивительной конструкцией

ружья.

— Итак, план охоты такой, — заговорил старший егерь, — начнем мы отсюда и тихо двинемся к лесу. Нам могут попасть на мушку тетерева и куропатки белые. Может угодить и заяц. Я знаю ваше пристрастие к зайцам, товарищ Иванов, и прошу сдержать нетерпение до ноября, когда шкурка станет настоящей. Иначе штраф. Ваше ружье, Николай Валентинович, я понесу сам и буду его отдавать для выстрела. Не возражайте, обидного здесь нет, с каждым сердцем может случиться. Ну начали. Гай, вперед!

Иззябнувший черный пойнтер рванулся. Прыжком. И тотчас стал, озираясь и принюхиваясь. Затем пошел с грацией сильной и ловкой собаки.

Старики ахнули.

А из голых берез вышел немецкий кургузый легаш,

бородатый и щетинистый.

Повиливая обрубком хвоста, он вел носом по земле, вынюхивая чей-то след. И вдруг стал, а черная птица, трепеща крыльями, рванулась в полет. Тетерев-косач взлетел, обнаружив, что дальше ему бежать некуда, впереди были люди и другая собака.

Хозяин легаша, выбежавший из-за берез, вскинул ружье и промахнулся. Тетерева убил тремя выстрелами,

слившимися в один. Иванов.

Бородатый легаш, виляя обрубком, взял тетерева и

унес хозяину.

Тот подошел к ним («Местный учитель», — шепнул егерь) — сутулый человек в очках. За ним шел другой — толстый и молчаливый человек.

— Полундин, хирург, — сказал он, кланяясь стари-

кам.

Учитель, обиженный своим промахом, с ходу начал издеваться над Гаем. Он говорил, что его Аксель полкилометра вел за косачом, и если бы не дурацкий промах... Вот друг, он свидетель и соврать не даст.

— Я думаю, мы километра полтора прошли, — усмех-

нулся тот.

Было видно — учитель гордится собакой. Он говорил:

— Гай верхочут, он того не сделает, что Аксель сможет. В такую погоду выгодно нижнее чутье.

— Гай нам другое сделает, — сказал егерь.

В это время Аксель, все нюхавший вокруг, без стой-ки вспугнул тетерева. По нему промазал Полундин, но не огорчился. Ничуть.

— Холод! — сказал учитель, уязвленный неудачей собаки. — Птица запах заперла. Ваш пес тоже бы не причуял. Сейчас нужна собака, работающая по следу.

— Что же, я думаю, нам пора, — сказал Иванов. — Гай, вперед! — приказал старший егерь. И соба-

ка пошла в поиск.

Гай понесся по полю, будто полетел низким полетом над этим бурым покосом.

Черная молния! — сказал Алексин.Темп отличный! — отозвался Иванов.

Гай бежал навстречу ветру. Он, как говорят охотники, «шел челноком», то есть сновал туда-сюда, будто в руках невидимого рукодела-ткача.

 Гай — парень умный, — пояснил егерь. — Он все знает, как делать, будто старичком родился... Он знает, что нужно идти строго челноком, так птицу не пропустишь. Вот и идет.

— Это я его научил ходить математически точно, —

хвастал Алексин.

Туда-сюда, туда-сюда... Гай сначала раскидывал свой поиск метров на тридцать пять в одну сторону и на столько же в другую. Но егерь махнул ему рукой, и Гай расширил поиск. Теперь он прочесывал полосу в сто—сто пятьдесят метров ширины. Шел быстро, и старикам даже казалось, что на бегу он не касается земли, оставляя между быстрыми лапами и стерней серую полоску воздуха.

Й вдруг стал на полном ходу. Твердо, будто мгновенно отлитая из черного металла статуя, памятник всем

на свете охотничьим собакам.

Синеватые, металлические отсветы легли на спину

 Стойка! — выдохнули охотники. И у всех мелькнуло опасение: а высидит ли птица? Ведь голо и ветрено. Подпустит ли она их?

Они пошли к собаке — Иванов и старший егерь.

Позади них пыхтел Алексин: он задыхался.

— А куда мы, собственно, летим? — деланно удивился старший егерь, желая показать каменную выдержку Гая на стойке. И охотники пошли тише, приноравливаясь к Алексину. Пока они шли, птица отбежала.

Тетерев уходил. Где хозяин? Гай оглянулся на охотников, прошел еще немного вперед. Стал — тетерев лег мертво, дальше стерня была низкая, его могли

увидеть.

Гай пил аромат тетерева. Запах — он походил на прерывистое, быющее из птицы пламя. А когда ветер стихал на минуту, Гай видел запах — носом — как вздувающийся вверх пузырь. Он чуял всех: и тетерева, и сидевших в черном картофельнике куропаток. Их запах приходил в виде треплющихся по ветру нитей.

Чуял охотников и с ними движущийся сладкий и страшный запах ружей, составленный из запаха стали, кожи, горелого пороха и ружейной смазки. Гай полюбил его, начав охотиться.

Охотники подошли и остановились (а тетерев сжался, готовясь к полету). И надо было спешить, но охотники залюбовались собакой.

— Картина! — восхитился Иванов.

— Статуя! — решил Алексин. — Погляди, как он держит прут. — (Охотники называют так голый и сильный хвост пойнтеров.) И Алекспну, знатоку кровных собак, знавшему пойнтеров самых высоких, самых чистых кровей, хвост говорил о собаке, ее характере и настроении.

Он был в восторге от этого хвоста!

— Высший балл за красоту! Но каково-то чутье? Сила его?

— Ну, я полагаю, если он чует даже в такой ветер

и холод, то... — говорил Иванов.

«Господи, сделай, чтобы все было хорошо...» — думал старший егерь. И ему, несмотря на знобкий ветер, лезущий под куртку, стало жарко.

— Современный стиль работы, рассуждал

Иванов

— Заклинает воздух! — кричал Алексин.

- «Как бы не упустить птицу», тревожился егерь. Вперед! шепнул он, и Гай шагнул вперед. Тетерев присел, черная собака подходила к нему неслышными шагами. Ближе, ближе. Тетерев разжал крылья, готовясь лететь.
- Вперед! приказал старший егерь, и Гай шагнул раз-другой.

Тетерев взлетел, борясь с ветром.

Он, быть может, и улетел бы счастливо, но ветер

сбил его и ровно понес в сторону. Иванов чисто взял его первым же выстрелом «шогрена», а Алексин считал шаги от стоящего Гая к месту взлета птицы.

Сорок емких шагов! В такую погоду!

Он подошел и поцеловал собаку в макушку. Егерь счастливо и громко засмеялся, а Иванов пошел к сби-

той птице. Гай ожидал нового приказа искать.

Он напрягся, готовясь к первому быстрому прыжку. Но охотники не спешили, они рассматривали тетерева. Это был коричневатый, летнего вывода петушок. И они дули в перья, трогали его брови, расправляя, и любовались раздвоенным и выгнутым в стороны хвостом.

— Я же говорил вам, он одинаково владеет чутьем и собой, — хвастался старший егерь. От удачи Гая он словно опьянел, и ему хотелось говорить без оста-

новки, и все о Гае.

— Он талантлив, он любит меня лишь за то, что я

охочусь с ним, — уверял егерь охотников. По куропатке выстрелил Алексин (его была очередь), и удачно. Затем стрелял егерь, и снова Иванов, и опять Алексин. Они ушли с открытого поля и брели вдоль оврагов. Здесь тоже были поля — мелкими заплатками. Вокруг них в ржавых травах прятались птицы: дичи сказалось достаточно. И в затишье Гай показал сильное, верное, дальнее чутье.

Он бежал, как летел; останавливался, подавал найденную птицу под выстрел и был счастлив. Хотя сорвал

коготь с передней лапы и оцарапал ухо.
Одна только случилась каверза — из кустов к Гаю выбежала лисица с овальными ушами. И стала ласкаться. Странно долгоногая, она виляла хвостом и манила Гая за собой. Он не шел, но тоже вилял хвостом (это была Стрелка. И, обнюхиваясь с нею, Гай вспомнил дом, хозяина, Белого пса). Но выстрелом, пущенным вверх, долгоногую лису отогнали.

II снова Гай мчался, и металлом поблескивала его синия

...Они принесли домой двух тетеревов, трех серых ку-ренаток и перепела. Старики много говорили старшему егерю о Гае, о блестящем его будущем в роли чемпиона породы («Он будет им, будет», — уверяли они). Алек-сии велел привозить его на полевое испытание. Он гарантировал диплом первой степени по болотной золотую медаль на выставке.

— Ты не горячись! — останавливал Иванов. — По-

всякому может случиться.

— Не должно случиться! — кричал Алексин, бегая по кабинету. Егерь же счастливо посмеивался и паливал

старичкам крепкий горячий чай.

И снова была ночь, п снова охота — так четыре дня подряд. Гай не уставал, но старики уже едва тянули ноги. Тут кстати подошел снег. Он тонко лег на землю и на крыши, опушил и деревню. Охота с легавой кончилась до следующей осени.

Старики жили у егеря еще несколько дней. Они миого гуляли в лесу (там встречали и Полундина), находили воздух целебным и удивлялись тому, что живут в городе, а не здесь. Они беседовали то с егерем, то с Полундиным... Он говорил мало и скупо и производил впечатление человека, пережившего неприятность.

Егерь же рассказывал о своих наблюдениях летнего токования глухаря, показывал фото. Еще жаловался на собак — одичали и разбойничают в лесу.

— Понимаете, — говорил старший егерь, — появились дикие собаки. Думаю, они прибежали из города. А волков нет, конкурентов они не имеют, бесчинствуют, множатся. Свирепствуют, дичинку поедают. К ним примыкают другие, наши собаки, деревенские. Понимаете — одну хозяин обидел, другой вольной жизни захо-телось. Гая они манили, да он пренебрег. — Интереснейшее явление, — говорил Алексин.

— И давно так? — спрашивал Иванов.

 Навалились летом, а теперь их тут целый взвод: пестрые, белые, рыжие — всякие. Хитрющие стервены! Поселились в заболоченном овраге, к ним и не подберешься.

— Отстреляйте, — советовал Алексин. — Нескольких мы убили. И что же, другие немедленно перешли на ночную охоту. Попробуй возьми их! Это вам не лисы, не волки, их флажками не обкидаешь, перепрыгивают и уходят.

— Капканами их!

— Взял одну в капкан, а их десятки. Может, два десятка, по снегу я точно узнаю. — А стрихнин? — спросил Алексин. (Иванов поко-

сился на друга.)

— Пробовал цианид и тоже одну взял. Теперь они и не подходят к отравленному, едят только свою добычу. Понимаете их тактику? Стоит нажать в одном месте, они тотчас перебегают в другое, стоит зажать их полностью, и они, глядь, вертятся в городе. Да, да. я их в городе встречал, знаю некоторых, так сказать, в лицо. Есть тут один пестрый клоун, вожак, его я встречал.

— А если мы их подкараулим? — спросили старики.

— Дело полезное.

— Гле же?

 — А вот где, — деловито заговорил старший егерь.
 — Вблизи Сосновки был единичный скотопадеж, телка сдохла. Хозяину лень было зарывать, он ее вывез в лес и бросил. Там и караульте, около телки. Они, я думаю, обязательно придут к ней.

16

И точно, у Сосновки увидели они собачьи следы. Вроде бы и лисьи по размеру, да пальцы не сжаты в тугой комок.

Да, да, это распущенные, неряшливые собачьи лапы!..

Следов оказалось много. Были они у дороги, были среди помоек и хлевов. Были и на опушке леса, и вообще рассыпаны повсюду.

Следы подходили к полузасыпанной снегом телке,

бурому пятну на белизне свежего снега.

Старички устроили засаду в сене не убранного еще зеленого стога. Вооружение их было такое: егерь дал Алексину мелкокалиберку, Иванов зарядил патроны картечью и промыл механизм «шогрена» керосином, чтобы автоматику не заело на морозе.

С этой стороны все было хорошо, даже нож взяли. Чтобы не мерзнуть, старики прихватили с собой термос, полный сладкого горячего чаю. В него Иванов влил

водку.

Оделись тепло: в валенки, в тулупы, стали зарывать-

ся, уходить в сено.

Ворочаясь и кряхтя, они устраивали себе уютное глубокое логово. Устроили. И, глядя в наступавшие су-

мерки леса, ждали собак.

Пришла лунная ночь. Свет луны был странно яростный, почти страшный. Зато и прицел винтовки (Алексин это проверил) виделся хорошо. И телка ясно видна. До нее метров пятьдесят или вроде этого. Можно бить паверняка из дробовика и винтовки. А лучше из обоих сразу.

Алексин поставил прицел винтовки на пятьдесят

метров.

Старики ждали, поклевывая носами. То и дело они засыпали, но тут же просыпались. И видели одно и то же — грозное, почти невыносимое глазам блистание лунной ночи. Поглядев на него, снова уходили в сумерки полузабытья и неподвижности.

Морозец был легкий, и Алексин отказался от чаю.

Его. довольно покряхтывая, выпил Иванов.

Выпил — и зимний лунный мир показался ему прекрасным миром, а ожидаемые собаки — замечательными зверями. В них стрелять? Да ни за что!

Конечно, это плохо, что они бросили человека, сбежали в лес и вредят, пожирая дичь. Чем им не угодил

город?

Впрочем, от грубого хозяина сбежишь не только

Алексин задремал. Ему приснился Гай. Но не обычный пес, а Черный Демон Охоты, безжалостный и неутомимый, в искрах огня. Охотились они с Гаем на слонов: пес летел по воздуху, Алексин бежал за ним и задыхался, слоны ревели.

Алексин проснулся.

Ни звука — установилась глубочайшая лесная ти-шина. Алексин разбирался, что разбудило его? Дикий сон?.. Чьи-то шаги?.. Да, да, к ним шел кто-то, Алексин вслушался — нет шагов. Стоит мертвая, грозная тишина. Будто он не караулит беглых собак, а летит в космосе.

Но где же собаки?

Он покосился на приваду. Никого. Алексин посмотрел вниз и вздрогнул: около стояли эти собаки. Они гляде-

ли прямо на него.

Сначала он увидел штук пять или шесть собак, и ему подумалось, что старший егерь врал, говоря о двух десятках. Но, осторожно ведя глазами, Алексин увидел других.

Те собаки лежали и сидели вокруг стога, прямо на снегу. Вот одна закинула голову и широко зевнула, другая отвернулась в сторону. Но ближние, сидя и лежа, все глядели прямо на Алексина.

В глазах собак горели красные огоньки.

Алексин разглядывал их: обыкновенные дворняги! Одни собаки поменьше, другие побольше. В свете луны ясна их окраска: пятна на боках, пятна на мордах.

Хвосты у одних собак были лихо закрученные, у других уныло свисали вниз. Но были и куцые собаки, были породистые. Даже, кажется, ирландский сеттер.

Сманили дурака!..

Алексин вздохнул, и собаки услышали его. Теперь они смотрели на него — все до одной. Обычные собаки, видел он таких сотни и тысячи, но в этих жуть и упрек.

Жуть? Это ясно. А упрек?

В чем они могут его упрекнуть? Не он гнал их в лес. П все же тоскливо сосало под ложечкой: виноват...

Совесть его чиста, но все же сделано им что-то не-

хорошее, гнавшее из города этих псов.

А вдруг они будут мстить?.. Бросятся?.. Изморозь легна на его спину. Алексину стало страшно, он толкнул Иванова локтем.

Тот проснулся, как просыпаются охотники в засаде:

мгновенно и не спрашивая ни о чем.

Иванов открыл глаза, увидел собак и едва не присвистнул восторженно: сколько их здесь! Но сдержался.

А к стогу подходит тонкая корноухая собака, очень похожая на лису.

Где-то он ее встречал.

За ней идет большая и пестрая.

Жалкие звери... Иванов так их понял — жалкие и

одинокие, хотя их здесь большая стая.

Но что привело собак к ним, сюда (не к телке), а собрало их под стожок?.. Любопытство?.. Тоска по человеку?..

Алексин стал поднимать винтовку, желая одним движением и вскинуть ее, и поймать собаку в прорезь. Вскинул, но собаки — все! — прыгнули в разные стороны. Унеслись, и выстрел мелкокалиберки безвредно щелкнул им вслед.

— А чего ты не стрелял? Взял бы двух-трех? — сер-

дился Алексин на Иванова. — ${\rm Y}$ тебя же автомат, пять зарядов.

Иванов молчал.

— Они здесь всю дичь повыведут! Они... — Алексин хотел было сказать о пережитом им страхе и не решился.

А Иванов ощутил его страх. Он стал его страхом. И не перед собаками: чего бояться вооруженным лю-

дям? Старика испугала непривычность явления.

Гм, собаки... Это уже не псы, а звери.

Они с Алексиным, неуклюже ворочаясь, вылезли из сена. Подошли к телке, осмотрели. Но телку-то собаки не рвали, на них глядели. И дождались выстрела? Нехорошо.

Но что их может гнать из города?

— Проанализируем, — сказал Алексин, закидывая ружье на плечо.

И старики, идя в деревню мимо черных деревьев, то и дело оскальзываясь на свежем снегу, пытались ре-

шить вопрос.

— Не наше это с тобой дело, — сказал в конце концов Иванов. — Мы делали что могли, даже больше. Мы воевали, переделывали старый мир в новый, ставили город молодым. Дали им удобства, сытую жизнь. Так пусть же, черти, и разбираются во всем!

— Тс-с-с! — прошипел Алексин. — Гляди!

Старики шли от стога тропой, по краю оврага. И увидели — по другую сторону этого огромнейшего оврага пронеслась вся стая. Молча.

...Собак задержал у стога запах добрых стариков. Вспомнила их Стрелка и остановила стаю, спешившую

на ночную охоту.

Они бежали к тому лесному островку, где паслись несколько лосих и слабые телята. Их выследила Стрелка и приводила глядеть Пестрого.

Они подошли. Но лоси не испугались двух собак, их

прогнала молодая лосиха, наскакивая и грозя ударить копытом.

Собаки убежали. Им было ясно — нужно отбить одного лося. Но по такой крупной дичи они еще не охотились. И псы стали готовить свою охоту: то и дело наскакивали на лосей, а те ответно нападали на собак.

Недели две шла эта охота-игра, а затем как-то вдруг все стало на место. Охота сложилась сама собой. И к переходу в поле, обычно используемому лосями, убежали черный угрюмый пес и с ним помесь бульдога с овчаркой, собака очень сильная. А также Стрелка и трое ее щенят, успевших вырасти в крупных собак.

Засады были устроены собаками и еще в двух-трех местах. К лосям же пошли Пестрый и полутакса, а с пими все почти деревенские собаки, давно охотившиеся в лесу. Эта ватага, десять собак, подвалила к лосям

вместе с Пестрым.

Лосей они нашли там; где им полагалось быть, на лесном островке, среди оврагов. Собаки остановились, а Пестрый пошел вперед.

Было морозно. Пар вылетал из его пасти. Снег под

лапами скрипел.

Пестрый тявкнул на лосей — раз и два. Игриво.

Он даже подпрыгивал, лая на них.

Лоси вышли из кустов ольховника и сгрудились. И снова выбежала вперед та бойкая корова, что гоняла его и Стрелку. К ней шел Пестрый.

Он подходил, игриво раскачиваясь на ходу. На самом же деле, идя так, чтобы удобнее было отпрыгнуть в

сторону.

Корова стала гонять Пестрого. Наскакивала, всхрапывала, пыталась ударить копытом. Он то прыгал в кусты, то вертелся между деревьями.

Лосихе было весело гоняться за собакой — та от-

ступала.

Когда же лосиха отошла от стада, все залегшие псы,

что до сих пор нервно двигали лапами и хватали зубами снег, вдруг набежали с ревом и лаем.

Они окружили и отрезали лосиху от всего остально-

го стала.

Когда вывалил и покатился на нее лохматый, ревущий, темный шар собак, корова испугалась и сделала ошибку — побежала не к стаду, а в поле.
И началась погоня — лосиха бежала по склону ов-

рага, а собачья ватага — выше ее. Не пускала в поле,

налетала, кусалась.

Лосиха бежала вдоль лога, а на нее наскакивали и

наскакивали собаки. Их становилось все больше.

Корова напугалась: всюду были собаки, необычные,

страшные.

В конце концов они-таки направили лосиху к тому выходу, которым обычно уходило лосиное стадо на поля. Корова обогнала собак и вскочила в глубоко врезанный ручей. Путь этот был знаком, он уводил на такие огромные поля, где собаки ей не страшны, там ее не догонят. Оставалось только обогнуть ручьем густо вставшие на пути деревья, а далее шла ровная дорога.

И здесь-то на лосиху бросились пять сидевших в за-

сале псов.

В полном молчании они прыгнули на нее. Сбоку. Они впились в бока, в ноги. И сразу же Стрелка перекусила ей сухожилие задней ноги.

Догнали отставшие было собаки. Напали! Лосиха билась страшно. Она ударяла собак передними копытами. Черному псу она снесла череп, но Пестрый удачно полоснул ее зубами по сухожилию другой задней ноги. Лосиха теперь не могла бежать. Она осела в воде между заснеженных высоких берегов. Прокушенные жилы кровили. От ледяной воды тело немело, его будто и не было. Собаки были вокруг: теперь можно и не спешить. Но то одна, то другая собака вдруг бросалась и, рванув лосиху, отскакивала назад.

К той пришло забытье: лосихе казалось, что она бежит от собак полем.

А Стрелка отошла в сторону и понюхала своего щенка (он был убит). Она лизала его а когда поднимала голову, то видела лежавшую в ручье лосиху, громадную, хрипящую.

И Стрелка завыла.

...— Что, что, что это? — спрашивал Иванов. — Они бегут, как волки. Ты видел? Видел?

— Уйдем-ка, — шептал Алексин. — Быстрей пошли. В Сосновке они постучались в первый темный дом.

Деревни Сосновка и Березняки разделял лесной овраг, Глубокий. Он зарос черным лесом, имел собственную речку, собиравшуюся из множества родников.

Было в этом овраге и свое топкое болото.

Когда-то здесь жили волки. Они выли по ночам, нагоняя тоску на деревенских жителей, резали скотину. Но простодушных волков постепенно выбили охотники. Теперь этот овраг заняли собаки.

В укромных лазах ходили они: за ними охотились, их караулили с ружьями. И одичавшие собаки припомнили привычки Древних Собак. Они научились идти след в след и путать охотников, пробегая по мелкой воде.

Стаю водили Стрелка и Пестрый.

Стрелка была всегда настороженная собака, а тот разумен и удачлив.

И после охоты сытая стая ушла в овраг. Спали весь

день.

И снова пришла ночь.

Теперь все уцелевшие собаки были на болотном островке, посреди оврага. Щенки возились, взрослые сидели молча: они ощущали вхождение в свою жизнь чегото нового.

Они видели людей, пахнувших так знакомо. И в не-

истребимой собачьей устремленности к человеку подошли к ним. Был страх, и была надежда.

Люди зашевелились, выстрелили в них.

Стрелка яснее других ощутила вхождение этого нового: на нее охотились городские добрые старики.

Надо бежать! Скорей! И она запрыгала с кочки на

кочку...

Собаки глядели ей вслед. Она остановилась и заскулила — Пестрый тоже пошел. Потянулись за ним щеня-

та, а там поднялись и остальные собаки.

Прыгая по кочкам, стряхивая снег, они выбрались из оврага и вдруг побежали. Теперь впереди стаи легко, волчьим скоком несся Пестрый.

17

Отсветы города собаки увидели сквозь деревья.

Они выбежали на опушку, сели, прилегли.

До глубокой ночи глядели собаки на широко рассеянные огни города. Щенки затеяли было возню, но взрослые были серьезны. И один за другим щенки переставали возиться: глядели, тянули к городским огням острые морды.

Носы их шевелились, ловили резкие запахи угольного дыма, бензина и того зловония, которое испускают пустыри, ставшие свалкой города. Затем Пестрый снова повел собак. Теперь они вошли в город: пробежали ноч-

ными улицами, миновали центральную площадь.

Милиционер вздрогнул и не поверил своим глазам, увидев их быстро катящиеся силуэты. Откуда? Почему

так много?

...Собаки обежали город. Они побывали у темной многоэтажки, вставшей на месте прежнего сгоревшего дома, ходили к складу магазина «Промтовары», выли на улицах.

Å затем ушли назад, к лесу. Но теперь они не сидели

па опушке, а миновали ее деловито и нацеленно: собаки бежали на север.

Алексины (с ними супруги Ивановы) уютно проводи-

ли вечер.

На ужин была шпигованная салом тетерка, обжаренная в духовке до золотистой корочки, к ней подан гаршир с зеленым горошком. Когда стали пить чай, Алексин заговорил о собаках. Иванов взглянул на него искоса и педовольно отодвинул стакан.

— Куда они все же ушли? — недоумевал Алексин. — Что в лесу будут делать? — И требовал ответа Иванова: — Скажи! Ты натасчик, ты ближе меня, теснее свя-

зан с собаками.

— Не знаю.

И оба старика задумались. Им вдруг стало неуютно у стола. Ощущение вины, портя вкус съеденного, опять входило в них. Словно неприкаянные призраки, перед ними вставали бездомные собаки. И каждый думал, что надо было позвать. Ну, посвистеть, почмокать губами, что ли.

Позвать?.. Но куда?..

Иванов поднялся и подошел к окну. Сдвинув штору, глядел на улицу. Но видел только просвеченный луной морозный рисунок на стекле. Узор походил на древовидный папоротник — растение каменноугольного теплого периода.

Собаки в это время бежали в дальние, безлюдные, таежные леса.

Трещали деревья, неистово, будто напоследях, горела луна. Тени деревьев лежали на зеленом лунном снегу.

Теперь стаю вела Стрелка. За ней легко бежал

Пестрый, за ним растянулись в беге щенята и остальные собаки.

Они бежали след в след, и за каждой собакой кати-

лась ее черная тень.

Торопились старый пес и бульдог-полуовчарка, задыхался в беге коротконогий, помесь таксы и другой какойто собаки. Бежали другие — длинной, растянувшейся цепочкой. Из горячих их ртов вырывался дымок, и веныхивал в нем холодный блеск луны.

Собаки бежали...

HEMIN

Рифа украли в июле, воскресной ночью. Еще в час ночи он был на месте. Когда Игорь, проводив Надю, шел к себе, Риф задышал и заскулил в щель сарая, застучал по доскам хвостом. Но Игорь не остановился, а пробежал к себе, на четвертый.

Взбегая на этаж, он услышал тонкий вой Рифа и думал, что делает недоброе, отводя вечернее время одной Наде. И нет времени для славного пса Рифа, нет

для матери — нехорошо.

Игорь открыл дверь своим ключом и вошел. И застал на кухонном столе чайник, накрытый куклой-матрешкой. Он поднял ее подол и ощупал чайник — горячий. В холодильнике взял вареное мясо, сыр, масло. Ел неохотно — улыбался, забывал жевать. Поев, он лег спать.

Лег, согрелся и ощутил Надю, ее крепенькое тело, ее острые локотки. Славная, добрая.

— Славная... славная... саванная... — шептал он, засыпая. И тотчас пробежали белые собаки, и легло поле красных маков.

Все дальше в сон катился Игорь, а не засыпал. Он ждал слонов — они стали приходить в его сны две педели назад и теперь являлись еженощно.

Собственно, этих слонов должен был видеть Никодимов — его посылали работать в Африку. Но тот забо-

лел, и ехать предлагали Игорю.

В первую же ночь после предложения ехать и пришли слоны. Они шли длинной вереницей, держась за

хвостики друг друга.

Глаза слонов были маленькие и веселые, уши лохмато-черные, будто у Рифа. И так захотелось Игорю к веселым слонам. Он попросил Надю ехать вместе с ним, женой. Надя женой стать согласилась, но ехать отказалась решительно.

При отказе ехать она даже и голову несколько сбычила, и сжала губы. Ему захотелось целовать ее, а слоны как-то отошли. Но только наяву, а во сне они приходили. И говорили Игорю о силе его желания уехать

с Надей и Рифом.

В Африке жить, работать, охотиться.

...Наконец появились знакомцы слоны, Игорь вздохнул легко и радостно, и тут же его разбудили. Будила мама, говоря:

— Игорь, проснись... Ига, проснись... Ига, Ига, Ига... Он слышал ее и не мог шевельнуться, слившийся с тяжелой кроватью. А мама стукала и стукала его своим голосом, будто резиновым пузырем по голове, и тот скрипел.

— Да проснись же! — вскрикнула мама. Но Игорю

не хотелось просыпаться.

За полем рос лес в виде зеленой пены, из него и выходили один за другим слоны с черными мохнатыми ушами. Они трубили:

Нига-а-а!.. Нига-а-а!.. Нига-а!..

«Не хочу, — смутно думалось ему. — Не хочу. Будят... Наверное, дурит Соня, придется звать «скорую»... И все кончится валерьянкой... Не хочу просыпаться, хочу слонов с черными ушами».

— Господи! Спит как убитый! — вскрикнула мать.

Голос сестры:

- Загулялся. Но сейчас я его подниму. Игорь, Рифа украли! — крикнула она.

Он сел, ударив в пол пятками.

Горела настольная лампа, рисовала на потолке яркие кольца. В длинных халатах стояли мама и сестра.

В окно входила зябкость, пол холодил ступни, и та-

кая сонная слабость...

«Рифа украли». Игорь хотел сжать кулак, но паль-

цы его не собрались вместе.

— Украли?.. А вы почем знаете? — спросил Игорь и увидел в дверях соседа. Лицо у того сонное, бородатое, на лысине — отблеск лампы.

Сосед искоса взглядывал на сестру.

— Не спалось мне, Сонечка, — говорил он и посмотрел на Игоря.

— А дальше? — спросил Игорь и стал одеваться. — Не спалось, — объяснял сосед. — Выпил я димедролу — не берет, сжевал пару таблеток ноксирона черта лысого. Распахнул окно и высунулся. Вижу, около вашего сарая возятся. Думаю, и пусть возятся. Лег я, поворочался. Вдруг припомнил, ведь кто-то вроде постанывал. Не то резали, не то давили кого. Выглянул, а сарай-то ваш открыт. Схватил я со стены ружьишко и вниз. Подхожу, а собачка не лает, пусто. Скакнул на улицу: одни кошки бегают. А ноги уже подкашиваются от таблеток. Сюда полчаса царапался.

— Господи, как же я без Рифика жить буду. — Ма-

ма всплеснула руками.

Игорь подошел к окну: чернота двора, тусклые лампы, освещающие черные кубы сарайчиков. Свой распахнут. Игорь сморщился, вспомнив скулеж Рифа и стук его хвоста по доскам. «А я не подошел».

— Я бы вызвал милицию, — медленно говорил сосед. — Пусть ищут по горячим этим... следам.

— Гадюки! — вскрикнул вдруг Игорь. И побежал

винз, гремя ступенями.

Выскочил. Сунулся в сарай — пусто. От ноги его от-

петел замок. Игорь выбежал на улицу.

Схватясь за палисадник, рванул планку. Вооружась, он перевел дыхание и пошел большими шагами. И проскальзывали, уходили назад тени домов. Позвал Рифа — тишина. Пробежал туда-сюда — никого.

2

В милиции собаку искать не захотели. Даже обиделись на Игоря.

Что вы, дорогой товарищ, шутите.

— Но собака-то породистая! Внук чемпиона! — вскрикнул Игорь. — Ищете же вы часы или иную дрянь. Моя собака подороже десяти часов, она материальная ценность, в конце концов.

— Какой она породы? — спросил дежурный из-за стола. У дежурного лицо с широкими углами челюстей, но глаза маленькие, а веки черные, будто надкрылья жука. Спрашивая, он помаргивал веками-крыльями.

— Крапчатый сеттер, — сказал Игорь. — Всесоюзная родословная. Белый, а по нему черный и коричне-

вый крап.

— Трехцветный, так и запишем. Я Сергеев, — сказал Игорю дежурный. — А ваша фамилия и прочие обстоятельства?

Игорь сел на старый, вытертый стул и сообщил их Сергееву, человеку поистине огромнейшему. Ростом тот был с самого Игоря, но широкий, красный, налитый силой.

«Если такой сгребет за шиворот... страшное дело...» — с удовольствием подумал Игорь.

Сергеев задумался, постукивал себя пальцем по колену, широкому, как опрокинутая чашка.

— А сколь дорого стоит ваша собака?

— Рублей двести по объективной оценке.

— На собак, дорогой мой охотничек, цена не объективная, а сколько дадут. За иную рубля жалко, а за пойнтера Кадо доктор наук Полушкин отдавал «Победу» с мотором «Волги», а получил шиш. Сколько давали за твою?

Игорь вздохнул и посмотрел в черные окна. В каж-

дом отражались настольная лампа, Сергеев и он сам.

— Двести рублей, собственно, мои траты. Но однажды за него предложили штучное ружье фирмы «Лебо».

Врешь! — быстро сказал Сергеев.
Зачем? Лебо, штучный, с золоченым механизмом.

— Здесь, в нашем городе?

— Конечно.

Сергеев, стукая колено, осознавал этот исключительный факт. Должно быть, не верил.

Игорь и сам не поверил, когда Макаров предложил

такое ружье за щенка! Чепуха, насмешка...

— Bo! — сказал, помолчав, Сергеев. — Если врешь, то дорого твой пес стоит, «лебо» за восемьсот целковых идет. «Лебо»... Ишь ты!.. Нет, ты не врешь, оно одно у нас в городе. Либо ха-арошая у тебя собака, либо Макаров с винта сошел...

— «Лебо»... — бормотал он. — По теперешней дичи только с такими ружьями и ходить, серийным ее не возьмешь, боя не хватит... «Лебо»!.. Тогда мастера истово работали. Ты не ружьем, ты замечательным чело-

веком стреляешь.

И Сергеев прикрыл глаза веками.

К ним подошел седенький, еще не старик, а так, лет сорока пяти. Он смотрел на Игоря не то ласково, не то насмешливо. Губы его сложились в серую дудочку, словно он сосал больной зуб.

— Я Лобов, — сказал он Игорю. — И все слышал. Найдем вашу собачку... Слушай, Сергеев, — тихо заговорил он. — Я ухожу домой и сам пройду с товарищем.

— Есть, товарищ капитан, — отвечал тот, не откры-

вая глаз. — А я подремлю, город стихает — утро...

3

Лобов первым вошел в сарай. Светало. Поблескивали велосипеды — Игоря и сестры. Из-под крышки погреба, вырытого в сарае, лезли запахи капусты и картофеля, сытные, тяжелые.

Еще пахло ржавчиной и стоявшей на полке олифой. Игорь сморщился, он не знал, что на рассвете так ак-

гивны запахи.

— О господи, — говорила мать. — Украли нашего мальчика. В чьи-то руки он попал? Дай бог, чтобы к доброму человеку. Дура, вора добрым зову. Найдите пам Рифика, товарищ начальник, найдите.

— Посмотрим, — сказал Лобов.

Он ходил по сараю. Нагнулся, взял раскрытый замок, подержал его на ладони и бросил. Снова нагнулся и поднял что-то. И это, поднятое, сунул Игорю в нос — ударил запах копченой колбасы.

— Краковская колбаса, три шестьдесят кэгэ, — ска-

зал Игорь автоматически.

— Именно, — подтвердил капитан. — Вои он его чем привлек, вор-то.

— Отравленная? — тревожно спросил Игорь.

— Зачем? Просто хорошая колбаса. И потом, кто же держит породистую собаку в погребной вони? Вы портите уникальный аппарат чутья, вами должна заняться наша секция сеттеристов, просто обязана. Вы меня простите, но для собаки даже лучше попасть в другие руки.

Капитан отчитывал Игоря, держа найденную колбасу двумя пальцами. Нос его брезгливо морщился. Игорь чувствовал недоброжелательство к себе капитанского

носа и страдал.

— Не понимаю я таких владельцев, — сердился Лобов. — Найдем — продавайте ее скорее. Но искать буду, снабдите меня портретиками и приметами. Принесите в отделение сегодня.

И губы Лобова опять сложились в насмешливую трубочку. «Он смотрит на меня как на идиота, — думал Игорь и почувствовал себя невыспавшимся, глупым и огромным, как диван. — И верно, дурак! Не удосужился сделать сигнализацию, дрянной замок...»

Ох, надоели ему все: соседи, погреб, дурацкий са-

рай, нос капитана.

Только Надя и Риф милы ему. Надя чудо, и Риф чудный. С ними бы жить, охотиться, испытывать приключения.

Лобов закурил и спросил мать о соседе, страдаю-щем бессонницей. Потом стал говорить ей о неудоб-

ствах проживания на высоте четвертого этажа.

— В вашем возрасте, — внушал он матери, — высоко жить вредно. Собака — это беспокойство, избавляйтесь от нее. Я тоже собачник, сам знаю. И у меня собаку крали, — сказал он Игорю. — И знаете, где ее нашли? В Горьком. Я махнул рукой и купил себе шенка.

— Какого? — спросил Игорь.

— Пойнтера. И вам советую: берите пойнтера. Это разумно — гигиеничнее, удобней, в квартире держать будете.

A

[—] Завтракать, дети, завтракать, — говорила мама. Сестра откусила хлеб, пожевала его и сказала, глядя на Игоря сквозь свои локоны, как африканский ящер с дерева:

— Поздравляю твою Надежду. Игорь положил на тарелку салат.

— Нет больше собаки в вашей жизни, — продолжала сестра, глядя на него как вивисектор. — Мешать некому. Может, ночью сам выгнал?..

— Софья! — сказала мама.

— Ты хотел возвеличиться своей собакой. Думал, купишь внука чемпиона, все будут говорить о тебе. Ты же Рифика не любил... — говорила сестра. Игорь жевал салат, не чувствуя его вкуса.

- Посмотрим, что сама запоешь, когда станешь вы-

ходить замуж, — сказала мама.

— Я не выйду замуж, — сказала Соня. — Никогда. Сестра была громоздкой и без обаяния. Решался ухаживать за ней только сосед, плешивый, коротенького роста.

Игорь оскорблялся этим.

Мать часто говаривала, что напрасно, рожая, дала Игорю красоту, мужчине она не нужпа, а Сонечка оказалась обделенной. И остается девушке коротыш-разведенец.

Игорь тоже жалел сестру, терпел ее нервозности, сердечные приступы и бегал ночами, вызывал «скорую помощь».

А вот теперь обрадовался неудачливости сестры. Она жевала салат. Листики пищали на ее крупных зубах.

Мать говорила:

— Мне не хватает Рифа, я с ним за эти месяцы сроднилась, я его выращивала. Ты, Игорь, только принес и лег спать. Тебя ведь из пушки не разбудишь. Я лежу, не сплю, на лунный узор смотрю. И вдруг через него идет белая малявочка, идет и скрипит. Соскучилась, мать ищет. Я его и положила под бок. Он взял в рот мой палец и давай сосать. И так заснул, не выпуская палец. А под другой бок пришел кот Василий. Так

и спала я под двойным остережением, шевельнуться боялась.

— Да перестаньте зудеть! — вскрикнул Игорь. — «Был, был!..» Я говорю, что Риф не только был, но и будет. Этот пропад — второго заведу. Тот пропадет — куплю собачью свору. Где живу я, там всегда будут

жить собаки. Да ну вас!

Игорь вскочил и сбежал вниз. Походил, успокоился. Когда вернулся и отомкнул почтовый ящик, вместе с газетой и письмом к сестре (без обратного адреса) выпал конверт с надписью жирным карандашом: «И. Лаптеву в собственные руки».

Игорь разорвал конверт — там лежали деньги и бу-

мажка, исписанная незнакомой рукой:

«В счет стоимости Рифа 500 (пятьсот) рублей».

— Оригинально, — пробормотал Игорь, рассматривая конверт. Оберточная бумага, самодельный, склеен крахмальным клеем. На плотном его боку печати чьих-

то жирных пальцев.

— Улика, — пробормотал Игорь и медленно пошел вверх. Вытряхнул на обеденный стол кучу десятирублевок. Все мутные, сальные бумажки. Игорь пересчитал их — пятьдесят одна.

- Что это?

— Вот, в ящике нашел, — Игорь пожал плечами и улыбнулся, снова ощутив себя громоздким и глупым.

— Фальшивые, — сказала мать, а сестра захлопала

в ладони и закричала:

— Поняла, поняла, поняла! Это компенсация! Твоя состоятельная тещенька подговорила пацанов. Знает, что эти бумажки пойдут на ее Наденьку. Не выношу ее! Привыкла иметь лучшее! В десять лет — золотые часики, в четырнадцать — вязаное платье, в двадцать — здоровый, красивый и глупый муж. Верти им как хочешь!

— Язва ты африканская, — сказал Игорь и сел на

стул.

— Вот деньги, — говорила ему сестра. — Кто мог их послать? Вор? Тогда в чем логика его профессии? По берем будущих родственников: им Риф костью в горпо воткнулся, и собаку вежливо и безгрешно устраняют.

Фантастика!

Игорь снова пересчитал бумажки — пятьсот десять рублей. Бред какой-то! Нет, нет, Лидия Андреевна не сделает такого.

Да, она зовет их с Надей жить к себе, но твердо сказала, что не станет жить с Рифом. Да он и сам говорил Паде, что курящая теща опасна для нежного чутья Рифа. А держал в сарае...

Нет, не может сделать такого Лидия Андреевна.

А если она? Сидела, держа сигарету в прокуренных пальцах. Они желтые, сухие, похожие на костяные рогульки. На каждом пальце по золотому кольцу: наука теперь кормит щедро.

Й так, куря и пуская дым вверх, она все обдумала

п решила с присущей ей твердостью.

Что делать? Смириться? Или — назло! — купить вторую собаку? Но расставаться с Рифом сильно не хотелось. Внук чемпиона.

Кому случается держать гакую собаку? Почему пельзя украсить ею жизнь? Да и как охотиться без

собаки?

...После обеда Игорь снова посмотрел почтовый ящик, даже постучал по нему кулаком. Теперь выпал плоский конверт: «И. Лаптеву». Конверт голубой, стан-

дартный. Он вскрыл его на лестнице:

«Игорь! Прошу извинить меня за экспроприацию Рифа. Ваш твердый отказ двинул меня к сему решительному действию. Поймите — я старик, а ваш Риф заинтересовал меня. «Лебо» я продал, из его стоимости 500 (пятьсот) рублей послал вам, остальные двести рас-

считываю пока употребить на работу с Рифом. Еще пятьсот рублей выплачу частями в течение этого года. М. Макаров».

Росчерк смелый, нахальный росчерк. Однако каков! Игорь стоял. У него заломило правую сторону головы и надбровья и тукало в уши — раз, раз, раз...

В голове шла суета мыслей.

«Гм, выходит, не шутил старик... Проучу ero! Чертов дед! А если взять и согласиться? Сообразим, старик станет нянчиться с Рифом. Чертов старик!.. Что ему еще остается, кроме собаки в его кончающейся жизни? Тысяча... За пятьсот рублей я куплю себе штучное ружье, тяжелое, сработанное по старинному образцу.

А остальные деньги? На что их потратить?»

...Макаров сидел у Исакова, когда Игорь пришел покупать Рифа. Исаков хвалил щенка, он то хотел, то не хотел продавать его. Все твердил: будущий чемпион, чемпион...

Макаров ворчал, вытягивая нижнюю тяжелую, брез-

гливую губу:

— Чемпион, чемпион... А я тебе говорю, что генетика Тома неустойчива. Я езжу на московские состязания, там выставляют детей и внуков Тома. Посредственно-

сти. Отсюда делай вывод.

— Кто их знает, — бубнил Исаков. — Это третий помет Магды, а бог троицу любит. Вдруг щенчишка повторит Тома? Если бы не проклятье квартирной тесноты, ей-богу, оставил бы всех щенят себе, всех пятерых, а потом бы выбирал. Щенки — это лотерея, — твердил он. — Я чего боюсь? Что он в Тома пойдет. Отдам будущего чемпиона — не прощу себе. Ей-ей. — Чепуха! — шумел Макаров. — У него пипка уз-

кая, чутье будет посредственное. И уродлив к тому же.

Продавай!

— Да, голова маленькая, это верно. Отдаю, — согласился Исаков.

Игорь скорее радовался, чем огорчался, выводом стариков. В той лотерее, о которой говорил собачей Иса-

ков, была и у него доля надежды.

Конечно, они опытны и понимают псов до кончика их хвоста. Но вот чего они не могут видеть: щенчишка, пылизанный матерью до белизны, светился, словно яйщо, положенное на солнце, лучился, так казалось.

Игорь понял: щенка надо брать не раздумывая, веря этому светящемуся. Но он все же решил назвать его

Рифом.

На пятом месяце жизни Риф стал быстро красиветь. «Кровь выставочных сеттеров», — определил, осмотрев

щенка, Макаров.

Пес на глазах умнел. Голова стала объемистой. Он быстро научился открывать дверные запоры. И хотя собаки, если верить книгам, не различают цвета вещей, Риф ясно выделял красный цвет.

Но чуял Риф неясно, дичь оказывалась слишком далеко. Игорь понимал так — Риф примечает место, куда садилась вспуганная птица, запоминает и ведет к ней

«на глазок».

Выяснять на болото ходил Макаров. Риф к этому времени стал плосковатым верзилой с широченным черным носом.

Макаров был в полотняном костюме и сапогах.

Он ворчал:

Испортишь ты пса своей натаской.Отдам егерю, — говорил Игорь.

— Не смей! Он их бьет, если хочешь знать. Наберет двадцать штук и хлещет. Его уже в секцию вызывали. Он нам сказал: «Какая теперь идет собака? Раньше ее дрючком потянешь, она отряхнулась и опять работает. Теперь бьешь почти любовно, а она трясется, глаза выпучит и бежать».

...Старик щурился, кругляши его глаз ерзали хитро и беспокойно. Игорь покосился на старика: лицо боль-

шое, плоское, а в фигуре нечто от обвисшей, готовой

мое, плоское, а в фигуре печто от объясием, тотовой упасть капли. «Я не буду стариться», — решил он. Посмотрев работу Рифа, старик удивил Игоря. — Слышь, продай его мне, — вдруг предложил он. Старик давал за Рифа сто рублей, потом сто пятьдесят, двести... Игорь торжествовал. Он сказал Макарову о тех словах, что столько месяцев отравляли его.

— Ошибся, — согласился Макаров. — Ты не злись на нашу дурость, а радуйся ей. Ну, двести пятьдесят!

Идет?..

Игорь не продал Рифа и за двести пятьдесят рублей. Однажды Макаров поймал его по дороге с работы. Старик шел рядом и говорил, что отдает за Рифа ружье с золочеными механизмами, настоящее «Лебо».

— За щенка? — интересовался Игорь, чувствуя бла-

годарность к Рифу.

 Для меня главное в охоте — собака, — говорил старик. — На ружье мне плевать.

И старик сплюнул сквозь зубы.

- Я плачу как за отличного, выдающегося взрослого пса, — настаивал он. — Согласитесь, Рифа им еще надо сделать.

— Не продам, — бормотал Игорь, ощущая кружение

в голове. Он думал: «Мне хорошо с моим Рифом».
...Это и припомнил Игорь. Тысяча рублей...
— К черту! — воскликнул он. — Деньги разбегутся,

а в кои-то веки попадет такая собака в руки.

Ему было ясно, что делать — вернуть Макарову деньги, пристыдив старика, и взять Рифа. А завтра пойти в милицию и соврать, что Риф прибежал сам.

«Задам я старику взбучку», — с удовольствием думал Игорь, идя лесом от станции.

— Где здесь дача Макарова? — спросил он моло-

дую женщину (она несла две полные сумки — хлеб, лук, кульки молока).

Дорога была узкая, темная, и женщина шатнулась от Игоря. Но другая — постарше — указала на избу,

влезшую на гору.

Игорь и пошел к этой избе. Древняя, она все же оыла хороша. Бревна ее потрескались, приняли серо-голубой оттенок.

Около забора ходил бычок, пестрый, как сорока, и ел траву с таким вкусным хрустом, что у Игоря набежала слюна.

— Здравствуй, телятина, — сказал Игорь и остановился. Бычок поднял голову. Жевать он перестал, и трава выглядывала из его рта, но пошевеливалась и будто сама собой входила в его черные слюнявые губы.

— Вкусно? — спросил Игорь и разрешил: — Ну

жуй, жуй...

Но что говорить старикашке?

Отчего-то неловко стало Игорю, будто хотел сделать

гадкое. Даже онемели кончики ушей.

— Ерунда! Пес мой! — рассердился Игорь и потянул калитку. Он прошел мимо дождевой бочки, пахиущей кислой брагой, прошел рукомойник, пригвожденный к столбу. На голубом козырьке лежал обмылок.

За избой Игорь увидел дощатую пристройку со свежими рамами. Около земля была утоптана и присыпа-

на опилками. Значит, сделано на днях.

Игорь заглянул в окно пристройки. На полу в позе безнадежности лежал Риф. Он был прикован цепочкой к ножке круглого тяжелого стола. Рядом поставлены две тарелки. В одной налиго молоко, во второй лежат сырые куски. Гм, мясо...

— Мой пес, — шептал Игорь, глядя на Рифа. —

Мой.

И его затопила нежность, налилась до самого горла при виде несчастного зверя. Ему бы жить здесь, на да-

че, есть мясо и хлебать молоко. А он несчастен, его тянет в вонючий сарай.

Чудаки-дураки эти собаки...

Вот забеспокоился и Риф — встал, цепочка звякнула. Игорь попятился. Ему отчего-то не хотелось, чтобы Риф увидел его. «Поговорю-ка с Макаровым, поговорю». Он снова прошел мимо рукомойника, мимо древесной чурки с воткнутым в нее топором. А вот и окна избы,

маленькие, слепые, стародеревенские.

Они распахнуты, из них выбиваются голоса и табачный дым. «Кто-то у него есть, — думал Игорь. — Подожду. Дело тонкое, посторонние нам не нужны». Игорь прислушался... Ну, это голос Макарова. А второй? Игорь высоко поднял брови — второй был голосом капитана Лобова. Да, это его шепчущий говорок. Он сообщал Макарову:

— ...Так вот, заговорил парень о твоем «Лебо», и все стало ясно. Вижу, Сергеев уши навострил, я и ввязался. Знай — ты, старче, свихнулся. На твой случай есть статья в кодексе. Гм, статья-то есть, а вот прецедента не

имеется.

— А Полухин?

— Осторожный был человек. Кто может доказать, — Осторожный оыл человек. До может доказать, что именно он увел собаку? Нам остается его версия покупки собаки на базаре. А если Лаптев деньги возьмет и скажет — не получал? Ты бы их хоть по почте посылал, что ли. Квитанция бы на руках имелась.

— Я широк — тысячу отдаю!

И здесь ты удивил меня, старче. Интересный принцип — тысяча. Подумаешь, миллионер нашелся.

— Если бы ты увидел пса на болоте! Тысячи ма-

ло... Я сам не свой ушел.

— Все равно много. Налей-ка еще чайку. С чем ты его завариваешь — такая приятная горчинка? Мы смогли бы через секцию заставить его продать собаку тебе.
— Не хочу одалживаться. Взял, и кончен разговор.

— А такая гипотеза — если он сюда придет? От денег откажется?

Голос Макарова задвигался. Видимо, старик ходил по комнате.

— Слушай меня, — заговорил Макаров. — Мне плевать на статьи кодекса. Есть же, черт возьми, кодекс справедливости! Не может быть живое существо чьим-то рабом. Оно — поймите это — единственное, рождено для высшего взлета. А тут вонючий сарай, дубина-хозяин, барышни на уме. — Макаров замолчал. Игорь слышал его топтание. Снова говорит: — Увидел я эту собаку и понял — та! Понимаешь, я всегда мечтал иметь чемпиона, я по пять собак выращивал.

— Четыре, — поправил его Лобов. — Их клички — Неро, Леди, Джильда и Том.

— А всего я держал девятнадцать собак. Я профукал на них половину всей зарплаты, они мне милее жены, детей, всего!

— Но ты их продавал же.

— Объясню: я искал... Всю жизнь я искал одну несравненную собаку. Были у меня хорошие псы, попадались отличные. И вот увидел Рифа. Увидел, и во мне все опрокинулось. Вот он! — сказал я себе. — Знаешь, впервые я увидел Рифа на прогулке. За ним шагает современная громадина — ноги, на пузе транзистор, на роже самодовольство. Ни интеллекта, ни любви, а одна сумасшедшая удача. Как-то он рассказал мне, что Риф еще маленьким, двух месяцев от роду, делал стойку по кошке и упал от усилия. Говорит, а сам не понимает пичего. Никто не верил в Рифа, он, я. Дурак! Осел! Скотина!

Грохнуло — упал стул, и Лобов засмеялся. — Мебель-то при чем, если голова виновата.

— Месяца через два встречаю. Увидел, и сердце запело — пес красив, изящен, легок. Потом на болоте смотрел, как решительно, по-мужски он его разделывает. И вдруг причуял, еще сам не понимая этого. Поднял нос высоко, как твой Кадо.

пос высоко, как твои кадо.
— Современный стиль, — вставил Лобов. — Раньше все же проще было: пойнтер — «король болот», сеттер — «король состязаний». А сейчас все перепутались. Лель Фирсова, немец-континенталь, куцый, грубый, а работа дальняя и чисто пойнтериная.

— Риф словно янчко на носу держал, — продолжал, не слушая, Макаров. — И понимаешь, этого олух даже не заметил. Решил, что Риф на глазок работает. И вот я решил сделать Рифа чемпионом. Есть у меня на книжке еще тысчонка. Жена о ней не знает. Я ее

так употреблю.

И Макаров рассказал Лобову о диете Рифа (молоко, кости, печень сырая), о натаске в октябре — ноябре на Северном Кавказе, о егерях-натасчиках Москвы и Ленинграда (натасчик должен быть точен и находчив, как правитель в государстве).

Игорь чувствовал — немеют его усталые ноги, впадает в изумление измученный мозг.

Нет, не так он представлял себе содержание соба-ки-чемпиона, не так. Иначе, приятней, все восхищены. хвалят, он гордится.

Лобов сказал:

Лооов сказал:
— Гм, чемпион... А я помру собаководом-любителем. Печально. Ты знаешь, чем я утешаюсь? Накопил охотничьих воспоминаний. Взять этого — лет через десять на охоту будет летать на вертолете. Зато мы с тобой зайцев били в том березнячке, что рос на месте вокзала, по десять штук в час. В памяти моей эти зайчишки жипо десять штук в час. В памяти моей эти заичишки живы. А разве теперешние могут брать за вечернюю зорю тридцать уток? Настрелять полную сетку дупелей? Наложить в штаны, встретясь с медведем?

— ...Стану держать для натаски Рифа подсадных птиц. Перепелов я уже заказал Иванову по пятерке за

пару, о дупелях и тетеревятах тоже условлюсь. Покажу Рифа Оксанову — чудный врач.

— Он же терапевт.

- Ветеринары, мой милый, слабы, а у Рифа авитаминоз. Риф!.. Дурацкое имя, я его Томом назову. А до-машнее имя пусть будет Чемпи. Буду давать бром, сырой фарш, морковку тертую, горох. И обязательно рыбий жир. И гренировки. Внука заставлю, пусть на вело-сипеде едет, а Том за ним гонится. И года эдак через три двинемся мы с Томом за короной в Москву. Рифу будет четыре года, мне шестьдесят девять. Еще вкусим славы.
- И все же ты сумасшедший, тихо вздохнул Лобов.

Они ушли из комнаты. Их голоса гудели в избяной

глубине.

И вдруг Игорь успокоился. Ясно, он не сможет быть проводником Рифа в чемпионы. Только старик, положив жизнь, поднимет Рифа А охогиться в конце концов

можно и со средней собакой.

«Положим, — соображал он, — я отниму Рифа. Что будет? Станет ли Риф чемпионом? (Сестра права, я держал его для себя.) Нет, чемпионом его нужно растить. Сколько забот: вставай в шесть утра и гуляй с ним, спи на работе.

Á натаска, поездки на охоту, дальние поездки —вблизи дичи не осталось. Собственно, Рифу дико повез-

ло. И мне тоже — гора с плеч. Но деньги...»

И, вынув конверт из кармана, он отделил себе сто пятьдесят рублей, подумав, добавил еще Остальные он сунул на подоконник, среди горшков с алоэ. И ушел.

Он шагал, а сердце его сладко ныло, и губы дрожа-

ли. Чу! Риф тихо завыл ему вслед — почувствовал?.. Игорь пошел быстрее, быстрее. Увидя с горы медленно идущую к станции электричку, он побежал...

К вечеру жара усилилась. Подул ветер. Он гнал желтую пыль. Она гасила тополя, еще утром водянисто блестевшие листьями.

Надя пришла к реке ровно в восемь вечера, отыскала Игоря на набережной: он созерцал текущую воду.

Вдруг Игорь прицелился и швырнул сигарету.

— Эх, промахнулся, — сказал он Наде огорченно. — А такая была мишень!

— Игорек, что с тобой?

— Ты лучше посмотри, — сказал он. — Вниз смотри.

— Эти?

— Вон, в той лодке. Видишь лысину? Рядом с Соней? Огромная, а я промахнулся. Какой я охотник после этого.

— Ты один хотел бы любить? И твоя сестра имеет право на личное счастье.

Игорь скривил щеку.

— Что с тобой? — спросила Надя.

— Ничего, — отвечал он и смотрел на нее непривычным взглядом — оценивающим. Да, нежная, красивая блондинка. «А мне здорово повезло, — думал он. — Весьма». И сказал: — Ты знаешь, я никогда не видел слонов, выходящих из лесу. Мне бы хотелось посмотреть на них хоть раз в жизни. Поедешь со мной?

— Ты меня разлюбил? — спросила Надя сдавлеп-

ным голосом.

— Нет, нет, — испугался он. — Просто, день такой.

Я узнал, как собаки становятся чемпионами.

Игорь рассказал Наде сегодняшний день. Рассказывал и видел — губы Нади складываются в ту же трубочку, которой утром обидел его Лобов.

Но трубочка Лобова серая, а эта яркая, сочная.

— Ты что, рада?

— Нет, здесь другое, — задумчиво говорила Надя. —

увидела твою душу. Ты отдал Рифа тому старику, отдал свою гордость, надежды. С тобой я ничего не боюсь в жизни, ничего. Да и зачем тебе Риф? Погладь меня! Мой смешной, мой хороший...

Игорь осторожно потрогал пальцами ее волосы тонкие, легкие. В них путалось солнце. Он убрал руку и снова подумал: «А мне и на самом деле повезло».

— Я что-то устал сегодня, — пожаловался оп. — Мне все надоело, работа, дом. И больше всех я сам. Я все делаю глупо. И отчего-то мне стыдно за себя, за сестру, за того старика... Знаешь, в Африке была эра Великой Охоты, когда били бегемотов. Я сегодня ощущаю себя таким бегемотом. А красивая была охота слоны, львы, носороги.

— Чего же ты хочешь? — Голос Нади угас в

шепоте

Игорь зажмурился и сквозь ресницы смотрел на солнце. Веки просвечивали розовым. Он позвал слонов. но видел только красное маковое поле. Вот, словно пена, всплывал лес. Игорь заговорил:

— Камерун, Уганда, Берег Слоновой Кости, Нигерия... Если я поеду, ты будешь со мной? Повтори еще. — Но я не могу. Ты хоть немного думаешь обо мне?

— Хочу в Африку, — капризно говорил Игорь. Надя положила руку ему на шею и погладила. ...Появились слоны. Один за другим они выходили

из леса. Отсветы макового поля ложились на их бетонно-тяжелые животы. Слоны ближе, ближе... У них веселые глаза и лохматые черные уши, как у Рифа. Они держат друг друга за короткие хвостики. Но вот слоны подняли хоботы и затрубили:

— Нига... Нига... Нига

— Игорь... Игорь, — говорила Надя, теребя его за руку. — Опомнись.

Он открыл глаза и сказал:

— Пойдем куда-нибудь, о слон души моей!

ЗЕМЛЯНИКА В СНЕГУ

Однажды заговорили мы с Иваном Матвеевичем о красках лунной ночи, и разговором этим кончилась наша дружба. Приказала долго жить. А теперь о самой ночи.

Кто видел сибирскую луну, когда мороз жмет за сорок, тот не скоро забудет ее зеленое блистание в каждом

погасшем окне, в каждой снежинке.

Боже упаси долго глядеть на этот лунный свет. Вер-

ная смерть! Я в такие ночи жалею даже волков.

Конечно, давят они скотинку, выхватывая ее с нашего стола, — мы вправе обижаться. Да, да, согласен, разбойники. Но жалко мне их, когда в такую ночь они смотрят на луну, поковырянную кратерами, а вокруг трещат деревья, и мороз превращает снег в белую сыпучую крупку.

Так вот, с Иваном Матвеевичем мы стояли у окна в темной комнате и говорили о лунной ночи, морозе и

волках.

Гости разошлись, жена Ивана Матвеевича мыла грязную посуду, сердилась, гремела на кухне. В комнате был запах выкуренного табака и того вкусного, что может сготовить хозяйка из растительности — Иван Матвеевич вегетарианец.

Пахло укропом, чабрецом, еще чем-то. А мы рассуждали: за обедом Иван Матвеевич хлебнул немного винца и с непривычки, от пустых травяных закусок, стал

говорлив.

Мимо нас прошла в свою комнату дочь Ивана Мат-

веевича, высокая, как столб.

— Ты баиньки? — спросил Иван Матвеевич, а дочь не ответила, только дернула плечом. Мне стало жалко Ивана Матвеевича, я любил его.

Это он тянул меня в большое искусство, он поднял газетный шум. И мне было жаль, что ему в семье живется нехорошо, и хотелось бы знать почему.

А мне тогда было здорово хорошо — на мою долю пришлась бутылка рислинга, дома я съел два здоровенных бутерброда с ветчиной, здесь жевал сыр: российский, с привкусом дрожжей, швейцарский с вапахом орехов. Совал в рот и какие-то незнакомые травки.

И думал, как мне повезло: Иван Матвеевич мой друг и критик работ. Это он предсказал, что я далеко пойду: я был кружковец и лишь мечтал стать художником.

Сытый и довольный, я глядел на друга добрыми собачьими глазами.

Он был интересен. Знаете, есть тип людей сухощавых и легких, как бы летящих. Седые волосы подобием нимба поднимаются над головой Ивана Матвеевича. Должно быть, от них и появляется в этом человеке что-то взлетающее.

Иван Матвеевич какой-то двухступенчатый, черт побери, он почти ангел! Но на крыльях его, не пуская в полет, сидит земное: сердитая жена, дочь с ногами до плеч.

Иван Матвеевич добрый, воспитанный, умный.

Я же, его друг, человек грубый и часто уезжаю за город с ружьем. Там стреляю птиц, варю, жарю их и ем полусырыми. Но из грубых моих поступков сами собой рождаются сюжеты картин. Их зовут нежно-лирическими, а почему, я не знаю.

Зато мой друг это знает и точно может объяснить. $\mathbb M$ потому рядом с ним я часто ощущаю себя тяжелым,

глупым и даже недостойным его дружбы.

Иван Матвеевич — живописный критик. В моем воображении он, словно большая бабочка, парит над нашими холстами, вбирает их мед, наливает им соты — книги.

К тому же он музыкант, играет на том фортепиано, что стоит в актовом зале нашего Союза.

...Итак, гости разошлись, и свет в комнате был погашен, а мы стояли у окна. Нам виделась чрезвычайно яркая ночь: луна горела нестерпимо, была ночным солнцем.

— Не зря ее народ зовет цыганским солнышком, —

сказал Иван Матвеевич. И мы заговорили о луне.

Я, человек практический, рассуждал о красках и

формате картины, которую напишу.

Иван Матвеевич все толковал о хлорофилле вселенной, несущемся в этой зеленой ночи, чтобы где-то породить жизнь. Он мыслил широко.

И мне вдруг увиделась его голова, как хлорофилл,

несущаяся в космос.

Волосы на ней седые и вздыблены, они походили на сияние, что обнаруживают у пробивающих атмосферу спутников. Я думал, что нарисую когда-нибудь несущийся одинокий спутник Земли, похожий на голову моего друга.

— Хлорофилл, — бормотал я, — это здорово при-

думано.

— Я и не такое могу...

Тут Иван Матвеевич вдруг хохотнул и рассказал мне

следующую занимательную историю.

— Дорогой мой, — говорил он. — Мысль о несущемся хлорофилле приходила мне и ранее. Вам надо понять, что мысль очень похожа на ребенка — она зачинается, рождается, вырастает.

Да, да, рождается хрупкое дитя, и вы должны быть готовы схватить его, завернуть в пеленку дневника, пи-

тать молоком размышлений.

В конце концов мысль становится взрослой, больше того — твердым кристаллом. Она живет сама по себе, и ей плевать на тебя, как выросшей дочери. А чего ты только не делал ради нее, чем не поступался.

Вы не поверите, но однажды, сберегая мысль, я со-

вершил довольно-таки неэстетичный поступок.

Была такая же ночь, мороз и темнота. Я стоял у окна и обдумывал тему «Сибирская школа художниковпейзажистов». Перед этим я года два сновал повсюду: п в Красноярске был, в Томске, в Бийске.

Я расспрашивал, смотрел картины, шарил по чердаго сходное, и у меня рождалась презанятная мысль.

Гогда, у окна.

Я выключил свет и стоял в темноге, чтобы сосредогочиться. Но этому все мешало. Скрип шагов доносился с улицы, сюда, на пятый этаж, мешая думать; в прихожей скулила Земляника — собачка с шапку величи-ной. Ее подобрала дочь, а приютила жена. Цвет собачонки был не рыжий, а скорее красный.

 Охра с примесью киновари, — подсказал я.
 Вообразите, собачка крохотная, красная, пучеглазая, то сиротливая и покорная, то визгливая. Пазвали ее Земляникой, и жила она у нас две-три.

По-моему, собачку бросили переезжавшие хозяева: она долго мыкалась около нашего дома, как-то жила. Дети, я замечал, кормили ее, а спала она в ко-

тельной

И вот мои женщины взяли ее.

Я слушал визги Земляники, и раздражение охватывало меня, даже отчаяние — мысль не давалась мие, ускользала. Ей помогали убегать шаги и гудение бойлера, визги Земляники.

Я стоял и ждал, когда прохожие уснут, бойлер перестанет трясти дом, а Земляника стихнет.

Но та тихонько скулила и визжала, скулила и визжала.

И я подумал: а вдруг мысль умрет (замечаете, как действует ее самозащита)? Я пошел и дал Землянике морковную котлетку, но

та не замолкла. Надо было поступить решительно!

Вы знаете, я неконфликтный, мягкий человек. Потому ждал, когда жена и дочь уснут, и лишь тогда оделся

потеплее, поманил Землянику и вышел.

Она бежала впереди меня, катилась по лестнице. Когда мы вышли на улицу, мороз склеил мои ноздри (было под пятьдесят). Я поднял воротник и пошел, не зовя Землянику за собой.

Пусть, думаю, уйдет, если хочет.

Но Земляника шла за мной.

Мы прошли с нею частные дома, развороченные

строителями.

Ужасная картина — разрушенные семейные углы. Даже Земляника стала подвывать. Я же замерз и думал, что вот дьявольски холодно, а собака, быть может, больна, и моя жена — доверчивая истеричная дура, и что если я пойду домой, то Земляника побежит, придется ее впустить. Ноги мои стыли. И я — совершенно бессознательно, заметьте, — вдруг подхватил собаку под локотки (она куснула мой палец сквозь перчатку) и посадил ее в снег, в чей-то палисадник.

Под коркой снег оказался рыхл и сыпуч, и Земляника погрузилась в него, и напряглась, и стояла, опираясь на локотки. На снегу оказались ее передние лапы, и голова, и блеск в очень больших глазах, прямо смотрящих на меня, — заскули она, и я бы взял ее. Но Земляника молчала, и я решил, что пока она выбирается из снега, я успею уйти домой. А Земляника пусть идет

в свою котельную.

Я вернулся и, согреваясь чаем, долго сидел в кухне. Полночью прохожих нет, бойлер перестал гудеть, стало тихо. Но мысль не шла, Земляника-таки вспугнула ее. И еще мне было стыдно: переживание шло на этическом уровне.

Я лег, но долго не засыпал. Я ворочался, вставал, пил снотворное, снова ложился и опять вставал. Заснул

лишь под утро.

Проснулся в десять — ясное солнце врывается в комнату, и мысль, как бабочка, тихо опускается ко мне. Я записал ее и пошел за хлебом (моя домашняя

пагрузка).

На улице было морозно и ясно. Так же прояснилось и во мне. Я понял, что Земляника просто нервничала, а развороченные дома подсказали мне, что один из них оплакивался собакой. К тому же подумалось, что еще скажет жена, вернувшись с работы. Это меня сильно встревожило.

В хлебном магазине я купил калорийную булочку:

угостить Землянику в ее котельной.

Я вернулся и пошел в котельную — нет Земляники! Где же она? Бегает и мечется по морозу? Мой недобрый гений понес меня к тому палисаднику.

Я, видите ли, решил посмотреть следы Земляники и определить направление, в котором она убежала. За-

тем найти ее и вернуть домой.

Вокруг было очень много солнца и мороза, а заиндевевшие деревья светились: такое вам, художникам, не удается передать.

Я шел и был доволен собой — вот и мысль нашел, и калорийную булочку несу Землянике. Словом, хоро-

ший человек.

Я подошел, заглянул в тот палисадник — и ощутил

удар под ложечку. Земляника все еще была там.

Она стояла в снегу, положив на его шершавую корку лапы. Глаза ее были открыты и припорошены снегом.

Я оглянулся — никого. Потрогал ее — камень!

И тут я догадался, что она умерла сразу, когда я посадил ее, от разрыва сердца. Вот и снег разворошила лишь слегка.

Что же, это смерть быстрая, легкая, которую я всегда желаю себе. Но кошки скребли меня: умерла Земляника... Что-то я скажу жене...

Я шел домой, уши мои горели, а мысль нашептывала мне, что да, я виноват и должен наказать себя сверхусердной работой.

Вы замечаете эгоизм мысли?

Конечно, я все рассказал жене.

Но благодаря моей жестокости к Землянике я бысткончил книгу, хотя заболел от переутомления. И мысль, став кристаллом, ушла. Теперь она живет своей жизнью.

Иван Матвеевич снова заговорил о хлорофилле: сло-

ва так и сыпались из него.

Я же был Земляникой и стоял среди колючих звезд снега. Я костенел, глядя на луну сквозь застывшую глазную пленку, ощущал лапами глубокий, сыпучий, как мука, снег — ни опереться, ни уйти.

Я охотился зимой и потому точно знаю, как умирала

Земляника.

Ошущать, как тебя колют длинные снежные иглы, и видеть лунную морозную ночь! Бр-р-р... Я понял презрение жены Ивана Матвеевича, нахаль-

ство дочери и даже свою жалость к нему.

А наша дружба?.. Она кончилась той лунной ночью.

ОШИБКА

Таланты — они разные... Есть даже талант дружбы и любви к собаке. Потому и бывает: прекрасный человек не ладит с псом, а забулдыга находится в нежнейших отношениях с своей косматой собственностью.

Любящая, преданная собака прислушивается к хозяину, ловя его движение, вздох, слово. Проницательность ее удивительна. Так вот, талантливый человек тоже чувствует свою собаку.

У Жогина пес был, но ни таланта, ни желания заслу-

жить его любовь не находилось. Что можно понять: лесной таксатор, он работал в тайге, как работают только старые работники, до полного истощения. Выяснять, что творится в собачьем (да и в своем) сердце, у него не было ни сил, ни времени.

Он не дружил с собакой, а просто имел ее. И наблюдал нежность других к своим псам с насмешкой.

А пес?.. Он понимал Жогина?..

Этот черный, с проседью пес вышел к нему в еловой тайге, кинулся прямиком к огню — старый, в шрамах.

Разорвано ухо, морда в белых пежинах.

Он лег около костра и дрожал, а Жогин разглядывал собаку. Собака мощная, с широкой костью, но потрепанная жизнью. Вполне пригодный пес! Пожалуй, нужный. А большего он и знать не хотел. Какая разница, откуда взялся пес. Может, ушел от умершего в тайге охотника. Это бывает. Или бросил дикую собачью стаю — Жогин видел такое!

Пес же не мог рассказать, что щенком он жил у взбалмошного, к тому же драчливого хозянна, убежал с собачьей стаей в тайгу и постепенно добрался до Эвенкии. Здесь стаю встретили волки. Свирепствовать в одних местах с одичавшими псами они отчего-то не могут, и волки быстро прикончили собак.

Черный пес спасся чудом — бежал к костру. Приметив в ночи его звездочку, он уходил от волков, бук-

вально виснувших у него на хвосте. Ушел.

Волки, посидев какое-то время, сняли осаду: пичего не поделаешь, здесь человек. В конце концов, по их пониманию, все становилось по местам: собака уходила

обратно к человеку.

Пес успокоился, Жогин достал из рюкзака и бросил ему кусок сала. Он догадывался, что судьба Черного пса была раз в тысячу тяжелее его собственной. Но какое ему дело?

С той ночи он относился к псу с равподушным ува-

жением, будто к седому человеку, встреченному, скажем, в поезде. С ним и помолчать хорошо. Он и тогда молчал, у костра. Бросил сало и занялся чаем, хлебал его, горячий и сладкий, с наслаждением.

Молчать Жогин привык с детства. Старший брат работал, и он целыми днями сидел дома один: матери не было, а отец бросил их.

И далее жилось не лучше. Он полюбил лес, свое одиночество в нем, работу лесного таксатора, все время идущего вперед. Хорошо! Не прожив с ним и двух лет, ушла жена: Жогин вернулся в ноябре, с рюкзаком кедровых орехов, и наткнулся на запертую дверь. Соседи вынесли ему ключи, все объяснившие безмолвно, точно и ясно.

У Жогина кошки скребли на сердце. Он бы заплакал, если бы умел. Но, поразмыслив, решил, что жена права: как жить семейно, если муж девять месяцев в году бродит в лесах, а остальные три угрюм и неразговорчив?

Он любил ее, но согласился, что это никак не выявляють внешне. И все-таки Жогин обиделся отчего-то лялось внешне. И все-таки догин ооиделся отчего-то на всех. Он замкнулся в злом одиночестве, утешался им. Даже перестал встречаться с друзьями, редко бывал у брата. И, как водится, пересолил: остался совсем один. Порою он чувствовал острое, как боль, желание иметь рядом с собой что-нибудь живое: птицу, мышь, сверчка. Но только не жену, нет!

Но только не жену, нет!
Все продумав, он решил завести лайку с опытом та-ежных охот, чтобы не зря кормить пса. Но привычка к одиночеству вросла в него: уже лет десять он собирал-ся завести собаку и не заводил, боялся хлопот. Но вот — Жогин еще не разобрался, что в его жизнь входила первая случайность, — выскочил к костру Чер-ный пес, таежный охотник. Пусть староват, пусть охо-тился только для себя. Зато опытен. Он не виляет хво-стом, зато помогает на охотах. Пес не лизал его рук,

но свирепо охранял лагерь — росомаха уже не отважи-

валась сунуться в палатку.

Черный пес тоже был доволен, что к нему не лезли с нежностями. Он, как и Жогин, предпочитал минимум общения.

Постепенно таежные бродяги сжились. Угнетала Жогина лишь необходимость каждую осень везти пса из тайги в город. Правда, он поселялся в сугробе, что наметало ветром на балконе, но по нужде его надо водить на сворке. Чтобы не было скандалов: тот не выносил

городских жирных собак и жестоко кусал их.

Жогин с удовольствием замечал в озлобленности пса нечто похожее на те вспышки ярости, что накатывали и на него самого. Но между собой они сосуществовали мирно: пес сразу пресек попытки драться, а Жогин, смазывая йодом укусы, не забыл урок, не простил Черному прокушенной руки. Прочее же, если учесть их угрюмость и вспыльчивость, шло вполне терпимо.

Эти случайности... Городской человек вытаптывает тропочку своего житья-бытья и, ходя ею, сводит их к минимуму. В лесу же, где все дикое: зверье, ливни, осыпи, речки, — каждый час, каждый день проходит иначе, чем вчерашний. Но Жогин, проработав таксатором семнадцать лет подряд, умудрился избегать пеприятных случайностей и в лесной жизни (заодно оп обошел много приятного). Был начеку, вот и весь секрет...

Если Жогин разбивал бивак, то искал место, где не было красиво обомшелых деревьев, могущих упасть от первого рывка ветра. Если кончалась еда, а олени не подворачивались, Жогин выходил на медведя с пуля-

ми, которые лил сам.

Готовясь переправиться через реку, он часами бродил по берегу. Но не любовался — кидал в воду палки и выбирал наилучшее место.

А ежели примечал человека с ружьем, то обходил

его стороной — мало ли что!..

В результате семнадцать лет Жогин ходил по тайге, и ничего с ним такого не случалось. Он не тонул, не крутил романов с девушками-радистками, не замер-зал в снегах. Медведь, подраненный кем-нибудь, измученный болью, выскочив к Жогину, сразу видел черный глаз ружейного ствола, а затем ослепительную

вспышку.
Но случайности проникли-таки к Жогину.
Вторая случайность оказалась сокрушительной.
Жогин давно подозревал леса в ущельях Путорана.
Не сейчас, конечно, соображал он, лет так через пятьдесят, когда все будет повырублено, придется брать древесину не там, где удобно, а в местах, где она сохранилась. Авось не будет таких времен, о них и думать противно. Но посмотреть, занести на карту эти леса нужно.

Жогин, когда ему что-нибудь западало в голову, свое намерение исполнял непременно, даже если горел график работы. Трудиться отчаянно, во все лопатки, наверстывая упущенное, он тоже умел. За это ему многое

прощалось начальством.

На собраниях Жогин молчал, получая грамоту или подарок (часы и т. п.), тоже не затруднял язык. Но руку он жал крепко, от души, затем брал красивую бума-

гу и шел на место. Все!

лу и шел на место. Все: ...Случилось это на третьем году совместного с Черным псом житья. Жогин брел к своему несчастью мелкими хребтиками, что постепенно сливались друг с другом в один общий, невысокий, но могучий хребет. Это у таксаторов называется идти «линией водораздела»; здесь не мешает шагать везде растущий кедровый стланик, густой и цепкий.

Пора была осенняя, но редкостно теплая для Эвенкии. Что-то там сместилось в небесах, и холод Эвенкии застрял на Украине. А здесь было и тепло и мягко.

Жогин шел весело: он любил горы, синие мазки хвой-

пого леса, но особенно осенние лиственницы. Красные, они бодрили его. Пес то шел следом, то обгонял, обню-

ливая попадающиеся норы.

И то, что с ним рядом не человек, а собака, радовапо Жогина. Человек бы обязательно возражал, критиковал дорогу, видел трудности — пес шел. К тому же мог помочь в охоте и смягчить, если накатит, тоску. Рядом с пим можно помечтать о том, что еще лет тридцать Жогин будет бродить по этим местам, уже стариком — бодрым, тощим, с винтовкой на плече.

Сине, хорошо... Жогин прикинул, что на своевольный маршрут затратит дней пять. Немало! Ну, он наверстает дни, уточнив маршрут, работнет до сладкой устало-

сти. Все будет хорошо.

И Жогин шагал весело, нес тугой рюкзак и трехлипейную винтовку. Приятная тяжесть! Что ни говори о вездеходах, а идти самому, чуять ногами землю или даже камень — великая радость.

К тому же здесь иначе и не пройдешь.

Еды Жогин с собой нес немного, три С, так шутил оп: сахар, сало, сухари. Но винтовка была им тщательпо пристреляна, патронов с собой много. А значит, любая дичь, начиная с хохлатого рябчика и кончая оленем, будет убита острой винтовочной пулей. Дичи здесь навалом, чего там! С жратвой все в норме, благо пес ест лесных мышей.

Жогин шел, прыгая с камня на камень. Дымились оснеженные вершины Путорана. Жогин то и дело посматривал на них и каждый раз говорил: «Ух ты...» Иногда даже останавливался, чтобы удобней смотреть. Тогда Черный пес тоже задирал морду, но своего отношения к заснеженным громадам пичем не выражал. Это Жогину нравилось. Он как-то вдруг стал всем доволен. Тем, что в первый же день они отмахали вдвое больше расчетного и нашли маленькие сосновые леса в укрытых от ветра ущельях.

Жогин сфотографировал найденные леса, прикинул

высоту, обмерил толщину стволов и записал. Переночевали тоже неплохо. На ужин сварил похлебку из белок, настрелянных в соснах (он носил с собой патроны, заряженные деревяшками: зверьки подпускали близко). Наевшись до упора, они улеглись, спали на срезанном Жогиным лапнике. От ночного ветра их защищал частокол из палок, вбитых в каменистую землю и пригороженных сосновыми ветками. Спалось Жогину сладко, без снов. Пес закрыл нос хвостом и все к чему-то прислушивался, на кого-то ворчал.

Утром — так часто бывает в день беды — Жогину

было особенно легко и весело.

И чай был вкусен, и сало, сухари... А какое множество горящих осенних лиственниц взбегало на склоны, какие пролетали стаи уток! И Жогин ухмылялся той сыто-довольной улыбкой, которую не переносил на лицах других. Он увидел необычайное сияние горных снегов и прокричал:

— Никогда такого не видел!

Все, все, что Жогин видел сегодня, было красивым. И его обычная угрюмая настороженность ушла. Он был готов приласкать Черного пса, если бы тот подошел. Скажем, погладил бы. Но вовремя сообразил, что только испугает пса: их прохладные отношения стали нормой.

Сытый, налившийся крепким и сладким чаем по горло, Жогин всего на секунду-другую забыл о том, что идет не по тротуару, а по каменистой кромке обрыва.

Он воображал, как станут говорить: «О-о! Этого одинокого волка не проведешь, от него ни одно дерево не укроется». Ему нравилось свое тело, сильное и жилистое. Отличная, хотя и старая, винтовка оттягивала его плечо, а добротный фотоаппарат «Москва», заряженный цветной пленкой, лежал в кармане. Сегодня, решил Жогин, он сделает для отчета потрясные снимки тайных

горных лесов. И не только в отчет, он их увеличит и подарит... Гм, дарить снимки было некому. Брату разве...

Ладно, решил Жогин, он повесит их в комнате

стене, будет любоваться ими по вечерам. Один!

— Я один... всегда один... сильный и свобо-одпый... — Жогин запел, изумив собаку, — Черный пес даже принюхался к нему. Тут и случилось: пес сунулся пюхать, а поющий Жогин глупо отшагнул от него в сторону. Камни же были мокры от росы, предвестницы отличного дня. И Жогин поскользнулся.

С кем этого не бывало! Но вопреки обыкновению его нога не стала на другой камень, а вошла в воздух...

— Ух! — вскрикнул Жогин от ощущения чего-то огненного в ладонях и повис на руках. Теперь он видел не снежные горы, а зернистый камень да свешивающиеся корни стланика, морщинистые, в серых крупинках.

Увидел свои пальцы, впившиеся в эти корни.

Быстрота совершившегося потрясла Жогина. Сорвался?.. Он?.. На корнях появились колечки разрывов. Тяжеленный рюкзак, следуя инерции падения Жогина, потянул его вниз. И корни лопнули со странным звуком. Словно вздохнули освобождаясь. Небо пронеслось над Жогиным. Он увидел верхушки сосен и ржавые скалы — под собой. «Хоть бы на дерево», — пожелал он себе и проломил вершину, врезался в другую, пониже, и был отброшен пружиной толстого сука, сломавшего ему ребро, но спасшего жизнь. Его посетило ложное ощущение: перед ним замелькали молотки, стамески, клещи и прочие инструменты брата. Затем его хватили по голове; вспыхнула картина драки в Колпашеве с подвыпившим кузнецом: широкое лицо в черной бороде,

глаза, брошенный в ударе кулак, черный, будто гиря.
...Когда Жогин смог приоткрыть один глаз, все представилось ему водянистым и колыхалось. Второй глаз, протертый от крови, вернул окружающему миру плотность. Все прочно, будто приколоченное гвоздями, вста-

ло на свое место. Но Жогин шевельнулся — горы зашатались, будто картонные, а солнце позеленело... Жогин зажмурился. Он уже понял, что все стало другим в

горном мире, потому что изменился он сам.

— Черепушечка моя, видно, раскололась, — пробормотал Жогин, подлезая пальцами под затылок. Рванула боль, он застонал. Нет, такой боли он еще не знавал, будто ввинчивался в мозг длинный толстый винт поворот за поворотом.

Боль то уходила, то возвращалась — от шевеления губ, от движения глаз. И тогда все: горы, лес, камни —

шевелилось, рассыпалось, грудилось.

— Но этого просто не может быть, — прошептал

Жогин.

...Замелькали яркие полосы. Такое он видел пацаном, когда пробегал мимо палисадника, где солнце чередовалось с планками, те — с солнцем...

Вот это боль! Не дает шевельнуться.

Черный пес, прыгая с камня на камень, спустился и подошел к Жогину. Принюхался. Пес щетинил загривок, чуя пряный аромат крови и острый запах Вот только что человек весело шел, а теперь лежит и стонет жалобно, тонко. Черный пес прижал острые уши и мелко-мелко переступал дапами: ему хотелось уйти.

Он чуял беду, но видел Тот костер, а около Челове-ка с Длинным ружьем. Двойные огоньки волчьих глаз рассыпались вокруг. Сейчас их нет, но придет ночь, и они появятся. Черный пес завыл хрипло, басовито.

— Кончай меня отпевать, — прошептал Жогин. Он чувствовал: кровь на затылке уже спеклась, связала волосы, словно на голову надели тугую резиновую шапочку. Может, попробовать встать?

— Ну почему, почему я не глядел под ноги? — за-

дал Жогин вопрос всех угодивших в беду.

Черный пес лег около. Он рыкнул на подбежавшего к рюкзаку бурундука, потом встал и долго обнюхивал

ишиговку, повиливая хвостом. Снова лег, уже спокойный.

Пес задремал, но уши его двигались, прислушиваясь стонам Жогина, к покатившемуся где-то камню, раз-

говору пролетающих гусей.

— Что же делать? — шептал Жогин. Он припомиплл, припоминал... Например, Чернов... Разбившись в горах, тот спокойно отлеживался и ждал спасителей. Вот и выход: лежать спокойно, терпеливо ждать. И Жогин замер. Стараясь быть каменно-недвижным, он не

спал всю бесконечную первую ночь. Пришло теплое утро. Глаза жадно схватывали его приметы. летящих кедровок, медлительные плоские облака. Но было и сомнительное: земля (или голова?) кружилась. Нет, он бы не доверился этому утру, теперь он в жизни ничему не поверит. А сейчас не шевелиться, не двигаться. Пес свернулся клубком и лежит рядом. Но не спит — смотрит, помаргивая бровями. На морде собаки роса... «Чего он уставился на меия?» — встревожился Жогин.

Пес встал. Зевая, потянулся, затем встряхнулся, как встряхиваются собаки по утрам, побежал. Куда?.. Ловить мышей?.. Жогин ощутил тревогу: вернется ли пес?

И что с едой?

Хотя было нелегко работать ощупью, левой рукой, к тому же онемелой, он все же развязал мешок. И нашел килограмма два сухарей (осмотрел каждый, не плесневеют ли), полкило сахара и кусок сала, натертого чесноком и присыпанного красным перцем, завернутого в полиэтиленовую пленку.

Всегда приперченное сало вызывало у Жогина слюну, но теперь язык был сух. Как щепка. Ладно... Главное, есть калории, он сможет продержаться пять-семьдесять дней. Но вода! Где взять ее?.. Жогин испугался.

Ведь если нет воды, тогда все, он пропал.

И Жогин стал вслушиваться. Слава богу, в безмер-

ной, почти гремящей тишине гор он услышал близкий голос водяной струйки. Где она? Ища, Жогин шарил, тянулся рукой. Й нащупал ее, бегучую: вода тоненько растекалась по камням на расстоянии вытянутой руки, между пальцев бились ее струйки — ледяные червячки...

Ладно! С водой ему здорово повезло. Пока что ее можно брать, смачивая носовой платок. Так, с водой и жратвой все в порядке. Но голова болит, а тело отчегото немеет. И еще все непривычное становится привычным.

Например, отдыхая от поисков воды, Жогин вдруг

услышал дробь падающих корпускул света. Что еще может падать? Дождь? Но солнечно, тепло, сухо. Прикрылось солнце облаком — стук затих, открылось — вот он. Что еще может сыпаться на землю, кроме брошенных квантов? Значит, это они. Эхо ударов было разным: мягко шепчущее — от хвои и мхов, рез-

кие щелчки — при ударах о камни.

Вслушиваясь, Жогин забыл обо всем, но покатились камешки, загремело дыхание: Черный пес! Вернулся-таки! Вот бродит, принюхивается, все осматривает. «Однако корпускулы не слышит», — хвастливо подумалось Жогину. Но отличный пес — не ушел, вернулся. Благодарность переполняла Жогина. Что сделать? Почесать Черного за ухом, кажется, это им, собакам, нравится?

Он позвал — пес подошел к нему. Но смотрел на протянутую руку с подозрением, даже с загадом, в глазах. И Жогин не стал ласкать пса, еще укусит,

ну его!

Он убрал руку и смотрел на лапы, сильные, могущие в любой момент унести пса отсюда. Глядел с завистью. Поднимая глаза, Жогин скользил взглядом по черной шерсти с блеском ее серебристых и длинных ворсинок. Проклятое непривычное! Ворсинки тотчас стали иглами, нацелились в глаза.

Иглы, кванты... Интересная жизнь пошла! Но к ней пужно прилаживаться. Как же иначе? Раз нельзя уйти отсюда, надо делать жилище. Собаке что, ей и мышь еда, и трава постель, а шкура одна за все про все. Человеку же в тайге жить трудно. Зябко. Развести костер? На взраставших столетиями наплывах мха? Сюда пустишь огонь — живо сгоришь. Сюда толстое одеяло надо, моховое.

И Жогин стал собирать мох. Тот отрывался от камней охотно, но с глуховатым хрипом. После нескольких дней возни Жогин зарылся в мох. Отдыхая, он то слушал кванты, то щурился на блестящие иглы. Но его все больше занимала собака.

Черный пес наблюдал за ним и что-то думал при этом.

Что варится у пса в голове? Жогин с неудовольствисм заметил, что голова собаки объемиста, что пес мозговит.

«Что он может думать? — спрашивал себя Жогин и отвечал за него сам: — Прикидывает, выживет ли хозяин. Собаки, — припоминал Жогин, — чутки... Только заболеешь, а ей уже все ясно, врач еще не сечет, а она тебя отпевает. Или бросает подыхать одного в горах!»

Жогин почти не ел, не хотелось. И с возрастающей гревогой смотрел на пса: тот что-то решал. Что? С великой горечью Жогин понял, что не знает свою собаку. Ему думалось только нехорошее: предаст, бросит одного. Чем его удержать? И Жогин угощал Черного пса сахаром; тот сидел рядом, грыз. Жогин с трудом преодолевал желание схватиться за ошейник. Нет, этого нельзя делать. Пес сильный, он запросто вырвется. А, борясь с ним, себе же сделаешь хуже.

Пес, разжевав кусочек, ждал следующего. Его косящие золотистые глаза казались Жогину двумя лунами, плавающими в темноте. Пес умный, зря ничего не сделает. Он уйдет, определив, что Жогин безнадежен.

Да, найдут Жогина нескоро, никто не знает его новый

маршрут. Глупо!

— Не оставляй меня, — попросил Жогин и дал еще сахара. «Я выживу», — хотел сказать ему, но не решился.

...Теперь Черный пес уходил на дальние охоты. Судя по прилипшему к его носу пуху, он охотился за куро-

патками. Белыми, еще не перелинявщими к зиме.

«Разве мало мышей? — размышлял Жогин. — Надо полагать, птицы означают его возврат к вольной охоте». Пес задерживался, а Жогин волновался, придет тот или нет. Но и без пса он не был один, его посещали гости: слышались мышиные шажки (собирали оброненные крошки), являлись бурундуки, а как-то пришла лисица глинисто-рыжего цвета. Но вдруг рядом с ней вырос Черный, заревел, и оба зверя исчезли.

Черный пес вернулся лишь на другой день, усталый, со вторым разорванным ухом. Он лежал рядом с винтовкой и лечился: слюнявил лапу и тер ухо, снова лизал и тер. Жогин успокоился: пока ухо не заживет, пес

будет около него — спать, зевать, чесаться.

И Жогин решил, что разорванное ухо было везением, как и находка родничка на расстоянии вытянутой руки. Проучив его, несчастная случайность убралась, и все теперь шло ему на благо: вода была, и пес не ушел, этим подтвердив, что выздоровление Жогина близко. Самое же приятное (и невероятное) было то, что сентябрь продолжал оставаться теплым и солнечным.

Жогин, вскрикивая от боли, начал пошевеливаться. Пес лечил ухо, охотился, рассматривал Жогина. Но трещина между ними расширялась. От ночного холода Жогину приходилось зарываться в мох с головой, а Черный пес не ложился рядом, не грел, сколько ты его ни

зови.

Жогин корчился, трясся в ознобе, даже подвывал. Он звал собаку, то моля, то проклиная ее.

— Черный гад! — орал Жогин. — Милый псина... А затем случилось то, чего Жогин боялся: пес ушел. Даже не стал ждать, пока срастется ухо, а будто вспомиил отложенное дело и место, где его ждали.

Уходил пес в ясный, прозрачный день, полный огня лиственниц. Пошел от камня к камню, от сосны к сос-

не. А там и побежал.

Жогин видел, что пес уходит не колеблясь. Четкость собачьей воли потрясла его. Все! Он конченый человек, раз собака больше не верит в него.

— Вернись!

Жогин закричал так громко, что встряхнул голову. Эхо швырнуло крик обратно, словно камень, родив новую боль. Не напрасную — пес вернулся. Он подошел и глядел на Жогина — долго, то ли решая свою задачу, го ли прощаясь. А Жогин проклинал себя, что не изучил, не умеет держать в руках темную душу собаки.

— О чем ты думаешь? — спрашивал Жогин пса. — Ты решил, я пропаду? И ты со мной? Но это же ерун-

да, я выкручусь, вот увидишь. Мы оба спасемся.

Он говорил, а ему хотелось кричать. Но холодны собачьи глаза, они льют на Жогина поток недоверия. Жогин барахтается, захлебывается в нем. «Нет, — говорят они. — Ты скоро будешь мертвым».

— Не буду! — крикнул Жогин, даже собака попятилась. «Эх, встать бы! Или сграбастать пса?.. Черт с

пей, с головой?»

Жогин протянул руку, но собака отскочила, не отволя желтых глаз. Дикая злоба охватила Жогина: «Убью!» ...Он потянулся к камню, но Черный пес был настороже: он прыгнул к руке, щелкнув зубами. Жогин отдернул руку, а собака, прижав уши и выставив стершиеся клыки, рычала.

Может, говорить?.. Пес будет слушать, а пока слуша-

ет, будет здесь.

— Старина, ты не должен бросать меня, — внушал

Жогин. — Понимаешь, я боюсь быть один. Грызи, ешь меня, только оставайся! И забудем прошлое. Согласен, я был неважным хозяином, но ведь и ты не медовая коврижка. Значит, с этого дня так: ты мне друг, а я тебе. Мы друзья, вот в чем дело. А друзья не предают друг друга. Понимаешь, у меня в жизни не было друзей, меня часто предавали. Все началось с отца. — И Жогин пересказал Черному свою жизнь. В конце концов от слабости, от обиды он зажмурился. Солнце грело лицо, будто теплую ладошку положило. А когда Жогин открыл глаза, то увидел пса уже наверху.

Пес бежал по обрыву так быстро, так нацеленно, будто его ждал новый костер и другой хозяин.

— Сволочь, — пробормотал Жогин. — Надеюсь,

тебя сожрут волки.

Так Жогин остался наедине с болью, с холодом ночей, с ощущением одиночества, даже странной пустоты в себе. Боли усиливались. «Это, конечно, воспаление мозга, — решил Жогин. — Теперь я обязательно сдохну». Он почти не ел, а только пил воду и ставил себе на голову ледяные компрессы, используя носовой платок. Он часто терял сознание и бредил. Так, между бредом и явью, прошло неизвестное Жогину число дней. Но в часы, когда его разум прояснялся, в Жогине зрела обида на жизнь. Почему она дала ему плохого отца?.. Убила мать?.. Подсунула неверную жену, а затем собаку — черного предателя.

Это же подлость в квадрате — бросить раненого в

тайге.

Отец, жена... Те далеко, те реяли, словно в тумане. Но собака была здесь, жила — черная. В ней, теперь мерещилось Жогину, собралась вся жестокость жизни, ее черное предательство.

И не случайно пес подошел тогда к костру, а на

обрыве с точным расчетом сунулся Жогину в ноги.

Словно нарочно, чтобы добить его, вдруг перемени-

плсь погода. Накануне у Жогина был особенно долгий обморок. Начался он даже весело — пробежали по синему небу белые паучки, и стала ночь, и в ней звезды. Они тоже разбежались... Придя в себя, Жогин вместо голубого неба увидел низкое, осеннее, холодное. Оно клубилось тучами и понемногу, скучно рассеивало спежинки. Зато в этом небе, повыше гор и ниже туч, плыли два вертолета.

По-видимому, это все же бред, видение — машины шли беззвучно. Но после ночи, в которую Жогин промерз до мозга костей, в небе с утра началась суета.

Его искали, на вертолетах!

Жогин ликовал: его не забыли, ребята выжидали положенные на маршрут дни. Но вертолеты проходили пысоко над ним, забирали к югу, где он должен был идти.

Нет, так его не найдут! Надо выбираться на открытое место. Скажем, на обрыв: там развести костер и дать сигнал. И надо торопиться — еще одну такую ночь он не выдержит. Жогин кое-как поднялся и встал, ухватясь за сосенку, колкую, липкую от смолы.

Он стоял, а горы, сосны, небо — все раскачивалось и вот-вот могло упасть. А боль-то, боль! Чем прогнать се?.. Он положил пальцы на веки и прижал. Сильно, чтобы новой болью сломить первую.

— М-м-м... — простонал Жогин и попросил боль: —

Иди ты...

Она не ушла. Уж лучше помереть, чем идти с нею. — Черта лысого, — сказал он. — Я стану жить до

ста тридцати лет.

Он должен жить, его ищут... Людям бы плюнуть на него, тяжелого человека, они же, рискуя машинами, могущими запросто врезаться в гору, тратят рабочее время— поди верни его!.. Надо идти— к иим, к своим рабочим друзьям.

Ладно, он перетерпит боль, он пойдет. Но пусть

жизнь не рассчитывает больше на его покорность. Такие муки... Все! Хватит с него! Удар за удар — вот так!.. И отцу он не простит, и жена пусть идет к черту, а уж собака... Значит, лезть на обрыв? Жогин, придерживая голову руками, посмотрел на его недостижимо высокую кромку — и ахнул: туда, где проблескивал гранит, выкатилось черное пятно, живое. Пес? Вернулся? Жогин всмотрелся: да, да, это Черный пес! Но по-

чему он не идет к нему? Стоит и вынюхивает что-то.

И тут цель прихода Черного пса стала ясна Жогину, будто он сам был собакой. Пес пришел оглядеть останки хозяина, убедиться, что не ошибся, бросив его.

Но так шутить с Жогиным опасно... Хватит! Он выжил и теперь задаст всем, так задаст, что... И начнет

сейчас же, предатель получит свое.

На фоне горы, уходящей в небо, пес вырисовывался четко. Қак мишень. И Жогин нагнулся к винтовке. Взял ее в руки, передернул затвор. Лязгнула сталь — и пес исчез. Совсем?.. Ага, снова появился. Оборачивается. повизгивает, будто зовет кого-то. Ясно, такую же собаку, бродячую сволочь.

Но можно ли попасть в пса?.. Надо попасть!.. Иначе все дурное, что было в жизни Жогина, уйдет неотомщен-

ным.

Присев, он кое-как поднял винтовку, опер ствол на ветку, морщась и ругая голову страшными словами, стал целиться. Но ствол плясал, прорезь и мушка расплывались, а черное пятно собаки круглилось. Ладно! Пусть!

Больше он не в силах держать проклятую винтовку.

Нажав спуск, Жогин решил, что промахнулся.

Грохнуло так, будто упала сосна. Отдачей Жогина кинуло в сторону. Он упал и лежал вниз лицом, и была только боль, ввинчивающаяся в затылок. Но сквозь нее послышался визг собаки. Жогин захихикал. И тут же застонал.

А собака визжала и визжала... Теперь он будто видит ее: она бьется, загребает лапами камушки... Вот, стихла. Он разделался с подлой тварью... Но что это?.. Ему послышались голоса Жогин со стоном поднял голову. Это мерещится... Нет, он видит людей. На краю обрыва стояли люди. Они пришли... Искали его, услышали выстрел и пришли... Уж теперь-то он будет жить. Исхудалое лицо Жогина, обросшее бородой, оскалилось в страшной улыбке. А с того места, где только что

вертелся Черный пес, ему кричали, чтобы он не стрелял.

Но почему искали здесь, если плановый его маршрут

много южнее?...

И вдруг он догадался, понял. Все!.. И затейливо. длинно выругался. Жизнь снова посмеялась над ним. Подло! Она подарила-таки, дала верного друга, лохматого и черного — отличную мишень...

БАРАМБОШ

Для каждой охоты нужна своя собака. По птице лучше всех легавая, по зверю — лайка. Но если вы идете ночью за барсуком, нет собаки лучше барамбоша. Так говорил Крепива. И знал, что говорит.

Он единственный в нашем городе еще охотился за барсуками, нашел их подземный городок. Все легочники в нашем городе знали Крепиву, и шли к нему в октябре, и, покашливая глухо, просили барсучьего сала. Говорили:

— Лучше всего пить сало на ночь с горячим моло-ком. И грудь смягчает, и каверну заживляет.

Познакомились мы с Крепивой прошлой весной, в разлив Оби. Так было — застукала река на островах много зверя, и послало нас охотобщество мазаить.

Застигнутые звери сидели на островах, другие плыли

на льдинах. Попадались и нахлебавшиеся.

На островах обычно сидели лоси, косули, волки и зайцы, на льдинах чаще плыли деревенские собаки. Видели мы рыжего кота. Сидит на бревешке, щурится на водяной блеск. Но как он завопил, увидев нас! Как жаловался и плакал в лодке!

Так и плавали мы — от острова к острову, от льдины

к льдине: мазаили.

...Видел я мирные картины — лисы и зайцы спаса-лись на одном островке, и косые не боялись лис, а те не терзали зайцев.

Видел смешное — три лисицы сидели на дереве, сто-

явшем в воде.

А сколько щиплющих сердце картинок, когда зайцы пугались нас и с плачем бежали в воду и тут же возвращались обратно. Оставалось брать их за уши и сажать в мешки.

Увидел я и Крепиву. Плывет лодочка, а в ней трое, два человека и барсук. Один человек гребет, торопится, другой барсука за хвост на весу держит и все говорит:

— Ой, скорее, ой, не удержать. — И опять: — Ой,

не удержу, ой, выроню.

Барсук же, вися вниз головой, ругал спасателя на все корки и водил лапами, норовя зацепить его

Лодки наши пошли рядом.

— Во дает!.. Я его спасаю, а он меня грызть хо-

чет, — говорил спасатель.

Барсука держал Крепива. Я смотрел на крупные его кисти с въевшейся пылью металлов. На пальцы — сильные, грубые.

Рука крепко держала зверя за куцый отросток. И мне подумалось — это символ: человек, опомнясь, спасает

природу.

À барсук все ругается, топорщится — странного ви-

да зверь, не то свинья, не то хищник.

— Этого ты спасаешь, а сколько поубивал? А? спросил наш моторист, но лодочка уже шла к берегу.

 $-\dots$ Какая ваша основная профессия? — спросил я Крепиву вечером, на отдыхе, вспомнив металлические кисти его рук.

— Слесарь я, — ответил Крепива. — В депо ра-

ботаю.

Он поразил меня мрачным видом. Ему было за пятьдесят: седой, лицо суздальского типа, но глаза маленькие, зеленые, впалые.

Неожиданным был очень хороший лоб, поднимаю-

щийся над темным лицом. Что там, за ним?...

И Крепива стал мне любопытен.

_ Почему ты то спасаешь, то, говорят, охотишься

на барсуков? — спросил я.

— Да как тебе сказать. — Крепива шевельнул бровями. — Оно полезно, воздухом дышишь. И выгодно (быстро усмехнулся). Больных еще многовато, лечатся, им жир нужен. И не бей я барсуков, станет бить другой. Есть гестаповцы — сверлами в норах сверлят, проволочной петлей душат, бензином жгут. Я же зверя убиваю культурно, палочкой по носу. Носопырка у барсука хрупкая. К тому же держу барамбоша. Сам знаешь, есть собака — охотишься... Как с семьей: есть жена — хозяйство ведешь, холост — ничего не надо. Заходи как-нибудь, расскажу. Живу я на Кировском спуске. Знаешь? Номер восемьдесят шесть, а крыша зеленая, в прошлом году покрасил.

— Зайду. Расскажи что-нибудь.

— Отчего же не рассказать. Вреда не будет?

— Уверен, — сказал я.

— Ишь ты, уверен... — усмехнулся Крепива, зевая. И я узнал секреты барсучьей странной охоты. Я слушал голос Крепивы, и мне начинало казаться, что раскрывается связь охотника с добычей, таинственная, древняя.

— Значит, с собакой охотишься? — переспросил

я. — Қаких берешь?

БАРАМБОШ ПЕРВЫЙ

— Я их зову барамбошками, — говорил Василий Крепива. — А они просто всякие собаки. Понимаешь, для каждой охоты нужна собака. Конечно, спаниель сработает и кулика и белку, из-под легаша можно бить косого на лежке. Слыхал и о сеттере, ходившем по медведю, и колмик над его могилкой видел.

Но все же лучше спец. Вон мой зять работает в угрозыске, так за бандитами лучше всего идет овчар. В нору хороша такса. Она узенькая, маленькая, всюду пролезет. А челюсти у ней вроде тисков. Но для моей

охоты лучше всего барамбош.

...Кто такой барамбош, спросишь ты? Отвечаю — любая собака: голова, хвост, четыре ноги. Догадываешь-

ся?.. Барамбош — это характер.

Если собака умна, она все может. Таким был Михаил. Но если собака звезд не хватает, а воображает себя серьезной собакой, не выйдет из нее барамбош.

Каким должен быть барамбош? Отвечаю — легкого нрава, но в то же время иметь в себе подловатость. Понимаешь? Подлавливать зверя должен, подлавливать. Он как работает? В третью смену, ночью.

Проверяю я каждую нору, не одну ночь проведу ря-

дом. Барсучка изучу от носа до корня хвоста.

Все знаю, велик он или мал, вспыльчив или меланхолик. Самые жирные барсуки — меланхолики, вспыльчивые всегда тощи. Как и люди, сам понимаешь.

Бывает, сидишь за кустиком, ждешь рассвета. А он идет, сопит носовой картофелиной. Если жует на ходу, значит, с сальцем. А вертит головой, цветами интересуется, на дроздов вякает, то он нервный, с плохим аппетитом, и из списочка я его вычеркиваю.

На проверку, заметь, собаку не беру. К октябрю я точно знаю, кого мне из барсуков брать, а кого оставить. У меня и карта начерчена, и заявки на жиры

приняты. Тогда-то и появляется барамбош. Идем мы к норе поздним вечером, когда звезды высыпают и барсук идет гулять. У норы отпускаю собачку. Сильного чутья барамбошу не нужно, нос дворняги вполне годится, и мы быстро находим барсука. Ходить он не мастак, собачонка догоняет его, барамбошит, наскакивает, за брюки пощипывает. Тут я и подбегаю. Три задачи у барамбоша: найти барсука, к норе не пустить и зарыться пе дать (барсук, как штопор, в землю ввинчивается). Ранее я хаживал с ружьем, но перестал. ...К барсукам, парень, меня война прижала — рожда-

лись дети, их надо было кормить. Сидел я под броней — депо, стратегическая дорога. Но в остальном тоще. Я было в животноводство ударился, порося стал выкармливать. Выкормил, но залезли ночные воры и прямо в стайке закололи его. Кинулся я на воров. Двое помогли мне в этой борьбе. Первый — мой пес Михаил. Он разбудил меня и сам на них кинулся, даром что был величиной с рукавичку.

Второй мой помощник — сосед, старичок охотничек. Выйти он побоялся, но из форточки стрельнул вверх. И жена визжит: украли, украли, украли... Я схватил ло-

пату и на воров, в ярости. Воры и побежали.

Старичок с того дня ко мне репьем приклеился становись охотником, и все. Сыновья его без вести сгинули, жил он охраной магазина и барсучками. И стал старик меня соблазнять, на барсуков подталкивать, на Мишку кивать. Говорил, что шибко умен пес, что такие вот маленькие самые лучшие. Говорил, что барсук че свинья, выкармливать не нужно, воров бояться нечего.

Свинья, выкармливать не нужно, воров оояться нечего. Воротил, воротил и своротил-таки. И так хорошо у нас с Михаилом пошло дело. Барсуков много было под городом, не трогали их охотники. Почему? Отвечаю. Русский — он дурак в еде. Меня самого только война научила видеть во всем добротное, в смысле жратвы, основание. А сначала я барсучков

менял на хлеб, на сахар, а иной раз и на водку — от радости, повернулась война к победе. А там и сами приспособились барсучатину жевать.

Неплохое кушанье, особенно с тушеной капустой.

Дети у меня все барсучата, все на его мясце до потолка выросли. Глянешь, и сомнение — твои ли?.. Да, Михаил и нас и чахлотов здорово поддержал. Я ведь не всегда из выгоды. Посмотришь — идут, кхекают, лег-кие выплевывают. Жалко! Бывало, так сала дашь, даром, зато и сейчас иной раз на праздник поллитровочку поднесут.

А Михаил умен был. Скажем, поставит жена суп, рядом охрана — сидит черный головастик и рычит. А сам ни-ни... Кости он собирал, набивал ими печурку. Чуть проголодается, тотчас вытаскивает костяные сухари и грызет — хозяин... Помнится, стал я сдуру эти кости выгребать из печурки, так он во как за руку меня

хватил. Ударил я его, а жена кричит:

«Опомнись, кормильца бьешь...» По барсучку Михаил пошел сразу. Старик взял на охоту его и свою опытную собачонку. Шустра — так он ее звал. Михаил отработал с ней первого барсука и начал их пощелкивать. Случалось, брали мы с ним за ночь по три зверя. Весь секрет здесь в тесном расположении нор.

Погружу их на тележку, Михаила сверху посажу. Утро лютое, красное. Иней. Идешь, от холода подпрыгиваешь: я тележки делал легкие, на резиновом ходу.

Слесарь, он все может.

А дома нас ждут.

...Михаил... Было и в нем неудобство — черен как ночь, не углядишь. Сшила ему жена белый фартучек с завязками, я фонарь приспособил на стволы. А все равно не помогло.

— Что же случилось? Крепива вздохнул.

— Могу и рассказать тебе эту жизненную хреновину. Пошли мы с ним к реке Коняге. Рукой подать. Там жил барсук-меланхолик. Жирный — тянет живот по траве и все чавкает. Пошли. А ночь с бегучими облаками и луной. Стадом прут, и луна в них все ныряет, все ныряет. Самая гнусная обстановка — и в голове рябит, и в глазах.

Нашарил Михаил барсучка около воды, начал барамбошить. Он кричит, а я бегу, он кричит мне: «Скорей сюда», — а мне под ноги сучья лезут. Упал раза два, фонарь потерял, морду разбил. А у Михаила фартучек оборвался. Я выстрелил и обоих положил Рядышком лежат Михаил с барсуком, будто дружки, а всего-то попала в Мишу одна свинцовая горошина, из уха в ухо прошла. Распалился я. Шварк по березе ружьем — пополам, хвать себя кулаком по башке, а дело-то сделано.

Привез его домой — жена давай меня молотить по спине, но кулаки у нее мягкие. Бьет и сама воет. А я гоже сам не свой.

БАРАМБОШ ВТОРОЙ

После Михаила мне долго не везло на барамбоша, бог карал... Но могу тебе прямо сказать: глупее второго собаки у меня не было. Случалось ему заблудиться и в городе, а уж в лесу он у меня терялся несметное число раз. Но окраска его была хороша — белый (жена его даже подсинивала) и в лунную ночь словно плывет в воздухе.

Я приспособил свисточек, и барамбош находил меня хорошо, если не забывал, кто и зачем ему свистит.

Он-то в норе и застрял.

Остановили мы барсучка, я трах палкой по носопырке промахнулся и засветил себе по колену. А на палке свинец.

Взвыл я, скачу на одной ноге. Барсук, конечно, в нору, и барамбош за ним — так и въехал. Я приковылял, зову, моргаю ему фонариком — воет.

«Бобка, — говорю, — терпи».

Ковыляю к тележке за лопатой (я ее всегда беру с собой). Барамбош влез метра на полтора. Думал, легко откопаю. Но пока я ходил, барамбош полз вперед и застрял глубоко и прочно. И так кричал под землей, будто его барсук там живьем ел. Словом, копал я до вечера: очень неудобная была нора, сплошные корни.

Копаю и говорю себе: «Помни Мишку, помни». И барсук злой. Я копаю, а он гудит на меня, я копаю — он

гудит. Сердитый мужик!

Сначала я двухвостую ящерицу вынул, уже дохлую, потом барамбоша. Домой его на тележке привез. Жена кричит:

«Этого угробил!»

Дурак был барамбош, и, когда помер от чумы, я даже обрадовался... Ну, до рассвета еще пара часов, храпанем, что ли...

две с половиной барамбошки

Я пошел к Крепиве в середине августа. Хорош бывает конец лета в узких окраинных улицах. Город — по-

чти деревня. Асфальт, но так пахнет землей.

В огородах зрели помидоры. Жена Крепивы ходила и пощипывала пасынки, а Крепива сам ремонтировал прицеп к мотоциклу. От него пахло керосином. Около крутилась собака Невеста, животина добрая, но внешне страховидная — в щетине грязного серо-белого пвета.

— Чудо природы, — говорил, глядя на нее, Крепива. — Гляжу и сам пугаюсь. Барсучатница, и, гля, шерсть как на барсучке. Может, родня? А? Невеста? Гля,

на ушах и спине пегая, а каждый волос трех цветов: у корня желтый, середка черная, конец седой.

Он стоял, оторвавшись от завинчивания болта и положив ладонь на поясницу. И видно по движению мор-

щин — ему приятно выпрямиться.

Я смотрел на Крепиву: он стал яснее мне. Вспоминались березы. Когда это милое дерево срубят и ошкурят, оно полежит на воздухе и отчего-то задубевает. Тогда березу ни пила, ни топор не берут, только огонь да время. Огонь жрет ее с хрустом, другое — не торопясь, годами. Тление тот же огонь, только медленный.

Крепива и был таким древесным остатком. Рабочим, но и промысловиком. Из тех людей, что не живут

без ружья, — их было много когда-то.

Я навел разговор на таких, и Крепива мне немало порассказал. Есть такие и сейчас, уезжающие на зиму в тайгу, бить соболя и белку. Один, Селиверстов, живет в двух кварталах, рукой подать. Есть уезжающие осенью — бить кедровые шишки. Некоторые же в отпуске бьют в лесу белок и сдают шкурки. А когда разрешалось бить весной уток, то сосед Елисеев умел так сладко пропеть в манок, что к нему кучей слетались холостые чирки. Но все это старики, молодежи на охоту плевать

— У меня два сына, а охотник — зять. Да и охотиться ему, вижу, стыдновато, да и мне приработок вроде ненужный. А если снесут домик? В многоэтажке не будешь сушить шкуры на балконе. Тогда и я кончу свою охоту. О чем мы прошлый-то раз говорили?

Я сказал.

И Крепива, возясь и постукивая, стал мне рассказывать дальше:

— ...Без Михаила охотился я на засидках. А это штука кропотливая. Во-первых, нужно соорудить полати, лежать на земле — простынешь. Во-вторых, приходить засветло, пока барсук спит. А стреляешь его на рассвете, когда хорошо видно. Случалось, что и заснешь и прово-

ронишь.

Барсук идет, а ты носом наигрываешь. Он стоит у норы и принюхивается, а ты сны разглядываешь. Вскочишь, а уж солнце, на лужах блестят стеклянные ко-

рочки, а барсук спит в норе. Разве это охота!

Стал я приискивать собаку. После Бобки завел было свору дворняг, так они что сделали? Барсука догнали, придушили и рвать его начали — военные, голодные звери. Кинулся отбирать, а они на меня. Окружают, глазами светят. «Ну вас, — думаю, — к лешему». Я в сторону, в сторону и убег домой.

Стал я искать барамбошек. Искал не только белых, а и приземистых, чтобы не застревали. До Невесты

у меня жили две с половиной собаки.

— Две с половиной?

— Две взрослые и один щенок, выходит две с половиной. Познакомился я с одной старухой, Аглаей Федоровной. Язву желудка она себе жиром заливала, а кормилась вылепливанием пионеров из глины. Она их тогда в городе у школ да в скверах штук двести наставила. Одни пионеры трубили, другие барабанили, третьи несли знамя.

Худая такая старуха, с усами и седой бородкой, но руки большие, сильные, как у трудяги. Да и понятно, глину месит.

Говорят, если женщина с бородой, то ведьма. Эта была добрая. Она собирала бездомных собак и искала

им хорошего человека.

Давал я старухе сальце, а она мне приводила собак. Привела и Шарика — по заказу, с кровью таксы, длин-

ного туловом, на коротких ногах.

Чудная собака! Спокойнее ее в жизни не видывал. Жрет и спит с храпом. А еще у нее был гав... Уйдет к воротам, нос в подворотню выставит и на прохожего: «Гау!» Словно в ухо тебе рявкнул громадный пес.

Прохожие, случалось, хрупкие вещи из рук роняли. Он вора разоблачил. Тот увел фарфоровый сервиз и нес его в скатерти. Шарик гавкнул — и столько черепков около наших ворот было! Сгребли парня. Но барамбошить Шарик отказался.

Не идет, и все.

Я с ним кашу так и не сварил. Тогда бородатая старуха привела второго, тоже Шарика, тоже белого. Он имел нос розовый, будто скороспелая картофелина, уши стоячие, нрав бегательный. Вечно куда-то уходил. Или служил где-нибудь, или на барахолке спекулировал

(Крепива ухмыльнулся).

Он и пропал таким же образом — ушел с деловым видом и не вернулся. После Шариков решил я опробовать легаша. В городе войну пережили две сеттерихи: одна у художника Моисеева (тот от себя хлеб отрывал, ее кормил); вторая, Альпа, жила у архитектора Рюхина на хозрасчете. Она хаживала к хлебному магазину (там дли-и-нный хвост сирых и убогих стоял — хлеб просили).

Альпа — собачища умная, она приходила и садилась в ряду. Не ныла, на психику прохожим не давила, а смотрела. Но такие были у нее глаза, что рука сама

к булке тянется.

И ребятишки ей подавали. Она наестся, возьмет последний кусок хлеба в зубы — и домой. Словом, такую конкуренцию нищим создала, что те ее палками били.

Выпросил я щеночка через старуху. Но хозянн Альпы за собакой не следил, и щеночка дали мне нечистого. Этс был ребенок военного времени, психованный. Он ни минуты не сидел на месте. Если я его брал на руки, он начинал грызть пальцы; если пускал на пол, он бегал кругами, рыча и визжа. Я унес его на базар и отдал за буханку хлеба.

И во как драпал от покупателя.

город под землей

После войны вернулся я к правильной барсучьей охоте. Повезло мне и на Невесту, сильно повезло: и барамбошит и двор сторожит. Мудрая. Однажды мы с ней

сеткой барсука для зоопарка ловили. И удачно. Но что теперь за охота? У всех транспорт. Барсучков около города выбили не для пользы, для развлечения. И езжу я за сорок километров. Надолго езжу, на неделю или две. Отпуск беру в октябре, во второй его половине.

И надо ехать, ведь за салом человек сто ко мне в ок-

тябре придут. Я их не обижу, нет.

А на днях что случилось! Ездил я гулять за город. Внучонка взял (дочка подкинула, на юге отдыхает с зятем) и Невесту. Мы запрягли бензиновую лошадку, ки-

лометров двадцать отмахали от города. Еду, а в голове ровно старые киноленточки крутятся. Будто вижу я прежние густые леса, табуны тетерок. Были же здесь, были великие леса, и тучи птиц, и тьма зайцев. И нет лесов, нет птиц, нет зайцев.

Не сберегли их, не удержали.

А еще были лесные овраги — с речкой в каждом. Но обезлесили мы овраги, и утекли речки. Скули не скули, это естественно: народ плодится.

Вот к этим оврагам мы и приехали. Остановились. Овраги известно как идут — один, второй, третий. Нашли мы воду — так, пустяковый родничок, собрали сушняк да полынь прошлого года и зажгли костер.

Он горит, внучек себя индейцем воображает, на слонов с Невестой охотится. Я же прилег вздремнуть разморило. И так хорошо, без снов вздремнул, такой покой ощутил. Должно быть, земля в себя потянула.

Проснулся я, когда шли по небу красные пенки. Вскочил — ни собаки, ни внука!.. Закричал — тишина... Сгоряча побежал, но запыхался.

Иду я по-охотничьи, сную налево-направо, загляды-

ваю в каждый овраг. Подумалось — сверзились они, расшалились и — кувырк... Наконец вышел я к одному небольшому оврагу. Он всегда был малодоступен крутой такой, будто провал.

Пришел и вздохнул: лежат оба моих ребенка на краю оврага, свесились вниз, только их попки и видны.

Подхожу к ним, а сам на ходу высматриваю хворостину. Внук оборачивается и говорит мне: «Ши-и». Невеста оборачивается и глазами на меня: «Ши-и-и». Прилег я рядом и вижу — противоположная сторона оврага просверлена большими дырами. А от дыр дорожки — вверх, вниз, к ручью, к кустам. Из дыр барсуки смотрят, а молодые барсучата по дорожкам ходят. А среди них один седой. Словом, фильм!

Так мы до сумерек и сидели там, глядя на это барсучье царство. Барсуки ходят, в кучу малу играют.

А отчего они сбереглись? Место это обошли и жизнь и охотники. Одни считали, я тоже, что это слишком уж близко к городу, а других в овраги калачом не заманишь.

— А где они?

— Так я тебе и сказал.

— Охотиться на них будешь?

— He-a. — Крепива помотал головой.

— Покажи-ка мне фото великого Михаила, — попросил я. а Крепива мотал головой, твердя:

— Потерянный мир, ей-богу, будто в кино — барсук

идет за барсуком. Михаила бы мне!

— Да-да, именно Михаила, — напомнил я.

— Это можно, — сказал Крепива — Идем в каби-

нетку.

Он провел меня в свою, как он назвал, «кабинет-ку» — узкую, чистую комнату. Висели пришлепнутые к картонке фото, целые грозди родственников. А поперек ковра повешена потертая двустволка, солидная.

— Тульского императорского завода... — довольно

сказал Крепива. — Двадцатка, а девять фунтов тянет. Старичок ее завещал.

Что еще? Широкая кровать. На столике книга —

«Технология холодной обработки металлов».

Крепива нагнулся и вытянул из-под кровати ящичек из сосновых досок, полметра длиной и такой же примерно высоты. Раскрыл его — ударило в нос и глаза нафталином. Он же вынул черную собаку, прибитую лапами к дощечке.

Это было маленькое чучело собаки, но с удивительно объемистой головой. Она глянула на меня оранжевыми стеклянными глазами. Они светились на черном бархате ее шкуры. Такая чернота! Будто кусок тьмы хранился здесь. И у меня тоскливо сжалось сердце.

— Знакомец мне набивал Михаила, — объяснил Крепива. — Добрая работа. Я в нафталине его держу,

чтобы моль не побила.

Он взял чучело и стал гладить его. Бормотал:

— Если охотитесь по перу, то нужна лайка, а если, как я, ночью на барсуков, то нет собаки лучше Михаила.

— Да зачем тебе чучело? Жутко и... сплошное рас-

стройство.

— Зачем, зачем... — вдруг рассердился Крепива. — А если их когда-нибудь научатся оживлять. Ведь Михаила у меня ни одной косточки не пропало.

У меня по спине пробежали мурашки.

Мы посмотрели друг на друга — у него впалые,

грустные глаза. Нет, он не псих.

— Может, и меня оживят вместе с ним, и барсуков в овраге. Соберется вся наша капелла вместе. Ну, вру, вру... Бывает, выну, погляжу, размышлениями позанимаюсь. Что еще старику ночью делать? Он же красивый, Михаил. Гля, какой черный. Будто провал куда-то, коть руку просовывай.

Мы снова посмотрели друг на друга. Тень усмешки

пробежала по губам Крепивы и спряталась. Он подмигнул мне.

...Когда я распрощался, Крепива проводил меня до

порот, говоря:

— Ты заходи, я еще мно-о-го чего знаю. Может, и

Конечно, — сказал я, пожимая его руку. — Ко-

печно, приду.

И не иду, боюсь чего-то... Так что псих, наверное, и сам.

нивлянский бык

водяной жук

Был апрель, сухой и холодный. Я переходил дорогу. Пз-под ног взлетала дорожная пыль, сухая ее смесь со льдом, тонко размолотая колесами машин и ногами прохожих.

И в этой же пыли брел куда-то водяной жук, полз,

папрягался, работал ногами-веслами.

Засек я его случайным взглядом. И пришло ко мне удивление: как случилось, что водяной жук плывет в пыли? И следующее — какой везучий жук! Миновали его человечьи ноги, миновали колеса на дороге.

Откуда плывет он?.. Где вымерзла его родина —

лужа?..

Было рано, часов около семи утра, а дорога полупустынна. Я пошел, следя жука: он явно полз к реке. Направление его было верным, движения медленны и точны.

Он упирался веслами, отгребался, то зарывался в пыль, то выныривал из нее. И плыл, плыл... А до реки еще километра два пути, колеса, ноги... Сколько их?.. Сто?.. Тысяча?..

Нет, не дойти жуку! И я помог ему: взял бумажку, завернул насекомое и отнес к реке. Бросил: жук исчез

в глинистых водах.

Однажды пересох и водоем моей жизни и поманила некая дальняя река, подышав мне, как водяному жуку, надеждой и свежестью. Я заторопился к ней, сжимая время ракетными двигателями самолета, мял его железным прессом колес.

Несчастье было такого рода — пришла ко мне Большая Догадка и ушла, потому что я не поверил в себя. Будто схватил я радужную, семи цветов, чудную птицу

в полете и глупо разжал пальцы.

Разные бывают в жизни несчастья, и нет им числа. А счастье только одно — сделать все, что дано тебе,

полностью. Я не сделал: Догадка улетела.

Подействовало это на меня странно — ноги стали тяжелыми и голова, мысли, надежды... Я заболел сердцем и проболел всю зиму. Друзья мне говорили: тебя, старик, нужно показать одному редкому врачу. Начались суета, переговоры: был редкий врач. Все

знали о нем, многие вели переговоры — очередь была

огромнейшая.

Врач просидел со мной больше часа, пытаясь догадаться, чем помочь (очередь шаркала ногами и скреблась в двери).

— Лекарства само собой, — сказал редкий врач. —

Но купите-ка себе дачу. Это вас оздоровит. Купить дачу?.. Я даже вспотел. А врач втолковывал мне, что только работа в саду, на свежем воздухе за-крепит его лечение. Сердце окрепнет, нервы, и все хорошо пойдет: работа, жизнь.

Он тряхнул волосами и прочитал стихи:

 — «Живи в саду, трудись средь грязи и навоза, тебя примерно лет на сто омолодит метаморфоза». И на десять лет неплохо, а?.. Купите, не жалейте затрат.

Убеждая, врач похлопал меня по плечу и уронил

чернильный прибор. Зеленый, каменный, должно быть, дареный.

— Все покупают дачи, — сказал врач и предупредил,

что иначе мне будет худо.

Я попрощался и вышел. Купить дачу?.. Почему не Луну?.. Рассмотрим-ка свое положение. Мне сорок лет, у меня нет ни семьи, ни денег на сберегательной книжке. Нет даже самой книжки. У всех есть, а у Обидно и странно. Почему нет?.. Кто я такой?

Отец мой был кузнецом, солдатом, затем художником-самоучкой. Мама набирала книжки в типографии. Я же пишу маленькие рассказы и зарабатываю маленькие деньги. А надо, как мои друзья, писать романы и

получать толстые пачки денег.

Купить дачу?.. Кстати, знакомые желают продать свою. А деньги?..И вдруг дача не поможет?.. Как бы это смоделировать?.. И я решил уехать в среднерусскую деревню, на ту прародину, откуда мои предки уходили в Сибирь.

Поехал не сразу, когда пришло лето. А сначала на-

писал такое письмо:

«Здравствуйте, Антон Львович! Большой привет вашей супруге! А также сеттеру Бою и обеим кошкам. Узнав, что вы теперь на даче, пишу о себе: у меня был период хлопот и болезни. Впрочем, я так живу, что и писать не о чем, разве о проклятых восьми этажах, на кои, если откажет лифт, я бреду целый час и прихожу при последнем издыхании. Но я привык к такому состоянию и если почувствую себя хорошо, то удивлюсь, наверное. Дела мои последнее время были полны неопределенности, но теперь прояснились: я хочу укрепить сердечную мышцу, а для этого нужна дача. Выберитека полчасика и напишите о себе, о животинках, лесе. О том, не раздумали ли вы продать дачу?»

...В Москву летел я самолетом — в трехстах километрах от нее была моя среднерусская прародина.

Я несся к непредвиденным встречам и нежданным мыслям...

В каждом из нас, если не повезло, сидят двое. Конечно, бывает и трое, пятеро, но я сложен из двух. Одно мое «я» смелое и сильное — в деда, уходившего в Сибирь, в отца-солдата. Другое же осмотрительно и до отвращения благоразумно.

Летел я в хвосте самолета, так вышло.

Я сидел на последнем месте, хвост Ила дрожал, будто хотел отломиться. И одно мое «я» одолевал страх падения, а другое старалось уничтожить его.

Эти страхи... Вот и Догадка, случайное изобретение, напугало меня.

Явилось оно вот откуда — я затеял писать фантастические рассказы. В них должны были летать мои герои и только в моих кораблях, на моих двигателях,

могучих и этим красивых.

Ведь красота разлита всюду. Она в былинке, стихе, поступке, машине... И пришла Догадка о двигателях, как их сделать красиво-могучими. Так я нашел идею нового ракетного двигателя и, понятно, не мог поверить себе. Но прошло несколько лет, и я увидел его чертежи в одном полутехническом журнале. Двигатель был тот же самый, вот только фамилия написана не моя. И не одна к тому же: коллективное изобретение — это теперь молно!..

Потерять Большую Гремящую Догадку! Отец умер, а то бы он такое сказал.

Впрочем, я смутно ощутил тяжесть Догадки, чувствуя, что она, как медведь, нечаянно поднятый из берлоги, может сломать мой хребет. И я благоразумно обошел заманчивый лесной выворотень, того медведя, чье тяжелое дыхание уловил.

K тому же махали руками добрые люди: «Не ходи!

Гам опасно!» Я не пошел.

...Впереди сидел человек, похожий на жука, черные блестящие волосы, черный костюм, поблескивающий, будто из хитина сделанный. Он бубнил в торчащее ухо соседа, блеклого волосатика с длинным хрящеватым посом (о таких еще говорят — дятел):

— Тонны... тонны...

Я навострил ухо. Мне хотелось отвлечься от вибрирующего хвоста, от себя и послушать о тоннах, наверпое, недоданных заводом. Вот, летят в Москву объясияться.

Лучше послушать, чем думать о себе. «Реже, реже

думайте о себе», — велел мне врач.

Но те говорили, что-де, пролетая до Москвы, самолет наш сожжет столько-то тонн кислорода, потребного для окисления горючего. Кислород выделяют растения. Так сколько же надо деревьев, чтобы снова надышать этот сгоревший кислород?

Жуковатый знал — семнадцать тысяч гектаров леса. По-видимому, он был лесником или ученым-биологом.

— Квадратный метр листвы дает в день семь граммов кислорода, — вещал он, одергивая хитиновый костюм. — На одном квадратном метре леса, этажность веток, растет четыре квадрата листвы.

— Нет, нет... — Сосед тряс носом. — Меньше,

меньше, меньше...

Я попробовал сам произвести расчет, но быстро устал и вернулся к своему: я напугался изобретенного.

А ведь было и ликование: нашел!.. Сам!.. Испугался

я потом, и Догадка прошла мимо.

Вот что убивало: почему я не рискнул открыто выступить с ней? Ведь течет же во мне кровь смелых предков, уходивших в Сибирь Первое мое «я» и хотело выступить, но второе, предусмотрительное и здравомыслящее, посоветовалось с друзьями. А вывод?

Такой: никогда не советуйтесь! Идите прямо, куда ведет крупный человек, сидящий в каждом. Быть может, он приведет вас к гибели, но умереть смелым мужчиной в век болеутоляющих лекарств не каждому дано.

Не ходите к друзьям! Не нужно! Они вас любят, не

хотят терять и постараются сберечь — для себя.

...— Ракеты! Ты с ума сошел! — закричали мои друзья. — Ты что же, считаешь себя умнее всех? Пойми, ученые работают над этим. Раз таких нет, значит, и быть не может!

Но допустите роль случайности, догадки, работу фантазии, — оправдывался я. — Мне повезло на удач-

ную мысль. Допустим, это выигрыш в лотерее.

— Старик, нет случайного, одно всегда вытекает из другого. Ты литератор и можешь только писать рассказы — получше или похуже.

Друзья мои — добросовестные люди. Чтобы окончательно смирить меня, они устроили мне консультацию

с ученым, огромнейшего роста мужчиной.

— Да, соблазнительно, — выслушав меня, вздохнул тот. — Грандиозная идея, вы даже не понимаете значения ее.

Он поднялся со стула: грузная, в груди и шее бычья

фигура.

— Итак, вы хотите в ракетные двигатели вводить и второе топливо, более сильное. То, что сейчас сжигает все известные нам материалы... Итак, у вас, как я понимаю, у стенок камеры двигателя горит обычное топливо при относительно низкой температуре, а другое, зажатое им, изолированное, может быть использовано... Но... — он помолчал, — это нереально. Путь здесь другой — надо искать стойкие материалы. Над этим и работают химики.

Он похлопал меня ладонью по плечу. И так была мясиста и тяжела его рука, что я буквально приседал под ней.

- Догадка ваша, усмехнулся ученый, лежит па поверхности. Вы литератор? Вот и напишите рассказ о своем двигателе.
 - С этого-то все и началось, пробормотал я.

— Вот видите. Нет, это несерьезно! НИИ работают, коллективы, а вы...

И ученый потрогал мое плечо ласковой теплой ру-

кой, говорившей: «Эх ты, чудачок-дурачок!»

Шел я к профессору с гордостью (и страхом), а ушел почти довольный: великую тяжесть непривычного сиял он с меня.

А Догадка?.. Пошагала дальше... Я же занимался своим делом, даже рассказ написал. Лишь иногда я вспоминал крики друзей, ученого, Догадку. А года через два я нашел ее упомянутой в статье о новейших разработках ракетной техники. Она была снова найдена — другими! — и названа решающей проблемой дальних полетов.

...Всегда трудно переносить неудачи. Но если загляпула Большая Догадка и ушла, этого себе не прощаешь. И тот крупный человек, что дремлет в каждом из нас, вдруг поднимается, гневный... И разрушает второго, робкого и осмотрительного.

Но если друзья спохватились вовремя, то борюще-

гося в себе человека ведут к врачу.

Нечто раскаленное вдвинулось в грудь и пресекло мое дыхание: это мое большое «я» стало уничтожать малое. Я задыхался.

Спас меня нечаянно зашедший товарищ, вызвав «скорую помощь». И теперь я то люблю, то боюсь беспощадно требовательное, сидящее во мне. Слежу за ним. Почувствовав его движение, немедленно усыпляю зелеными, цвета покоя, таблетками.

С аэродрома я проехал прямо к вокзалу. Но было отменено подряд три электропоезда, и несколько часов я слонялся у красивых витрин. Конечно, замешкался и свободного места в электричке не нашел.

Пришлось ехать, держась за поручень, в деревенском пыльном автобусе. На дорожных выбоинах в моем желудке колыхался авиаобед: сыр, помидор, хлеб, чай.

Мне казалось, что съеденное громко плещется.

Я стоял, ногами придерживая беспокойный, ерзающий чемодан. Меня охватывала тоска неудобства. Чем

бы отвлечься?

Я пошарил глазами, прислушался. Тотчас нашелся интересный пассажир, длинный ростом мужчина в костюме с красной ниткой, в кирзовых грязных сапогах. На коленях он держал, будто ребенка, оплетенную бутыль гамзы, а разговаривал теми словами, которые можно передать на бумаге одними точками. От слов-точек хохотала веселая группа мужчин.

Я прислушался. Мужчина с бутылью оказался деревенским пастухом из соседнего с моим села Нивляны. Он зарабатывал фантастически много — триста рублей в месяц! Как я мог понять, единственным грозовым об-

лаком в его жизни был нивлянский бык.

Компания смеялась, заглушая рассказ. Но пробивался голос мужчины, с огромной изобразительной силой рисовавший картину: вот бык догоняет, сажает на рога

какого-то уполномоченного.

Поручень был выпачкан машинным маслом, дорожная галька стучалась в дно машины, поездка казалась мне глупой. Что я буду делать в деревне? Гулять не смогу, бык ходит в стаде и погонится. Из-за сердца я не смогу убежать, бык станет сажать меня на рога.

Что бы такое изобрести?

Можно несить с собой палку, но разрешают ли бить совхозных быков? И получается, что я спешил, летел, а бык станет портить мне отдых. Но что поделать, такова пеприятная правда данного места. А моя правда? Она обидна, и нужно искать другую. Но где?.. В чем?.. Автобус закряхтел и, словно запнувшись, остановился. Я качнулся вперед и спросил:

— Авария?

— Тебе выходить! Выходи скорей! Выходи! — закричали мне все, слышавшие имя моей деревушки.

Я взял чемодан и вышел, автобус покатился дальше.

Л деревня?..

Да вот она, на ладони, ее странные, непривычно огромные дома — десять! — ее широкие яблони, громадные липы. А воздух-то, воздух!.. В нем ни пылинки, чув-твуется только округлая упругая мягкость водяных паров.

Моя прародина!.. Я жадно глядел, а ко мне шла босая старушка с полными ведрами, к удаче. Старушка

вгляделась в меня.

— Соколик! — пропела она. — Да ты никак из Дедовых? Угадала? — Я кивнул. — Тогда зови меня Марь Антоновной. Потянуло, значит, на родину?

— Ага.

— Ничего, сокол, комнату я тебе сосватаю. Хотя дачников приехало нынче многовато.

II, оставив ведра посреди улицы, повела устраивать

меня на жительство.

…Да, моя прародина — теперь умирающая деревенька. (Пожив, я точно узнал это.) Даже куры здесь старые; хозяйки говорят одна другой:

— Думала, помирает ряба, ан яйцо несет...

— Моя снеслась, а сама глаза подкатила, в омороке лежит...

Впрочем, много ли надо старушкам? Огороды их кормят, престарелые куры тоже. Да пенсия, да накопленный ум. Даже топливо не разоряет мудрых старушек — они готовят еду на экономичнейших кероспиках.

ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМИКИ

Июнь. Не Сибирь, а такая резкая вечерняя прохлада. В ней что-то снеговое, та родниковая вода, от которой ломит зубы. Но здесь не боятся холодного: ходят босые женщины, ходят дачные дети с голыми длинными ногами. В травах желтые цветки ловят последнее солнце — пятернями лепестков.

Такие мелкие эти цветики, что их щемяще жаль, как детей, щенят и птенцов. Но если спросить деревенских, как называются, те скажут: «Это которые желтые».

И прибавят: «Ими Кровяниха желудок лечит».

Я прошел мимо цветков, желтых и безымянных, прошел мимо ветлы, зажавшей в кулак пучок веток, мимо

сарая...

Это темный, высокий сарай. Он заперт на замок, такой большой, каких теперь и не делают. Зеленца мхов в пазах бревен, около стены кучки тех цветов, которыми тетка Кровяниха лечит свой желудок. Но здесь цветы не светятся, их погасила тяжелая тень.

Блеснуло в тени стеклянное. Я подошел — там стоит пол-литровая банка, а в ней цветы, лиловые пупы-

рышки.

Цветы стояли в воде и были свежими, сегодняшними. Значит, была заботливая рука, была причина ставить цветы. Я стал искать ее и нашел бугорок чистой земли: он прямоуголен и отмечен двумя воткнутыми щепками. Периметр холмика обсажен теми же цветами, без корешков, свежими, но со знаком близкой смерти. Да это же могилка— маленькая, ласковая и

страшная.

Я понял — здесь лежало чье-то горе, маленькое и объемистое, шире всего вокруг: поля, леса, реки... Потому что лучшее из этого — цветы! — приносилось сюда. Что лежит здесь?.. Птица?.. Или плоское тельце до-

машнего зверька?.. Он умер и спрятан сюда.

Кто он?.. Щенок с хвостом веселого характера?.. Когенок, что играл с клубком ниток, влезал на занавески и веселил чью-то избу, огромную русскую избу, собрав-шую под одну крышу все хозяйственные сооружения?... Веселил — и вдруг ушел куда-то, позабыв в избе свое маленькое тело. Оно лежало, плоское и холодное, и была в нем угроза. И взрослые велели унести его.

Конечно, те маленькие, что хоронили зверька, сильно верят, что надоест же ему в конце концов лежать под вемлей. Верят: он встанет и выйдет. Понюхав цветовые пупырышки, он поймет — его не забыли, ждут. И вер-

пется обратно в избу.

Но маленькие еще не знают, что такое возвращение было бы страшнее самого ухода: оно смешает границы. и будет неясно, кто где находится.

...Ветлу обсели лишайники. На ощупь они мертвые. По это мертвое живет, оно образовало растительные формы, оно окрасило их в акварельные тона.

В лишайнике мертвое притворяется живым, а живое похоже на мертвое. Но отчего мне хочется гладить ру-ками их шершавины? Захотелось видеть свои руки и ноги, убранные этими чешуями?

Почему я хочу стать рядом и так стоять — без дыхания и движения? Пусть льет на меня дождь и осыпает снегом, пусть греет и студит: многое бы я понял

гогда.

Все мы хороним, все копаем могилы, большие и маленькие. Спят в них дорогие косточки. Но пронзительнее всего смерть маленьких — в силу беззащитности их. И человек в его историческом движении станет большим, только взяв под защиту всех маленьких: детей. итиц, зверье, травы...

С берез вдруг рванулось огромное — черный летящий зверь! Он рассыпался в грачиную стаю и понесся вдоль деревни. Та — маленькая, и грачи пролетели ее вдоль, завернули, пролетели поперек и опять вдоль. Теперь они рассаживались по разным деревьям. Но это не простое усаживание на ночлег, не тяга к родному дереву.

Ѓрачи, рассаживаясь, определяли человека. Они садились к тихим и добрым людям и кричали, кричали. Грачи как-то не могут жить без крика, и тихие люди

это понимают лучше бойких, крикастых.

Стихло все — в деревне творится предночное. Солнце валится за сарай в виде красной лепешки, ходят крапивные облачка комаров, пылит стадо. Механизатор в поле, сразу за деревней, гоняет и гоняет свою машину, кладет ряды клевера, зеленых солдатиков в красных папахах. На антенны, выкрашенные солнцем в красный цвет, сели голуби и окровянились закатом. Они шевелятся, переступают, будто металл жжет им лапы.

Забыты милые деревенские нелепости. Вот прогнали коров, а никто не гадал по ним завтрашнюю погоду.

По улице мчат куда-то велосипедисты, старый и малый. Оба они в белых рубашках, оба в сандалиях из ремешков. На шее малого болтается и кричит транзистор в кожаном чехольчике. А по травам шпарит за велосипедистами пушистый серый кот. На бегу кот вякает что-то. Наверное, такое:

«Погодите, я с вами!..»

Сосны, что стоят над речкой, краснеют, а березы темнеют, и в гущине их кричит варакуш. Так старательно, будто состоит на приличном жалованье.

В деревенском доме всегда хорошо, в жару прохладно, а в холод тепло. И всегда в нем попахивает навознем. Подозреваю, что этот легонький запашок выпускают — малыми порциями — стены, шепчут о совместной жизни с телятами и ягнятами в прежних, слава богу, навсегда ушедших временах.

Не спится, и я сижу записываю день. И тут ко мне

является гость.

Лесная моль влетела в окно и села на бумагу. Кафган ее серебрист, характер твердый. Она ходит по бумаго, мешает бежать по ней «вечному перу». Я стал сгопять ее, подталкивать к краю. Она возвращалась обратно. Ее тянула бумага. Чем? Белизной?

Или лесная моль знала, что лежащая на столе бума-

всех лесных молей и она имеет на нее право.

За березовой рощей всходила луна. Я пошел к ней нагулять сон. По мере моего прохождения луна менялась. В конце концов я увидел, что это большой костер. Он то желтел, то краснел, угасая, и его отсветы ездили вверх и вниз по березовым стволам.

Припомнив место, я сообразил, что костер разведен позади берез, на речных песках. Вспомнил — туда ехали два велосипедиста, туда бежал кот. Значит, он кричал: «Рыбки! Дайте рыбки!» И сейчас ждет ее, сидя

у костра.

А вот горит еще костер... третий... четвертый... Десять багровых и колеблющихся лун всходили на речных берегах: и там, где рыбачат местные, и там, где поставлены палатки туристов...

А тишина... Конечно, я искал ее, но не такую же.

Днем еще туда-сюда, днем живет деревня. А вот ночью травы поднимаются, тишина густеет, деревья плывут в ней.

В такой деревне хорошо отдыхать: будто бы отскочил в сторону от всего на свете. Как от набегающего автомобиля. Но и что-то снулое есть в этой маленькой деревне. Ее жители в основном старухи, и ни одного деревенского младенца! Все, что привезены, все городские...

Неужели урбанисты правы и молодые люди уйдут в города?.. И работать на полях будут ученые машины,

а деревни станут мертвыми?..

Не верю! Ну а если уйдут?.. Тогда ушедшие будут иметь все телесные удобства города, но и холмик в душе, обсаженный цветами, — родную и полумертвую деревню.

ДЕРЕВНЯ

Здесь все старухи — вдовы войны. Они на пенсии, живут хорошо, но отчего-то сердиты на мужчин и направлены на них какими-то невидимыми рогами.

— Как живете одни, без мужчин?.. — спрашиваю их.

— И хорошо, что их нет. Бездельники!

— Они бы работали, — говорю я.

— Много ты наработаешь!

. Свободно живем!

Свобода выражается тем, что они собираются и выпивают по рюмочке, закусывая пирогами, испеченными на поду. Выпив, поют песни, такие же старые, как избы и деревья. Потом ходят злые. Утром спросишь:

— Марь Антоновна, у вас есть творог? — Зови меня Манечкой! — кричит она. — Не продам

творогу!

И не продает: деньги ей не очень-то нужны. Все у нее есть, все у нее свое... В тот вечер старушки пели особенно долго. Я тоже. Выпил, конечно, а зря. И ночью мне приснился ученый, садящийся мне на грудь. Затем огромнейший бык пригвоздил меня к постели рогами. Я пытался вздохнуть и не мог. Проснулся в поту и стра-

ле и стал шарить, искать таблетки.

Эта ночь всем была тяжела: прошла сухая гроза, страшная и близкая. Мерещились сквозь сон разбивае-

мые в щенки крыши.

Из-за сухой грозы все и не выспались... Собиралась хозяйка по ягоды, чтобы снять их на рассвете перед чужими носами, и проспала свои ягоды. Решил петух Марь Антоновны петь, когда всходит звезда по назвапшо Конопус, да проснулся только в пять утра. Он посердился, поговорил с собой, стряхнул тяжесть сна, кашлянул и закричал заспанным голосом: «Куре-у-у...»

Даже грачи проснулись поздно. Зашепелявили:
— Маммашша... Маммашмашшша...

Сон уходил, приподнимал вверх дом, тянул меня за собой

— Маммашша... маммашшша... — выговаривали грачи на ближней ветле.

— Улечу... улечу... — шептал я. ...Рыбаки говорили, то была не сухая гроза, а просто летели ракетные самолеты.

Не собирался я долго жить в деревушке и не готовил себя к этому. Просто в городе мне явились три идеи.

Во-первых, мне захотелось припасть к родной земле. Еще казалось, что в тишине деревни я вымету из души мусор переживаний. Но главным, конечно, было желание примерить к себе жизнь дачника.

На это все я клал неделю, а потом домой! Я и де-

пег взял с собой в обрез.

Но с первых минут я ощутил непреодолимое удовольствие от мягкого воздуха, от вида яблонь, которые нег пужды огораживать. Пришло желание быть здесь дольше, узнать лучше.

Конечно, деревня многим удивила меня, но и я по-

разил деревенских. Например, понять, зачем сюда надо было мне ехать из Сибири, они просто отказывались. Ну если бы в Москву, а то...

— И глуп же ты, соколик!.. — посмеивались ста-

рушки.

Глуп? А что, согласен, Догадку-то упустил... Но вот их глупыми не назовешь. Хотя я крайне осторожно расспрашивал о нивлянском быке, старушки все же разоблачили мой страх. Ум их не дремал. Мне сообщили тьму подробностей, как всем совхозом в Нивлянах отбивали несчастного уполномоченного. Чуть богу душу не отдал.

Так и шла жизнь — я боялся, а старухи посмеива-

лись надо мной.

А вот здесь все жили смело, вели себя достойно: люди, птицы... Такой пример — на моих глазах маленький ястреб выхватил грача из стаи. Делать этого не стоило, он бы не справился и с одним, а тут была толпа: грача спасали родичи. Стаей они опустились с ястребком на поле, упали черной кучей. На другой день я нашел голову ястребка и оторванные мертвые лапы, державшие каждая по пучку грачиных перьев.

Не думаю, что грачи, разорвав, съели его. Просто убили, остальное сделали коты. Другое важно — ястребок, чувствуя себя неукротимым хищником, шел до

конца.

Я же боялся иметь семью, оправдываясь тем, что должен отдать себя делу писания рассказов, струсил изобретения. Сейчас боюсь нивлянского быка, и это единственно разумная трусость.

Да нет же, не так я робок, не побоялся квартировать

у тетки Кровянихи!..

...Старушка Марь Антоновна, оставив ведра, водила меня по домам, ища свободную комнату. Конец нашим странствиям пришел только у Кровянихи.

— У нее одной дом пустует, ее дачники боятся, —

говорила старушка.

— Кто же она такая?

— Советская ведьма, — сказала та и вздохнула: — Ей-богу, все у ней по-другому. Остановится и с червяком говорит, агитирует. У всех жук-колорад, без конца обираем, а у ей с ним договор подписан, он ее картоху не трогает.

Старушка вела меня, смеясь моим неуверенным ногам, спотыкавшимся о все земляные морщинки: ее ноги знали их наизусть. Я думаю, если бы завязать ей глаза, го она ногами смогла бы узнать любое место, все травки, чго когда-либо задевали лодыжки и скребли ей пятки.
— Но почему Кровяниха? — тревожился я.

— А в войну председателем была, нами командовала. Кричала: «Сделайте кровь из носу! Кровь из носу!»

Много говорила старушка... Кровяниха, по ее словам, была активная ведьма-травница. Она лечила всех и ничего не брала, ей партийная совесть не позволяла. Это правилось.

Но результаты лечения Кровяниха записывала карандашом в клеенчатую черную тетрадку, и по деревне прошел слух, что она ставит опыты. Как на кошках. Это

обидело.

Кроме того, куры у ней молодые и нет петуха — чужим пользуется! А еще заплатила, и механизаторы вырыли ей пруд в огороде («Бульдозером рыла, соколик!»). Геперь дожди наливают пруд, и носить воду из колодца не нужно.

К тому же Кровяниха имела странное обыкновение собирать навоз по всей деревне, росли ее овощи замечательно; свои, деревенские, брезговали есть у нее, а

дачники покупали, и ничего им не делалось.

-- Она!

Я увидел перед собой толстую и старую деревенскую

даму.

. На голове ее пестрый платок, завязанный кончиками вперед (будто рожки торчат), на босых ногах — калоши, в глазах — усмешка, весьма ехидная. Но вокруг дома вертелись ласточки, а это мне понравилось.

— Что-то их много нынче у тебя? — подозрительно

спросила Марь Антоновна.

— Пять гнезд, — отвечала Кровяниха и повернулась ко мне. — Что, сокол, негде остановиться?

— Негде, негде, — подтвердила Марь Антоновна. —

Он из Дедовых, ты с ними крутила, когда...

— Тебя не спрашиваю, — оборвала Кровяниха. — Ладно, живи!

 — А какая цена, соседка? — забеспокоилась Марь Антоновна.

 — Как все, и десять рублей в придачу, — сказала Кровяниха. — И ешь что хочешь в огороде.

— Да все еще зеленое! — вскричала старушка. —

Что он тебе, бык?

- У тебя, сказала Кровяниха. У тебя все зеленое, даже под платком.
 - А чем поливаешь гряды, умница?

— Чем хочу, тем и поливаю.

И, называя соколом, к тому же ясным, Кровяниха повела меня в комнату, указала лежанку. Спросила:

Белье постельное, поди, не привез? Ладно, получишь.

Она внесла потный графин воды и поставила его на стол. И предупредила, что я буду выполнять свою часть домашних работ: колоть дрова, носить воду. Картошку могу брать на «мосту», морковь — на грядках, лук тоже...

— Ложись-ка, соколик, устал, на тебе лица нет...

И тотчас, словно по ее приказу, я ощутил великую тяжесть в ногах. Прилег, вытянулся. Тюфяк захрустел подо мной, пустив крепкий запах сухой травы. Гм, кажется, полынь.

 Идея — набивать матрацы ароматическими травами, — бормотал я. Усталость закрывала мне глаза, вынимала кости. Я вдруг увидел костер, покойного отца и себя, лежащего около, на охапке соломы. Вдаль уходили желтые стога: первый, второй... седьмой... тысяча первый... Я спал долго. В час дня — следующего — Кровяниха вошла и спросила:

— Умер, соколик?...

— Н-нет, — ответил я. — Счас встану.

Она ушла. А когда снова вернулась, я брел к столу, песя банку тушенки, кусок сыра и конфеты. Кровяниха приняла. Тушенку оставила для супа, крупно порезала сыр, конфеты высыпала в сахарницу. Принесла чайник.

— Ешь!

Весь день я был расслаблен и сидел на крыльце, наблюдал за Кровянихой.

— Ты бы погулял, соколик, — сказала она.

— Послушайте, нивлянский бык... — спросил я и при-

кусил язык, боясь сказать лишнее.

— Имеем такого, — отвечала Кровяниха И вдруг так взглянула, что я даже похолодел. Ведьма! Видит меня насквозь! Что Кровяниха тотчас и подтвердила сказав: — У каждого свой бык в жизни, сокол ясный.

Ладно, я пошла вертеться.

И завертелась. Варила обед на керосинке, что запимало часы. Пока она полола морковь — две гряды, — вода в кастрюле закипела. Очистив картошку и положив в кастрюлю, Кровяниха ушла в сад, подпирала шестами яблони. Вернулась точно к моменту, когда надо было класть капусту. Затем ходила и смотрела листики яблонь, снимала зеленых гусениц. Складывала их в коробочку. Набрав полную, велела:

— Йоди в лес, соколик, высади. Да коробочку-го

назад принеси, не забудь.

Я унес. Вернулся из леса, едва волоча ноги. А Кровяниха указывала на плетень.

— Видишь?

— Ага, плетень.

— Сокол ясный, плетень никуда не годится. Падает.

Упал, — согласился я.

— И прохудился. Сруби-ка лозы, почини: щи как раз и поспеют.

— Где рубить-то?

— Иди к меленке, что у речки догнивает. Версты две.

— А ближе?

— Здесь мы все повырубили. Раньше и лозы, и воды, и шелесперов было много. И все ушло.

— Куда ушли шелесперы?

— Кто знает, соколик, они уходили, а мы за ними не шли. Может, мы их просто съели: народу-то сколько,

и каждый себе берет. Сам ест, псу бросит!

Я взял веревку, тяжелый выщербленный топор... Вернулся нескоро. Бросил вязанку, а ко мне бредет Кровяниха, сладко улыбаясь. Глаза такие хитрющие!.. Да, да, она ведьма, а я Иванушка-дурачок и сейчас получу новое задание.

— Ты, соколик, пообедай да черпай воду в пруде, лей в канавки, — просила Кровяниха. — Тебе физкуль-

тура, а мне польза.

Поев и отдохнув, я стал черпать и лить. Вода так и покатилась к грядкам: канавки были проложены с рас-

четом, а огород выравнен.

— Что, и тебя ведьма запрягла? — крикнула Марь Антоновна, не смущаясь тем, что Кровяниха доила козу: свись-свись... свись-свись...

— Ду-ура, — прогудела Кровяниха из стайки. Я бросал ведро в пруд и вытягивал за веревку. Руки

устали, и все мне казалось плохим.

Речка обмелела, туристы прут из Москвы, свободно бегает нивлянский бык!.. Зачем, кому нужна эта малоудобная жизнь? Прятаться от городских неудач и страхов? Здесь они просто другие. Например, старухи боятся сглаза Кровянихи. Я — быка. Бык то и дело приходил ночами и садился мне на грудь. От страшной тяжести я не мог ни вздохнуть, ни

шевельнуться.

Э-эх, измениться бы, стать другим! Тогда не напугаст меня нивлянский бык, а если я что-нибудь придумаю, то поверю себе. Но как? Что мне поможет? А вот что формула жизни Кровянихи.

Да, приехать в деревушку стоило из-за одной Кровянихи, чтобы увидеть ее в хлопотах обыденности, неисчис-

лимо трудных.

По-моему, Кровяниха, ведьма на пенсии, нашла алгоритм бытия. Овладев им, она предельно рационализировала свою жизнь. И не машинами, как сделал бы горожанин.

Нет! В ее огромном доме все по-деревенски несовершенно. Зато она управляла домом как общим механизмом. В него входили сама Кровяниха, ее коза, ласточки,

ее куры, паучки, кошка. Все работали.

Ласточки радовали Кровяниху, паучки ели мух, кошки гоняли с грядок воробьев. Те же, гнездясь в трепаной крыше, сделанной из щепы, склевывали насекомых, а мухи опыляли цветки помидоров. (Кровяниха, приманивая мух, поливала помидоры ополосками мяса, покупаемого к обеду.)

Да, у нее были лучший огород и сад, рогатая и самая молочная коза, а в жизни — счет минутам и желез-

ная система.

Я, наблюдая первые жесты Кровянихи поутру, угадывал последние жесты вечером, когда она, шепча и загибая на руке пальцы, уходила в свою горенку спать.

Мне представляется, что каждый ее день был житейский танец, все фигуры и повороты которого были изобретены и выверены. В результате механизм хозяйства этой одинокой, хворой женщины вращался, как на ша-риковых подшипниках. По-моему, Кровяниха была гением домашнего труда.

Я наблюдал, следил, даже записывал, пытаясь уловить ее метод и применить его к своей лениво движущейся жизни.

Программ у Кровянихи я заметил три: День Бодрости, День Так Себе и День Хвори. Но даже прихварывая, попивая настойку корня-калгана, она что-нибудь делала хотя бы одной рукой (была у ней припасена и такая работа). И эти мелкие движения входили в планы дня, недели, месяца и, по-видимому, жизни.

— Я, соколик, последняя такая, — говорила она. И это верно. Старая деревня — грусти или ликуй! —

умрет со смертью Кровяних.

Это они, непрестанно шевеля руками, были ведьмами и отличными хозяйками, растили хлеб и овощи, кормили скот. А затем умирали достойно и молча, как сама деревня, теперь ненужная (молодые работники все перебрались на центральную усадьбу совхоза, в двухэтажные общие дома).

Мне жаль деревушку, Кровяниху, жаль Марь Антоновну, косящую траву, и ее корову, что пасется на единственной улице. Наверное, приятно есть траву. И в косьбе тоже заключено лечебное: редкостный врач направ-

лял меня к ручному труду.

— ...Последние... — бормочет Кровяниха. Нет! Я приму ее опыт и куплю дачу. Там, подобно Кровянихе, я сделаюсь властелином нескольких плодовых деревьев, миллиарда травинок и сотен тысяч живущих на деревьях и в траве насекомых.

Но только не птиц, этих свободных, летучих существ.

РЫБАЧЬИ РАДОСТИ

Нашел рябину — узкую. Высоко она подбросила пригоршню листьев — зеленых перышек — и держит их на ветру.

Я полюбовался и срезал ее. Очищая длинное тельце

от мелких веточек, я ощутил пустоту в лесу. В лиственной толще, частью которой была эта рябина, теперь зняла черная дыра. По краям ее заголили девочки-березки тонкие ноги.

И там же лезло что-то присадистое, жирно-зеленое, с лешачьей спутанностью, с листьями величиной с тарелку. Оно вокрикнуло.

Звук прошел по лесу — свистящий и резкий...

Оно вскрикивало и вскрикивало. И чтобы только заткнуть зеленый кричащий рот, я поднял рябиновую макушечку, заострил и воткнул обратно.

И вот как удачно получилось — сразу же ударил

крепкий дождь.

Я встал под ель, а дождь шагал и шагал на меня косо линованным туманом, а макушка рябины поднимала к нему горсть листьев.

Рыбачу. Так светло в воде, что видно — выплыла рыбина. Она рассмотрела болтавшуюся леску, черный шарик грузила, поплавок. Все поняв, ушла. Я тоже коечто понял. Такое: в движении мир разбегается в стороны, в неподвижности, например при ловле рыбы, сужается до размеров поплавка и плывет вместе с ним по отражениям облаков, мимо кустов.

Стала брать рыба. Но клевала такая мелочь, что поплавок только дрожал, а момент самого клева был решительно непознаваем. И оказалось, что лучше пускать насадку ближе к поверхности и следить за ее белым пятнышком. Когда оно гаснет, тогда и надо тя-

нуть...

Сначала шла рыба сирая, жалкая. Я пускал ее в воду — зачем обижать маленьких? Затем пришла рыба покрупнее и пошире, маленький лещ и взрослая верховка.

Ловлю я на сладкий оладий, сбереженный от зав-

трака. Мелкие рыбки безнаказанно сдергивают его рыхлую плоть. А вот у больших рот шире, они глотали кусок вместе с крючком и попадались.

В траве шебаршат пойманные мною рыбки... А время от времени вода бурно вскипает, пуская большие пу-

зыри. Тогда каждый видит свою мечту.

Один рыбак тянет палец и кричит, что ходит голавль, другой отстаивает версию крупного леща. На самом

деле бушует водяной газ, и оба знают это.
С уходом росы сильно поют кузнечики. Звон поднимается вверх и рисуется мне в виде прозрачного дребезжащего купола. Но там, где нет кузнечиков, в нем провалы и опускание до самой земли.

На всякой речке, большой или малой, есть места, где

купаются, и места для рыбалки.

Там, где купаются, на пляжный песок лег голавль из солидных. На мертвой белизне его тела искрились синие мухи. Спина его прокушена одним сильным зубом.

Я смотрел и думал, кто здесь такой кусачий. И с другого берега мне крикнули, что в голавля стреляли из

подводного ружья.

Я видел этих людей вчера. Они ходили по пояс в воде и совали головы в масках в укромные места. Они всовывали головы в воду, и из их дыхательных трубок с фырканьем взлетали струйки воды. Они приметили и ранили голавля.

Пропала красивая рыба, мечта удильщика. Оказалось, что не нужны особенная леса, и секретные насадки, и прочие рыболовные тонкости. Нужно только надеть маску, всунуть голову в воду и стрельнуть, скрипнув пружиной подводного ружья.

Вечер. Пробивая румяную пленку, выплескиваются голавлики. Над водой отплясывают поденки. Они взлетают, загибая двойной хвост, и опускаются на хвосто-

вых волосинках, как на парашютах. Суть этого танца есть ритуал, передача родовых признаков во времени, затем брак и голодная смерть: поденки — существа без рта.

Вечерний дождь просыпал на воду стеклянные кружки. С берега в речку побежали глинистые микропотоки, и водоросли закачались. А на перекате кипели, вертясь, пе то струи, не то алюминиевого цвета рыбки. Комары

летают, а поденки спрятались.

Но кончился дождь, пахло сеном, дышали ромашки, из чащи елей выступали завитые, будто кудри, кресты Здесь староверческое кладбище, лежат последние «сталоверы» деревушки, вымершие вместе с лесом, рекой, тальниками.

...В деревню я шел клеверным полем. Клевер и прочие травы росли высоко и густо. Среди красных шаров, пятен ромашек и усов разных злаков я едва передвигал поги.

Приснилось — придя рыбачить, я воткнул в берег рогульку для удилища. Пока срезал ее и вгонял в берег, она вертелась в моих руках и говорила:

— Не делай мне щекотно.

И лезли-лезли из рогульки молодые веточки. Распуская листья, они вытягивались, становились ветками. И я вижу, что в берег воткнута рогулька, похожая — ветками — на оленью голову. Да это голова зверя вертится и глядит на меня!..

ШВЫРЬ В ГОЛОВЕ

Я и деревенской жизни радовался, и по городу тоско-

вал. Вспоминал его тремя родами памяти.

Памятью желудка я вспоминал отличные городские еды. Ибо одно из преимуществ холостого безответственного положения была возможность по временам тратить

деньги в ресторане. Мой желудок с тоской и ворчанием вспоминал то петуха, тушенного в вине, то паровую стер-

лядку.

Второе — книги... Я не живу без них. Тоска по книгам была острая, я даже бегал по деревне, ища их. Но старушкам здесь не до чтения, они включены в круговорот рабочего года — весна, лето, осень. Отдыхая, смотрят телевизор.

Газеты я мог брать у тетки Кровянихи, но милые моему сердцу журналы о природе, космосе, о ракетах,

о химии!.. Где вы?..

На грани сна, когда мозг слабел, город рвался в него с силой. Ворочаясь на хрустящем матрасике, я вспоминал... вспоминал... Являлась утраченная мною Догадка и кричала:

Испугался, испугался!..

— Милый, — шептала подруга. — Потеряешь ме-

ня — пожалеешь...

— Xo-xo-xo!.. Я могла сделать так, чтобы ты не писал маленькие рассказы, а запускал огромные ракеты, — издевалась Догадка.

— Люблю дурачка, — шептала подруга.

— Пар-р-ровая стер-р-лядь, — урчал, вспоминая,

желудок.

- ...Не спишь, соколик? спрашивала из кухни Кровяниха, перед сном намечавшая завтрашний депь. Забормотала: Не забыть бы поговорить с агрономом о клевере, еще не сметан... На обед сделаю суп с крупой. Громко: Аль сварить борщок со свекольной ботвой?.. А?.. Молчишь? О городе скучаешь?..
 - О нем.
 - Плохо тебе здесь?

— Хорошо.

— Ты бори, бори скуку, делай что-нибудь. Вот, скажем...

И сообщала методы уничтожения скуки. Под ее го-

вор я засыпал. И опять будили меня щебет ласточек и те стуки, которыми сопровождалась утренняя деятель-

пость Кровянихи.

Я вставал и выходил на крыльцо: солнце, зелень. И все ночное уходило прочь. Мне думалось, что редкостный врач глубоко прав, и мое решение купить дачу — мудрое.

Кровяниха сидела на крыльце. Перебирая какие-то гравки, объясняла, как замечательно жить в городе и,

папример, плавать в ванне. Мечта!..

Уехала бы к дочери, но зять? А то чего бы лучше?

Она уедет в город, ее дом станет дачей.

Здесь что за жизнь? Сплошные глупости! Вот судьба послала одному механизатору из Нивлян преданную же-

пу. Где она накопила столько чувств?

Дурак, не ценил редкого счастья и связался с девчонкой, которую соплей перешибешь. Такую носит юбчонку — весь телевизор наружу! Дальше — лучше, появилась дачница, повадилась грибы собирать у поля.

Видели не раз — дурак приглушит трактор и в лес. А там ходит дачница, в сравнении с женой сущая

рожа.

Свихнулся мужик! В городе это прошло бы малозаметно, а деревня, она увеличительное стекло. Микроскоп!

Что получилось?.. Погибла хорошая баба, повесилась.

Дура! В городе бы взяла развод. («Да, они здесь все идут до конца: ястребок, жена механизатора», — думалось мне.)

— ...В город надо ехать, в город, — твердила Кровяниха. — Надоела деревня, вся жизнь в работе, с малых лет и до семидесяти нынешних. Но ведь уеду — по дому затоскую.

О городе мечтали все старухи одинаково: и печь не

топить, и воду не носить, и магазины под боком. Словом, рай!.. Только в городе можно дать отдых старым косточкам.

А смерть, родное кладбище?.. Да не все ли равно, где тебя дети похоронят. Пусть сожгут, но пожить бы год-другой в свое удовольствие.

— Там ни реки, ни леса, — возражал я.

— Вот и хорошо, — говорили мне старухи. — Налоели.

— Я бы здесь жил.

— Это пройдет. Года ум-то знаешь куда вколачивают?

...А вот и не пройдет! На даче я стану жить умно, мне пример Кровяниха. Но сначала я введу тотальную рационализацию: поставлю бензиновый мотор — качать воду из реки. Стану беречь дрова (то есть деревья), устроив несколько простеньких солнцеприемников. Они мне будут греть воду.

Вот еще что сделаю — сожму огород и сад в размерах. Тогда я лучше обработаю их и получу столько же яблок и моркови. Зато оставшиеся места зарастут дикими травами, в них будет заповедник для насекомых,

птиц, зверьков.

Подумал, и во мне проснулся зуд хозяина. Мне все хотелось переделать, даже у Кровянихи. Но та верит лишь в свои придумки. За ужином, едим мы вместе, потряхивая рожками платка, учила меня Кровяниха:

— Говорят, сокол ясный, голова всему хозяин. Я тебе скажу горькую правду: сам будь голове хозяином, не давай бродить мыслям по сторонам. Голове воли давать нельзя, все запутает. Словно котенок нитки. Порядок вот главное в жизни. А какой порядок в том, что ты похолостому живешь? Года-то идут. Ну женишься в пятьдесят, а кто твоих детей поднимать будет?

- Государство.

— Мне семьдесят три, а я до сих пор государству прибыль даю, за порядком в совхозе наблюдаю. Потому что самое страшное — это когда беспорядок. Вот ты вещи пораскидал туда-сюда: швырь-швырь... В голове у тебя сидит этот самый «швырь», ты в ней приборки устраивай.

Как это? — изумляюсь я.

Кровяниха, съев еще одно вареное яичко, вытерла рот.

— Ты ее утречком веником подмети, а все лишнее по ящикам спрячь. Перед сном все проверь, все посмот-

ри. Но утром обязательно приборка...

Я кивал, слушая старуху. Близилась ночь, скрипели транзисторы дачников. Я вообразил, как спит, уткнув рогастую голову, нивлянский огромный бык, а дачница, озираясь, крадется к механизатору... Но о порядке Кровяниха говорит верно. Вот, скажем, мои дела — нет в них порядка никакого. Так наведу же его.

И перед сном я написал открыточку: «Здравствуйте, Антон Львович! Привет супруге, Гаю, кошкам...» И снова задал вопрос о даче. Ответ пришел быстро. Буквы неслись галопом, поперек линованной бумаги. Будто

в атаку, взодрав над головой черточки-сабли.

«Николай Иваныч!

Приветствую ваше желание купить мою дачу. Не хотелось бы упрекать вас в затягивании, но думаю, что вы

искали другую дачу и подобной не смогли найти.

Сначала перечислю ее достоинства. Рядом водохранилище, воду я качаю электрическим насосом. На случай стихийного бедствия в виде пьяного монтера у меня есть ручной насос, отлично развивающий мускулы груди и плеч.

Я имею десять соток под яблонями (сорок пять сортов, пять выведено мною). Смородина: три сорта черной, два — красной. Из красной смородины мы варим отличное варенье, из белой делаем вино, практически не-

отличимое от рислинга. Есть пять гряд виктории, пять кустов ирги для отвлечения воробьев от хороших ягод, из ирги получается прекрасная наливка. 10 соток земли под картофель. Я поставил в прошлом году очень высопод картофель. д поставил в прошлом году очень высо-кий забор, и ребята не ломают деревьев, не рвут ябло-ки. Теперь мои строения: дом с террасой, летняя кухонь-ка и баня с котлом (отопление от кухонной плиты). Сло-вом, места хватит и вам, и будущей жене, и детям — че-

ловек не должен жить один, это совет. Что еще могу сказать? Я был пенсионером, когда меня хватили два инфаркта и сюда меня привезли. Прошло 15 лет. За это время мной построен дом, заведена лодка с мотором (ее вы тоже получите). Рыбалки, уход за розами. Да, сначала были розы, только розы, а потом развел огород и сад. Я внедрил культурное садоводство в село, и теперь у многих растут яблоки. Но я старик, ослаб и потому продаю дачу. Себе оставлю флирик, ослаю и потому продаю дачу. Себе оставлю флигелек на лето. Хорошо? Кроме того, я хочу провести кое-какие опыты с приручением южных растений в Сибири. Теперь жалею, что был инженером, а не садоводом. О цене. Я хочу получить только вложенные мною деньги (за сад — по оценке представителей общества садоводов), всего 5000 рублей. Эти деньги были заработаны неустанным трудом. Я думаю, вы не обижены тем, что я хочу получить их обратно. К тому же сад и огород станут, в свою очередь, экономить деньги вам. Мне семьдесят лет, я рассчитываю прожить еще пять-десять лет. Значит, вы сможете вносить по тысяче рублей в год, что необременительно. У меня есть другие соискатели, но хочу быть полезным вам: только вы позволите мне экспериментировать в саду».

Да, я решил купить дачу. Прикидывая так и сяк, я понял, что, пожалуй, выкручусь и с деньгами. Ну много ли мне надо, в конце концов? Старой одежды

мие хватит на пять лет, а если женюсь, то подруга поддержит меня. И друзья обещали помочь — первым взпосом.

На даче я стану писать рассказы. Устав, буду собпрать слизней, поливать и рыхлить гряды. Можно часто уезжать — из города путь удобен, автобус, паром через водохранилище. Вот, я вижу — приподнялся из воды правобережный бор, лохматый зверь, соскучившаяся по мне зеленая собака.

Она приподнимается, вода бежит назад, отливая гем блеском, что видишь на губах модной женщины.

Вот он, мой дом!.. Куплю!

Вдруг тихая деревушка утратила свой покой.

Шуму-то, шуму — Кровяниха изобрела! Чем обидела старух и меня, неудачника. Помня о великой пользе лягушек, Кровяниха велела сбить щиты из старых досок. Их бросить на траву.

— Зачем?

— А чтобы было, где лягвам прятаться, — ответила гениальная Кровяниха.

— От загара? — спрашиваю я (последние дни жаркие, без крупинки дождя), еще не постигая силу и красоту замысла Кровянихи.

...По обыкновению та не ошиблась в расчетах, и деревенские лягушки, жившие где попало, ринулись к ней в огород. Дружно, будто созвонившись по телефону.

Их сотни... Скачут по грядкам лягушки величиной с ладонь, но есть и крохотные, будто кузнечики. И все повят мух и жуков: огород Кровянихи чистехонек. Нет, не зря старухи ругают ее ведьмой: оскорбительно умна!

Вот стоит... Уперла руки в бока и слушает старух с явным удовольствием. Что ж, ее победа. Но я-то никого не победил. И так мне захотелось уйти поскорей и по-

дальше. Торопливо выбегая из калитки, я наскочил на тополь, обрубленный Кровянихой: чтобы не рос в провода.

Сто раз я проходил мимо обрубыша, а только сегодня увидел его глаза. Древесные, серые...

Выпавшие сучья образовали два печальных глаза. Ими дерево пожаловалось мне: вот, не дают расти... И подумалось, что мы забываем (я, во всяком случае) о том, что деревья живые: они родятся из семени, они живут, старятся, умирают. Что мы все берем у них: ство-

лы, даже листья.

Был со мной такой случай: я вдруг заболел, и соседка дала мне березовые листики — заваривать их и пить. С тех пор береза лечит меня. Бросая живые листья в кипяток (лучше брать только что сорванные), я отнимаю их жизнь, чтобы взять ее себе. Но это несправедливо только брать! В конце концов, все в мире держится на том, что берешь, отдавая свое другим.

Но чем, каким добром я могу ответить березе?.. Что дать? С привычно живым проще — человека благодаришь, собаку кормишь. А дерево, что дает мне воздух, покой?.. (В древние времена они загораживали Русь от жестоких завоевателей, то есть спасали и мою жизнь.)

Мои книги печатаются на размозженных телах де-

ревьев.

Кроме березовых листьев, ,я лакомлюсь медом, терпко-сладким, собранным пчелами. Что доброго я сделал им?

Еще люблю видеть летящую желтую бабочку, после встречи с ней у меня всегда хороший день. Но что я дал

бабочкам-крушинницам?..

Сколько здоровья и счастья дарят мне сообща лес, пчелы, бабочки. Я их неблагодарный должник... Предположим, дача... Я вообразил себя копающего, стригущего деревья, карающего вредных насекомых. Полезно здоровью, садоводы живут сто лет. Сад и огород принесут и другую пользу: яблоки, морковь, картошку. Не надо будет их покупать. Гм, вдвойпо полезно... Но если я хочу плюнуть на пользу «мне»?

Почему, в конце концов, все «мне» да «мне»: сад,

деревья, птицы, морковка?..

ЗЕЛЕНЫЕ СОЛДАТЫ

Срезанные ветки задыхались в моих руках. Я положил их в осоку, комельками в воду. Прокислая вода приподняла, зашевелила их.

Шевелила она и зеленые ножи осоки, точа их один о другой. Звук этого точения ходил туда и сюда —

жестким шелестом.

А ветки пили воду. На моих глазах их вялые листья гвердели, кожица возвращала себе серую, с примесью

бронзы окраску.

Напившись, ветки стали дышать и пахнуть. И на грязном берегу, истоптанном коровами и машинами, забрызганном ополосками белья, запахло тальником.

Я присел на корточки и смотрел на ветки.

Я принес их сюда, решив посадить в береговую грязь. II не решался садить — время дневное, меня могли увидеть за этим занятием. Странным...

Могли увидеть меня (и срезанные ветки) деревенские, полощущие белье, могли видеть туристы, идущие

берегом.

Эти маленькие ветки я брал из густоты сберегшихся у мельницы тальниковых кустов. Их сажу потому, что речка становится голобережной.

Сажу! Первая, вторая, третья ветки... Четвертая, пя-

гая, шестая...

Это же аксиома — речную воду берегут прибрежные кусты. Самые лучшие из них — тальники, широкие и плотные. Здесь же они частью поломаны, частью вырублены. А мелкая их поросль притоптана — человеческая

ступня идет по головам растений и губит их. Тропы ширятся, а леса и воды становится меньше.

...Сорок вторая, сорок третья, сорок четвертая... Когда-то речка была чистая, а воды ее стояли высоко. Их охраняли деревья, подпирали мельничные плотины. Тогда на перекатах бил рыбью мелочь шелеспер, а лес втискивался в деревню. Теперь же узкие ленточки кустов не держат ни влагу, ни почву: дожди смывают голые берега. Только масса бывает силой. Потому моим кустикам надо стоять плотнее. Тогда они подопрут друг друга.

...Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой, восемьде-

сят седьмой...

Ветки сотворят чудо. Они переделают корьевые клетки в белые сосочки корешков. А там, глядишь, окрепнут и будут солдатами в войне с разрушением берегов.

так — я уеду отсюда, а в прибрежных травах будут стоять тальничата. С каждого в речку упадет несколько лишних капель воды, каждый уронит тень, каждый выдохнет облачко кислорода, когда пронзит его лист световой квант.

Это расчет — оставить по берегам тальниковых детишек. Я хитрый, я знаю свойство человека беречь и жалеть детей — человечьих, зеленых, птичьих... По веточкам не пройдут, их не срежут на костер или удилище.

В конце концов, они еще малы.

Вдруг ударил дождь. Он быстро и крепко поколотил все. И поднялись запахи. С полей идет Главный запах, сытый, хлебный. На его крепком хребте, как на тракторе, ехали другие запахи — ила, травы, снулой рыбы, моих тальников...

Я смотрю на проходящих девиц, одетых в курточки, позволяющие любоваться их пупками; на бородачей спутников. Туристы!

Они приехали из Москвы: сгибались под тяжестью и сладко сопели под своими рюкзаками. Их башмаки стучали по тропинке, утрамбованной другими башмаками до каменной твердости... Прошли...

А теперь зажигают костры: дымные столбы выставились повсюду. Словно озирающиеся змеи, ставшие на

хвосты, они подняли головы над деревьями.

Я не иду, не смотрю на ветки: мерещится неудача. В конце концов, приживление летом срезанных веток ненормально. Есть определенное время такого вроста — осень, — когда растение засыпает и ему все равно.

Или весна, когда оно проснется и бурно хочет расти. А сейчас?.. Заранее я так определяю результат: восемь десятых веток увяли, одна десятая еще не знает, что делать, штуки две или три пустили корни, потому что в них был избыток гормонов. Древесных. «Ты мысли научно, старик, время нормального роста черенка иное, — внушаю я себе. — Согласно заложенной в клетке информации».

Я пришел и возликовал: ветки принялись. Они стояли по побережью речного заливчика и зеленели. Все!

Я ликовал: растут мои кустики. Хотят расти — это

ясно. Но радоваться еще рано.

«Тебе везет, — думалось мне. — Да и тальник — хваткая порода. Он похож на городских воробьев и тополя. Но ты вот что скажи: какие выводы ты можешь сделать из этих веточек?.. Где статистика? К тому же ты не знаешь толком, отчего здесь умирает лес. Только ли виноват человек? Нужны опыты...»

Я снова вырезаю из кустов сто веточек. Беру их из густот, чтобы оставшимся веткам было легче дышать. И сажу их потому, что речка пахнет кислым пивом. Потому, что обрывал зеленое с берегов далеких сибирских

речек. Там я взял, здесь возвращаю.

...Первая, вторая, третья ветки... Кричит лягушка, с невысокого берега смотрит рыбак, толстый мужчина нулевого темперамента. Смотрит и молчит, и никаких

тебе реакций.

....Двадцатая, двадцать первая ветки... Это же аксиома — воду мелких речек отлично сохранят тальники, а речки наполнят озера и большие реки. Вот наблюдение, отмеченное прессой: оголили берега восточного озера Ханки, и оно стало быстро мелеть. Вывод?..

Берегу нужны сильные кусты. Здесь же тальники, что еще растут, вялые, как магазинные овощи.

...Сорок вторая, сорок третья, сорок четвертая...

Мужчине надоело глядеть стоя, он садится. Я громко спрашиваю, не испытывает ли он желание помочь? Нет, не испытывает, ушел. Но даже спина его не высказала своего отношения ко мне, а была равнодушно необъятная, лениво шевелящая лопатками.

ная, лениво шевелящая лопатками.

ная, лениво шевелящая лопатками.

...Шестидесятая, шестьдесят первая ветки. Будущим кустам надо стоять общо, тогда они подопрут друг друга. Так пусть же мои тальничата будут загущены... восемьдесят пять, восемьдесят шесть... крепкими, бойкими, разбегающимися во все стороны.

...Начав, всегда увлекаешься... Я вырезал ветки ольховые, даже рябиновые и садил их. Притыкал к воде, чтобы в рыхлом и мокром вышли скорее корни. Мне хочется увидеть их, шевелящиеся и белые.

Я-1: Если бы все праздно шатающиеся у реки делали то же самое... Мы бы все потерянные леса вернули обратно. Что, если мне агитировать туристов? Я-2: Опомнись! Ты не знаешь последствия своего поступка. Если люди тоже свихнутся и станут сажать кусты, то... места не хватит. Это делают иначе: надо ждать рекомендаций науки. Она — ты пойми! — должна рассчитать все связи. Ну, количество червяков на квадрат

пый метр, слизней, микробов. Командовать природе опасно.

Я-1: Ждать, когда сосчитают бактерии? Не мешай! ...Я связал ветки в толстый пахучий пучок и унес их к прежним моим веткам. Стал садить их в промежутках, среди прочих зеленых огоньков, в мелкие лужицы, оставшиеся от последних дождей.

Сажая, я расщеплял ножом концы веток да вспоми-

нал самолет и разговор тех, двоих.
Они говорили, что в США скоро будут выпиты де-вятьсот восемьдесят рек. Ну а мои посадки охранят воду

в одной речке.

А если такое затеют все?.. Будет это колоссальным парушением природного равновесия? Едва ли. Конечно, пеплохо привлечь научные коллективы. Но мы обошлись без них, уничтожая леса. Так обойдусь и я, сажая эти галовые кустики: мне нужно оставить после себя тысячу деревьев, их задолжали мои предки, такие яростные к лесу (рубили, жгли его).

Посаженные ветки ольхи и рябины привяли, а тальнику хоть бы что: держится, зеленеет. Он нарушил требование обязательного весеннего пересаживания.

Так — сначала был один дождь, потом второй, третий... После него пришла дымка и легла на все. Она во-

брала звуки и краски, приглушила очертания.

Сначала дымка мне казалась вредной, а влажность се — с запахами трав, ягод и первых грибов — удушливой и преступной в этот вечер. Она смазывала очертания предметов, и это была кража. Но глаз привык к ее обволакивающей мягкости, и дымка стала нужной. Она, вобрав в себя мелочь, оставляла широкое. Все теперь было сближенным в массивные куски. А деревья стали одним деревом, но разбежавшимся повсюду.

Эврика!.. Смешение рас усилит моих зеленых солдатиков, гибрид сильнее родителей. Значит, нужны тальники другой семьи.

Я взял нож и пошел вниз по течению.

Здесь речка была свежее, а процесс оскудения медлительнее, как облысение заботливого к своей внешности старика. Причина: берег крут и неудобен для водопоя, рыбалок и устройства ночного лагеря. Вывод? Прежний: человек стал природным фактором, лес и река давно не

живут сами по себе, а только вместе с нами.

Тальники же здесь отменные. Листья их плотнее, тела желтее, кусты стоят густыми патриархальными образованиями. Они и к жизни цепки: на галечнике зеленел вывернутый половодьем куст. Он соединился корнями с горсткой земли, тонкими коричневыми червяками сосал воду. Но рос до следующего половодья. А поблизости... Ого, кустище! С него и нарежу веток. ...В гуще куста меня кусали мухи. Но я резал и резал ветки, и нож мой постукивал, шуршали листья, и пахло так, что кружилась голова.

Я вырезал те ветки, что слишком густили кусты, и думал, что с годами ушла «мудрость» древних лет — хищная. И пришла к человеку новая мудрость. Когданибудь, поднатужась, она единой формулой охватит и

речку и кусты — все реки и кусты на свете.

В чем она?.. Не знаю, нет, я знаю!.. Мы все твердили, что человек должен посадить одно дерево. Но это же старое!.. Новое громко кричит: надо спешить, надо спасти ручьи и мелкие речки. Что нужно каждому посадить тысячи деревьев!

Что мы боролись с природой, как во сне, бывает, борешься с самим собой. А борьба должна идти в себе —

с глупостями, с нетерпением.

«Вернусь в Сибирь, — думал я. — Найду себе какуюнибудь обиженную, пересыхающую речку и обсажу ее всю».

НИВЛЯНСКИЙ БЫК

Хлеб кончился, и кофе, прихваченный из Москвы, тоже вышел. Мне скверно жить без кофе: и грудь тяженеет, и сердце бьется медленно. А раз так, надо идти в Нивляны за хлебом и кофе. Тем более что способом передачи информации без проводов дошла весть: хлеб сегодия белый, есть мясо и привезли ящик растворимого кофе.

Его-то мне и нужно. Ну и сахар. А мясо я куплю хо-

зяйке, так как сам, не рассчитывая здесь долго жить, обеднел и обхожусь пойманной на удочку рыбой.

— Иди, иди, сокол, — сказала Кровяниха. — Я что-то приболела ногами. Мясо дают? Значит, с быхом встретишься. Ступай.

Я взял деньги, кошелку и побрел в Нивляны.

До луга, на котором пасли нивлянских коров, я шел одро. Но блеснули огоньки на коровьих рогах, и я ныр-пул в лес. Так себе лес, березнячок пополам с осиной, по уходил он вправо от Нивлян, и далеко уходил: при-шел я в магазин к шапочному разбору. Досталась мне одна суповая кость, а хлеба — пять штук мятых ба-TOHOB

Но банку кофе я взял и сахар тоже. Хотя и разбирали его хозяйки на варенье — в наволочки от подушек. С покупками я вышел на крыльцо и остановился, вдруг уйдя в ту странную, тупую задумчивость, что набегает ппогда. Пробивались ко мне через ее ватный слой только пеясные голоса, твердившие одно и то же:
— Пык... Пык...

И снова.

— Пык... Пык

И вдруг я понял: идет Нивлянский бык! Сюда!

Он вообразился мне весь — зверь в тонну весом, под-ходивший со спины, целившийся в нее рогом. Я даже шаги его услышал — ух и тяжелы! — и рога почувствовал спиной. От их концов, будто в самолетные вентиляционные дырочки, подуло на меня ледяным, зимним

Бык?.. Нет, это смерть: никто мне не поможет, никто не спасет. Я зажмурился. И получилось, как бывает в страшном сне, — я не мог ни двинуться, ни вскрик-

нуть, ни позвать.

— Дорогу Нивлянскому быку! — крикнули мне в ухо и толкнули. Я открыл глаза: по ступеням магазинного крыльца тяжело, вразвалку, поднималась низкая, широкая женщина в плаще, в заляпанных сапогах. Полыхала рыжим волосом. Она взглянула на меня, презрительно дернула плечом и прошла в магазин.
Мужики, сидевшие около своих мотоциклов, перего-

варивались. Смешки и слова перелетали от одного

к другому.

— Бык... бык... Нивлянский бык...

Бык? Нет его... И как часто бывает при испуге, сла-бость охватила меня. Я сел на крыльцо... Сидел долго. Подошла ко мне черная собака и, сладко жмурясь, лизала кость. Теленок взял из сумки и задумчиво сжевал батон.

Нивлянский бык... Где он?..

Я старался понять и не мог. Тогда спросил. И мужики долго хохотали, так долго, что рыжая женщина, неся кусок отличного мяса, ушла и пыль от ее сапог улеглась.

_. Мужики не спешили. Они ждали грузовичок, что привезет водку и другие вина, и могли смеяться и говорить со мной вдумчиво и не торопясь. Я тоже не торопился, такими слабыми были мои ноги.

Что же оказалось! Нивлянским быком звали эту ры-

жую женщину, искусственно осеменявшую коров.

Очень полезная женщина, зоотехник...

— А бык? — тупо спросил я. И снова хохот, и разъяснение, что быка при стаде не держат лет пять, невыгодно. К тому же последний был сущий поджигатель войны. И вместо быка теперь у них рыжая баба.

Значит, врали мне лукавые старушки. Резвились?..

Давали урок?!. Ну ладно же.

Я дождался грузовика и купил бутылку водки. Выпил половину, заткнул скомканной бумажкой и пошел к пасущемуся стаду.

Я прошел сквозь него, мимо спящего долговязого пастуха и его недремлющей собаки овчарки. Та обегала

стадо, сгоняла коров, следила за ними.

Собственно, это она зарабатывала триста рублей в месяц. Но собакам не платят, и был нужен пастух, чгобы расписаться в ведомости. Вон, храпит. Его начальник — бык... Так ему и надо!

Собака подбежала и умно смотрела на меня. (Коровы тоже смотрели, выпячивая большие глаза.) Я по-

ставил водку около пастуха и ушел.

С выпитой водки мне было и весело, и храбро, и оскорбительно... Боялся, а чего? Это надо же, бояться

гонну говядины, к тому же отсутствующую!

Я пришел в деревню и показал «рога» старухам. А затем стало худо моему сердцу, очень худо. Но я уже пичего не боялся, даже хвори. Ни-че-го!.. Я ощущал себя слабым, разбитым, но свободным от всех страхов на свете.

Конечно, я угадывал, что еще испугаюсь не раз. Да и нельзя жить без некоторого количества страха, попа-дешь под автомобиль. Но если догадка, то давайте ее сюла!..

Я свободен, все дороги открыты мне. И если я чтонибудь еще изобрету, то поверю себе. А я обязательно изобрету. Но что? А, будет видно...

Все мы хотим стоять особо. Но так не бывает. Наоборот, повсюду проступает общее. Если я сейчас пишу, то потому, что учился у других; если жив, то ведь люди меня спасали

А если точнехонько сосчитать все электроны, что вертятся в твоей клетке, взятой хотя бы с ногтя, то будет модель вселенной. Какое уж тут одиночество и отрезанность, когда ви-дишь такую общность!

Но так же, как с гаснущими звездами, может случиться и с человеческой жизнью: она начинает затухать. И если не борешься, а злишься на мир, как будто равнодушный к тебе, то станешь Черной Дырой. Через нее говорят ученые, все проваливается в тартарары.

Если же ты напряжен, то непременно найдешь добрых людей, а в себе материал для новой вспышки и

жизни дальше. Важно только не пугаться.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Теперь я точно знаю — изобрести можно только в смятении и недовольстве. Сытодовольный человек редко изобретает что-нибудь иное, кроме закуски, новой лачи, мебели.

Вот и сейчас я в смятении. Ладно, с быком я расправился, но как жить дальше? Покупать дачу или не покупать?.. Занимать деньги или не занимать?.. Фу-у,

тяжко!

И вдруг я изобрел...

Получилось так. Решая жизнь, я брел лугом, чистым и каким-то уж слишком даже ясным. Это показалось мне неприличным, злило: как он смеет быть ясным, когда во мне все спутано!..

Но абсолютно чистых лугов не бывает, всегда на

них растут кусты. Я и уткнулся в такие кусты, березовые, хворые. Это примирило меня с лугом.
В первом кусте было осиное гнездо в желтой бумажке, второй, привядший, явно объеден козой тетки Кровянихи. И как-то автоматически я вынул карманный но-

мик и стал отрезать сохлые веточки, те, что в желтых гочках. Почему?..

Прекрасен луг, но станет еще лучше, если убрать эти

мертвые точечки.

...В каждое изобретение обязательно входит случайпость. Ведь не нарочно же в моем кармане оказалась ленточка пластыря. Вчера я порезал палец, заклеил, а катушку пластыря сунул в карман совершенно автомагически. Но теперь вспомнил и вынул.

Им я заклеивал порезы на веточках (возможно, не было в этом случайного, а я давно готовился к такому

моменту).

Приспособив кустик березы к данному месту, я пошел к другому кустику. Так, бродя среди кустов, я резал и клеил, резал и клеил. И как-то само собой забылось, что нет у меня денег и едва ли мне дадут их взаймы. Скорее всего не дадут.

И это даже показалось удобным.

Ну зачем мне дача за пять тысяч — с ее яблонями, с заборами и мальчишками, которые высматривают яблоки? К чему? Когда есть лес, а в нем хворые березы.

В конце концов, мне прописана работа на воздухе, среди деревьев, а не поедание яблок. Вот и отлично! Я буду ходить и лечить деревья, возмещая вред своих

бойких предков.

Я спустился к ручью и напился ключевой воды. Посидел, послушал бегущую воду и снова стал ремонтировать кусты: ходить, резать, клеить. Но кончилась катушка, а ножик мой притупился. Тогда я лег в траву

и стал глядеть вверх.

И как бывает, когда лежишь в траве, а смотришь в голубое спокойное небо, я вдруг заснул и проснулся так быстро, чго облако, шедшее от макушки осины, подошло лишь к соседней двойной березе. Но я был свеж и ясен, с вполне определившейся догадкой, что этот лес — все леса России — моя дача, все деревья мои и птиц,

зверей, насекомых, что живут в корнях, ветках и дуплах. Здорово получается! Стоит выбросить слово «мое», и нет нужды воевать с мальчишками за яблоки, незачем просить деньги взаймы — ведь моя дача повсюду. Замечательная догадка! И какая простая! Но шел я к ней трудно, медленно, долго, словно водяной жук в ле-

дяной пыли. Но таки пришел!

Я засмеялся и смеялся так долго, что даже заплакал от невыразимого счастья расширения своего «я», в мгновение догадки вдруг коснувшегося всех лесов на свете. И этим мои тревоги кончились, в это мгновение я уви-

дел свою жизнь на много лет вперед.

Видел — в ней я весел и доволен, что бы со мной ни случилось. И мое счастье всегда со мной, лежит в карслучилось. И мое счастье всегда со мной, лежит в кармане: нож, липкий пластырь, тюбик охры или цинковых белил. Иногда я несу с собой разборную лопату и тогда пересаживаю мелкие деревца, лечу и огромные, пломбируя их дупла смоляными пломбами.

И живу я легко, неудачи переношу весело, а все люди мне хороши. Если и ругаюсь, то лишь с теми, кто нагло портит деревья. Да и то больше учу их. Мои многомудрые друзья, конечно, посмеиваются надо мной, зовя чудаком, но я не обижен, нет.

...Так, словно жук среди машин, я приполз к берегу той реки, что вливается в общую человеческую жизнь, природу и даже вечность. Не в холодную, вселенскую, а в теплую, древесно-зверино-человеческую. В дикий сад-лес стал моей Большой Догадкой. А та,

первая, в радуге семи цветов, та была не моя. С чем бы

Ну, все равно, когда твой красивый друг идет с яркой девушкой, а тебе подталкивают другую, рябенькую курочку... Но в этом подталкивании заключен большой смысл. Такой — надо искать и найти в рябенькой все красивое. Вот я и нашел, стою и гляжу на лес с жадностью садовода. он так обширен, мой дикий сад...



СВЕТ И ТЕНЬ



ОКРАИНА

Когда в город приходит серый день, сливая дома в вязкую массу, я задумываюсь. Надолго. И спрашиваю себя, почему я живу здесь, если душа моя бродит в лесу, среди деревьев и зверья?

И, не понимая, ищу себе оправдания, разбираю свою

жизнь.

Откуда я? Где рожден?..

Одни знакомые мне люди упирают на благородство своего происхождения от крестьянского корня, другие превозносят все городское, дымное, пахнущее железом.

Я же ни два ни полтора.

Имея навыки землероба, я хорошо понимаю охотника. Если дома поломалось что-нибудь железное, то беру ящик, полный инструмента: молотков, сверл, гасчных ключей, напильников и прочего добра...

И — чиню.

Больше того, человек-станочник близок мне.

А все потому, что я происхожу из окраинного племени. Оно же особенное, в нем столкнулись разные слои: мятущиеся души, которым была ненавистна лю-

бая трудовая запряжка. Эти, добывая свой хлеб, охотились, рыбачили. на

И крестьяне, приходя в город, ставили домик

окраине и начинали огородничать.

Рабочие тоже селились здесь — большинство заво-

дов было поставлено на окоеме города.

Это перемешанное общество и сформировало нас, мальчишек. Да так, что до сих пор я несу клеймо: «Сделано окраиной». Мы, пацаны, и были настоящими окраинниками, в нас слилось все: крестьянское и рабочее, от лесных бродяг и от местных хулиганов.

Да, водилась в наших местах и эта городская темь. Она обосновалась у реки, называли этот микрорайон Нахаловкой. И если кто из горожан исчезал ночью, милиция искала там. И, случалось, обнаруживала шапку

либо ботинок пропавшего.

С той поры я боюсь нечистую силу темноты и свято верую, что удар кулаком по роже мерзавца стоит трактата о духовной красоте.

...Росли мы, пацаны, окраинными язычниками. Хотя мама до сих пор хранит мой дешевенький крестик, но сам я верую в Землю-Мать и сохраняю к ней молитвенное отношение. Больше того, как все почти сибиряки, я охотник и поэтому верю, что Лес — мой второй отец. Да, да, я, современный человек, верю в научный ком-

мунизм. Но не исключаю, как все окраинники, суще-

ствование ведьм.

Как могу исключить, если лично я вырос около одной из них?.. Ведь это меня в отместку за краденую морковь сглазила Полюшка Дурной глаз, а потом долго и безуспешно лечил врач. Поставил же на ноги Старый Черт, пропев надо мной старинный наговор.

Грозя почерневшим от земли пальцем, он велел хвори, лихой сестре, уйти обратно, на зеленое болото. Та и ушла — до лесных болот было рукой подать.

...В зарослях, у Дикой Лужи, проживал ближний ле-

ший. Но с тех пор как Толстопят, поехав стрелять уток, всыпал заряд дроби в зеленый лешачий зад, мы боялись ходить туда... И разве малютки-лесовички не бегали по тропинкам, не сметывали стожки сена для своих подземных коровок. Это они разбегались с тихим смелом, завидев пацанов, идущих в лес брать грибы или

чернику. Верили мы и в силу колдовства. Больше того, пам был известен способ стать колдуном. Простой: надо было провести ночь на кладбище. И ежели мертвяки отпускали тебя живым, ты уносил с собой дар колдовства. Всем было известно, что так унесли его с кладбища Полюшка Дурной глаз и Старый Черт. И пожалуйста, Полюшка была ведьмой и летала по воздуху, перегоняла тарахтевшие в небе У-2, но отсгавала от тупомордых «ишачков».

У другого в огороде все росло просто замечательно! Самый башковитый из пацанов, Димка Горин, пошимал выгоды колдовства. Можно было получать, не шевельнув пальцем, хорошие отметки, летать охотиться в те места, куда нет дороги, а дичи полно - словно комаров.

Но Димка не решился провести ночь на кладбище. Уговорить бы дядю Сидорова... — мечтал он. — Чгобы приказал: «Сделайте Горина колдуном!» Небось

не открутятся.

Следует заметить, что ведьмы, колдуны, мертвяки, даже хулиганы — все боялись милиции. Если почью по пашей улице шел на кладбище мертвяк с узлом за плечами и натыкался на участкового, хромого Сидорова. то убегал, бросив узел. В нем, если развернуть, чаще всего оказывалось сдернутое с чьей-то веревки сырое белье.

С тобой мертвяк мог сделать, что вздумает, однако младенца тронуть не смел: на окраине их просто обожали! И если какой-нибудь орал так, что даже у нас, пацанов, трещали барабанные перепонки, взрослые, махнув рукой, говорили:

— А-а, пусть орет, коли ему так нравится...

...Кормили младенцев грудью по-деревенски, года два, а затем пересаживали на щи и кашу. И надо отме-

тить, что дети вырастали отменного здоровья.

Одного меня родители растили научным методом. И что же? Еще пяти лет я не мог своими ногами вернуться из леса. Отец нес меня, посадив на плечо и придерживая рукой (в другой было ружье). Врачи — годами! — пичкали меня рыбым жиром. В конце концов, я сам взялся за себя.

Много-много пришлось работать над собой, пока я научился одним махом вскакивать на высоченный забор тетки Семенихи и не маяться животом, слопав два-три

десятка сворованных у Толстопята огурцов.

...Да, много утекло воды с тех пор. Как и все, я учил-

ся, кое-что узнал о жизни из книг, от людей.

Теперь я знаю, что нет колдовства, чаще всего это

ловко скрытое преступление.

Сейчас я летаю в командировки на ракетных самолетах в юные сибирские города, что выросли, не по-

знавши окраин.

Теперь не старухи, а телевизор бормочет мне то добрые, то страшные новости по вечерам. Да и мою окраину сгребли бульдозерами, очищая место для многоэтажных домов.

Но я по-прежнему окраинный, по-прежнему верю в Землю-Мать и убежден, что Лес — мой второй отец. Какое может быть сомнение? Ведь он спас меня в годы

войны от голода и холода.

...Когда-то, возясь в огороде с ботвистыми морковками и чернозадой редькой, выращивая картофель и любуясь на кружева укропа, я узнал то, что знают люди науки, — здесь перекатывается, ходит туда-сюда жизненная сила. Но окраинные старики, хитрованы-огородники, тол-

ковали мне и о другом...

И я верю, верю им, что если изловчиться и умело встать в круг (земля — солнце — растение — зверь — вода), то можно добиться вечной жизни: побывать щавелем, порхать жуланом, уйти в землю куколкой насекомого, побегать в лесу рыкающим медведем. А если я смогу и буду бесконечно живым, то и окраина не умрет — в моей памяти будет жить всегда.

Согласен, сказка, ерунда... Тогда хочу верить, моя окраина, изловчась, сама встанет в тот вечный круговорот мгновений, который называется человеческой

памятью

И я буду ее жителем...

УЛИЦА КРАСНЫХ ПЕТУХОВ

Димке жилось легко, моему отцу тоже — у них было по одному увлечению. Димка неторопливо и вдумчиво строил лыжи, на которых собирался ездить по воде, снегу, суше и, кажется, небу. Мой отец, раздобыв трухлую книжицу на барахолке, стал первым йогом города. Он пил носом воду и по утрам стоял на голове.

Улица же увлекалась красными петухами. Димка, отец, улица были счастливы. Все, кроме меня. Вообще это была улица Кончаловского, но ее звали за драчливость жителей улицей петухов (потом назва-пие уточнили). Или говорили проще: «Улица, где чокнутые живут». Она образовалась сама собой и, плюя на протесты милиции, повисла на краю оврага.

Как могли селиться люди в запретном месте? Просто. Жить там разрешали при одном условии, если человек ставил дом за одну ночь, если и печку сложил

и даже затопил ее, то живи!

Пройдет полгода-год, и райисполком прописывал в

городе дикого поселенца. Тот же, прикопив денег, на-

И потому заселилась наша улица людьми боевыми, чинал перестраивать дом. даже отчаянными. Они жили, плодили детей и мусор, им засыпая овраг. Прошло лет пять-шесть, и не стало оврага, а улицу назвали почетным именем Кончаловского и даже нанесли на план города. Затем повырастали тополя, улица стала красивой, и мой отец, художник, купил себе дом.

Здесь я и родился и вырос. Еще крохой я бродил по нашей улице в одной рубашке, держась за хвост знакомой собаки (в другой был огромный, через всю буханку, бутерброд). Я ходил и улыбался. Но подрос и стал самым несчастным мальчиком на свете. Жизнь моя стала мучительной. Вот отчего: увлечения, без которых жизнь, как известно, горше смерти, ко мне приходили толпами. Пример?

Пока Димка придумывал свои лыжи, на уроках разрисовывал ими тетрадочные обложки, я бился с целой

Утром я строил гиперболоид инженера Гарина, днем толпой увлечений. охотился на воробьев и гипнотизировал маминых кур. Кажется, и хватит. Но было и в-четвертых, и в-пятых, и в-десятых, и все сразу.

Да, увлекающийся я был человек в девять лет, пото-

му со всех фотографий тех лет я гляжу кисло.

А теперь я горжусь, что мог увлекаться — сразу! — гипнозом, Люськой Шароновой, поисками ключа от шкафа, в котором отец хранил черный порох и собрание сочинений Ги де Мопассана (они казались ему одинаково опасными). Что вместе с отцом я писал этюды с натуры, с Витькой Подгорским клизмами лечил от дурного характера его кота Василия. Да еще уроки! Но тогда жилось мне трудно.

Отцам же нашим, моему и Димкиному, в те времена жилось очень легко — у них было одно увлечение на двоих. Вечером они спорили об Испании. Они громко орали, злобно глядели друг на друга и били кулаками

по столу.

Сосед Кокин, человек с поразительно кривым носом, приходил слушать их. Кривя носом, он сидел, прихлебывая чай. Можно было считать, что и на него приходится доля шумного увлечения наших отцов.

Взрослые, они хитрые, им живется легко...

Димкин отец так увлекся стучанием кулаком, что не ваметил первое испытание лыж Димки: тот перевернулся в воде, как поплавок, мы его едва откачали. Проморгал и второе испытание — полет с сарая вниз, закончившийся двумя выбитыми боковыми зубами. «Слава богу, пе передних, — говорил Димка. — Отец бы страсть как обозлился».

...Отцы спорили, а Кокин слушал. Что было странпо. Ведь спор — дело пустое, сотрясение воздуха, а деловой Кокин терпеть не мог ни пустых дел, ни пустых дней. Быть может, он ходил потому, что хотел понять, есть ли в спорах хоть какой-нибудь прок?

Не знаю, долго бы мой отец довольствовался третью увлечения, но однажды он ушел и вернулся очень поздно, красный и взъерошенный, как петух. Но мол-

чаливый.

Отец Димки тоже переродился в тот день. Вернулся он вовремя, но тотчас заметил выбитые Димкины зубы, хотя они и не были передними. Он железным пальцем слесаря ощупал Димкины десны (я сам видел, своими глазами) и заорал на тетку Анну:

— Распустила!

Потом:

— Я вам покажу лыжи с крыльями!

Кричал он громко, но еще громче взревел Димка. Ватем послышался треск, обломки лыж и без крыльев взлетели выше сарая. После чего ставни дома закрылись, и ни Димки, ни его братьев в тот вечер я больше

не видел. Когда к нам пришел Кокин с пламеневшим носом и попросил чаю, отец усмехнулся. Он сказал:

— Не станем сотрясать воздух без пользы, а займемся чем-нибудь стоящим. Например, хатха-йогой, описанной господином Рамчаракой. Я давно купил эту книжицу, да все руки до нее не доходили.

Он мотал перед носом Кокина древней книжечкой, а тот водил туда-сюда длинным и неровно изогнутым

носом.

— Это любопытная книга! — сказал отец. — Я отбрасываю ее идейную сущность, ты не забудь, отбрасываю, и беру только здоровую сердцевину, а именно, физические упражнения. Договорились? А ну, становись на голову, так велит сам Рамчарака.

— Не встану, — сказал Кокин, хватаясь руками за сиденье выгнутого легкого стула. Их называли венски-

ми, а гнули в нашем городе.

— Сделай одолжение, — просил отец, человек вежливый. — Встань.

— Нет, — отвечал Кокин. Теперь его нос побелел

(он краснел и бледнел только носом).

— Так я сам поставлю его на голову! — закричал, входя, Димкин отец. Но тут мама попросила Кокина больше не приходить.

— Значит, выгоняете? Ну-ну, так и запишем, — сказал Кокин и ушел, ничуть не испугавшись. Он вообще ничего не боялся, даже своей жены, хотя она была вдвое шире и вдвое сильнее его.

Потом наши с Димкой отцы долго шептались.

— Йога? Ладно, — вдруг сказал Димкин отец. — А я заведу петухов, таких, что улица лопнет от зависти.

Вот так я узнал, что им надоело иметь одно общее

увлечение.

Теперь мой отец пил носом, а отец Димки растил семь петухов, красных рокайлендов. Где он их добыл, было неясно. До сих пор у всех были деревенские бое-

вые петухи или в лучшем случае белые леггорны. Быть может, найти рокайлендов ему помог Курощуп, знав-

ший всех кур нашего города.

Теперь наша улица по праву могла зваться улицей истухов. Горинские петухи были чудовищно огромные и как огонь красные. На них приходили смотреть даже с других улиц, нашу же теперь стали звать улицей Красных Петухов.

Когда эти громадные птицы гуляли по дощатым тротуарам, далеко слышался стук их тяжелых лап. Λ вот драться они не могли, были тяжелы в подскоках.

Мелкие петухи их били как хотели.

Чтобы все шло по справедливости, Димка с братьями ловили этих вертких, деревенской породы петухов и ставили их перед своими, тяжелыми. И тогда красный петух сбивал обыкновенного с ног одним клевком. Во!

Мой же отец, когда не писал картины, то стоял на голове или ходил в одних трусах и босиком. Шлепая по

тротуарам, он говорил:

— Я пью солнце, я вдыхаю воздух. Все прекрасно! Мир прекрасен, разумен и удивителен! Мир создан для меня!

А за ним шли красные петухи, оказавшиеся до крайности любопытными птицами. Все-то им нужно знать! Бывало, вылазишь из огорода Старого Черта и видишь петухов, наблюдавших за тобой.

Отец твердил:

— Мир полон праны, я поглощаю прану!— Ку-ку-реку-у-у! — басил красный петух.

Но тут высовывалась из окна тетя Поля и начинала

ругать отца за трусы, и он уходил домой.

С Шароновой дела мои шли неважно. Это была несчастная любовь, так я решил сначала. Я мучился (на это отводил час послеобеденного времени). Страдал я с упоением, даже перестал воровать у мамы варенье. Но любое страдание требует мести.

Я подговорил Димку, и мы в сумерках выбили окно Шароновых. Отец ее, старикан лет сорока, с удивительной прытью гнался за мной целый квартал. Но разобраться в сумерках, что я есть я, он не смог, и все обошлось.

 ${\mathbb Y}$ Димки были точила из корунда, ими можно было сточить все на свете. Я нашел подходящее стекло и, плюя на него, тер. Димка же изобретал свои лыжи. Он приделывал к ним съемные поплавки, выстругивал их из сосновых брусков.

Димка водил рубанком, а из него с шипением выползали тонкие древесные змеи. Они свертывались в краси-

вые стружки, вкусно пахли смолой.

Петухи, не зная, куда себя девать, приходили к нам в сарай. Они то клевали стружки, то, склоняя головы, боком, смотрели на нас.

Устав строгать, Димка командовал:

— А ну, включаем гипноз.

И мы хватали птицу. Затем Димка держал петуха, я же с немалым усилием пригибал его голову к земле.

Петух не давался, переступал тяжелыми лапами, даже икал. Гребень его был пупырчато-складчатый, красный и теплый. Еще у петуха были сережки и бородка, на ощупь приятная. Гребень же и жестковат и жирноват.

— Быстрей, я устал, — говорил Димка.

Тогда я рывком пригибал голову петуха и упирал клюв в землю. Затем брал гвоздь и проводил по земле жирную черту. Вел не дуром, а с расчетом, от клюва прямо — на равном расстоянии от глаз петуха.

И случалось чудо — петух замирал. Он, красный, сильный, стоял, уткнув нос в землю. Я уверен, он мог бы так стоять сто лет подряд, если бы линия была ровная. Да что сто лет! Он мог стоять вечность, стать белым скелетом, затем горстью праха и не тронуться с места.

По абсолютно ровную линию провести трудно, и по-

тому петухи уходили. Не сразу, конечно.

Постояв минут десять, они поднимали головы и шумпо стряхивали с себя незримую воду (теперь я думаю, что в гипнозе они ощущали течение реки Времени, в которую я макал их головы). Отряхнувшись, еще сонный, петух уходил, бормоча про себя петушиные ругательные слова.

— Ха! Ушел, — поддразнивал меня Димка.

— Он мог бы стоять сто лег, — упорствовал я, если бы линейка...

— Ври!

И Димка вел рубанком. Он строгал с удовольствием — любил ручную работу. Он мог починить забор, ныправить старые гвозди. Все поджиги на нашей улипе смастерил он, кому за яблоко, а кому и просто так.
— Это я вру? — кричал я. — Сейчас же бери слова

обратно.

Вечером придет с работы отец.

— Hv и что?

— Не понимаешь? Раз вечером придет отец, как же потух сможет простоять сто лет?

И в самом деле, это невозможно: каждый вечер

Димкин отец делает смотр петухам.

Но тут вышла Димкина мать и стала кричать, что я мучаю петухов, а Димка переводит хорошее дерево в стружки.

Выходило это у тетки Анны примерно так:

- ... Мать кормит... морковь рвешь не жрешь... дерево портишь... вот огец тебе задаст... клеб не берешь... в стружки строгаешь ...домой не приносишь... все мать да мать... жить тебе с двадцатью детьми.

Но ведь это пророчество! Нет, так нельзя. Если хочешь, дерись: если невтерпеж, ругайся, но зачем про-

рочить?..

А это тетка Анна любила. Стоило нам пойти на ры-

балку, и следовало предсказание, что мы обязательно потонем.

Моя мама в тысячу раз лучше. Она не предсказывала, а просто давала нам хлеб, пироги, вареные яйца:

на воздухе хорошо естся!

За вкусную еду Димка меня переносил на себе через ручьи: он ничего не желал брать задаром. Я, понятно, не желал переезжать, брыкался, но Димка был силь-

ным. Он валил меня подножкой.

Тогда я лежал и не хотел вставать. Но Димка был хитрый, он или щекотал меня, или начинал щипать. Бывало, выкручивал мой палец, заставляя лезть к нему на плечи.

Ну, уж тогда я ему задавал! Я понукал его, я под-

прыгивал, долбя Димку своим костлявым задом.

Почему ты меня переносишь? — расспрашивал я

оскорбленно. — Я что тебе, маленький?

— Не хочу должать перед теткой Натальей, — говорил Димка. Он часто и половину улова отдавал моей матери. Та брала. Если отец упрекал ее, она говорила, что рыба дана ей от чистого сердца.

Вот это мамка! А Димкина знай вопит. Мы бежим. Гремят спички, брошенные в чайник, а вслед по улице

несется ее завывающий голос:

— Потонете, домой не возвращайте-е-есь...

Но всем известно, что утопленники не приходят сами, их привозят домой на телеге, накрыв чем-нибудь. За телегой идут люди.

Когда я жаловался матери на тетку Анну, она советовала мне воспитывать сразу шесть непослушных

сыновей.

Но с Димкиным отцом я ладил, с его братьями тоже.

Кроме старшего, дурака Гришки.

...Петух ущел, зато в сарай приходит Гришка. В одной его руке пращ, в другой — добыча: семь штук убитых воробьев. Теперь он их ощиплет и станет жарить на

стружках, а потом съест. Один! Такой это был одиновий волк.

Как поживаешь? — спрашивает Гришка.

- Гиперболоид думаю построить, — отвечаю я. — Гебе глаз выжгу.

Где ты шатался? — кричит из окна Димкина

мать. — Где был? Почему не купил хлеба?

И не куплю, посылай Димку! — вопит Гришка. —
 Оп наше дерево переводит.

— Ваше! — завопил Димка. — Мне его дядя Иван

подарил. Ва-ше-е-е!..

II началось — семейство было шумное.

— А жрать что будешь? — переводя дыхание, спра-

— Воробьями стану питаться.

— Вы меня в гроб вгоните! — вдруг закричала Димкипа мать. — Вы меня гоните, гоните, гоните! Я умруумру-умру! (Опять пророчество, что с ней поделаешь.)

Старший требовал:

— Пошли Димку.— Он не хочет илти.

— Он не хочет идти.— Ах. он не хочет...

Гришка кладет воробья, а Димка бросает рубанок и на улицу. Но старший брат ловит его. Вот привел, держа за ухо. Делать нечего, Димка идет за хлебом, а и с ним.

Обычно мы приносили сразу пять или шесть сытных ржаных буханок, которых Гориным (и петухам) хватало ровно на один день.

У калитки выстроились петухи, но Димка проходит

мимо. Вот почему.

Вечером Димкин отец сядет на крыльцо и будет кормить петухов. Сам. А тетка Анна, высунувшись из окна, станет кричать:

— Горе мое, накупил петухов! Люди держат леггорнов, а яйца отдают детям. А гы? Взял петухов! Что, они

несутся? Может, их доят? Все многодетные держат

коров.

— Замолчи, мать, — отвечал Димкин отец, кормя петухов. Ухмыляясь, он следил, как они рвут друг у друга хлеб и склевывают его большими кусками. Часто хлеб не шел в горло, птицы сглатывали его, хрипя, дергая головами.

— Дурак! — Тетка Анна захлопывала окно.

— А кто же еще, коли на тебе женился, — хладнокровно отвечал Димкин отец. Сам крошил хлеб, а петухи наступали на него. Огромные, с налитыми кровью гребешками, медлительные в движениях. Словно рабочие, занятые, как и Димкин отец, работой с металлическими отливками.

У него вон и руки черные, и вообще он металлический человек.

Соседки говорят Димкиной матери:

— Қақ ты c ним живешь, милая? Не человек — чугун.

— И шестерых ему родила...

— Идите вы к черту, соседки! — отвечала она.

...Покормив своих петухов, Димкин отец садится к окну читать толстые романы. Или красиво играет на гитаре и поет вполголоса, а тетка Анна подпевает ему.

Их слушали все: петухи, дети, соседи...

В этот раз, когда я наелся соленой краюшкой и запил ее ковшом воды, братья Димки стали дразнить меня. Они уверяли, что с одним петухом я еще справлюсь, а всех мне не загипнотизировать силы не хватит. Что я выдохнусь, и упаду, и буду лежать на земле.

Я обиделся, кричал на них горячо и дико, обзывал, дразнил и наконец расплакался. Они твердили одно и

то же. Так я вам докажу!

Я взял да и расставил всех петухов по двору.

Я ставил их у крыльца и у поленницы, под окнами и у сортира, почти всегда занятого. Всюду по двору теперь

стояли красные петухи. Я был мал, наивен и не подопевал братьев в коварстве.

Когда я устанавливал в позицию последнего петуха,

то был потный, хоть выжми, а ноги мои дрожали.

Шел замечательный вечер, подсолнухи в огороде лопили остатки света, во всех дворах дымились летние печки, и по улице расползался дровяной, легкий, вкусным дым. И отовсюду неслись голоса: тетя Поля сзыва-ла куриц, Старый Черт с криками ловил мальчишек в своем саду.

Ха! Теперь завопили пойманные мальчики, и я знал Ха! Теперь завопили пойманные мальчики, и я знал почему: он совал им крапиву в штаны, беря ее голыми руками. У него от работы с землей на руках образовалась подошвенная кожа, ее не берет крапива. Он даже лечит свой ревматизм крапивными компрессами. Я, упершись в бока, залюбовался собственной работой. А братья глядели на меня из раскрытых окон. А ну, кто там болтал, что я не смогу загипнотизировать всех петухов? Полюбуйтесь, стоят!

И от каждого петушиного носа бежала черта, и каж-

дый не в силах оторвать взгляд от этой завораживающей черты. (Сейчас я частенько задумываюсь, сколько раз я стоял сам, завороженный проведенной кем-то чертой.) Затем, как требовательный к себе художник, я переставил двух петухов покрасивее. Когда, по совету Гришки, я ставил последнего петуха носом к калитке и поднял на стук ее щеколды голову, то увидел Димкипого отца.

Черный, огромный, с железным сундучком в руке, он смотрел на меня.

Черные головы братьев исчезли в окнах.

Димкин отец стоял скорее изумленный, чем гневный. Глаза его перебегали с одного петуха на другого. Вот они остановились на мне. Димкин отец не читал о гиперболоиде инженера Гарина, но глаза его жгли насквозь.

Я знал, он железный человек, бывший партизан, а его пальцы рабочего по металлу были не пальцы, а щипцы.

Скорей бежать! Я рванулся, я чуть не проскочил между его ног на улицу — огромным прыжком. Но он схватил меня на лету точным и, думаю, бессознательным движением. Держа меня на весу, он рассматривал петухов.

По-видимому, он что-то продумывал. Потом он понес меня к крыльцу. Там поставил сундучок, меня, сел на

ступеньку.

— Не стану больше, пустите, — заныл я, но отец Димки вроде бы не слышал.

— Гришка, хлеба! — крикнул он.

Вышел мой враг и улыбнулся, выставив щербатые зубы. В руках у него была половина ржаной буханки (теперь в окно глядела и тетка Анна).

— Сыпь!

Гришка обошел всех петухов и каждому положил горсть мякиша. Тут я ощутил желание стать крохотной мышью, но Димкин отец и не смотрел на меня. Он разглядывал петухов, бурча: «понятно» и «обидно». При слове «обидно» я зажмурился, вообразил себе отцовский широкий ремень: обычно им отец правил бритву, но иногда «полировал» меня. Так и говорил: «А кого нужно сегодня отполировать?»

Й шел за ремнем.

Обычно этот ремень (пояс отца, морского пехотинца, которых теперь красиво зовут десантниками) висел на стене около двери.

— Отпусти их, — велел мне Димкин отец, сам меня,

однако, не пуская.

Вы сами меня отпустите, — всхлипнул я.
Ах да, — сказал Димкин отец. — Иди.

Я пошел и отпустил петухов. Перешевелил их всех, и они стали ощипывать, разглядывать хлеб. Вот клю-

нул одни, и крошки отлетели в стороны. К ним с забора

ринулись воробьи.

— Ладно, — сказал мне Димкин отец. — Ладно, попритил ты надо мной. Теперь катись, и чтоб я тебя больпри не вилел.

Я ушел. Теперь уже в своем сарае целыми днями я работал с гиперболоидом, а ходил ко мне Димка. Мы не говорили о красных петухах, а усердно работали — он строгал на отцовском верстаке, я же точил гиперболонд на бруске, который мне подарил Димка.

— Батя на тебя больше не злится, — как-то сказал

мие Димка.

— Что говорит?

— Он не со мной, он с твоим отцом говорил.

— Обо мне?

- Не-а...
- О ком же? Я бросил гиперболоид на землю.

— Кто такой Сократ?

— Ну, был один такой, — отвечал я. — Философ в Греции, в будущем году станем его проходить.

— Чем знаменит?

— Жил в бочке. Потом его отравили.

— За что?

— Говорил людям правду.

— А вот и нет, он разговаривал с Платоном. Врешь гы все про бочку, в ней жить холодно, печку не поставишь.

— Он жил в Греции.

— И там холодно. Так вот, этот Платон, не знаю его фамилии, сказал Сократу: «Человек — это животное на двух ногах и без перьев».

— Hy и что?

— А Сократ ему показал ощипанного петуха и заорал: «Платон! Накося выкуси, вот твой человек!» Об этом они говорили.

— Ну и что? — спросил я подозрительно.

- Батя велел, чтобы ты пришел и поставил ему петухов.
 - Ври!
 - Вот еще.
 - Не пойду!
 - Слабо?

Этого я выдержать не мог. В тот же вечер на крыльце сидели отцы, а мы с Димкой расставляли петухов.

Те стояли перед крыльцом, уставя носы в землю, а отцы наши спорили и стучали кулаками по крыльцу.

- Ты кто такой? спрашивал Димкин отец.
- Я художник и беспартийный большевик.
- А еще?
- Йог по душевному влечению. А ты кто такой?
- Партизан и Советскую власть этими руками на ноги ставил!

А когда тетка Анна вышла послушать их, Димкин отец сказал ей:

 Петухов, мать, продай соседям и заводи леггорнов.

Я так понял наших отцов: им уже надоело иметь отдельные увлечения, они соображают, как обойтись одним на двоих.

...Тетка Анна позвала ужинать. Отец послал меня к маме, и я бегом принес сверток вкусной иваси. Мы ели жаренную на воде картошку — обычную вечернюю еду Димкиного семейства. Ели ложками, такая была рассыпчатая картошка.

Затем отец послал меня, и я принес банку варенья. Из нее все зачерпнули по столовой ложке, и банка стала пустой.

Мы пили отличный смородиновый чай. Все были веселы и довольны.

А чего им было не радоваться? Димка заканчивал свои лыжи, тетка Анна радовалась будущим леггорнам, отец хвалил йогу, считая ее полезной для нервов.

Все веселились, кроме меня: жизнь моя усложпядась.

Сегодня, проходя мимо, Шаронова вынула из-за щеки и сунула мне в руку ириску. Затем, вытерев нос рукой, пригласила на свидание к той куче бревен, что лежала в середине улицы и была видна всем. Я размышлял: идти мне или не ходить? Делать гиперболоид или оросить? Лечить кота, опять начавшего безобразничать? (тащить у отца ключ?

...Я был тогда очень несчастен.

ЗИМОЙ В СТУЖУ

Зимой дома холодно Чтобы стало тепло, надо истопить печь. Хорошенько!

Печь можно топить дровами, но лучше каменным углем. Уголь нам давали по ордеру в так называемом гуппке. Дрова приходилось добывать самим.

Попробовал Димка растапливать печь вольтовой дугой — и остался без света, пробки перегорели. Поди купп их — война!.. Он поставил «жучки», но пришел кучки их вонная... Он поставия «жучки», но пришел конгролер Паша Кузякин и оштрафовал его. И правильно сделал! Не умничай, разжигай уголь, как все, дрова росли в лесу — он далеко.

Были они в нашем саду — тополя с зеленой корой, черные вязы, кустистые американские клены. Но еще осенью мы спилили и сожгли наш сад.

Дровами были заборы, наш и чужие. Доски их стоя-ли, будто солдаты. И каждая смотрела на тебя своими

деревянными глазами — пятнами сучков.
Мы жгли наш забор вдумчиво и расчетливо, чтобы сто хватило до весны. А тогда я возьму ручную тележку, и поеду в лес, и наберу сушняка. Или весной кончится война, и все станет хорошо:

хлеб без карточек, дров и угля хоть завались. А до вес-

ны забора хватит.

Уголь мы возили на санях: нам выписали ордер на целую тонну. Нанять машину мы не могли, да и взять сразу тонну хорошего угля трудно. Поэтому мы с мамой возили уголь по мешку.

Каждый взятый нами мешок вписывали в ордер, и

так, пока мы не вывезем всю тонну.

Сани у нас хорошие: довоенная работа. Правда, их полозья стерлись, но Димка поставил новые, толстые. И под гору санки катились, приходилось за ними бежать. Мне-то даже приятно, а вот мама иногда падала и ушибалась.

...Однажды нам не удалось получить уголь. Мы уже взяли по ордеру два мешка удачного угля, загоравшегося от щепок. Но на этот раз вместо прежнего старичка, пахшего конопляным маслом и вареной картошкой,

нас встретила толстая баба.

Увидев нас в окошко будочки, приделанной к весам, на которых вешали машины с углем, она поставила на стол чашку недопитого чая и вышла как есть, в одном платье и с голыми толстыми ногами. Пахла она хлебом и сахаром.

На улице было минус сорок, а от нее валил пар. Та-

кая горячая!

Баба взяла ордер и рассмотрела его. И сказала, что уголь не даст. Она была редкостного, огромного роста.

— Угля для вас нет, — сказала баба страшного ро-

ста. — Берите кокс.

— Нам бы уголька... — попросила робко мама. — Только кокс! Ты не бойся, он будет гореть, растопки только не жалей, вот и все... А не хочешь брать,

иди и жалуйся.

И ушла допивать чай с хлебом и сахаром. А мы стояли и думали вслух, что на улице морозище в сорок пять градусов, что уголь дома кончился, а шли мы сюда два часа, на ходу подскакивая от мороза. Подумали-подумали и взяли кокс, не догадываясь, к чему это поведет.

Решившись, покивали в окно — баба вышла, но теперь в валенках и тулупе. В руках ее была лопата, похожая на ковш. Она повела нас — сани заскрежетали полозьями по осколкам угля. Мама шла позади, поднимала их и прятала в карман.

Мы прошли вдоль куч недоступного угля: он нагло выставлял из снега аппетитные кусочки. Они блестели коричневым блеском: это был хороший уголь, его звали

«сахарным».

Тут баба несколькими пинками разворотила кучу снега. И нам открылись серые комочки. Они походили на угольные огарки и на металл в то же время.

Такие легкие, спекшиеся комочки, если держать их в руках. На них варят сталь? Удивительно!

— Вот привезли, а никто не берет. Что делать с ним, не знаю, — сказала баба. — Гребите!

И дала мне лопату. После чего высморкалась: сначала из одной ноздри, потом из другой. И вытерла нос рукавом тулупа.

— А чему в нем гореть? — задумчиво спросила ма-

ма. — Он же пустой.

— А это уж не мое дело, — сказала угольная баба. ...Кокс оказался легким. Свешав мешок с санями на тех весах, где вешали машины с углем, баба сказала:

— Семьдесят килограммов. А было меньше, я легко ворочал мешок.

— Ну-ка давай ордер, — велела она и вписала химическим карандашом, слюнявя его: «В щет оставшихся восмсот кг выдано семьдесят кг». И поставила крючок. A вот дед был добрее. Иногда он давал нам два мешка угля, а вписывал только один.

Это был хороший дед, потому и заболел.

— Гребите еще мешок! — велела нам баба. Мы, странное дело, подчинились: такая она была огромная и страшная. И она вписала в наш ордер еще семьдесят

килограммов.

От тупика дорога шла под гору, сани побежали. Хотя я тянул их одной рукой. Мама шла и глядела по сторонам, ища оброненные машинами угольные кусочки.

Я бежал с санями, держа нос рукой. Сквозь пар моего дыхания, садившегося на ресницы, видел на дороге трупики замерзших воробьев. Они лежали на спине, взъерошив перья, выставив клювы. Но понять, отчего они лежат здесь, я не мог. Может, они летали вдоль дороги, искали еду — конские яблоки — и падали.

Потом дорога пошла в гору, пришлось тянуть сани обеими руками. И нос мой тотчас же стал как пробка.

Но подошла мама и тоже взялась.

Мы потянули сани мимо домов и заборов, годящихся на дрова. Те с немалым страхом глядели на меня круг-

ляшками сучков.

...Отец встретил нас одетым в зимнее пальто. Сестренка была на печке. Она, завернувшись в одеяло, зубрила уроки.

— Уголь! Уголь! — сидя, стала прыгать она. — Нет, это кокс, — сказала мама, развязав оледенелый платок. — Милые мои, говорят, его трудно растапливать, но другого нам не дали.

— Нет таких крепостей... — сказал отец и стал готовить растопку. Он собрал дрова и вдумчиво распре-

делил их в топке, а поверх уложил кокс.

— Ну, — сказал он весело, — если он не загорится,

можете меня повесить.

И что же? Дрова сгорели, а кокс лежал, как был, даже не зарумянился.

Вещайте! — сказал отец.

Ох, и ругали же мы проклятую бабу. Небось по блату дает хороший уголь.

И родители — шепотом! — заговорили о таинствен-

ной силе по имени БЛАТ, о том, что он дает возможность человеку хитро властвовать над жизнью. Пока не придет милиционер.

Вошел Димка. Он рассмотрел кокс и посоветовал

разжигать его электричеством.

— Конечно, лучше взять кузнечные мехи и дуть.

Но с работы их не упрешь, тяжелые.

От вольтовой дуги отец отказался и сжег под коксом завтрашнюю порцию дров и послезавтрашнюю. А тот лежал по-прежнему, блестящий и легкий.

Бомбой его! — сказал Димка.

— Пускайте в ход дугу, — велел отец, и мы с Димкой потянули провод. Но ничего не вышло, только сгорели пробки.

— Может, попробовать керосин? — задумчиво спросила мама. Но я оделся, чтобы пойти к забору и выло-

мать еще пару досок.

— Бомбой ero! — повторил Димка, отец которого на фронте летал на ночных бомбардировщиках У-2. Бомбы из них бросали вниз голыми руками. Поднимут и кинут — так рассказывал Димка.

Вообще-то забор было жалко. Я его знал, как родственный. Мы и так спилили сад, а теперь ломали за-

бор, на котором я, можно сказать, вырос.

 Разгородимся, и все овощи летом потаскают, вздохнула мама.

— А у меня зубы стучат от холода, — сердито ска-

зал я и пошел, выломал две доски.

Он был красив, наш забор, ровный, серый, в снежных шапочках на каждой доске, с печатью сорочьих лап на каждой шапочке. Сороки и сейчас кое-где сидели, сердитые и угрюмые. Понятно, на нашей помойке мало чего найдешь.

А вот помойка соседки Неллы богатая, потому что она работала в магазине заведующей, и еды у нее вдоволь.

Нелла была ничего себе, красивая — остановит, возьмет за подбородок и говорит, дыша жареными котлетами:

— Хорошенький мальчик, тебя бы подкормить. И я был влюблен не то в нее, не то в съеденные ею котлеты. Я часто думал о Нелле, засыпая.

Она была веселая женщина. Вечно у нее гуляли, пели песни и толкались мужчины в сапогах и галифе, военные от пяток до пояса и гражданские сверху, от барашковой шапки до толстого живота. Они все были завхозы и заведующие, и такая была их форма: галифе и сапоги, пока тепло, или белые, обшитые кожей бурки зимой, когда приходили холода.

...От двух досок кокс разгорелся и горел всю ночь. В синих языках пламени калилась печь. Тепло пролилось на нас. Мы разнежились, и мама уже добрым го-

лосом сказала:

— Что же такое выходит: чтобы сжечь два мешка

кокса, надо разломать весь город?

Хворый отец клевал носом, а я думал, что громадная тетка ничего себе, топливо нам дала хорошее. А на растопку и чужие заборы найдутся. Ни мать, ни отец не знают, что мы с Димкой давно грабим заборы тех, что

побогаче, чьи мужчины не на войне, хотя и здоровы.
О, тогда я много знал о заборах. Что доски лучше всего красть в сильные морозы. Тогда дерево крепчало и даже каменело, но зато становилось хрупким. Лома-

лось оно легко.

У нас с Димкой все заборы были на учете. И не одни мы были умные. Однажды, таща домой вывернутую плаку, я встретил кучку соплячков лет так по десяти. Возя соплями, они перли на себе чью-то калитку. Она мне показалась знакомой. Но у меня была тьма знакомых калиток. Лишь придя к дому, я увидел в зи-яющий провал наш лунный, снежный двор. Оказывается, соплячки сняли нашу калитку, теперь ищи-свищи.

Я побегал немного, но где их найдешь. Как узнаешь,

па какой улице они кряхтят?

...Когда в одиннадцать часов я провожал Димку, у меня в кармане были клещи и отвертка. Димка озабоченно говорил, что не завидует мне, так как придется красть все заборы подряд. И хотя мороз склеивал ноздри, мы прошлись по улице.

Неслись песни из дома Неллы — там гуляли.

Днем я любил глядеть на ее дом, такой он был новенький и аккуратный, а бревна желтые и веселые. Забор, что выходил на улицу, тоже. По нему пробегала железная полоска, прибитая гвоздями, чтобы доски не украли: Нелла была умненькая.

Мы с Димкой близко подошли к этому обжелезенному забору. Стояли и слушали, как на крыльцо выходят гости и, прохлаждаясь, говорят друг с другом.

Вот ушли пьяные гости в дом и теперь поют хором, будто в трубы... Вот взвизгивают и топают, должно быть, лихо пляшут. Нелла хохочет, взвизгивает — веселая, счастливая.

Ну ладно же!

И не сговариваясь, мы с Димкой подошли к забору. Я вынул клещи и отдал их Димке. Сам работал отверткой.

Но дергать гвозди было трудно, а доски все такие молодые, что ломать даже в мороз их не было сил. Гогда мы вырвали в одном месте железную полоску. Скручивая, потихоньку отдирали ее вместе с гвоздями.

Гости пели, а мы снимали железную полоску, и мороз прожигал насквозь валенки, хотя я и натолкал в них изрядно старых газет. Зверь-мороз!.. Гости пели про огонек, о костре в тумане, про славное море. Мы, кряхгя, выдирали гвозди.

Наконец забор был подготовлен, как больной к операции. Откладывать ее нельзя — завтра Нелла все увидит и снова прибьет железную полоску.

Мы, присев в снег, чтобы соседи нас не увидели, грели руки, дыша на них. «Если хочешь познакомиться, ли руки, дыша на них. «Если хочешь познакомиться, выходи на бугорок, принеси буханку хлеба и картошки котелок...» — вдруг запели Неллины гости и засмеялись. — Пора, — шепнул Димка. И мы стали снимать доски. Быстро. Смешно: вот только что был забор — и нет его. Доски мы унесли и зарыли в снег.

Зарывать их можно по-разному, умно и глупо. Глупо ворошить снег, умно — когда приставишь доску и вгонишь ее легким нажимом. Снег останется, как был.

Мы зарыли доски в Димкин огород, зарывали и в

наш.

- ...Спозабыт, спозаброшен, - рыдали гости Неллы. — С молодых ранних лет я остался сиротою,

счастья-доли мне не-е-ет!

И мы с Димкой удивлялись, отчего нет счастья сытым продавцам, и завхозам, и даже директору столовой Чмырю, тонкий голос которого прорезал остальные голоса...

Теперь дрова были. Сколько влезет!

Весь остальной уголь мы брали коксом, даже когда вышел на работу, проболев месяц, добрый маленький старичок. И плита наша за зиму прогорела, пришлось поставить новую.

Нелла же быстро сгородила себе новый забор и вроде бы даже не сердилась на нас. Только однажды она взяла меня за подбородок (я почувствовал ее ногти) и

протянула задумчиво:

— А глаза такие чистые и ясные... Но должна же я

что-то получить взамен!

И, пригнувшись, дохнув котлетами, поцеловала меня. Я рванулся — сильно! — а дома вымыл лицо серым вонючим мылом. И после все ждал чего-то. Но к Нелле пришел милиционер. Он увел ее, а дом заселили другие. Мама была права — летом соседские дети-соплячки, пробираясь в дыры забора, крали нашу морковь.

ПЕСНЯ О КАШЕ

Давние-давние времена: лето, год сорок третий... Сводки с фронта хорошие, наши бьют фрицев. День тоже отличный, щедрый на тепло, даже знойкий...

И светятся тесовые крыши. Мох, что пробегает их

пазами, горит зеленым огнем.

Мы с Димкой лежим на крыше. Нам горячо и сверху и снизу. Сверху жжет неистовое июньское солнис, снизу греет тесовая крыша. И в животе тепло: мы здорово пообедали. Сначала ели по талонам в столовой. На первое был суп, сваренный из разного чертополоха. Его привезли к столовой на двуколке.

Выпряженная лошадь стояла и ела тот же самый чертополох, фыркая и мотая головой от удовольствия.

На второе была перловая вкусная каша. С постным маслом! Оно горчило, и все говорили, что это масло из сурепки, которая по полям растет. Желтая такая и пахнет редькой.

Но каша вкусная.

Затем мы пили чай с сахарином, тем, что в тыщу раз слаще сахара! Но такая странность: пока шли домой, спова проголодались. Дома мама напарила саранок — целый чугун! — и мы их тоже слопали. Луковиц саранок я принес вчера из лесу целый рюкзак. Их можно есть от пуза. Мы и ели.

И вот, согретые сверху, снизу, изнутри, мы с Димкой лежим на крыше. Делать нам абсолютно нечего — у

Димки выходной, а мне до школы еще далеко.

Может, сходить порыбачить? Но ветер юго-восточный, сегодня рыба не берет. И охотиться еще рано, итенцы не подросли.

Делать мне нечего. С утра я привез в огород двадцать бочек воды, выстоял в магазине наши хлебные

порции, поколол дрова. Теперь работа матери — она варит суп на летней печке.

Железная труба поднимается до крыши, и дымок пролетает мимо нас вместе с голосами отца и Павлова: они колдуют над американской смазкой, хотят превратить ее в съедобное масло.

тить ее в съедооное масло.

Смазку — целый бочонок! — прислали в столярный цех Павлова, где было нечего смазывать. Он же поглядел в справочник и тотчас обнаружил, что она из кокосового масла. Он решил, что ее можно есть, надо только очистить. А затем раздать лучшим работ-

никам.

Сейчас они вдумчиво рассуждают с отцом, как очистить смазочное масло, чем его переделывать? Водой? Огнем? Горячим паром?.. Вот пробуют огонь — на крышу лезет гарь и вонючий дым.

— Газовая атака, — ворчит Димка и поворачивается сытым пузом к солнцу. Молчим, говорить нам не хочется. Но и молча мы друзья.

— Пузо себе перегреешь, — говорю я Димке, а сам гляжу на улицу. Она красивая, в квадратах уличных огородов, темно-зеленая от картофельной ботвы.

У Старого Черта картошка уже цветет. Полюшка Дурной глаз пасет свою козу, водя ее на веревке. И, отвернувшись, пускает жевать ботву старочертовской картошки.

картошки.

А вот по улице идет с тремя девушками фронтовой герой Квинкин, раненный в правую руку. Он вернулся месяц назад лечить руку. В ней фашистской пулей был убит нерв, теперь Квинкин выращивает его заново. Жалуется, что тот растет медленно. А нужно целых полметра!

Пока что он гуляет с девушками — всеми подряд. И уже Манька Квашина побила из-за него Зину-Тину. Они визжали, царапали друг друга, а Квинкин стоял, курил махорку и любовался. Сам в драку не лез: ему

пельзя психовать, надо поскорее выращивать нерв и

ехать на фронт.

...Теперь по улице идет директор столовой Кэ Бэ Чмырь (он так всем и говорит: «Я Кэ Бэ Чмырь»), а на самом деле Константин Борисович. Он несет судки и шагает бодро, весело подпрыгивая с каждым своим шагом. Димка переворачивается и пристально смотрит на Чмыря.

— Весело идет, — говорит он. — Сытый! Что у него

в кастрюльках?

Перловая каша, — отвечаю я.

— Живе-ет, — тянет завистливый Димка. И вдруг у меня волосы встают на затылке. Это я начал придумывать песню. Я их ужас сколько придумал, и всегда вот так.

Конечно, можно просто взять чужую песню и добавить свое. Пример?.. Скажем, я беру песню «Мой костер в тумане светит». Если ее петь как есть, это всем надо-

евшая песня. Мозоли на языке натерла!

Подумаешь, «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету...». Зачем разводить костер в тумане? Кому он нужен? Да в тумане он не светит, а только моргает, чадит и наконец гаснет. Дурак сочинял! И еще — в туман ветра не бывает. Значит, нет искр, которые гаснут на лету.

Плохая песня! Но стоит добавить мои слова, и она становится лучше. Я продолжаю так: «...Ночью нас никто не встретит, я с моста тебя столкну». Почему с моста? А я и сам не знаю. Ну, шли-шли, поругались и спихнули друг друга с моста. Глупо? Ну и что? Все песни глупые, так говорит Димка.

...А директор подпрыгивает и подпрыгивает: легко его ногам, легко его сердцу. И вдруг я тихонько за-

певаю:

— Легко на сердце от каши перловой...

— Верно, — одобряет Димка и поворачивает-

ся. На лбу его морщинка, глаза зажмурены — он думает.

— А почему легко? — спрашивает он. — Да потому, что ты сыт. А если ты сыт, то не пропадешь. Как бы ты

пропел? А?

Теперь уже задумываюсь я. А во мне стучит и стучит мотив песни, что так душевно и хрипло распевает по радио Леонид Утесов.

И вот я пою на мотив замечательно красивой песни Леонида Утесова:

— Легко на сердце от каши перловой...

— Она пропасть... — подтягивает Димка и останавливается. Меня же несет дальше. Будто на санках, когда выедешь на лед.

— Она пропасть не дает никогда-а-а... — ору я.

— Вот мы песню и сочинили, — говорит Димка и снова поворачивается пузом вверх: он доволен и дальше сочинять не собирается. А из меня прет.

— И любит кашу директор столовой... — воплю я.

— Правильно, — говорит Димка, щурясь на небо, что теперь горячее плиты. Оно прямо-таки пышет голубым жаром.

Кто еще любит перловую кашу? Подумаем... Я люблю, Димка любит, все любят. Но мотив тащит меня, будто дядька за воротник, когда втираешься в хлебную очередь:

— ...И любят кашу обжоры повара!

Я задыхаюсь и замолкаю. Гляжу. По крыше прыгают воробьи, к ним крадется кот, до ужаса тощий и облезлый. Димка целится и плюет на него. Попадает — кот пугается и спрыгивает с крыши. На улице теперь пусто, а директор, уже в майке и трусах красного цвета, ходит у себя во дворе: там у него строится новенький дом из желтых бревен.

Он сам его строит, по вечерам работая топором: он сильный, даром что пузатый. Днем к нему приходят

строить дом старики улицы Гоголя. Работают они за еду, не торопясь, чтобы съесть больше каши. И директор

сердится и ругает, но кормит.

Вот жизнь: спел о каше, и захотелось есть. Димке, оказывается, тоже. Мы отковыриваем с досок вытопившуюся смолу и начинаем жевать ее. Она горькая. Но если жевать долго и чаще сплевывать, то горечь уходит и кажется, что ты здорово, до самых ушей, наелся.

Мы жуем и сплевываем, жуем и сплевываем. Директор стучит топором, и щепки отпрыгивают от бревна.

Старички пилят бревно, возят туда-сюда пилой.
— Шевелись! — кричит на них директор. — Других найду!

И те начинают пилить бодрее.

Мы любуемся картиной: по улице снова идет Квинкин, теперь уже с четырьмя девушками. Они хихикают. И вдруг песня приходит ко мне сразу и вся! Я пою ее с самого начала и до конца, во всю глотку:

— Легко на сердце от каши перловой, она пропасть не дает никогда, и любит кашу директор столовой, и любят кашу обжоры повара!

Я перевожу дыхание и ору дальше:

— Она им строить дома помогает, она зовет и ведет их вперед. И тот, кто с кашей в кастрюльках шагает,

тот никогда и нигде не пропадет.

Сочинил! Я сочинил песню! И в восторге я издаю дикий индейский вопль. А Димка глядит на меня с уважением.

Я знаю, он куда умнее меня. Он и рыбу поймает в том месте, где она не клюет, и зажигалку сделает и продаст ее на барахолке. А вот придумать песню не может.
— Слушай, ты поэт! — говорит он мне.

— Ха! Ты сейчас заметил?

Здорово у тебя вышло. А ну пой, я поучусь.Давай сразу, вместе.

И мы в два голоса начинаем:

Легко на сердце...

Димка поет, перевирая замечательный мотив. Но вот он схватил его. А Димкин голос зычный, как у динамика, что повешен на площади. И хриплый, как у целого

хора Утесовых.

И вот моя новая песня разносится над крышами и улицей, гремит и раскатывается, бежит к центру города и возвращается эхом. Ее слушает директор, склонив голову набок. Он втыкает топор в бревно и уходит в

дом. Затем выходит в галифе и зеленом френче.

Директор идет к нам. Я знаю: будет жаловаться отцу.
Он это любит. Когда Димка разбил его парники половинками кирпичей, отец по жалобе директора выдрал

меня ремнем, приговаривая:

— Не пакости втихую, не пакости втихую, кости...

Я ловил ремень обеими руками, вился, мама ломилась в запертую на крючок дверь (отец всегда выставляет ее, когда шлепает меня).

Отец мне всыплет... Я молчу, и поет один Димка. Он подошел к краю крыши и поет, направляя голос, как

ружье, прямо в шагающего директора.

Чмырь вошел. Теперь в нашем доме слышен шумный и невнятный разговор. Я спрыгиваю с крыши и убегаю прочь, а Димка хохочет мне вслед.

Я прячусь в лопухах: они у нас здоровые, будто в тропиках. Мне виден наш дом, его окна, двери... Я вижу — выскакивает Чмырь, а мой отец идет за ним.

жу — выскакивает Чмырь, а мои отец идет за ним. Здорово! Он держит директора за воротник и ведет его. Сам он тощий, а директор толстый и очень большой. Отцу не справиться, но Павлов шагает рядом и тоже держит Чмыря за воротник. Они ругаются, и на их крики тотчас собираются: Полюшка Дурной глаз, коза, Старый Черт с тяпкой, фронтовик Квинкин с пятью девушками. Поднялся крик о прячущихся в тылу. Я подкрадываюсь и вижу сон: Квинкин хватает Чмы-

ря за шиворот здоровой левой рукой. Он прижимает пинз его голову и вдруг бьет коленом в зад. После чего исе молча стоят, а Чмырь идет необычайно быстро. Идет к себе. Он входит в калитку, гремит ею, кричит на стариков:

— Вон! Пошли вон!

Старики, собрав инструмент в деревянные узкие ящи-

ки, берут их за ручки, уходят.

…Димка слез с крыши, отыскал меня и увел к себе. Мы сидели у него, говорили об охоте. Затем наелись парсной картошки и влезли на крышу. Димка сел на

острый ее конек.

Вечер. Окна Чмыря закрыты ставнями. Мы смотрим на засыпающую улицу и с торжеством, с насмешкой поем нашу песню. Мы поем и поем, мы охрипли от пения. А в густых сумерках, когда загорелись звезды, очень довольный собой, я прихожу домой.

Я босиком крадусь и слышу, что Павлов говорит

отцу:

— А если попробовать щелочь?

— Омылится, — отвечает отец. — Лучше бы взоглать на водяной бане.

- А что потом?

— Сейчас мы придумаем.

Я вхожу и сажусь за стол. За ним сидят и чергят по бумажке мой отец и Павлов, крупный, тощий, жельый старик. Он поднимает голову и подмигивает мне, потец роется в справочнике, толстом и пыльном.

На столе, в тарелке, лежит порезанный ломтиками элеб. Он белый, это пайка хворого на желудок Павлова.

Я глазами ем белый хлеб.

Мама неслышно ходит по дому и готовит чай с сакарином. В блюде она ставит на стол вкусную, склизкую кашу из сараны.

Двадцать три часа, радио, последние известия! Отец с Павловым тянут шеи, вслушиваются — два старых друга, изобретатели еды из машинной смазки. Оба худые-худые, только отец немного посинее, а Павлов чуть-чуть пожелтее. Известия кончились.

— Вот что мы сделаем, — вдруг догадывается отец. — Мы ее заморозим и этим разделим на жиры,

имеющие разные точки застывания.

— Ждать зиму! — ужасается Павлов.

— Зачем? Сунем в погреб, на лед. Да-да, я уверен, это и есть искомое решение, — подумав, говорит отец.

— На лед? Пожалуй...

Я сижу и ухмыляюсь, довольный своим отцом. Я знаю, что он может все придумать: ярко осветить комнату одной масляной плошкой, изобрести рыболовную сеть для мелких лесных речек, приготовить еду из корней лопухов и одуванчиков, сконструировать подлодку, чтобы бить фашистов на море.

Он даже знает, как готовят луковицы сараны, те, что я отыскиваю в лесу. Одного не умеет отец — добывать кашу большими кастрюлями и строить дом из жел-

тых бревен.

Мне это нравится. «Буду расти таким же», — решаю я.

РАЙ В ШАЛАШЕ

Грому-то, грому на улице. Открылось, что Квинкин дважды женат. Не с печатью, а так — все видят, что женщина сушит на веревке мужское белье — рубахи и прочее. А сам мужик стоит на крыльце и дымит цигаркой. Значит, женат, даже если по временам исчезает и свертывает цигарку на своем крыльце. Как, скажем, Квинкин.

Петух, — ехидно говорила Полюшка Дурной глаз.
 Как выкрутишься-то? — тревожились старые му-

жики, которым не то чтобы жениться, а даже на фронт

пельзя. — Катерина баба серьезная, и Евлампии в рот пальца не клади.

— Его посадят, — твердил Макар. — Статья есть для таких субчиков, я знаю. Инвалид! Ему пенсию дают, чтобы выздоравливал, а он!..

А сам Квинкин? Удивлялся больше всех — он тара-

щился, раскидывал руки, шлепал толстыми губами.

— Да ведь как, мужики, — оправдывался он. — ІІм разве откажешь? Обе вдовые, обе с ребятами. Одну пожалеешь — другая в крик, а тут еще какая приклеится.

— Ну а если участковый придет? — спрашивали сто. — Тебе же за двадцать, пора умнеть. Ду-умать надо, думать.

И Квинкин тотчас покорно задумывался. Потом го-

порил вздыхая:

— Все нерв проклятый. Вырастить бы его скорей, там уйду на фронт, и решится мое дело без милиции.

— ...Он на фронт сбежать хочет, — шептала всем
 Полюшка. — Говорили дураку, ходи с девушками. Ан

нет, с вдовами связался: хоть сыт, да побит.

Такую вот кашу заварил у нас на улице Квинкин. П кто мог ждать! Ведь ушел в армию губастый парень, все еще игравший с пацанами в бабки. Вернулся же в 42-м году — глаза прежние, рот тоже, но в плечах раздвинулся вдвое — ушел парень, а вернулся мужик.

Сначала он бодрился: сегодня обитал у одной вдовы, завтра — у другой и косился на третью. Но теперь, спасаясь от трудностей жизни, когда он на улице один молодой мужик, а вдов много, Квинкин сбегал к нам, мальчишкам.

С нами он ходил на рыбалку, даже играл в ножичек. Мы ценили это: ведь Квинкин был необыкновенной личностью — единственным вернувшимся фронтовиком. Пусть раненым, пусть в лечебный отпуск.

По него шли одни похоронки. До него всем каза-

лось, что пропадут мужики до единого, а теперь появилась надежда.

Сначала шло хорошо и гладко — мы ходили за ним кучей, слушали его рассказы. Но так было, пока Квинкин гулял с безопасными девушками — сначала с одной, потом с двумя, а там и с шестью разом: не было

в нем твердого характера.

Тогда-то, почуяв в Квинкине слабину, за него и взялись молодые вдовы: Надька Славина, Катерина Шуст и Евлампия Седова. У них-то характера сколько угодно! Начались ссоры и драки. До сих пор эти женщины были примером: и детей растят, и огород, работают на оборону. Но теперь, раскидав девушек и нас, пацанов, они делили Квинкина.

Мы, пацаны, их не понимали. Дело ясное — они хотели слушать его. Но почему они не могли слушать рассказы Квинкина вместе с нами? Каждая брала его за руку и уводила к себе. Там обстирывала, чинила белье и, понятно, слушала его удивительные рассказы. Потом он сбегал домой, но его хватала другая и тоже вела к себе.

Ах так! И мы, пацаны, не дураки, тоже установим на Квинкина очередь. Как за хлебом. И установили — теперь по очереди им владел один пацан, и только ему Квинкин рассказывал о своих подвигах. Пацан же в благодарность был обязан дать Квинкину махры или сводить на рыбалку, в самое клевое место.

Только мы продолжали между собой дружить, а вдовы этого не могли. Они то и дело дрались, а иногда налетали на Квинкина втроем — с криком и квохтанием,

словно курицы.

Тогда он удирал к кому-нибудь из мальчишек, а ча-ще всего ко мне, потому что знал про тайный лаз в на-шем заборе. Он царапался в окно. Его лицо, прижатое к стеклу, таращилось, губы расплющивались, белели. — Надька и Лампа приходили, — сообщал Квин-

кин, вздрагивая и озираясь. — Окна мои били, Настю за косу выволакивали. Потом за меня взялись. Лампа схватила правую руку, Надька — левую ногу. Каждая тянет. Мамка в кладовку заперлась. «Вы меня разорвете! — кричу. — Ни одной не достанусь!» Нет, ревут и тянут, тянут и ревут. Кобель меня отбивал. Слава богу, догадался, порвал цепку и отбил. А сейчас избу ломают (и точно, слышался звон стекла и деревянный треск).

И я уводил Квинкина в шалаш, на свою речку.

Да, была у меня в то время во владении речка Коняга. Дело простое: все ближние водоемы у нас, мальчишек, были поделены. Лишь у пристани, а также и с плотов мог ловить рыбу каждый, но имел улов лишь хитрый Димка. Это были его места, хотя река принадлежала всем.

Но вот озерца, до краев налитые ручьями, округломаленькие, карасевые, были поделены: рыбы там хватало как раз одному серьезному рыбаку. Мне озерца не хватило, зато был изрядный кус речушки, узенькой,

быстро текущей.

Речка была нескончаемая, словно нитка на катушке. В чем я убедился, охотясь с подхода на уток. Она пересекала лес, потом громадный луг и впадала в общую реку. Лесную часть занимал я, а на луговом отрезке набивали руку пузанчики. Ловили без крючка (поди купи его!), на связанного ниткой червяка.

Речка была моя еще и потому, что в ней водились

лишь гольяны да бешеного нрава хариусы.

Гольян слишком мал, хариусы же рвут лески и уносят драгоценные крючки. Ловить их можно было только на лески, сплетенные из волос черного конского хвоста, — их хариусы не замечали и клевали. Но черный хвост имела единственная в нашей округе лошадь Зорька. Я потребовал, и мой отец нарисовал с карточки портрет ее хозяина, старшего Аверкина, что воевал около Ленинграда.

Нарисовал — и волосы из хвоста Зорьки драл я олин.

Хариусы были хитры, я их ловил, спрятавшись за кустом и потихоньку выставляя удилище. И все же больше двух-трех поймать в одном месте было невозможно.

Около речки я и построил шалаш, покрыл его мелкими ветками. В шалаше пахло веником и было хорошо. Он спасал от дождя и меня, и бродивших в лесу ягодников, грибников, и, бывало, охотников. Шалаш был такой удобный, что я часто уходил сюда просто так, даже жил в нем.

Квинкин, на стекле И когда снова расплющился

отец разбудил меня и сказал:

— Спасай человека, вдовы в атаку перешли.

А мама заворчала:

- Разбудил в такую рань. Жили без него, не тужи-

ли, всех баб перебулгачил.

...Было смутно, четыре утра. Вдовы, шептал Квинкин в форточку, примчались к нему домой. Он же рассказывал в это время военные истории Шароновой. Квинкин взял огонь на себя, отвлек вдов смелым маневром, а Катька тем временем залезла в подпол. Теперь вдовы дерутся между собой...

Я вышел босым, только надел отцовский пиджак. Мы с Квинкиным прокрались огородами, по-пластунски одолели росное поле и вошли в лес мокрые до ушей,

но счастливые. Квинкин смеялся и советовал мне:

 Слышь, оставайся пацаном, не вырастай. Честно говорю, хлопотно быть мужиком, а почему, не буду говорить, сам узнаешь.

Но меня разбирало другое любопытство: нынче я был его спасителем и гадал о том, что мне расскажет сего-

дня фронтовик Квинкин.

О, его рассказы... Он втолковывал, какой свирепый и упорный враг фашисты. Рассказывал, как нашли рояль в доме, откуда выбили фрицев. И хотя в дом бро-

сали гранаты, инструмент уцелел. Он лично играл на нем «чижик-пыжик», а вокруг стреляли.

— Ты же только на своих губах играещь, — возмутился Старый Черт, плюнул и ушел, ворча себе под нос.

А рассказы Квинкина о схватках врукопашную! Как он подбил танк из обыкновеннейшей винтовки, угодив пулей в ствол орудия. Фашисты перезаряжали орудие, открыли замок, а пуля Квинкина влетела и убила командира. Потом, скача рикошетом в танке, поубивала остальных фрицев. Квинкин взял машину в плен и был представлен к награде.

Да, да, генерал обещал ему орден.

Словом, Квинкина было не переслушать. Мы, пацаны, понимали вдов: те работали днем на заводе, потому слушали его рассказы ночью. Вот только неясно, отчего им не собираться вместе?

Это была Великая Женская Тайна. А мы знали от

старых мужиков, что женщин понять нельзя.

— Шалаш у тебя знатный, — хвалил Квинкин, — здесь бы и жить.

Я стоял мокрый по пояс, но гордый похвалой. Я и сам доволен шалашом: место для него я выбрал над речкой, в поросли мелких сосен, с видом на широкий луг. Когда отец не кашлял, он приходил сюда с мольбертом и писал этюды для будущей своей картины «Сибирь».

— Хорошо в лесу, — вертел щипаной головой Квинкин. — Хорошо мне с вами, пацанами. Пропал бы я без

вас, честное слово...

Он улыбался. Щеки его были исцарапаны, под правым глазом наливался синяк, левая рука подвязана полотенцем к шее. Но он улыбался во всю ширь своего необъятного рта. Такого большого, что не хватало зубов, чтобы стоять сплошь, и каждый из них вырос на расстоянии от другого.

— Птички летают (мелькнула кряковая утка), —

говорил он. — Рыбки плещут (хариусы остервенело били мух). Благодать. А тебе чего надо, малый? (Бурун-

дук пришел смотреть на нас.)

Зверек взглядывал глазами-точками, и Квинкин нарочно окаменел в своей гимнастерке. Он таки обманул — зверек забегал по его плечам. И на испорченном вдовьими ногтями, круглом и добром лице Квинкина блуждало удовольствие.

Квинкин не выдержал, шевельнулся, и бурундук ис-

чез в росной зелени леса.

— Хорошо здесь, — говорил Квинкин и тревожился. — А бабы нас не найдут?

— Они нехорошие, — твердо сказал я.

— Ты не прав, — возражал Квинкин. — Их жалеть надо. Живется-то им как? А?

— Ты лучше расскажи что-нибудь.

— Слышь, — сказал Квинкин. — Домой я сегодня идти боюсь, а жрать хочется. Ты бы угостил меня рыб-

5йох

. Ну это запросто, леска у меня всегда в кармане и ножик с собой. Я тотчас вырезал рябиновое удилище, оставив на нем (мой секрет) листики. Привязал леску. Подползая к речке на брюхе, я быстро и удачно поймал четырех хариусов, граммов этак по двести-триста каждый. Их, обмазав глиной, мы с Квинкиным испекли в костре и слопали.

Без соли.

Квинкин облизывал пальцы и говорил:

— Вот это жратва! От такой классной еды нерв растет. Мне такую рыбу есть надо, а то все картошка да картошка.

Он причмокнул — вкусно!

— А теперь давай расскажи что-нибудь, — попросил я и сел поудобнее, приготовился. И я угадывал его потрясный рассказ о том, как он, швырнув в танк котелок с горячей кашей, попал в смотровую щель. После чегоослепший танк боком влез в снарядную воронку и пере-

вернулся.

Да чего там!.. Я сам был готов рассказывать все истории Квинкина, выговорить их лесу, туману, дроздам, трясогузке, пробегавшей по узенькой полоске грязцы, что окаймляла ручей.

 Гля, — сказал Квинкин, уставившись на трясогузку, — аккуратная дамочка, идет весело... Сейчас

я тебе, паря, скажу, как меня ранили.

Этого он еще никому не рассказывал. Я даже окаменел, а глаза мои стали как линзы в отцовском «Фотокоре»: ведь я должен был не только услышать, но запомнить и передать рассказ отцу, маме, сестренке, мальчишкам. Даже вдовам, ежели они хорошенько попросят меня.

И Квинкин заговорил, но каким-то чужим голосом. Словно старик лет тридцати пяти — сорока. Даже круглое его лицо обвисло и постарело, а плечи сжались, как у отцовского пиджака на вешалке.

— Там была птичка, — сообщил мне Квинкин, глядя на трясогузку. И, вспоминая, замолчал. Я решил, что рассказ Квинкина будет бесконечен. Во, повезло!

— А дальше? — спросил я минут через пятнадцать.

— Там была трясогузка, — сказал он.

— А еще...

— Странно, — сказал Квинкин, помолчав. — Память, что ли, мне фашист отшиб? Значит, он пер, а мы отбивались. И был я один городской, а все остальные таежные мужики. Народ тяжелый, их заставить что сделать, ровно пень выкорчевать.

— Ну и...

— Держали мы, парень, оборону. Сходились в том месте два оврага и перешеечек между ними, знаешь, как это бывает. Там мы зарылись, а за нами, сам понимаешь, Расея, поле, путь на восгок. «Ребята! — кричит комбат. — Умрем, а не пустим фашиста! Выстоим!» За-

кричал и, понятно, разгорячился, стал пример показывать и выставился. Пулька его и продырявила, на фронте уж коли ты зарылся, то не высовывайся.

И тут-то фрицы двинули танки.

Скажу тебе: снаряд понимаешь, пушка, ее калибр и прочее. Фашиста, идущего в атаку, не боишься — ты сидишь в земле, а он-то открытый и смертный человек. Только, стреляя, не горячись. Самолет-пикировщик —

это, конечно, плохо.

А вот танк ни с чем не сравним. Он вроде бы целиком из железа и, понимаешь, ползет и стреляет, присаживается от отдачи орудий и стреляет. А не то как резанет из пулеметов. Жуть! Но противотанковые гранаты у нас были, две. Мы выдвинули Ковыля и Харитонова, мужиков здоровенных. Надеялись, понимаешь, за-

ткнуть проход, подорвав два танка.
Подпустили их. Но Ковыль поторопился и гранату не докинул. Харитонов бросил удачно, да попал в березку, та и спружинила. И обе гранаты взорвались не там,

где нужно.

И танки, эти ходячие железища, развернулись и да-Крупнокалиберных. вай садить по нас из пулеметов. А это, парень, уж не дай тебе бог!

Пришлось удирать.

Мы уходили по оврагам. Глубокие такие. Бежим, и тут-то меня и рубануло вроде топором. Сомлел я. А когда пришел в себя, то бородач Самарин сует мне в пасть горлышко фляжки. Хлебнул я — водка! Сразу мне полегчало.

И вот сижу я, привалясь к кочке, вокруг меня осока, кусты, и нас горсть осталась. Смирно, а в голове все смешалось, даже понять не могу, на что смотрю. Вижу пятнышко какое-то мельтешится. Всмотрелся я у воды прыгает трясогузка, раненная вроде меня. Пулей ее едва ли шибануло, скорее веткой отбитой, но крыла у нее нет.

«Вставай, — говорит Самарин. — Авось уйдем». — И погрозил фашисту кулаком.

«Ее-то за что? — спрашиваю. — Птичку?» «Бредит, — сказал Скоп. — Поволокли его».

Так мы ушли к своим. Меня положили в лазарет (Квинкин оживился и снова был молодым). Поднялась у меня температура, паря, аж в сто сорок градусов. Термометр лопнул, ей-богу! Фельдшер глаза выпучил — дает мне воды, я хлебну, а из ноздей пар идет.

Я лежу, матрасишко кровяной подо мной дымится, я же брежу птичкой. Всадят мне шприц обезболивающего — мерещится ее оторванное крыло, вижу, будто оно — это я, сам лежу в кустах, а по мне мухи ползают.

Да, брат, странное человеку лезет в голову. У меня в башке тогда одно торчало: ну коли нам не хватает мозга жить мирно, за что калечим птах? А потом ты ведь знаешь — мне отпуск дали нерв растить. Вот и все. Чего губы надул?

Губы надул... А почему мне их не надуть, если я его спас, накормил хариусами, а он рассказывает скучную срунду? Птички!.. Я лично стреляю даже тетеревов.

Квинкин говорил:

— Вы, пацаны, все ерзаете, на войну хотите. Поди, хочешь? А ты не торопись, успеешь. А уж коли попадешь, то помни: с танками шутки плохи. Тащи с собой

противотанковую гранату, тяжело, а ты ее неси.

А коли выживешь и вернешься домой, пуще танка бойся вдов. Ты их пожалеешь, а чего хорошего? Вот, морда исцарапана, улица обхохочется. Но сами бабы добрые, это жизнь такая. Сбегай-ка посмотри, ушли Лампа и Надежда?

...Историю ранения Квинкина я придумывал сам.

Такую.

Будто бы Квинкин раздразнил сразу два немецких ганка, такое им крикнул, что фашисты решили задавить его. Обязательно! Он же стоит, поплевывая, и не убе-

гает. Танки разогнались на него, а Квинкин отскочил, и те сшиблись лбами. Загорелись, понятно. Квинкин, само собой, взял в плен оба экипажа, но, ведя их в тыл, был ранен шальной пулей.

И пацаны мне поверили, потому что Квинкин был первым солдатом нашей улицы, вернувшимся живым

Как тут не поверишь!

А что он боится вдов, это мне понятно. Все на улице: пацаны, старые мужики, кошки, собаки и, думаю, комары — боялись военных вдов, худых и злющих, будто осы. гряды!

сопри у такой морковку с Попробуй-ка

Страшное дело!

ИГОЛЬНЫЙ БУМ

— Миллионерам живется сладко, — повторил Димка свой афоризм. И, откусив яблоко, зачавкал: такое было сочное. Словно брюква в дождливое лето. А еще было румяным, как соседка Неллочка, пока она заведовала магазином.

Яблоко шипело в Димкиных зубах, брызгалось со-

ком — я видел эти летящие капельки.

— Вкусно?

— Апорт, — пояснил Димка. — Мировое! Хочешь? Продавали эти чудо-яблоки южные копченые старики в ватных халатах, перепоясанные полотенцами. А есть яблоки в войну могли только американские миллионеры, торговка картофельными драниками Полюшка Дурной глаз да инвалид Кокин: он счастливо играл на барахолке в угадывание карт.

А теперь яблоки жрал Димка.

 Ешь! — Он дал мне другое. Я впился зубами вкусно-о-о-о! — и базар вспыхнул в моих глазах.

Засветилось топленое масло в бутылках. Тыщу руб-

лей стоит такая бутылка, а мы можем купить, если захотим!

Мерцало кровяное мясо, сытное, дающее силу в работе и драках. Пожелаем и сварим из него щи, сами нажремся да еще покормим Димкиных братанов, когда те

вернутся с работы.

Но яблоки лучше всего... Димка выбрал и купил еще одно. Он держал его на ладони и покачивал, словно баюкал. И ждал, когда я доем свое. Кончилось — я обсосал черешок.

— А это дашь отцу. — Димка сунул яблоко мне

в руку.

Вот пошла жизнь! Я даже стал отказываться.

— Такое большое. Ты хоть откуси разок.

— Бери, бери, его сегодняшняя доля.

И верно, в нашем деле была доля моего отца. Дело такое: Димка занялся выпуском швейных иголок, я же помогал ему вечерами, после школы. Мы делали разпые иголки, чаще огромные, которыми удобно починять мешки и сношенные валенки.

Пытались изготовлять и тоненькие. И наловчились в конце концов, иголки были что надо. Во-первых, материал: Димка носил с работы сталистую проволоку, желговатую, пружинившую. Во-вторых, Димка делал иголки, а я их полировал.

Он мог сделать любую иголку на свете, но медлен-

по. И так же любовно я полировал ее.

— Слушай, — говорил я Димке, очень довольный вечером. — На кило картошки мы заработали.

— Да, — отвечал он. — Так работают черепахи, саботажники и мы. Нужен станок.

— Зачем?

— Чтобы пропускать сквозь него проволоку. На вал приделаем наждак и будем крутить и вытачивать иглу. Мы занялись станком. В депо Димка попросил дру-

Мы занялись станком. В депо Димка попросил друзей отца помочь, и через месяц станок, здорово напоминающий мясорубку, быстро и легко делал иголки без ушков. И даже сам начерно полировал их. Но ушки мы все равно пробивали вручную и теперь за вечер зарабатывали два кило картошки. Что было плохо — при станке-то!..

Мы попробовали ускорить дело, пропиливая разрезные, в виде щели, ушки. Но такая игла плохо держала

нить. Пришлось идти советоваться к моему отцу.

Был мороз на улице и у нас дома. Отец сидел в зимнем пальто и вырисовывал кисточкой на плакате блеск штыка, которым наш солдат протыкал фашистского осьминога в каске.

Осьминогу это протыкание насквозь штыком не нравилось, он дрыгал щупальцами. И в каждом было зажато оружие; в одном — автомат, в другом — самолет

с черной свастикой, в третьем — пушка.
— Ушки не получаются? — переспросил отец и вытер кисть тряпочкой. Положив ее, он повертел в паль-

цах слепую иглу, бормоча:

— Черти, промысел открыли... Ладно, я принимаю ваш заказ. Но гонорар будет высокий: десять иголок. Идет?

— Половину заработка отдам! — горячо воскликнул

Димка. — С ушками плачем, в них вся загвоздка.

— Нет, — заупрямился отец, — один десяток.

Он глядел на нас, странно округлив глаза. И я понял, что к нему уже пришла догадка об игольных ушках.

И другое я понимал — раз отец решил брать деся-

ток иголок, ты хоть кол ему на голове теши.
— Лады, — сказал Димка. Они пожали друг другу руки, и отец велел маме собирать на стол — будем пить чай.

Она принесла от порога отличные паренки из тыквы и свеклы — пайковый сахар мы уже слопали и теперь кормились сахарной свеклой. Дня три подряд мама парила ее с тыквой в духовке. Получался коричневый

сладкий мармелад, который и звали паренками.

Мама поставила чугун на стол, Димка вынул из кармана кусок хлеба, завернутый в бумагу, а отец подцепил вилкой самую большую паренку. Сунул Димке: ешь!.. И тот отломил полпайки и положил хлеб на стол.

- Видишь, дядя Иван, говорил Димка, жуя, в газетах хвалят Ферапонта Головатого. Он самолет купил и армии подарил. Один. Я же, если вы поможете, Ферапонту нос утру, куплю два самолета. Сообразите: теперь иголка стоит на базаре рупь, и это справедливая цена. Иголки часто ломают и теряют. Значит, у меня деревенские и городские тетки купят миллион иголок. Я буду миллионером! Тогда сколько нужно дам на самолеты, а остальное проем. Так скажите, почему я не могу помочь вам, коли самое трудное ушки сделаете вы?
- Не желаю, заворчал отец, но все-таки спасибо.

Он высморкался в платок: и растрогался, и был про-

стужен.

Назавтра, сгоняв меня с длинным списком в техническую библиотеку, отец обложился справочниками. Засыпал он теперь поздно: сидя у коптилки с жестяным рефлектором, он делал выписки и покашливал. Глухо, словно в подполе.

И способ был найден! Химический! В соединении

с электрическим!

В мутной жиже, пахнущей чем-то бражно-кислым, отец медным электродом в секунду прорезал в игле дырку. Ровненькую, гладкую.

— Конечно, интересно было бы автоматизировать процесс, — говорил, светя глазами, довольный отец. —

Но это задача не изобретателя, а инженеров.

Я же раздувался от гордости — отец мой все знал и все умел. Он и картины писал, изобретал разное. Ска-

жем, этот ушкодел. Также он изобрел лопато-вилы с хитро выгнутой рукояткой. Ими было легко, весело

копать картошку.

Или, скажем, тыквы... Они плохо вызревают в наших краях, в Сибири им холодно. Что тут придумаешь? Но мама потребовала, и отец изобрел метод. Он пускал плети вверх, по доскам забора. Тыквы поднимались на солнце, а там ложились на специально прибитые полочки. Замечательно вызревали даже в самое холодное

И хотя мама кричала, что теперь надо изобрести метод выжить и не помереть ему самому, отец работал над подводной лодкой с экипажем в два человека. Даже строил модель на чердаке: доносился сверху железный грохот, стуки и скрипы. И еще то радостный хохот, то

чертыхания.

— А что вы тут наболтали? — нюхая жижу, спраши-

вал Димка.

— Секрет фирмы, — похохатывал отец. — Буду тебе давать раствор. А то, чего доброго, ты и вправду ста-

нешь миллионером. Но где ты возьмешь батареи?

— Мое дело, — сказал Димка. Он сделал множество электродов из красной меди. Затем я зажимал иглы в деревянные планки, притыкал к ним электроды и опускал в бражный электролит. Димка же через выпрямитель давал ток. (Брал его из сети, ослабляя трансформатором и контролируя вольтметром, — мы их дешево купили на барахолке.)

И скоро пришел день, когда мы с Димкой заработали за один вечер на бутылку топленого масла (яблоки

были потом).

244

Теперь каждое воскресенье Димка, повгыкав иголки в полоски холста и перепоясавшись ими, ходил по базару. Я брел следом.

— Йголки-и! — орал Димка. — Иголки-и-и-и! — Разные! Острые! Сами шьют! — вскрикивал я. — А вот иголки-голки! — орал Димка... Их здорово покупали, и мы с Димкой зажили сытно. (Ленивые его братья иголки делать не желали, но кормились

вместе с нами.)

Во пошла жизнь!.. Раз в неделю мы ели самое настоящее мясо! Я приобрел себе Брема — десять растрепанных томов. Но Димка обзаводился одежей. Он купил за страшные деньги слегка потертую кожаную куртку и высокие резиновые сапоги — для охоты. Он даже завел себе шелковую рубаху. Вскоре это был самый шикарный пацан нашей улицы и, быть может, всего города.

Что же, умен! Лобешница во какая, а губы поджаты, будто у взрослого, синие веки накрывают глаза, чтобы

в них попусту не заглядывали.

Я гордился Димкой. Вот его отец воюет, померла мать. Он же ходит в шелковой рубахе и передовик на работе в паровозном депо, изготовляет иглы и уже по-

говаривает о покупке первого самолета.

....Когда мы продали за воскресенье тысячу иголок, улица взволновалась. Теперь, работая и оглянувшись на шорох, мы часто видели в сумерках чью-нибудь физиономию, размазанную по стеклу. Наблюдающий за нами глаз ворочался, шарил по комнате, словно прожектор.

Я высовывал язык, а Димка вставал и этак небрежно подходил к окну и задергивал новенькую штору

с дырочками, красиво прорезанными всюду.

— Из такой материи, — хвастал он, — ежели б не дырки, любая тетка себе блузку сошьет. А я ее на окно! Во!

— Хорошая штора, — соглашался я.

— Потому что я умный, — хвастал Димка. — Все мозги, отпущенные на братанов, достались мне. Заметь, у меня теперь все хорошее. И ружье я себе куплю самое лучшее на свете, вот увидишь.

— И увижу, — не сомневался я.

— А что, дядя Иван не берет свой процент?

— Он такой, он не возьмет.

— А ведь кашляет все пуще. Давай так сделаем, говорил мудрый Димка. — Ты будто едешь на рыбалку, куплю у Максимыча десяток-второй окуней. И с охотой мы его станем объегоривать.

Таким вот образом я вскоре гремел на улице как добычливый рыбак и замечательный скотник. Всхлипывая,

мама щипала уток и называла меня кормильцем.

...Приходил к нам участковый Сидоров, друг Димкиного отца. Хороший дядька, но с грыжей. Потому был не в окопах, а дома. В револьверной кобуре он носил кисет с махоркой и подарок Димки — зажигалку из латунного патрона.

— Миллионером, говорят, хочешь стать, — ухмылялся Сидоров и закуривал. — Что с миллионом делать бу-

лешь?

Участковый садился в деревянное кресло и снимал фуражку. Затем он морщился и трогал правую ногу в нее отдавала свою боль грыжа. Но Димка все продумал заранее.

— Миллионеры живут сладко, дядя Сидоров. Я сделаю так: двести тысяч отдам на самолеты, на остальное стану жить. Отцу приберегу. Вы его знаете, кулаки у не-

го здоровые, а голова слаба...

— У отца-то?.. — изумлялся Сидоров. — Ах ты, паршивец! Бросай-ка это дело, парень, вконец испортишься. Или, не ровен час, грабители пришибут.

— Я-то? — удивлялся Димка — Меня-то?

— Тебя. Конечно, ты у нас один на улице Рокфеллер.

— Ружье у меня зачем?

— Гм, фроловка? Ты, фабрикант, сначала бы ружье завел с двумя стволами.

— Одностволки лучше бьют! А закончится война,

я куплю себе «зауэр три кольца». Во будет ружье! А чо, дядя Сидоров, вам иголки не нужны?

Только две, я заплачу.

Сидоров вынимал два рубля. Но не уходил, а спрашивал:

— Ты уговорил торговать иголками Старого Черта?

— А чем плохо? — немедленно отзывался Димка. — Работаем с половины. Деду сытней, и мне хорошо.

— А что в депо?

 Передовик в цехе, двести процентов даю, карточка на доске! Я умный, — хвастал Димка, — везде

успеваю.

— Востры вы уж слишком сделались, — вздыхал участковый, глядя на нас. — Не дети, а старички. Ты, — он указывал пальцем на меня, — старей своего отца. Ты же, Дмитрий, у меня на участке теперь самый старый, тебе две тысячи лет, ты только с виду пацан. Дай мне иголки, те, что потолще.

— Мы вам дарим.

— K черту! — вспыхивал участковый. — Рупь-два

у меня всегда имеется.

...С яблоками и мясом мы вернулись с базара, сварили щи и пообедали сытно. А когда я уходил, Димка остановил меня.

— Тут лежит доля отца, спрячь. А подобреет, отдай

ему... Или нет, лучше мамке отдай.

Димка пошарил в ящике, куда братья кидали обрывки веревок, ржавые гвозди, сломанные щипцы и прочую дрянь, и вынул сверток. Тугой, жесткий на ощупь.

Я сжал деньги и стоял. В окно мне виделся город. В небе жужжали истребители: их делал наш завод,

а испытатели проверяли, гоняя днем и ночью.

— Изобретателям надо платить, — важно говорил Димка. — Иначе все остановится, никакого тебе прогресса. И... знаешь, — вдруг прошептал он, — ходят вокруг какие-то. Грабанут еще! А в сберкассу я боюсь ид-

ти, деньги храню дома. Суну, куда вор сроду не поглядит.

...Я принес отцу деньги и яблоко. Отдал.

— Вот твоя доля!

Отец яблоко разделил на три части, дав сестренке и маме. Затем он сунул нос в Димкин сверток и вдруг

разбушевался.

Он бил желтым кулаком по столу и кричал гордые слова. Но вдруг устал и заснул прямо за столом — он теперь быстро слабел. И старел быстро, словно с горы катился. Старухи на улице говорили, что он помрет следующей весной. Зацветет черемуха, опадет ее цвет, и он уйдет вместе с ним...

— ...Я вашу чертову машину поломаю, — бормотал отец, просыпаясь. — Ах, бестия, он покровительствует.

Нет, каков поросенок!

— Что ты, старый, бесишься? — говорила мама. — Ребята трудятся, они хорошие, непорченые, нас подкар-

мливают. А ведь это полагается делать тебе.

— А ты знаешь, сколько здесь денег? Десять тысяч! Да! И пусть я сдохну, а не стану брать! Мой сын вырастет делягой? Не допущу и Димке не позволю. Я их разгромлю, я им покажу...

Но громить нас отцу не пришлось; вечером того же дня, часов в десять, я побежал рассказать Димке. Но войти к нему я не смог, хотя и стучался в окно. Сильно.

Димка не выходил, не открывал мне дверь.

Свет в доме есть, а его нет. Помер он, что ли?..

«Убили, — шепнуло мне. — Ограбили».

И знакомый с детства горинский дом, гемный и горбатый, с повисшими ставнями и слепыми маленькими окнами, стал чужим и страшным.

Я дружил с Димкой, шутил с его петухами, слушал песни его отца и вообще любил этог дом. Но теперь

боялся его, даже ноги расслабли.

Страшное было в молчании дома. Оттого, что в нем

ярко горела плошка с зеркальным рефлектором, бросая отсветы на потолок, становилось еще страшнее.

Это значило, что Димка там, а с ним случилось

худое.

Да, его ограбили, это случается с богатыми людьми. На мой стук повыходили соседи, а Старый Черт прибежал с вилами.

И Семениха ушла за милицией, а я вскрикнул, разбежался и ударил плечом в дверь. Она оказалась незащертой — я влетел в сенки и врезался башкой прямо во внутреннюю дверь. Затем стали входить соседи — спачала в сени, а потом в дом. Лезли всей толпой, мещая друг другу (я не шел, мерещились ужасы).

Но Димка был жив, соседи вошли и увидели: он си-

дел в стареньком кресле и плакал. Молча.

Рот его, большой и усмешливый, был заткнут сырой картофелиной. Огромнейшей, фиолетовой, взятой ведра, что стояло около двери, чтобы картошка не дрябла.

Он жив, жив!.. Но до чего же крепко привязан!

Я развязал его, Димка встал и вынул картофелину. Он ходил по комнате, мотал головой и все не мог закрыть рот, чтобы сказать, кто здесь был.

— ...кятая... тошка... — выговорил он наконец. А затем Димка, который был умней всех стариков нашей улицы, сел на пол и заревел, как ребенок, только басом.

— Иг-гой, — орал он, плача, — иг-гой...

Я кинулся в другую комнату: и верно, игольный станок утащили воры. Это грабеж! Его предвидел дядя Сидоров. Ну не дураки ли воры?.. Торопясь, они забыли прихватить бутыль с раствором для травления ушков, забыли ванночку с электродами. Хотя она стояла на виду.

Не поняли, что это такое?.. Спешили?..

— Дуки, — говорил мне Димка растянутым ргом.

Сам вытирал глаза и рот, размазывая грязь по щекам.

Затем умылся.

Прихрамывая, вошел Сидоров. Он ходил туда-сюда и вдруг сунул руку в печурку, где валялись щепки и старые тряпки. И вынул деньги. Пересчитал вслух:

— Сто... тысяча... две тысячи... Пятнадцать! Твои?...

— Мои, — просипел Димка.

— Расскажи мне, как выглядели грабители? — Ак вюди, — сказал осторожный Димка.

— Они тебе грозили? Ты их боишься?

— Дуки, убют...

Участковый бросил пачку денег на стол и велел: — Их спрячь, приобщать к протоколу не буду.

— Невадо... покова... — просил его Димка. — Нева-

до... убют дуки...

Сидоров, махнув рукой, ушел. Я остался. А в двенадцать ночи, стуча деревянной ногой, вошел мужик с чемоданом. Огляделся, снял шляпу. Настоящую. Сказал:

— Я с заказом. Беру сто, деньги со мной. Но плачу не по рублику, ясное дело, а по три четверти. Зато вперед.

— Тись ты, — сказал Димка.

— Не понимаю я вас, молодой человек, — с достоинством возразил одноногий, — учтите хлопоты и риск... Ясное дело, хочу иметь выгоду.

— Тупай, — велел ему Димка. — Я босил...

...Отец положил Димкины тысячи в сберкассу на имя Дмитрия Горина. А те деньги, из печурки, Димка сдал в фонд обороны, пятнадцать тысяч легковесных военных рублей. И невыносимо заважничал. Но иголки он больше не делал.

Игольный бум кончился, иголки в городе тоже. Воры промахнулись. Станок наладить было просто, но уш-

ки... Их воры делать не умели.

А кому нужна иголка без ушка? Так и не стал Димка миллионером. Но когда заходит разговор о тех, заморских, он важно кивает большущей головой. Потом изрекает новый афоризм:

— Миллионерам живется трудно.

димкины сороки

Мясо!.. Оно мне снилось.

Я чувствовал его во рту, невыносимо, дерзко вкусное, просыпался, глядел с высоты моих теплых полатей. Пронзительно сияла луна. В углах стояли черные тени.

Я видел спавшего отца. Он тяжело дышал. А по комнате, тяжело ступая, идет Невидимый.

Мне страшно. Волосы мои шевелятся — под ногами

Певидимого хрустят половицы.

Я коченел в ужасе и опять просыпался. И видел лупу, отца, лежавшего неподвижно, и слышал, как в компате за занавеской сонно дышали мама и сестренка.

И мне хотелось съесть кусочек мяса. Но мы его данали отцу — он хворал, он был нашим кормильцем, ему нужно копить силы. Сами ели картошку, а ее не хватало. Она кончилась в январе. Теперь в подполе лежали голько закатившиеся проросшие картофелины.

Ростки их были как лапы белого паука.

А чтобы у нас снова появилась картошка, был нужен нашатырь. Тот самый, что употребляют для паяшия. Димка приносил нам нашатырь в свертке из оберточной бумаги, грубой, скверно сделанной, с деревяными занозами.

Но я клеил из нее маленькие пакеты, развешивал нашатырь по сто граммов и твердой рукой писал: «На-

шатырь натуральный. Вес 100 г».

Четки, уверенны были мои буквы, колхозные женщины не сомневались в нашатыре и лечили им телят. Только недоверчивые старики говорили мне:

- Если врешь, паря, большой тебе грех, животное

— Хороший нашатырь, — клялся я, вертя головой. — Смотрите, пробуйте, нюхайте. Сахарный нашатырь!

— Ладно, ладно, не трещи... сорока...

Я не врал — Димкин нашатырь был действительно хороший. Цена его тоже: ведро картошки шло за сто-

граммовый пакетик.

Картошка могла быть крупной или мелкой, розовой или желтой с фиолетовым (отец называл ее Вторым Интернационалом, а Димка — союзниками). Любая, но ровно ведро. А вот за отцовский костюм, ненадеванный, нам дали только мешок картошки.

Такие были нашатырно-картофельные дела.

Так нашатырь в химии жизни обращался в деревенскую картошку. Она же, если кормить поросенка, становилась мясом. Наевшись картошки, можно было идти на охоту и добыть дичь, то есть опять превратить картошку в мясо. А оно давало силу жить дальше. Шел воскресный день. Я побежал к Димке Горину,

надо было уговориться о нашатыре — зима клонилась к лету, рождались телята. И надо было договориться с

ним о дроби: с юга уже спешили к нам утки.

Я бежал улицей, серой, с исчезнувшими заборами, с недовольными рожами домов. Бежал, подпрыгивая, —

февраль прожигал насквозь подошвы валенок.

И была во мне ласковая слабость, и хотелось мяса (утром мы ели паренки из турнепса, кисленькие, с привкусом редьки. Отцу же дали сало и несколько ложек меда).

Димку я не застал, дом был открыт, но пуст. В нем пахло горелым порохом — значит, Димка опять практи-

ковался в стрельбе.

Дом после смерти тетки Анны торопливо превра-щался в берлогу: стены поковыряны Димкиными дроби-нами, братья Горины колют дрова отчего-то не на ули-

це, а прямо на пороге, и тот ерошился щепками. Стены не побелены. На печи углем написано: «Жди!» Написа-

но Димкиной рукой мне.

На столе же рассыпана вареная картошка и поставлена солонка со скотской крупной солью. Одна картофелина наполовину очищена и кудрявилась кожицей. Она подсохла и пожелтела, будто кусок лежалого сала.

Слюна наполнила мой рот: в свои четырнадцать лет

я всегда хотел есть. Еда не голько снилась мне.

Сидя на уроках, я рисовал на промокашке котлету

н тотчас начинал видеть ее, нюхать, жевать.

Сейчас я повелел подсохшей картошке стать сладким пирожным.

Я взял ее, слизал крем, съел и, не раздеваясь, сел к печке. Она холодила — куржак медленно поднимался

вверх по двери.

Но где же Димка? Раз велел мне ждать, значит, он педалеко. Он не ходит без дела. Наверное, Димка сейчас в хлебном — стоит в очереди. Ему тепло и вкусно пахнет хлебом.

Пусть стоит. Я буду ждать.

Димке хорошо, у него рабочая карточка (он работал

на месте своего отца в паровозном депо).

Кстати, где его братья? На работе? Хорошо, что их пет, а то бы стали шутить, загибать мне салазки. Пли, схватив за виски, поднимали вверх, показывали Москву.

От скуки я стал ковыряться в инструментальном столе братьев. Они богатые — тисы, щипцы, подпилки разной величины. Что и говорить, мастера... У меня же сгранно косолапые отношения с инструментами: я мог исе придумать, а делать ничего не умел.

Вот придумал разборные сани для поездок в дерев-

що, но сделать их придется Димке.

А тот умел все делать. Сейчас он делал финские ноки. На столе лежали заготовки — несколько стершихся напильников. Один нож был закончен — полированное чудо!

У него наборная рукоятка.

Набирал ее Димка из кусочков плексигласа. Он опиливал, формовал ручку, шлифовал ее шкуркой и затем хромовым порошком — до игры на

Я взял нож — и тотчас увидел фашиста. Тот шел прямо на меня. Крикнув: «Гитлер капут!», я поразил

Пока фриц корчился на полу, я положил нож и стал искать ружье. Мне хотелось подержать его в руках. его точным ударом. В четырнадцать лет мне не только все время хотелось есть, но и было скучно без ружья в руках. Я мог вертеть его целыми днями, вскидывать,

Охота же для меня была непрерывным счастьем. Я охотился с отцовской тулкой — Димка купил себе «фроловку» — одностволку двадцать восьмого калиб-

ра, переделанную в дробовик из грехлинейки.
Но ружья не было. Скучно! Я из окна стал рассматривать двор: сарай без крыши (ее сожгли), черное пятно помойки, забор. Доски его оторваны, от забора остались столбы и продольные жерди. На них сидят две сороки. Неподвижные.

...Эти сороки!.. В город они являются с первыми морозами — кормиться, но каждый день улетают ночевать в лес — вечером, на закате.

Летят высоко, скрипя морожеными крыльями. Закат

румянит их белые животы.

А вот их прилет в город я никогда не видел. Чуть рассветет, а сороки уже торчат на заборах, деревьях и

дымовых трубах.

...Сороки сидели. Я прижал нос к стеклу, разглядывая забор, его жерди, торчащие гвозди от оторванных досок. Около снежный надув. В конце дорожки, подхо-

дившей к забору, видна нищенская помойка братьев Γ ориных — пятно грязной воды и розовая картофельная кожура.

Я смотрел и не верил этим двум сорокам. Их неподвижность странная, так же, как исчезновение Димки и

его ружья.

Ведь сорока всегда в движении, ее бойкий глаз не дремлет. Только в сильные морозы сороки задумчивы.

Наверное, соображают, замерзнут они или нет.

А вот и третья — обыкновенная — сорока. Она только что прилетела, она вертится, переступает, качает хвостом.

Она то глянет вниз, на помойку, то в сторону неподвижных сестер. И тут ударил выстрел, будто палку сломали.

Обыкновенная сорока качнулась, махнула одним крылом и упала. Из белого снега черным ножом выставился ее вздрагивающий хвост. Я же увидел Димку. Он вышел из сарая с «фроловкой» под мышкой. Из тонкого ее ствола шел узкий дымок.

Я выскочил на улицу — лицо и губы Димки были почти белые. Такое лицо, говорят, бывает у замерзших

людей.

— Сорока! — крикнул я. — Ты убил сороку!..

— Ясно, — сказал Димка. Он такой, ему всегда и все ясно.

Я тычу пальцем в сидящих на заборе сорок.

— А эти почему не летят?

— Мои, — ответил Димка. — Мороженые чучела.

— Ты был в сарае?

— За-замерз, как фриц, — смеется Димка.

— Давно там сидишь?

— Часа два не шевелился. Тебя увидел, а не шевель-

И он раздвинул губы в замороженную улыбку.

Я подошел и снял сорок с забора. Это были убитые

и хорошо замороженные птицы. Сороки-чучела, сорокиподманки...

Ну и хитер!

Я взял убитую сороку за хвост, поднял ее: такая красивая, но легкая птица! Она пробита единственной дробиной. Та вошла в сорочью голову.

Во меткость!

И меня распирает гордость за Димку. Я тоже охотник, и не раз я стрелял настоящую дичь, уток и тетеревов. Но сороку убил только одну, и то в гнезде: с одной стороны гнезда высовывался ее хвост, с другой —

Сорока кричала стонуще-счастливо. Я выстрелил в нее из «тулки», и дробь расхлестнула гнездо, вышвырнула из него сороку и разбила ее яйца.
Они повисли на березовых ветках — яркие цветки

желтков. И тогда лишь я понял, почему сорока подпустила меня.

...Мороженых сорок Димка спрятал в ящик, поставленный в сенях, и мы вошли в дом.

Войдя, Димка поставил ружье и стал греметь зубами и трястись.

— Замерз? — спросил я Димку.

— Н-н-нарочно, — ответил тот. — Хол-л-лод из себя вытряхиваю. Понимаешь, сначала надо вытрясти весь холод, а греться потом.

Протрясясь. Димка набил печь кусками легкого паровозного угля — он носил его домой в сумке, с рабо-

ты, из паровозного депо.

— Стрелягь зимой неловко, — говорил он. — Пальцы... В суставах смазка замерзла. Ты за нашатырем?

Картошка у нас кончилась.

— И нашатырь кончился. Мастер меня застукал, к начцеха таскал. За ворот. Вон, бери на столе картошку, дожевывай.

<u> — А ты?</u>

— Я сыт, я вчера ножик продал. За три ведра.

— Вкусно, — сказал я, пожирая холодную картошку.

— Ты что, опять свой паек вчера сожрал? — презрительно спросил Димка.

— Ага. А отцу мы сегодня мед давали.

— Напрасная трата, — вздохнул Димка. — Все одно помрет.

— А твой? Молчит?

Димка смотрел в окно. Оттаявшие его губы стяну-

лись в узкий шов. Он молчал.

Мама говорила: мои чувства все лежат наверху, словно картошка на сковороде, а Димкины глубоко зарыты.

Димка смотрел в окно и молчал, а я, его лучший

друг, не знал, о чем он думает.

— Вернется, — сказал Димка. — Куда он денется? Горины не пропадают. Партизанит он, фрицев бьет. А твой все кашляет?

— Кашляет.

Что я мог сказать? Отец мой болел туберкулезом с начала войны, и с тех пор он становился все суше, белее и меньше. Бывало, сидит у печи в зимнем пальто, то рассказывая о гражданской войне в Сибири, то размечая на карте стрелы наших фронтовых ударов.

Что о нем скажешь?

- Еще учится на касторке лепешки жарить.
- Лепешки картофельные?
- Ага.
- Скажи, пусть тогда не старается. А вот рыбий жир верное дело. Его можно и так есть, с луковицей.

Но мне хочется сказать что-нибудь. Я говорю:

— Отец половину легкого выкашлял.

Димка смотрит на меня. Глаза его маленькие, серые, едкие. «Нашатырь!..» — иногда зовет его мой отец.

— Ошибаешься, полтора ушло. Я уже прикидывал.

А что, по ночам Невидимый ходит?

— В лунные ночи аж пол гнется. Сядет — стул под

— Ты смотри, это смерть к твоему отцу идет. К маним трещит. тери моей так же ходила, я ее слышал... Я бы на твоем месте спал в школе, а ночью от отца смерть отгонял. Отец, он, знаешь, все же один.

Он добрый. — А вот мой драться любил ремнем. Но бил за дело. Э-эх, проспишь ты отца.

И Димка презрительно ежит плечи. Кожа белеет в

прореху. Он сует в нее палец и чешется.

— Зачинил бы рубаху, — говорю я. — Мамку мою

— Так удобней, вишь, свободно чешусь. Нет, не укапопроси. раулишь ты отца. А я бы укараулил, я ужас какой терпеливый. Потерял хлебную карточку, и, как братаны ни орали, я их хлеба не ел! Хочешь, палец себе в огне сожгу?

Я знаю — сожжет. Он тянет палец к покрасневшему железу дверцы. О-о... Я чувствую его боль, и меня охватывает слабость. Такая: все переворачивается вокруг меня, и я падаю. Обычно, когда такое случается, я стараюсь побыстрей сесть, тогда хоть голову не разбиваешь.
Вот и сейчас окна, Димка и печь перевернулись во-

круг меня и стали на свое место. Я сидел на полу.

— Слаб ты, — вздыхает Димка, дуя на палец. — Как ты весной на охоту пойдешь? А вот я бы не брякнулся и отца вылечил. Говорят, если разом съесть кило стрептоцида, можно вылечить любой туберкулез. Даже чахотку.

— Врут, наверное. Печка раскаляется до белого цвета, дышит, и весна кажется близкой, завтрашней.

— Давай стрелять, — говорит Димка.

Мы долго стреляем в цель одной дробиной из встав-

пого стволика. Дом наполняет восхитительный запах

горелого пороха.

— Нет, — вдруг сказал Димка, отставляя ружье. — Ты сообрази, уж лучше есть сорок, чем ходить в деревню по морозу. Во-первых, мясо, во-вторых, валенки целы. В-третьих, на себе картошку не таскать. Глянь-ка, ты ею себе, как прессом, всю грудь сплющил. Оттого и падаешь.

— Сороки поганые, их не едят.

— A давай-ка сварим. Я уже двух слопал. Братаны орут, а я жру.

— Не буду.

Тогда ставь кастрюлю и помогай щипать.

Мы ощипали сороку и осмолили ее разогретой кочертой. Пахло горелым пером. Мы выпотрошили, сунули птицу в кипяток. Синеватая жалкая тушка нырнула при вращении кипящей воды и тут же всплыла наверх побелевшая, держа лапы двумя оглобельками.

Огромная сорочья голова поглядела на нас темными,

выпукло-закрытыми глазищами.

 Во, мозгов-то у ней! Как у меня, — сказал Лимка.

Мясо!..

Я не хотел есть эту сороку, но она пахла так вкусно. А когда мы положили картошку и лук, я уже ничего не пмел против сороки, только старался не видеть черную голову. Ее съел Димка, говоря:

— Вот еще мозгу прибавилось, жить легче станет.

Потом хлебали суп, и я стал блаженно сыт.

— Я терпелив, я все могу, — хвастал Димка. — Вог какую себе зеркальную дробь накатал. На десять метров дальше твоей летит. Я и отца могу дождаться, и сороками прокормлюсь, и порожним с охоты не пойду. Я все на свете могу.

...Вечерело. Летели обратно в лес сороки. Каждая чесла немного розового заката на груди. Димка считал

17:

их, на каждом десятке загибая палец, и говорил довольно:

— Тысячи их здесь, тысячи, прокормлюсь. И конца войны дождусь, и буду есть курицу! Каждый день. Во-о! Увидишь.

...Солнце садилось. Вспыхнули окна и порозовели, и

стали добрыми поношенные морды соседних домов.

Сороки летели. Я глядел на них, и летел вместе с сороками, и видел наш город сверху — реку, два моста, кубики домов. Мне было и страшно и весело... Грохнула дверь — пришли братья. Они раздевались, смеясь, говоря что-то, но я не видел их.

— Очнись! — крикнул на меня Димка. — Блажной!

Сеструха твоя бежит.

И точно, мимо окон дома бежала моя сестра, в ватнике и пимах, с голыми синими коленками. Она раскрывала круглый рот, крича на бегу.

— Йди! Отцу плохо... — сразу догадался Димка. ...Братья хором ругали Димку за сорочий суп.

Он дождался-таки своего отца. А мой умер той же весной... Умер! На похороны Димка принес нам три булки хлеба — для поминания. Сказал:

— Это для гостей, сам не жри. Мы с братанами

три дня копили.

Димка шел за гробом рядом со мной. Мы все как-то раскисли — маму вели соседки, а меня Димка держал под руку.

Бледные губы его все время шевелились.

Он говорил:

— Вот в чем дело, черемуха сильно цвела. Она твоего отца убила. А если бы ты вовремя позвал меня, я бы оживил его, я бы велел ему встать миллионов десять раз подряд. Я ужасно терпеливый. И чахотку его я бы пересилил.

…Димка дождался своего отца— в 46-м году— и умер после. Я бываю на его могиле. Уж двадцать с лишком лет, как он похоронен в толстом красном мужике, озабоченном квартирой, автомобилем и сытной едой.

Мужчина этот отличный слесарь в номерном институте и может сделать все на свете. Живет он заслуженно хорошо, ничего не скажешь, но мне он чужой. Нас держит прежнее — сороки, охоты, нашатырь, картошка...

— Помнишь, — говорит мне Дмитрий Сергеевич. — Я сорок ел? А сейчас жую курочку. Давай ешь, пей...

И ты, старик, жуй, — велит он отцу.

Или:

— Поздравь, — говорит Дмитрий Сергеевич. — Заказал себе штучную тулку. Не ружье, молодой сон. А тогда чем стрелял? «Фроловкой»...

Я слушаю его, сам же думаю о своем отце.

Я почти не знал его тогда. Но он добр, он приходит ко мне вечером, когда в лес из города летят сороки, неся по кусочку заката на груди. Я молчу и смотрю на них. Он же, сидя в зимнем пальто, маленький и небритый, спрашивает, шелестя голосом, хорошо ли живет Нашатырь.

— Богато... — отвечаю я и опять молчу — нам хорошо вместе...

ЧЕТУШКА ТОПЛЕНОГО МАСЛА

Я промахнулся и вторым выстрелом, пущенным вдо-

гон тетерке.

Она летела над картофельным полем, темным и взрытым. И все, кто выкапывал картошку, обрадовались, что можно выпрямиться и глядеть, как тетерка летит к желтым березам.

А я смотрел на лес с упреком. Зачем он напустил на меня эту хитрющую тетерку? Почему так подвел? Ведь сотни раз он спасал меня, давая застрелить какую-

нибудь дичь. А тут поступил жестоко: патроны на счету, пороха не достанешь. Кроме военного, вискозного, от ко-

торого лопаются стволы охотничьих ружей.

Да и сам я хорош! Должен был догадаться, что порядочная птица не смогла бы здесь уцелеть. Ведь из каждого десятка копающих пятеро были охотники. И свои ружья они не принесли лишь в твердой уверенности, что еще весной перебили всех здешних птиц.

Я погрозил улетающей тетерке кулаком и пошел к своей делянке — на общем поле у нас было десять соток, засаженных картошкой. И, вырастив ее — трижды

прополов, два раза окучив, — мы теперь копали ее.

Копать картошку готовились загодя. Еще прошлой осенью мама выстирала мешки и починила их громадной иглой, суровыми нитками. Всю зиму мы собирали посадочный материал, а для этого у каждой картофелины, которую готовились съесть, срезали макушку с глазками — зародышами будущих корней, листьев, картофелин. Эти глазки мы прорастили весной.

Чтобы не мять зеленые ростки, унесли их на поле в фанерных ящиках, на своей спине. Несли к этой вот недоброй, жесткой земле макушки с листиками, веселыми и морщинистыми, будто лицо бабки Семенихи. Затем ждали всходы, пололи, окучивали и снова пололи.

Наступила осень, и мы засуетились — копка подо-

шла.

Готовилась к ней отцовская организация, добывая грузовичок для вывозки картошки (а нам надо было припасти расчет с шофером — деньги или бутылку водки).

Готовилась мама — копила масло, сахар, сушила хлеб.

Я же сам точил орудие копки. Его придумал отец, а сделал Димка. Это была помесь вил с лопатой (сейчас бы сказали — гибрид): три широких, длиннющих зубца, тяжелых и крепких.

Копалось лопато-вилами удивительно легко. Они шли в любую почву и выгребали, почти не пошевелив землю,

картофельные клубии.

И выворачивать их из земли было легко из-за особенного выгиба рукоятки. Поэтому Димка, выкопав с братьями свою картошку, в выходные дни нанимался выворачивать чужую (собирали ее сами хозяйки). Платили хорошо — мешок с загона. Так набирал он пять-десять мешков, назначаемых им к продаже весной, когда стоит она дорого.

Ну а мы садили и копали картошку сами.

...Тетерка улетела в березы. Лес здесь был реденький, нищий, как сама земля. Да и год выдался засушливый: в лесу нет осенних опенков, таких вкусных в похлебке.

А картошка! Не земля была — глина, и картошка не росла, а задыхалась в ней.

Дрянь земля, неудачный год!

Много времени прошло с тех пор. Делал я самые разные работы, даже составлял топографические карты. И теперь знаю, что труднее всего выкапывать картошку из плохой земли, если она величиной с горох.

— Без лупы не разглядишь, — бодро острил отец, выбирая картошку из вывороченного твердого кома, не

желавшего рассыпаться.

...Мы копали день, второй, третий, а картошки набралось всего-навсего пять мешков. Можно было ожидать еще один. Хлеб мы слопали, даже растительное масло, темное и горькое, подходило к концу.

Мама почернела от грязи и расстройства, отец шутил, а я упрекал родителей в безмозглости. Ведь давали

же нам другое поле.

— Но оно очень далеко и заросло поляком, — покорно говорил отец. — Его полоть — черта за волосы тянуть.

— Зато там настоящая ка-арто-ошка-а-а! — орал я

(Время от времени, дразня, приносился грохот с железной дороги, по которой можно было уехать к глупо отвергнутому полю. И локомотив выговаривал ехидное: — «Дрянь картошка... дрянь картошка...»)

Отец решил отдохнуть. Он воткнул вило-лопату, оперся на рукоятку и заговорил. Как обычно, ни к селу ни

к городу.

— Раньше в Сибири было удивительно много стерляди, — сказал отец, и мама внимательно посмотрела на него.

Отец стал подробно рассказывать, как он в детстве ловил стерлядей в Оби, варил, ел... Также рассказал, сколько в Сибири водилось зайцев — тучи! И глотнул слюну. Лицо его было старое и худое, борода серебрилась, а глаза ушли вглубь, туда, где и лежали его воспоминания о стерляжьей ухе.

— Ладно, — сказала вдруг мама, но теперь уже глядя на меня. Я видел во всех узеньких морщинках ее лица черную пыль. Она прорисовала ее лицо, будто ка-

рандаш недопроявленную фотографию.

— Сынок...

— Чего тебе?

 Снимай-ка рубашку, мы ее продадим, — велела она. И я снял рубашку, доставшуюся мне от дядьки к дню рождения.

Хороша была рубашка, шерстяная и яркая, словно апельсин. Мне завидовали все мальчишки с нашей

улицы.

— А что надеть? — спросил я, ежась на ветру.

— Ходи в ватнике, а мы...

И я понял маму: если что было возможно обменять в деревне на еду, так это рубашку или отцовское ружье.

Но ружье выгоднее оставить. Оно кормило нас дичью и будет еще кормить. К тому же я люблю стрелять.

А рубашка — это ерунда!.. Кончится война, и красных теплых рубах будут горы... Мать свернула рубаху.

— Пойдем-ка, отец.

Он встрепенулся с неприличной, даже хищной, радостью, чем поразил меня в сердце. Не то чтобы я любил

рубаху больше него, нет, отца я жалел.

Он оброс светлой и толстой щетиной в эти четыре дня, здорово похудел. И лишь сейчас я понял, как отцу тотелось есть. И пусть ест! Что мне, жалко рубаху? Да ничуть!

Он потрепал меня по голове.

— Ты не печалься, мы поменяем ее на масло, смета-

пу и огурцы.

 — Йопробуйте-ка, — сказал я. Отец прихватил с собой и холщовую сумку — надеялся на крупный обмен.

Я вздохнул.

Обычно менять вещи на еду ходили в деревни мы с мамой. В этой деревне я бывал и знаю, здесь свиной совхоз. Все кусочки сала, что оставались на снятой шкуре свиньи, деревенские срезали и засаливали. Это и было их продуктом обмена на городские вещи — пальто, велосипеды, ружья. Огурцы и сметану они и сами не сли — коров не держали, огурцы выращивать не умели.

...Я надел ватник и затянулся ремнем. Взяв ружье, я обошел поле, все его закрайки — без надежды, а так, на удачу, авось что-нибудь попадется. Скажем, дрозд. По повсюду я видел лишь угрюмые, грязные лица и реденькие сборища картофельных мешков: у многих уро-

жай был еще хуже нашего.

Мы были — в масштабах этого поля — картофельными капиталистами. Ее нам хватит до середины зимы: мелкая картошка выгодна в еде — клейкая, и много ее нечистишь.

А если мама отпустит меня с Димкой на дальнюю охоту, то я привезу домой штук сто присоленных уток, и мы протянем эту картошку до весны. А вдруг я уло-

маю старика Викентьича, что торгует барсучьим жиром. Он возьмет меня с собой на охоту, и я настреляю барсуков. И мы сытно проживем зиму. Не нужно будет в морозы ходить по деревням.

Да, надо, надо кормить отца. Но раз он хочет масла,

то нужна вареная картошка.

Я вернулся и стал разводить костер. Когда он загорелся, пустив дым, я лег с заветренной стороны и грел-

cя.

Я дышал теплом и дымом и мечтал о соленых огурцах и сметане, которые не принесут мама с отцом. А вон, на лесной опушке, мои родители. Они идут быстро. Вот отец поднял руку и что-то блеснуло в ней, а теперь так ярко желтеет в отцовской ладони. Будто солнечное пятно вспыхнуло в этом сером, ветреном дне. Отец кричит:

— Настоя-ще-е мас-ло-о-о-...

И все копальщики с завистью посмотрели на отца.

Нечего завидовать, надо иметь красные рубахи. И вот оно уже рядом, это масло. Топленое! Налито в четушку! Я беру четушку и гляжу сквозь стекло. И вижу, что масло крупитчатое и каждая его крупинка звездочка. А в гущине масла (оно в середке полужидкое) ходят и свиваются какие-то спирали, будто кипит что-то.

Я знаю, что кодит. Сила! Она поможет нам докопать картошку, просушить ее и ссыпать в мешки. А затем кинуть их на машину, и даже самим забраться наверх, и быть счастливыми — картошка выкопана.
— Хорошее масло! — ликует отец.

— По запаху похоже на довоенное, — говорит мама. — С ним ты поешь картошку.

— Вы отдыхайте, — говорю родителям. — Я сварю

И вот они лежат на сене у шалашика, серые, как земля. Я же сбегал к ручью и быстро намыл картошки.

И вот сижу у костра и в котелке варю картошку. Собственно, варит костер, а все знакомые наши художники приходят, нюхают наше масло. И, шевеля носами, говорят, что пахнет оно божественно.

А отец уверяет, что если бы он ел такое масло, то выздоровел бы. Я же то и дело иду к нему от костра, беру четушку и нюхаю масло, гляжу на ходящие в нем

спирали и не жалею свою рубашку.

— Не хотели давать, такой вредный старикан, у него одного корова в деревне. Но я настоял.

— А огурцы?

— Какие тебе огурцы? Масла, что ли, мало?

Родители дремлют. Я беру четушку и ставлю так, чтобы костер не грел, а только дышал на нее, превращая масло в солнечную жидкость. Потом мы станем есть картошку.

И вдруг тетерка!.. Вот перелетела поле и села у березняка, совсем рядом. Но там ее пугнули, и дура летит

пад полем, мимо меня, охотника.

И прямо на глазах садится, я даже увидел всплеск ее крыльев в картофельной ботве. Хватаю ружье: до тетерын метров сто. План охоты готов: я подкрадусь к ней, вспугну и подстрелю летящей... Вот будет жизнь! Вареная тетерка! Свежая картошка!

Отцовское тяжелое ружье в моих руках легче пе-

рышка.

Я крадусь... Где же тетерка? Она здесь, лишь бы не отбежала! Но хитрая тетерка вылетела сзади от меня. Пронеслась вдоль поля, опять села... Проклятие!

Я спешу, спотыкаюсь о какой-то чертов корень. Как он попал сюда? И снова тетерка, взлетев, опережает меня. И опять села на поле — такая странная тетерка!..

Затем она решительно полетела в березы, и дробь моих пущенных с отчаяния далеких выстрелов не задела ее.

...Бывают года удачные и невезучие. Этот год всем был плох для нас — отец болел, я нахватал двоек. Взять хотя бы эту картошку. И лекарства отцу не помогают, он все кашляет и кашляет.

Гоняясь за тетеркой, я не подумал, что год этот жесток к нам. А я должен был подумать, что неспроста же попала тетерка в место, где дичь выбита подчистую. Задать вопрос, почему она и взлетела-то ненормально, вверх, а там давала вираж. Так порядочные тетерки не летают! А потом увильнула от меня в лес.

Ушла тетерка... Одураченный и безнадежно несчастный, я шел к костру. Шел и думал, что в этом распроклятом году все идет боком: наши отступили, Димкин

отен потерялся.

Издали я вижу копошащегося у костра отца. И мама тоже что-то делает. Что? Ага, картошка сварилась. Эх, подойти бы к ним с тетеркой, показать ее! А я шел с даром истраченными патронами.

— Я тебя бы разбила! — закричала мама.

— Тише, тише, — говорит отец. Проклятый год!.. Среди нарубленных мной дров оказалось ольховое полено, стреляющее угольками. Они с хлопком выкатываются из горящей кучи дров и, случается, даже распахивают дверцу печи. А я-то его не заметил. Куда смотрели мои глаза?

Я подходил, а отец затаптывал полено, что укатилось к четушке масла. Бутылка, понятно, лопнула, и масло сгорело. От сладковатой его гари отец и проснулся и не увидел меня у костра... Он ничего не сказал, в тот день я впервые заметил в нем покорное уныние.

С ним он и помер. И хотя я осенью землю носом рыл,

добывая дичь, но это уже не шло ему впрок. ...Я смотрел на бутылочные осколки, на уходящие дымом! — солнечные спирали.

Ни масла, ни рубашки — все ушло дымом вверх, к

серым тучкам. Проклятая тетерка! Злая судьба! Чертовы фашисты!

Я наказал себя — не стал есть горячую картошку и

пить чай с сахарином. Я ушел и копал один.

Я вдавливал трезубое лезвие в глинистую землю, потом тянул ручку на себя: вспучивался глинистый ком, и появлялись лезвия лопато-вил. Разбивая глину, выбирал полузадушенные картофелины, бледные, жалкие, корост-

лявые. Складывал их в ведро.

Оно наполнялось медленно-медленно. «Не хочу есть, никогда больше не стану есть, пусть будут прокляты все пестрые тетерки, перестану охотиться и жить не буду, помру и все, так мне и надо», — думал я, всаживая вилы в землю... Пришла мама и стала выбирать картошку — работа двинулась быстрее. Затем подошел отец. Я отдал ему трехзубую помесь, а сам стал помогать маме выбирать картошку.

К вечеру, когда смеркалось, посыпался реденький снежок. Отец и мама ушли разводить костер и греться. Понятно, звали и меня, но я копал. От злости на себя я стал костяной, не уставал, даже руки не мерзли. А если

бы и замерзли, то так мне и надо!

Темнело. Устав звать, родители ушли к шалашику. Я копал всю ночь и к утру прикончил наш участок. Тогда я лег у шаявшего костра и проснулся лишь в полдень от крика и шума: картошку грузили на машинуполуторку.

Грузили скопом, крича почти безнадежно под тяжестью мешков, сделанных из матрацной наволочки, на

тридцать полных ведер картошки.

— Раз-два... взяли-и-и... ŷ-yx!.. A-ax!..

...До города было недалеко, к вечеру шофер приехал вторый рейсом. Мы уезжали, навсегда оставив за спиной это поле, шалаш, кострище. И осколки четушки из-под удивительного масла. Но только не беды этого тяжелого года...

УДАЧА

Иногда приходит большая удача, но это понимаешь не сразу. А лет через тридцать вдруг спохватываешься и видишь, что удача одного дня была удачей всей твоей жизни.

Люди быстрого ума такой промашки не допускают, но если мысль бредет с палочкой, то понимание приходит всегда поздно. Но радуешься и этому.

Однажды такое было: навис туман, как дым. До полудня солнце его не пробивало, а только наполняло розовым свечением. Потом он рассеялся. Быстро. Толь-

ко что был, и уже нет его, и все так далеко видно. Но за это время произошло то, что в ясные дни не случается. Ведь туман не просто глотает землю, обрывая ее впереди тебя, он притемняет голову. Вот и мы тогда заблудились в тумане, хотя дорога была прямая. Мы шли на картофельное поле накопать молодой картошки.

чиненых-перечиненых Я нес лопату, мама — два мешка. На поле я подрою кусты, и, набрав по два ведра картошки в мешок, мы завяжем их, потряся, раз-

делим картошку ровно пополам.

Затем перекрутим мешки посредине и, забросив их на плечи, унесем на станцию, а там увезем домой еда кончалась. До поля было примерно семь километров ровной степи, и вела к нему почти прямая дорога.

Но в тумане мы спутались.

От станции отходило множество дорог, нам же нужна была та что сначала шла мимо будки сторожа, мимо его лопат и метел.

С пригородного поезда мы сошли прямо в туман, а на перроне вдруг произошла какая-то суета, раздались крики. Кажется, в отходящем поезде что-то забыли.

Это произвело шум и сутолоку, а маму хлебом не корми, лишь дай побегать и покричать от нестерпимого желания помочь. Я бегал рядом с нею, чтобы нам не разбрестись в тумане, таком густом, что он запросто сглотнул целый поезд. Когда мы вспомнили о будках и лопатах, то уже давно шли, а впереди нас бежала степная дорога с пучками полыни, тут же исчезающими в тумане.

Наша дорога или чужая, мы не знали, все дороги в степи похожи одна на другую. Потому и шагать по ней было страшновато. Но бодрая мама уверяла, что это ничего, мы придем куда-нибудь, и добрые люди скажут, где наше поле. Еще говорила, что туман произошел от лесных пожаров, что так бывает в августе, когда на севере горит тайга и дым застилает Сибирь.

Что такое семь километров для тощего хожалого человека военных лет. Ерунда! Но мы прошли семь и еще семь километров, а березовые столбики у дороги, ко-

торые отмечали наше поле, куда-то провалились.

Если бы не туман, пробравшийся в наши головы, мы должны были вовремя спохватиться и все начать заново: вернуться на станцию, найти будку с метлами п там свою дорогу. Мы даже говорили, что нужно бежать обратно, искать знакомую дорогу. Но туман вошел в наши головы, и мы оскорбились за себя, неужели уж гакие бестолочи и заблудимся. Хуже, мы убедили себя, что идем почти верно, что туман рассеется и мы увидим поле. Даже, спрямляя путь, мы пошагали прямиком в степь.

Не бездумно: в сторону нашего поля шла не одна, а две понемногу расходящиеся дороги. В нормальные дни, шагая по своей, мы с ясностью видели соседнюю, даже фонтанчики пыли, что взбрасывали босыми ногами огородники завода радиодеталей. (Такие же фонганчики видели и они, потому что мы тоже ходили босиком, сберегая обувь к осени.) Но чем дальше, тем больше расходились дороги. А затем наша описывала полукруг и приводила к полю. В этом месте, мы зна-

ли, дороги отстояли одна от другой на три-четыре километра. Их-то и решила спрямить затуманенная мама. Я же, как и все охотники от пяти до семидесяти пяти лет, всегда стремился к приключениям, к ходьбе вдаль.

К тому же мы сильно рассчитывали на прояснение.

И здесь, в степи, мы погибли окончательно. Если верить отцовскому «мозеру», что был посажен в моем кармане на цепь, было восемь утра, потом девять, десять,

а туман не рассеивался.

Мы шли по травянистой, от веку не паханной степи, и нам хотелось есть. Но еда была на поле — картофель, который можно выкопать, а затем испечь в костре. Для него припасены соль и аптечный пузырек с растительным маслом.

Часов в одиннадцать, если судить по «мозеру» (и ворчанию наших желудков), мы уже роптали на свою

неудачу. И не то чтобы устали.

Мне не раз приходилось с ружьем и патронташем, сгибавшими меня в дугу, исхаживать в день по сорокпятьдесят километров, чтобы добыть какую-нибудь дичину. Мама на такие же расстояния ходила по деревням, обменивая отцовские рубахи и свои платья на еду.
Пронять нас ходьбой было нелегко, а запугать километрами просто невозможно.

Но туман... Казалось, что он лег навсегда, что мы будем илти и никуда не придем. А отец и сестренка

останутся голодными и помрут без нас.

И вдруг туман стал расходиться. Он быстро редел, поднимаясь и становился желтым. Солнце, что было за нашими спинами, отбросило на убегающий туман наши

тени, громадные, будто мы были великанами.

…Да, путает головы туман. Громадны в нем поездные вагоны, будто уносящиеся в неведомый мир, и деревья похожи на пучки полыни, а те словно деревья. Проклятый туман в голове ли, на улице прятал или корежил все.

А мне была нужна ясность.

Я хотел ее, я дрался за нее: тогда я был сильный и злой мальчишка, заботящийся о пропитании семьи. От меня зависело все относящееся к картошке (мама лишь помогала).

Я садил картошку, окучивал ее, копал. И мешки грузил в машину тоже я — двадцать или тридцать кулей —

не хуже взрослых.

А еще я охотничал. Я выслеживал дичь, стреляя ее из отцовского ружья. Охотился в одиночку в свои пятнадцать лет, бродя по лесам, бывая в поле, на берегах рек. И пока ясно видел все вокруг, ничего не боялся.

Ни-че-го!

...Туман поднялся и открыл незнакомое место. Мы увидели поблескиванье воды и темные избы деревни.

Деревня! Озеро!

Значит, найдутся люди, которые скажут, как нам идти к картофельному полю. Но могут и наврать.

Я знал, есть деревни добрые, в которых покормят

даром.

В иных живет люд недоверчивый и злобный. Там могут обмануть и даже отобрать вещь, принесенную мамой на обмен. Конечно, если рядом нет меня, взъерошенного, верткого, злого. Моя городская голодная озлобленность поражала деревенских мужиков. Они говорили:

— Тебя я соплей перешибу.

— Попробуй, — отвечал я, подбираясь ближе и зная, что военный хилый мужик не устоит перед же-

стокими приемами наших драк

...Неудачники мы с тобой, — говорила мама, но я молчал, злобствуя на туман, на нашу безголовость. Еще во мне сидел вызов неведомому, тому, что близилось с каждым шагом.

Какие люди здесь? Добрые? Злые? «А ну попробуй-

те обидеть!» — топорщился я.

Но когда долго не везет, то приходит и удача. Мама, шагавшая со своими мешками, вскрикнула:

-- Что это?

В траве лежала, раскинув крылышки, красивая уточка, мертвый чирок-трескунок.

Я охотник и многое знал об утках, а в особенности о чирках. Их было проще встретить на весенних при-

городных лужах.

Охотясь, я чирков влет не стрелял, носились они с громадной скоростью, хотя были величиной с голубя. Я ехотился на чирков скрадом, бил сидящими, ползя к берегу на брюхе, пока не оставалось до уточки метров пятнадцать-двадцать.

Умерший чирок... Все равно к мертвому ли, к живому чирку я питал большую нежность. Обожал их, убивая, и не задумывался почему. Как и все охотники.

Я любовался уточкой. Мама всеми запылившимися по дороге морщинками тоже смотрела на нее. И вдруг задала женский вопрос:

— Почему он умер?

А я почем знаю? Может, заблудился в тум Не зная, где низ и где верх, он расшибся о землю.
— Есть его можно? — спрашивает мама.

— Дохлого! — возмущаюсь я.

— Ну, если он не совсем протух, — бормочет она. И я делаю то, чго делает каждый охотник, найдя убитую птицу: он раздувает перышки и смотрит, куда попала дробь. Я тоже дую и вижу кровяные следы дробинок: чирок был ранен выстрелом. Это понятно, вот озеро и деревня, и в ней охотник.

— Он застрелен, — говорю я, и мама начинает улыбаться. Ведь каждого убитого мною чирка она делит сначала пополам, а затем еще и еще. И каждую часть

варит в полуведре картофельной похлебки. Ладно, убит... Тогда проверим, давно ли убита красивая уточка. Она еще тверденькая, не отмякла. Значит, недавно. Может, она подбита вчерашним вечером, но улетела и умерла в степи? Остается самое важное испытание. Мама раскрывает плоский клювик и приближает к нему свой заостренный голодом нос. Нюхает долго. Затем нюхаю я, и снова она. И мы улыбаемся друг другу — уточка свежая. Во удача! Добыть дичь, не истратив не единой дро-

бинки!

Что там картошка! Она в земле, не убежит, а вот

чирок...

— Спасибо тебе, туман, — говорит мама, а я прячу уточку в «сидор», и мы спешим к селу: напиться ко-

лодезной воды и узнать дорогу к нашему полю.

И вот мы пьем холодную, до боли в затылке, воду, а хозяйка колодиа, курносая старуха, глядит на нас. Потом она заговорила с мамой, сначала о тумане, откуда такой, о войне, семьях. Старуха безжалостно и подробно выспрашивала маму о хвором отце, о сестренке.

— Почему тощий парнишка? Чахоткой болен? — допытывалась она. А мама такая, с ней только заговори, и она все выкладывает, со смехом, с вскриками, сле-

зами.

Вот и сейчас она рассказала все до ниточки, а я

стоял и молчаливо презирал ее.

Старуха, слушая, подперла щеку рукой. Сама она длинная и худая и лет ей, наверное, двести. Вон как ее морщинками перепахало! Она слушала и кивала: да, да, и в городе тяжела война... Подошел и стал слушать маму зеленый дед, подбежал парнишка с меня ростом, только в плечах пошире, и тоже стал. Распахнул рот. будто калитку.

Они жадно впитывали неудачливую историю нашей

семьи.

— А отец при смерти? — сказала старуха.

— Болен он, болен...

— А сына спасешь?

— Детей я сберегу.

— Государство помогает?

— Обед по талону дают.

Эх, увести бы мамку! Но разве ее теперь утащишь... Но как хорошо, что я не увел маму, замечательно, что ее слушали старик и парнишка с круглыми глазами. Прекрасно, что в русском человеке есть та доброта, что обволакивает все шершавинки мира, этим смягчая их и давая возможность жить.

Мне было пятнадцать лет, и я хорошо знал, что деревни в сосняках и березовом лесу населены людьми благодушными, те, что поставлены около комариных болот или в глухом лесу, сердиты и скучны. Я знал, что степной человек хитер и скрытен, он словно бы городит в себе те деревья, что укрывают от беды живущих в лесу.

И так же хорошо знал, что всюду есть и злые и добрые: и около болот, и в лесу, и в степи. В этот день туман привел нас к добрым людям.

И ежели теперь я, поживший человек, внутренне холодею, страшась увидеть новую жуть человеческой истории, то вспоминаю старуху и ее зеленого деда, предложивших нам — даром! — кровь телки, что они закололи.

Когда мама сказала им, что нет, не донести кровь в город, испортится, они подарили нам половину головы телки, объевшейся клевером. Да, да, нам дали половину несчастной телячьей головы и показали дорогу к картофельным полям. И мы, легкие и почти бесплотные, пробежали сначала в поле. Оттуда же, взвалив на плечи мешки, рванули на станцию, к будке и метлам, решив, что ладно, поедем голодными, зато накормим отца и сестру.

А когда, устав так, что шевелился только язык, мы садились у дороги и отдыхали, мама говорила сразу о

всем: о доброте людей, о телячьем студне, о том, как его лелать.

— Во-первых, нужен чеснок, и не забыть бы сказать Семенихе, чтобы, молясь, она попросила лет десять жизни той старухе и ее старику.

А еще мы бредили о супе из головизны, о жареном

с картошкой чирочке.

...Пригородного поезда ждать было долго, и мы уехали даром. Взобрались на буфера одиноко стоявшего паровоза, а тот помчался в город почти без остановок.

Паровоз ревел и дрожал, будто хотел стряхнуть нас на рельсы. Мы цеплялись, ноги ерзали по железу, руки наши слабели, клубы то дыма, то пара обволакивали нас. Из тендера, обдуваемого встречным ветром, осыпало угольными крошками.

Появился на тендере кочегар. Он что-то крикнул, но мы не услышали его. На первой остановке к нам подошел машинист, перемазанный с головы до пят черным

маслом. Он сказал матери:

Тебя же ветром сдует, бабка.

— Не сдует, милый, — ответила мама. — Удержусь. Но было что-то странное в ее голосе. Что? Я взглянул на маму и впервые увидел сухонькую, пыльную, озабоченную старушку.

Мама старая...

Это меня как-то придавило, будто я на плечах держал не два, а четыре ведра картошки. Домой я шел молча и не слушал, как она будет кормить нас жареной, нет, тушенной в духовке уточкой.

...Вот какой в жизни был счастливый туман. Он привел меня к добрым людям. С тех пор их доброта берегла мою жизнь, стоила она того или нет. Но понял

я это, лишь постарев.

Да, часто силу жить дает мне знание, что доброта и есть тот слон, который держит наш яркий, милый, пропитанный горечью мир.

1

Когда наметили открытие выставки (откладывали ее раз десять), шла зима с желтым небом, средней глубины снегами и нестерпимым их блеском.

В такой день Горшков, в черных очках, похудевший и словно выросший из старого зимнего пальто, нес картину на выставку. Помогал ее нести сын, Колька-Молчунок.

Картину они обернули двумя бязевыми вечными простынями, перевязали веревками крест-накрест. И по

несли, жмурясь на встречный ветер.

Не хотелось Горшкову показывать ее, но выставка... Оконченное полотно требует показа людям. Горшков и так задержал: покрывал холст лаком. Работа была деликатная, утомительная, приятная.

Они несли картину: впереди шагал Колька — быстрыми мелкими шагами, за ним пыхтел Горшков в

новых жестких валенках.

…В зале они поставили картину, сняли веревки и простыни. Горшкову было страшно — рядом стояла картина Птушко. Огромная картинища! И как сработана!

Горшков решил, что соревнование он проиграл.

2

Горшков жил на окраине города, и ему это нравилось. Во-первых, народ еще не городской, но уже и не деревенский.

Все, все у них городское: и приемники скрипят, и антенны телевизоров выставили рога, и мотоциклы, будто кони, поставлены во дворах.

Вполне городские люди! Но и деревенские в то же самое время — живут в своих домах, у каждого есть двор с яблонями и зеленая плесень мхов на тесовой крыше.

Были дома, вылитые из шлака с цементом. Крыши их покрывали черепицей, похожей на чешую вымерших

ящеров, либо черным толем в несколько слоев.

Толь — хрусткая штука. Бывало, разойдется, разгуляется ветер. В центре он оборвет провода да расшибет в ледяные клочья незакрытые окна. А здесь и деревья трясет и крыши. И толь сорвет, пустит лететь по воздуху огромнейшей черной птицей.

Потому и нравились окраинным жителям тесовые, плотно сколоченные крыши: и тепло, и надолго поло-

жено.

И художникам нравились: в дождь крыши темнели, в ведро блестели вытопившейся смолой, а вечерами мох, прошедший пазами крыш, обретал цвет ржавчины. Глаз

радуется!..

Й в огородах сущая благодать: морковки, редьки, томаты, подсолнухи. Напрягая шершавые, мускулистые шеи, они поворачивали головы за солнцем, ловя его широкими лепестками и теми мохрушками, что прикры-

вали вызревающие семена.

Любили художники окраину. Они приходили с деревянными треногами и раскладными стульчиками. Поставив треножники, развинчивали тюбики с красками. Пуская запах скипидара гулять по улице, писали голубятни, тополя, желтые подсолнухи. И, кивая друг другу на краны строителей, говорили: «Надо спешить, это уходит».

Горшков объяснял подробнее:

-- Исчезает окраина, наступает город, теснит. Надо поскорее зарисовать и сберечь красоту окраины нашим правнукам.

— Рад, что ты хоть это понимаешь, — отвечал Птуш-

ко, набирая на кисть краску. Он не любил Горшкова,

считая его пишущим по старинке чудаком.

— А солнце-то, солнце, — говорил, крутя головой Горшков. — Слепит! А ты черно пишешь. Говори, зачем сажей пачкаешь холст?

— Это сложное дело, объяснять, — отвечал Птушко. Нет, не любил он Горшкова: непостижимый тип! Живет здесь, а мог бы переселиться в центр. Огород возделывает глупо. Надо посадить сладкую, с витамином, морковь, благоуханные огурцы и высокие, цеплявшиеся за палки томаты. Горшков же сеял одни подсолнухи. Их в горшковском огороде полным-полно. Разных: величиной с палитру и маленьких, черномазых, с фиолетовыми лепестками.

Осень, а случалось, и зиму, горшковское семейство щелкало семечки этих подсолнухов, если пейзажи Горшкова не покупали.

Птушко в добрые минуты не раз манил его в центр. Но Горшков твердил о бархатистых тонах, о чародей-

стве дождей, о подсолнухах.

— Одно меня обижает, Вася, — говорил Горшков. — Я солнце люблю, а оно ко мне приходит последним. Поднимаясь, оно освещает самолеты. Что же, я не обижен, высоко залетели. Потом греет телевизионную башню, которую я ненавижу: сколько теряют люди! Они мало бывают на улице, красота ее гибнет незамеченной.

— Я смотрю на то же самое противоположно, — го-

ворил Птушко.

— Когда солнце поднимется выше, лучи его падают на городской центр. Последним иду я. Есть и другая обида — все могу написать, а солнце нет, краски тусклы. Но вот солнце лежит на моей крыше.

— На дырявой крыше, — язвил Птушко.

— Я прикрыл дыры старыми этюдами, — возражал Горшков. — Дождь не пробивается... Солнце по крыше

ручьями скатывается в огород и падает на подсолнухи. Затем начинают светиться тыквенные и огуречные цветы у соседей. И каждая травка просит солнца. Кстати, ты не думаешь, что в травинке проступает человек?.. Мы с тобой, например?..

— Не думаю, — отвечал Птушко, кладя следующий мазок. — А солнце ты пиши белилами, вот и все!

Он начинал сердиться на Горшкова, мыслящего певнятно. Оттого тени, крыши и деревья казались синее, чем были на самом деле. «У меня синее на-строение, — соображал Птушко. — Пусть и уличный пейзаж будет синий».

— Солнце, солнце... Не забывай роль тени, — ворч-

ливо говорил он.

— Но мы, живописцы, дети солнца, — отвечал Горшков, улыбаясь. Птушко скосил глаз и заметил на его

посу шелуху сгоревшей кожи.

— Твое солнце, дай ему волю, сожгло бы все. Тень родит жизнь. И какое же ты дитя солнца? Ходишь босиком, рубашку на груди не застегиваешь, не уважаешь гы звание живописца. Погляди на меня — я всегда в костюме и при галстуке.

— Ты прав... — соглашался, конфузясь, Горшков и

частегивал ворот.

Ему было весело. Солнце, когда он смотрел сквозь ресшины, становилось то зеленым, го черным. Играло с Рим.

«Отчего умный Птушко пишет солнечную улицу чер-пой краской? — задумывался Горшков и не понимал. — Быть может, в черноте зарыта мысль?»

— По-моему, — говорил он. — Каждая мысль све-

позарна и выражается ясными красками.

— Нет! — отвечал Птушко. — Мысль плотна и тякела. Как тень, в которой мы отдыхаем, как сталь. Сталь можно отполировать, и она заблестит. Ее можно огложить до времени. Мысль плотна и крепка, такое

мое убеждение. А световые кванты?.. Унеслись и нет их. Но ты мне мешаешь.

— Прости... — Горшков уходил домой рисовать пей-

зажи.

3

Посреди комнаты стоял мольберт, в окно било солнце, по крыше, стуча пятками, бегал сын. Горшков писал — по этюду — реку и по ней плывущие лодки.

Вода принимала в себя розовый цвет солнца, а лод-

ки вбирали в белизну своих бортов небо.

В лодках сидели голые по пояс рыбаки, кожа которых была и розовая и голубая в одно и то же время. Но солнце... Горшков понимал: солнце не может быть нарисовано, оно выражается только в светозарной мысли, вложенной в картину. Мысль... Птушко всегда думает, всегда размышляет. Но мысль его тяжела.

— О чем я думаю, когда пишу? — спросил себя

Горшков. — И думаю ли вообще?

Он стал перебирать этюды: на одних написано небо, на других — река, на третьих — лес. И всюду солнце. А мысль?.. «Я люблю тебя, солнце»?.. Горшков разбросал этюды по полу и ходил между ними, за ним бродил кот Филька, взодрав пушистый хвост.

Да, в каждом этюде он пытался поймать солнце, ло-

вил его, но солнце было рисованное, а не горящее.

— Слаб я, — бормотал Горшков. — Слаб!

— Мрм, — соглашался Филька. Зеленые его глаза были прижмурены, усы огромны, шерсть отвисла до пола.

— А тебе, брат, жарко, как Птушко, — сказал ему Горшков. И ужасался: — Қакой я художник, если нет у меня мысли? Люблю солнце! Это не мысль, а ощушение.

— Мрм-мря... — Филька, утешая Горшкова, потерся о штанину.

— Я бездарный, — сказал Горшков, как все художники, любивший ругать себя. — Но чем рисовать солнце?.. Какими красками?..

4

— Вот дом еще напишу и уйду, — решил Птушко. Птушко не мог писать не думая. Временами ему даже казалось, что каждым мазком на холсте он говорит слово и его картину можно читать, словно книгу.

Работая, Птушко говорил с собой.

— В этом доме, — рассуждал он, — живет старуш-ка с дурным глазом. Так сообщил Горшков. Старухи не видно, но я должен отметить ее проживание в доме. Чем?.. Итак, дом, старуха... Как это передать? А вот как — дом обязан походить на старуху. Пусть будет дом-старуха с недобрым окном, то есть глазом. Я должен передать присутствие старухи цветом, но с пронией: кто верит в дурной глаз? Решено: пишу дом черным цветом с проблесками синего, красного и желтого. А окно сделаю глазом. Так глядит уходящая окраина.

Птушко перемешал краски, подцепил их кистью, и

дом стал похожим на горбящуюся старуху.
— Молодец, старик, молоток! — хвалил себя Птушко. И закрыл шкатулку: ему хотелось пить холодный квас в густой тени и рассуждать о живописи с чудаком Горшковым.

— Зайду к нему, — решил Птушко.

Дом Горшкова стоял в глубине двора. Птушко шел по дорожке. Видел: каждое дерево, каждая травинка бросает тень и ею прикрывает землю от солнца. «Вот она, спасительная роль тени!»

Горшков в одних трусах любовался подсолнухами.

Жена его, сидя на корточках, щипала растительность с грядки — одна морковная грядка все же была.

— Здравствуйте! — сказал Птушко. — Опасно ра-

ботать в жару, я чуть не сварился.

— Пойдем в тень, — сказал Горшков.

Они ушли в тень большой яблони, там пили холодный чай и ели оладьи, смазывая их медом. Закружились пчелы. На ветке тряс крыльями, требуя еду, знакомый

воробьеныш Горшкова.

Птушко рассказывал Горшкову о тени, умирающей окраине и доме-старухе. Он снял с шеи галстук и кинул его на веточку, снял пиджак. «Куплю-ка я себе дачу, — думал Птушко. — Там буду пить чай и кормить оладьями воробьев».

Горшков думал, насколько умнее его Птушко. «Мне

бы такую голову!» — завидовал он.

— Ты говорил о светоносной мысли, — разглагольствовал Птушко. — Это, знаешь ли, метафора, поверхность мечты. Чем ты сможешь выразить ее на холсте? Провертишь дыру в холсте и поставишь лампу?

— Не знаю, — сказал Горшков.

— Вот то-то же! А я свое мнение о тени могу спокойно выражать красками. Хм, знаешь, мне пришла в голову идейка... Давай-ка сразимся, а? Я беру мысль реальную, плотную, а ты светоносную. Старик, мы напишем окраину, я свое мнение — она вредна, а ты свое да живет окраина! Согласен?

Горшков смотрел в широкое лицо Птушко. Они вместе учились, потом разошлись: Птушко гремел на выставках, он копошился в своей мастерской.

Насмешливы глаза Птушко, до железной синевы вы-

бриты щеки. А рука, держащая стакан, а плечо?.. Сильный человек сидел перед ним.

Этот все напишет.

А если согласиться?

— Старик, этим предложением я гебе открываю го-

ризонт славы и опасности: ты не писал картины, все пейзажики. И предупреждаю: победит тень.

Светозарность!...

— Вот и покажи светозарность окраины, я же сделаю ощутимость ее. Ну пока.

Смеркалось... Текла по улице мутная река сумраков. Горшков пошел нагулять сон. Ему было приятно идти —

все знакомо, родственно...

Всплыла луна, похожая на тыкву, скрипела транзисторами гуляющая молодежь, бегал вдоль улицы сын Колька, раскидывая руки, хотел взлететь, как он сам когла-то...

Горшков размышлял... Хорошо, картина. Но справится ли он? Ведь картина растет, как дерево: семя, корни и так далее. Любое дело прочно годами работы, но Птушко работает быстро, и выставка на носу. Горшков вернулся к дому, и лопухи касались его, а табак раскрыл белые звезды своих цветов.

И Горшков вдруг увидел будущую, написанную им

картину: улица светится в широкой темной раме.

Горшков видел около нее людей, там был в сверх-модном галстуке Птушко. Он кривил железную щеку и ругал Горшкова, говоря, что одна гравюра честно сознается в гом, что нам не по силам отобразить краски мира.

— Светозарность... — шептал Горшков. — Нужно заставить краски светиться. Но как?

Он схватил себя за толстые щеки.

...Пришло утро. Заря разбросила крылья над городом. Проносились, мигая плоскостями, самолеты. Раскалялся шпиль телебашни.

Горшков проследил утро — серое небо, движение по нему пятен и красных полос, а затем возгорание солнца.

«В конце концов это как и у нас, живописцев, — думалось ему. — Сначала серый льняной холст, затем его мажешь грунтом, делаешь подмалевок. И наконец пишешь картину. Так и солнце. Оно великий живописец, я малый».

7

Горшков дело не откладывал. Позавтракав, он стал вычислять размеры будущей картины. Она не должна оглушать зрителя размерами, а обязана тихо вбирать его внимание. Значит, размер ее должен быть для большой комнаты или малого зала, а холст самого мелкого зерна.

Горшков пошел в магазин, где продавали льняные ткани. Отличные! Одни были приятны глазам, другие — рукам... Наконец он зашел в уголок, где были повешены ткани поплоше — полосатая бязь на матрацы, образцы

льняного холста, зеленовато-серые и плотные.

Горшков смотрел их, изучал, как шла нить. Он тянул, пробуя, уступчива ли ткань. Наконец выбрал и подозвал продавщицу. Девушка с нарисованными глазами осмотрела простоватого Горшкова, зевнула от скуки и выписала талончик.

Этот холст, если отодвинуть его подальше, сильно

походил на предутренний сумрак.

— А вот мы тебя загрунтуем, — сказал Горшков

холсту. — Сначала тянем на подрамок и... того.

Он взял рейки, разметил их, отпилил. От сыплющихся дождиком опилок поднялся запах дерева — смолистый, бодрый. Горшков взял рубанок и сощурился... Пустил первую стружку. И, как всегда при такой работе, Горшков запел; с забора вверх полетели воробы. Стружки, падая на пол, корчились. Пришла жена и стала брать их на растопку.

А ты весел, — сказала она, улыбаясь.

Как вор-воробей, — отвечал Горшков.

Выструганные рейки Горшков сбил в подрамник, в уголки его вделал клинышки. Теперь, если натянутый холст ослабнет, подбив клинышки, можно сделать его снова упругим. Горшков сбрызнул холст водой и натянул на подрамник.

Он брал край холста щипцами-плоскогубцами и наткгивал. В этот момент сын молчаливо ставил гвоздик

и стукал по нему молотком.

— Последний нынешний денечек, — пел Горшков.

На следующий день он сварил клей для грунта. Особенный. За ним ходил к Птушко: тот славился качеством своих художнических припасов. Был у него и рыбий клей. Отсыпая в бумажный кулек, он спросил Горшкова:

— Что, заказ?..

— М-да, — ответил Горшков.

— Трудись, старик.

8

— Но тебе не кажется, что денежную работу нужно брать зимой? — спросил Птушко. — А летом полноценно отдыхать.

— Зимние дни коротки, — отвечал Горшков.

— Их я продляю лампой дневного света. Это удобно, купи себе. Ее спектр близок солнечному.

— Интересно! — оживился Горшков.

— Так что же ты затеял?

— А я, — сказал Горшков, — за картину принялся, как мы договорились: улица, соседи, березки в огородах.

Птушко потер грудь ладонью — сердце больно

кольнуло.

— Справишься? — спросил он. — Не принимай близко к сердцу тот разговор. — Я буду писать, — сказал Горшков. — Пейзаж и жанр, соединение города и природы на окраине. И солнце, конечно.

— А деньги? — напомнил Птушко. — Большая картина — большая работа, а семью надо кормить. Где ты

возьмешь деньги?

В самом деле, о них Горшков не подумал. Деньги... Он даже вспотел.

— А ты мне не дашь взаймы? Рублей сто.

Птушко обрадовался: просьбами денег Горшков признавал, что плохо разбирается в деле жизни. И, помогая, Птушко дополнительно возвышался.

— Дам пятьсот, — сказал он. — Сам принесу. А что

писать-то будешь, откровенно?

— Окраину, солнце.

— Окраину! — вскричал Птушко, до сих пор не веривший. — Но как будешь рисовать, если... — начал он и остановился, у художников это спрашивать не полагается. Поправился: — В каком... размере?

Для небольшого зала.

— Но ты же теряешь в силе воздействия на зрителя! Простейшая логика! А тон картины?

— Она будет светиться.

— Понимаю, светозарность... Но предупреждаю, ты сработаешь световую обманку. А вот я бы стал писать огромных размеров черную гравюру. Но каждая черта, каждый штрих картины — это слово, это отходная окраине, это мысль о городе будущего. И несколько красных пятен придадут тревогу, и несколько синих протянут в картине звенящую ноту вечности... Ладно, мы посоревнуемся с тобой, старик. Я тоже берусь. А деньги сниму с книжки и принесу. Трать расчетливо.

— Спасибо.

Горшков простился и ушел, думая, отчего у него нет сберегательной книжки?

— ...Где ты был? — спросила его жена.

— Куда ходил? — закричал Колька.

Горшков рассказал им и стал распускать клей в горячей воде.

9

Зрел грунт, готовясь принять краску. Но через болтливого Птушко всем стало известно намерение Горшкова писать окраину и солнце. Художники заволновались: сломает шею, чудак, а поднимется ли? Все же семья. Они заходили к Горшкову, будто нечаянно. Пили чай и вели с ним разговор об опасностях такой работы.

Как писать солнце? — спрашивали они. — Под-

нимешь ли?

— Попробуем, — отвечал Горшков.

— Hy-ну, — говорили художники. — C пупа не co-

рви. Нашему бы теляти да волка поймати.

— Поймаю, — отвечал Горшков и решил картину на мольберт не ставить: придут, будут сочувствовать или ругать, портить настроение. Пусть мольберт держит на себе ерундовую картину; полотно он привесил к стене.

Он вбил посредине рамы два гвоздя и образовал

этим продольную ось картины.

Другую пару гвоздей он вколотил в стену и привязал к ним два крепких шнура. И концы шнуров — к гвоздям, высовывающимся из рамы: получилась вертушка.

Чуть кто приходил, брал Горшков картину за край и переворачивал лицом к стене. А картина не человек,

ее с затылка не узнаешь.

10

Птушко, предчувствуя победу, подобрел к Горшкову. Однажды замечтался, будто со сверточками приезжает в горшковское семейство. Жена Горшкова срочно варит картошку и кипятит чай, его Ириша тоже участвует:

нарезает севрюгу и раскладывает на тарелку. Затем

варит креветок с укропчиком и перцем.

Горшков же, красный от благодарности и смущения, откупоривает бутылки с пивом, тоже привезенные Птушко. Младший Горшков смотрит удивленными глазами на этот натюрморт.

Затем они пьют чай под яблоней: Горшков повесил в ее листьях пятисотсвечовку, и лампа рождает световые эффекты в листьях, целых или свернутых насекомыми

в трубочку.

И, вдохновленный крепким чаем, обнял бы он Горшкова за плечи и прошептал на ухо (чтобы жена не

услышала):

— А ну их, эти пятьсот рублей. Не последние! Никогда и ничего я тебе не дарил в день рождения, вот

и забери их. Лады?

Горшков станет отказываться, а потом многословно благодарить. А он, Птушко, будет втолковывать, что без Горшкова не взялся бы за тему окраины. Или взялся бы слишком поздно, когда ее снесли. А время-то уходит, его впитывает вечность.

Горшков морщит лоб и суетится душой. Благодарность к Птушко плющит его, как камбалу. У Птушко

же отличное настроение.

— Спасибо, друг, — говорит ему Горшков. — Без твоего клея, без пятисот рублей не смог бы я приступить к работе. Пусть неудача, но и высокая жизнь!

Птушко отвечает ему:

— Безумству храбрых, как говорил Максим, мы поем песню и каждый свою. Я рад тебе помочь. Кому-нибудь другому я бы еще посмотрел, а ты добрый человек. Кого ни спроси, все говорят, что ты добрый. Я уверен, что и кот твой, и подсолнухи, и воробьи, и лес, поле, река — все знают тебя, доброго человека.

— ...Нет! — вскрикнул Птушко. — Он денег не примет. Провал потерпит, будет семечки щелкать, а деньги

мне вернет. И потому, что не может понять: мне деньги достаются легко.

Но Птушко все сделал: и закуски добыл, и прихватил жену, и приехал в своей «Волге». Был чай, картошка, лампа (не в пятьсот свечей, а двести пятьдесят).

И, гуляя с Горшковым по мокрой от росы дорожке, где репьи хватались за брюки, он сказал:

— Вот тебе деньги. С отдачей не спеши.

Ощутив протестующее движение Горшкова, добавил:

— Жена им быстро ножки приделает.

Гулять по дорожке было хорошо. Летучие мыши не садились на белую рубашку, запахи белых табаков улетали к звездам, казалось, ходили среди них серебристыми облаками.

Птушко на миг показалось, что и он там, в черноте поднебесья, а тайны космоса глядят на него открытыми глазами.

И Птушко стал втолковывать Горшкову, что ночь благо.

Горшков слушал, хотя ему было скверно. Он страдал: креветки и севрюга вместе с кетовыми икринками гонялись в желудке друг за другом, вызывая неприятные ощущения.

— Смена дня и ночи, — диалектика мироздания, — втолковывал Птушко. — А ты хочешь одномерности солнечного дня. Нехорошо, старик.

Он подумал о своей картине — вот бы написать ее

размером от той звезды и досюда. А?

— Там что за звезда? — спросил он Горшкова. Тот икнул и ответил, что в голову пришло:

— Альфа Центавра.

Ирина Птушко в это самое время говорила с женой Горшкова.

— Скажите, милая, как вы делаете растертую калину? Я тоже хочу удивлять своих гостей.

 Муж осенью набрал калины, а я ее протерла с сахаром.

— Вы мастерица. А салат? Он слегка горчит и все

же очень приятен. Какая в нем тайна?

— Я добавляю листья одуванчика, муж неравнодушен к ним, он видит в одуванчике образ солнца.

— Очень мило, — говорила жена Птушко. — Очень.

Ваш муж оригинал.

— Дорогая, не пора ли нам домой? — сказал Птушко, вдруг захотевший немедленно рисовать картину.

— Прощайте и заходите к нам, — говорила жена

Птушко.

11

За руль села жена, Птушко смотрел на отражения фар. Бегучий свет мерцал на асфальте, но подчеркивала его тень. Не будь ее, и понятия света не существовало бы.

— Чудаки они, — сказала жена. — И как на севрюгу кинулись. Икра, я заметила, им тоже пришлась по вкусу.

Птушко ощутил злобу.

— Странно, — сказал он. — Очень странно. Я помню тебя тощей студенткой, большой любительницей поесть. Счета в ресторане бывали изрядные.

— Прости, я сказала не думая, — прошептала же-

на, но Птушко не расслышал ее.

— Странно, странно... А что ты сделала с сыном? Вбила в его голову, что ему можно, не заработав никопейки, носить костюмы, о каких Горшков даже не слышал! ...Пора, пора все опрокинуть, — злобствовал Птушко. — Вот уйду на творческую работу, и посидите вы, голуби мои, на картошечке. А когда продам картину и куплю ветчинки, грамм этак двести, вы ее сожрете причмокивая.

Тут машина остановилась, они приехали... Пока жена стелила постель, Птушко бродил по квартире: все не нравилось ему. Работа будет тяжелой. Готов ли он к ней?

— Надо и жизнь, и себя очистить! — ворчал он.

Птушко не ложился всю ночь, со злобой рассматривал мастерскую. Лампы дневного света нужны, слов нет. Но к чему здесь понавешены тряпки? Даже поставлен бар?.. К черту!

Завтракая, Птушко смотрел на жену: в ушах ее зо-

лотые побрякушки, и это для выхода в магазин!

— Странно ты на меня смотришь, — сказала жена.

— Странно, странно... — передразнил он. — Я подумал о человеке, имевшем твердое мнение о золоте и его роли в мире.

Ты хочешь писать его? — догадалась жена.

— Пока нет, но Горшков расшевелил меня. Видишь ли, мы устраиваем некое соревнование, и невольно он подтолкнул меня к новой картине и, уверен, к славе. Близкой.

— Горшковы — добрые люди, — говорила жена.

«Странно, — подумалось Птушко. — Если разобраться как следует, его идея света, проникающего всюду, безжалостна и зла. Но добрым зовут его, а не меня. А солнце жжет, и если его слишком много, то получится не земля, а обугленный Меркурий. Надо поразмыслить о роли тени».

Чего-чего, а головой работать он умел. Настолько, что даже учитывал вред города для спокойного раз-

мышления.

— Здесь слишком много яда для ума, — объявил он жене. — Шум, телефон, ядовитость стен, в которых мысли застаиваются. Словом, я уезжаю на природу. Проветриться, подумать...

— Ќуда же?

— Сам не знаю. Купи дня на три продуктов.

Птушко верил: решит задачу! А вот Горшков странный тип, пренебрегает работой мысли, все постигая чувством.

Прихватив удочку сына, Птушко рванулся из города. Он ехал, подминая машиной столбы света, — дорога шла

зеленым лугом.

Километров через пятьдесят Птушко свернул к реке. Он долго выбирал место и нашел его в окружении тальниковых кустов, над омутом. Солнце просвечивало воду, и Птушко увидел ходящих среди кувшинок подъязиков с красными плавниками.

Не спеша Птушко развел костер, закинул удочку. И входили в него тишина и солнце, и уходила вон го-

родская суетливая хлопотня.

...Дней пять он жил на берегу реки, купался, полеживая на солнце, спал в машине. Голова отдохнула, и мысли его взбурлили.

Надо писать дом-старуху... Ура! Догадался!

— О, я умен, — ликовал Птушко и решил писать картину-гравюру, применив лишь красную подсветку.

13

Приехав в город, он сходил к знакомому физику спросить, существует ли вещество, поглощающее свет целиком.

- Зачем тебе световая ловушка? удивился тот.
- Мне нужна особая краска, чернее черного.

— Не могу помочь, старина.

...Птушко ушел на завод, наблюдал за обработкой металла.

- Если растереть железо в краску, что будет? спросил он технолога.
 - Грязь.

Тогда Птушко утвердился в замысле рисовать картину, как гравюру. Но словами, выписывая ими штрихи. Пусть те несут сразу два груза: и художнический, и тяжесть информации.

О, он такое скажет картиной!..

Птушко переделал комнату — убрал все, что напоминало разнообразие солнечного спектра. Маляры за сто рублей выбелили стены до снежной белизны и выкрасили пол сажей. Единственным ярким пятном были красные георгины, что ставила жена в простую вазу.

Пока уходили из комнаты запахи покраски, Птуш-

ко искал.

Три краски разыскивал он: белую, черную и красную. Ему был нужен тяжелый оттенок черного цвета,

пронзительная белизна и краснота, как пожар!

Белила он заказал химикам, сажу брал в трубе Горшкова, а киноварь привезли друзья — английскую. Только щепотку, поставить в нужном месте нужный мазок. Он растер ее с льняным маслом — краска горела огнем...

Когда он все подготовил, он заперся в мастерской. И пошли гулять в Союзе слухи о затворничестве Птушко. Говорили, что, выходя обедать, он запирает комнату (это была правда); что-де поселил он в квартире взятого напрокат тигра и тот съедает в день пуд сырого мяса. А когда гуляет вечерами, то из глаз Птушко брызжут отсветы творческого пожара и освещают ему путь в темноте, как фары.

Нет, Птушко не светил глазами, тигра не держал. Он работал, работал, работал. Это он умел — много

работать.

Горшков как-то пришел к нему сказать, что деньги скоро не отдаст. Но Птушко не захотел видеть Горшкова.

Ладно, ладно, — говорил он, не открывая двери.
 И Горшков не обиделся, у него были и свои проб-

лемы. Картину он писал такую: по окраинной улице шел рыжеватый крепкий блондин, а с ним девушка, его будущая жена (верхний угол полотна занимало солнце).

Они шли. За изгородями распускались подсолнухи, в

каждом сидело по солнцу.

Любовь, молодость, солнце, летающие воробьи — все написал Горшков, все было на месте. Даже написаны подсолнухи с мускулистыми шеями, огород с просвеченными насквозь растениями. И с натурой ему повезло — был сосед Лукьянов, была девушка, невеста его.

Вначале картина двигалась подозрительно легко, а потом застопорилось: светозарность не давалась Горш-

кову.

— Что ты хочешь сказать картиной? — негодовал забредший к нему на огонек Птушко. — Где светозарность?

- Птушко был прав, Горшков понимал это.
 Твоя картина должна брызгать светом, внушал Птушко. Бить в глаза, жечь душу. Иначе это просто милый сюжетец. Но таких красок еще не придумали, за ними тебе к солнцу надо лететь, на ракете. Хо-хо! Где светозарность? Где лозунг: «Да живет прекрасная окраина»?
 - Что делать?

— Схитри.

Птушко зашел к Горшкову из мастерской, где наблюдал оттенки металла. От него пахло железной

гарью.

— Преодолей себя! — приказывал Птушко. — Бери пример: я привязан к благам жизни, но для работы отрешился от них. Я обычен, но стану гениальным, клеймя твою возлюбленную окраину. Я крикну: она мешает быть нашему городу прекрасным! Скажу: «Она уходит, туда ей и дорога». Шепну: «Мы создаем другую, нашу, человеческую природу». А тебе я советую переписать

картину. Хочешь дать свет? Дай его иллюзию, сопоставив белизну цинковых белил с чернотой сажи. И картина засветится фантастическим светом.

— He могу, — стонал Горшков. — Я вижу только обычный свет, люблю обычное: людей, дома. Фанта-

стика холодна.

— Пойдем-ка, я покажу тебе свою работу! Он привел Горшкова к себе, отомкнул дверь.

— Но голова, но зрение не выдержат так! — воскликнул Горшков в ужасе. — Ты убиваешь себя! — Эх, милый, кому дело до наших голов. Искусство... Оно безжалостно.

— Я не смогу так.

— Что и требовалось доказать. Пойдем-ка пить чай, — звал Птушко. Он внушал Горшкову, что ждет от него качественный пейзаж. И только.

Брызгали светом автомобильные фары, шла ночь. — Ночь-то... — вздыхал Птушко. — Черный бархат.

Горшков долго ходил от калитки к дому и обратно шаткой похолкой.

Да, Птушко писал необычно, ставить рядом их картины нельзя. А ведь решили дать их на одну выставку.

Да, Птушко сказал на холсте все, что хотел, а он

не может...

В следующие дни Горшков ставил опыты с краской. Он похудел, одичал и днями торчал в огороде, пытался зарисовать светозарность. И видел, что может дать только эффекты летнего солнца. А солнечный свет?..

15

Однажды Горшкова охватила работа — до восторга, до поднявшихся дыбом волос. Он вынес мольберт и картину на улицу и работал там.

Самоотверженный сосед с невестой (он ухаживал за ней с прошлой осени) костенели в неподвижности.

Горшков, работая, все поглядывал на солнце. И вдруг

крикнул ему:

— Слепишь меня? Да?

Борода его ощетинилась, мороз прошел по коже.

— Была не была! — закричал Горшков.

Он выбрал чистую кисть, шагнул к солнечным растениям и смахнул с подсолнуха сияние. Оно исчезло с растения и вспыхнуло на конце кисти, и Горшков перенес его, как бабочку, и осторожно посадил на картину.

Он забегал — сначала перенес огоньки солнечного

света с растений. Осмелев, взялся за людей.

Он принес из дома чистые, сухие кисти, толстый пучок, и стал ими обирать сияние с позирующих ему людей. Те замерли, одеревянев от страха, а он водил кистью по их лицам, плечам, рукам. И видел, что они тускнеют в ярком солнце дня.

Видел — разгорается полотно.

— Эх, до облаков не подскочишь, — хищно заметил Горшков и собрал кисти. Заорав «спасибо», он схватил холст, опрокинув мольберт, и убежал в дом. Бежал не к двери, а отчего-то прямо в окно. Он бы порвал и испортил картину, да жена вовремя увидела его. Крикнула:

Куда тебя несет!

Горшков остановился. Жена смеялась над ним.

Доработался, поздравляю.

— Но я не вижу двери, — сказал он. — Все так черно.

Жена вышла из дома. И за руку увела Горшкова

в дом.

В комнате, взяв картину из его рук, она зажмурилась — так светились краски.

Тебе все же удалось! — воскликнула она. И по-

глядела в окно — там серые, будто фотографии любителя, торчали фигуры их молодых соседей. Те с недоумением и ужасом разглядывали друг друга.

Она взглянула на мужа: глаза Горшкова тоже глядели в окно, но прямо на солнце. Будто стеклянные.

— Ты? — спросила жена. — Ты... не видишь?

Да, все черно, будто картина Птушко.

— Значит, ты потерял зрение, — тихо сказала жена. — Похоже! — ответил он. — Я сжег сетчатку.

Но картина получилась?.. А?..

— Она замечательна!

 Теперь все увидят, как хороша окраина. Авось и не тронут ее. Я победил.

— Я знала, я знала, что этим кончится! — закри-

чала жена.

— Да замолчи ты. Картина светится?

— Светится...

— Ну и лады, — сказал Горшков, ища рукой стул. —
 Она греет? — спросил он погодя.

— Греет.

Так веди меня к врачам.

16

В больнице Горшков пролежал до ноября месяца и был выпущей с запретом глядеть на солнце и выходить на улицу без плотных темных очков.

— А дома? — спросил он. — Тоже в очках?

— Дома носите дымчатые очки.

— И надолго это? — спросил Горшков врача.

— Минимум шесть месяцев, — отвечал тот. — И мы не ручаемся за ваше возвращение к искусству.

— Значит, не вернусь?

— Природа творит чудеса.

— Спасибо и на том, — сказал Горшков.

...Жена вела его улицами и подробно говорила, что

приходили товарищи из отборочной комиссии. Они смотрели картину и дивились пронзительной силе ее красок. Картину они берут на выставку, и уже есть желавшие купить ее, приходили из музея.

17

На выставке были «шумные» две работы — Горшкова и Птушко. Комиссия, устав гадать, чья картина лучше, сначала повесила их в разных местах, подальше друг от друга.

В первом выставочном зале повесили картину Горшкова, освещавшую все. Птушко висел в третьем выставочном зале, большом, только в нем картина и могла

поместиться.

Но походили-походили члены выставкома и перев сили Горшкова в средний зал. Так, путем переносов картины, к удивлению всех, оказались рядом.

Пришел Птушко, посмотрел и промолчал.

Пришел Горшков и прирос к картине Птушко. Гля деть на нее было сладко его обожженным глазам: та кая черная. Горшков прочитал все мысли Птушко космосе и городе, о человеке и окраине, с громадной ловкостью вписанные в каждом штрихе.

— Вот это работа! — сказал Горшков. — А ум!.. Но лишь случай помог узнать художникам мнени

Птушко.

Кутин, председатель правления, возвращался домо

с заседания.

Была зимняя ночь — ни светлая, ни темная, а ка негрунтованный холст. Проходя мимо выставочного за ла (сообщающегося, между прочим, с мастерским стариков художников), он увидел странное сияни Пожар?.. Нет, светит ровно. Тогда он вспомни сказки о картине Горшкова. Что она-де не прост

феноменально передает солнечный свет, а сама излучает его.

Словом, бред.

— Проверим, — сказал он и подошел к окну. При-поднялся на цыпочки и взглянул. С улицы он увидел в промежуток штор только две картины в выставочном зале

На одной, весь в летнем солнце, шел зеленой улицей молодой парень с молодой девушкой и прямиком к солнцу.

— Светит... Светит!!

Председатель вздрогнул, протер глаза, не веря им. Посмотрел — да, идут молодые люди, а им светит солнце, и впереди ждет такое счастье!

— Необыкновенно, — прошептал Кутин. — Умри,

оршков, так больше не напишешь! Но это что?
Он явственно разглядел — свет от картины Горшкова падал на картину Птушко. На громадном полотне поднимался дом — символ сил человека, направленных к тому, чтобы все взять и унести к себе.

— Своеобразно, гм. гм...

И все же эта картина показалась ему лишь громад-

ным фокусом трудолюбивого терпения.

Но кто это? — Он увидел человека, крадущегося по выставочному залу. Как злоумышленник смог попасть сюда? С какой целью?

Председатель, кося глазом в поисках милиционера, сквозь стекло наблюдал за человеком и вдруг узнал Птушко. Тот подошел к картине Горшкова и долго смотрел, качая головой. Вот осторожно протянул к ней руку и отдернул. Подул на палец.

Председателю хотелось крикнуть: «Не трожь!», но он молчал и смотрел, как Птушко греет руки у картины, ловит ее свет руками, щекой и смеется, и гово-

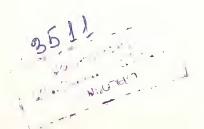
рит что-то.

— Во дает! — изумился председатель. — Однако

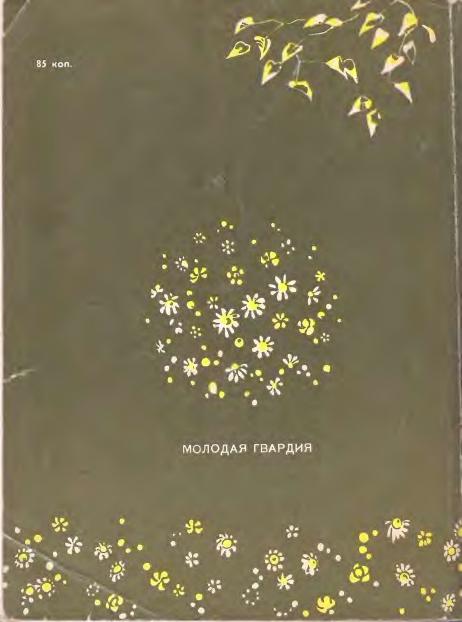
как он здесь оказался? Понимаю, прошел из мастерских, днем не будешь такое выкидывать.

Кутин рассматривал Птушко, думая, стучать ему в окно или не стоит? Так и ушел не решась.

— Настоящее искусство! — рассуждал вслух Кутин. — Ради него стоит слепнуть, как Горшков, и творить ночные глупости, как Птушко.













А. ЯКУБОВСКИЙ

нивлянский бык



Я 70302-165 078(02)-79 151-79. 4702010200

С Издательство «Мелодал гвардия», 197





ЧЕТВЕРО

В этой повети ист преувелинений. Отлинитесь - пород педанитес брошенными животными: спросите егегей и лесников — в пригородных лехах появляются собизым стан. Я видел их сам... Но, чтобы не быть голозтивных, сомылось на журнах, укалаемый всеми окотниками, к возорым в, до давней привычке, еще отношу в
себи.

Я беру журнал «Олотник» № 9 ва 1971 год. Вот данмен работников Балханиской экспедиция ВИНИЮЗ: в углавих Прибалханыя держится около двух тысяч собак. Она одотятся стаей даже на кабанов. А это силиный и жестокий заерь.

Ветречали стан по десять двенадцать собак в адтай-

Стариний наблюдатель Хоперского заповедника гобани заднает замой 1967/68 года собани задрали дваднать четыре олевя, а волян всего трек! Оп растил динки щепят — вашел ях, и они выросле педоверчивыми, это покадало, что домашиля собака вновие запожет одичать. Как дикая одомащилися.

Мже отменно появление помесей волиов и собав, Клаут в лесах и собаки, воже не знавыше волнены. Но в большинстве случаев оне брошены — в Приболкашье ли, в степях за Алтан, на земаях Хоперского заповедника.

Это настрадавшиеся, озлобившиеся, япоумневшиезвери. Их любовь не вострибовал человек, он пренебрег

их преданностью.

Как же так получается? Зверь этот шел бок о бок с человеком из тымы истории. Можно утверждать, что бел помощи собяки человек не стал бы коляином приподы.

Отчего мы иногда видам свирслое отношение к вей?

Я попытался в повести ответить на эти вопросы.

.

Когда темпеет небо й всюду зажигаются огии, приходит Час стариков. Приходит раз в сутки, на границе ночи.

Вот стрелки часов движутся к десяти вечера, к одиннядвати, а вся жизнь — к ночному сму, чтобы угром начаться енова. Свет из окон желтит верхушки толодей. небо еще сохраниет голубили — интивам.

И загораются огни на телевизновной башие, всинхи-

вает ранняя звезда. Красная. Дрожащая.

И выбегают из ночные вольные прогулки собаки и кошки, а старики становится бодрыми. Жизненная их усталость, что портиля стариковский день, смениется бодростью.

В промежутке между десятью часами вечера и две-

надцатью ночи стариян почти молоды.

И если им есть тле собраться и припасено варэнья, то старики собираются. Они пьют чай и рассуждают о разных случаях жизни.

Говорят о том, что ушло, что есть, что любят. А ста-

пини еще очень способны либить - детей, внуков, чай,

паренье, ночные туфли, солице...

К егредние августа 197... года сибирское лето уще жасриуло к осени, и в лесам по-освинему токсвала плухари. Блато одинивлять нечери. Дума сивла, роняя крассым теня. Алексан угощал Иналова. Старики были на ненени уже лет по нести-семи, коссы-то работали жасперами и слыли горичими одитивлами. Мили на комелно. Иналов еще сохрания пеналис сталы: охотился, держал собаку. А вог Алексии слы неразумию потратиям. Он конял. окумивал, приципивал.

Женя Алексина расставила перех инми блюдечки с разреньем полутора десичка сортов: двух сортов винини, черпоплодной рабним, обленихи, пяти сортов смородины, шести — вбаям. Но Иванову больше правилаем молодовое вино, что Алексии производял сам из яблок-

налунков и белой смородины.

Старики рассуждали о проилой охоге, о сибавах, о великоленных старинных ружьих. Говорили о ружьих с тра-мично устроенными стиолами, вепоминали и склаливающиеся — ополам! — двустволки. Германские, Они наливали чай (или вино) и говорили об умерних собаках, какие они были чутьистые. Не вынешине, ит, куда мм!.

 Слушай, друже, — вдруг сказал Иванов, лотягиня кисленькое, даже глаза сводиле, вино. — Почти каром отдается Гай.

— Какой такой Гай?

Алексин заценил ложечку праспосм эродинового ва-

Он подвял эту ложечку, чтобы дампа уронила на это свет, и залюбовался — рубии! Хоть в лазер его етавляй.

Подумав о лазере и отдав этим долг современности, искени проследил путь ягод из земли, сквозь корни в ягодиым висточкам. Их же так свяьно, так потрыбски грело солице. Оно вогнало в них невыразнить преный пвет.

Словом, Алексин замечтался.

- Будто не знавињ, - сказал Иванов, отулестув еще глоток и закусив хлебом с кусочком сыра в частых дырочках.

От Целаря Камышина и Цыганки Суслова?

Он самый.

Лишия черных пойнтеров?

Алексии съед варенье в запил его часм. И взволновалея, так как любил именно черных пойнтеров, считая их лучшими собаками для охоты с ружьем.

Черный пойнтер!..

Он встал и заходил по компате - мог думить только на ходу. Он семенил, шаркая туфлями, подтягивая брюки. Память же его работала, пробегая долгий ряд предков червого пойнтера Гая, который отдается даром.

 Сколько ему лет? — спросил Алексии. Иваноз начал припоминать, свизывая возраст собаки с намит-

ными датами. Но мещало выпитое вино.

- Оп родился... значит... после того, как я у Кондакова перекупил трехстволку фирмы Гейма. Значит ..

Сейчас Гаю восемь месяцев.

- А я вспомнил родословную Гая. У него в жилах кровь чемпионов Хэндсон-Ара, чемпиона Хэндсон-Гльдис. У него в кровитены Джонии-Холинда Первого. Поминшь, тот самый, что разбился на охоте. Обо что он разбился?

 Набежал на нень в траве, — пояснил Иванов. — На полном ходу. А бежал километров сорок в час!.. Искал он тетеревов, поле было ровное, широкое, п стое, и варуг обгорелый пень.

 Червый пойнтер, с огромной страстью к охоте. Отлично, я его возьму!

- Но зачем? - изумился Пванов.

Охотиться!

Алексия остановился, схватив данканы пиджака, очито вожжи.

Тору-у... — засменлея Пванов. — Купишь? Да ты

не не охотишься. Или забыл?

Так коего черта он его продает? — спросил Алексии.

 Ну, во первых строках наиделен Гая — напривзвина возгитив, инчето не понимает в собявах в неумоф. Кроме того, грыме его жена — продав. Дом их снасит, дают квартиру. Отсюда и напрадения жены: не хоот этускить собяму в напуму, см. положить, квартиру.

 Надо перекупить собаку, вначе попадет в скверные руки — к воскресному охотнику. Наи вижову. Роосмовная то какая! А будет валяться по даванам, про-

падет ее талант.

 Ее берет вачальник стройтреста. — сказал Ивалив. — запятый выше головы человек. Ты прав, пропадет собака!

Сообразви! Черный пойнтер, в потенциале замечетельный пес. ему угрожает диван...— бормотал Алексии.

нексии.

 На-под него можно бить зайнев на лежке, затавил Иванов. Но Алексии не одобрял этой охоты.
 Молчи! Я собязу брать не могу, ты брать не мо-

-ешь. Кую у нас и гараде отличный собачен?

 Сам знаець, у нас утятинки да зайнатнеки. Имлаек подавай.

А сколько он просит?

— Сотию.

 Слушай, визьмем поподям? А? Ты эго патасманив, и мы продадим его петороливо, с выбором, в хорошие руки.

Алексии сел и успоковиси. Хороно прилумано - ку-

пить собаку пополам.

Повиов же вывозился — стул варуг стал чертовски всудобным. Хорошо Алексаму кидать деньги, у него смл. Если продаст пудаторый иблом, го в оправдает собаку. А что станет делать оц. Иванов? Пенции железно и по колейком распределена.

Не могу, супруга восстанет.

 Ладио, и плачу. — решил Алексии. — Подержу его по лета, а ты натасяжень. Лады?

 Друже, если так... — Иванов перевел задержвиное дыхалие, — если так, в твой с потрохами, руками, погами. Плесни-ва еще кислятинки... А цену мы собъем. будь умерен, и пачальника в отвожу.

2

 Продаень шенка? — спращивая Иванов мужчину. И осматривался.

Зав, сомнатка й мада й пеудобна. Давно пора дать молодым людям что-то получше этой узенькой комнаты с петуркой, топищейся утлем, с баком воды, поставленным в угол.

Это хорошо, что дают новое жилье. Плохо — это событие уводит из их жизни замечательную собаку.

— Жена грывет, — шепотом отвечал владелен со баки, мотая головой, большой и амсоватой. Тосковал, это видио; молод, но рыхлый какой-то.

- А ну покажь ее.

Козяни вышев — оц на время сборов и унизавании всего в узлы держал Гая в сарапоние. Жена его, вмеокая, с распущенными волосами, прекрительно гляделя из Иванова. Тот усадывал ее мыссан: «Как не свяда» блять таким старым в краспоносым. Неужели мой Пета (Коля, Взия или Саша) станет когда-инбудь таким жего.

Дешево собаку ова уступать не собиралась — гра-

стояло минжество, а собяка была с родословими не Но богатый покупатель уже отказался по те-- Это редкая собака, - сказала оно Иванову,

Много на нее охотников.

«Ври, голубушки», — думал Иванив. Он прокидыпал. это будет дальше. Если это «дальше» представляось даме с распущевлыми полосами в виде получения - собаку пачки денег, которые уйдут на наем грузовиба, на перевозку вещей, то Иванов знал его гораздо гочнее.

Он внал, что примерно через десять минут сюда прилет Алексии и станет лико критиковать собаку, безая и

размахивая при этом руками.

Они булут делать вид, что незнакомы. Иванов махист рукой на собаку, Алексии тоже махиет. Так они соомот цену со ста запрошенных рублей до пятидесяти: столько денег было у Алексина.

Пети или Саша привел собаку. Всл. отворачиваясь,

ему было стыдно.

Иванов откинулся в кресле. Ов рассматривал щенна, старался провидеть, что же получится в конце коннов из этого подростка, в котором сейчае все ве так. И хвост его слишком длиницій, и даны кривые. Что поделаешь: растет.

Но водословная щенка прекрасна, нос вироко распахнут всем на свете занахам, морда объемиета. Значит, обонятельные нервы развиты в мощные образова-

ния, проводящие запахи из наздрей и мозг.

Голова шенка широка и выпукла, а глаза веселые, с юмором. И стало Иванову жаль свою молодость, захотелось схватить собаку за новодок и удрать с ней домой.

Вот бы Алексии ахиул! По щенок, мажется, ску-

ласт. Не злобен ли он?

Принисл Алексии и спросил сквозь двери о собаке.

Красивая жена радостио улыбнулась, а Гена или Вана сильнее затосковал.
— Здравствуйте! — входя, Алексии впился изглядом

 Здравствуйте! — входя, Алексин впился каглядом в шенка. — Этого уролиз продаете?

Почему же уродца? — обиделся хозяни.

— У него зубы редкие и неправильные.

Алексии саватва щенка. С ловкостью многикратного Облачей одва приподняла ему губъ, открым исцичън, персыва зубъ, «Однако же довок», — рассердияси Иванов. Но следовало работить по созданиму плану.

Мне что-то разоправились его зубы, — сназал он. — Ста рублей зн не стоит: Он а двидцати рублей не етоит.

Ная вущить вотя в мещке? — задумчино протя-

нул Алексин.

 Он не вит, а собака, — сказала жена. — Вы не ролословную смотрите.

- Я, милая, покупаю собаку, а не бумиту.

Но все св. Алежена вова роди-говицо Гай в стал читать, препрительно фыркая писом. Хоти од мог номало порассквать г-гурому комину о далеских предважа Гач. что бади записаны чше в ангалисым Канков-Клубе пестим этой сомы пойитером в Россию вачалось из Апглии.

Но Алексии не стал расскачавать Наоборот, нее силы он употребил на прекрительные фырксине и сопрытие басска глаз. Он был готов отдать и сто рублей. Навнов приметы, это и пожалел деньги приятеля.

Он встал и очень строго посмотрел на Ган. Щеник

заворчал.

 Събака будет здобива, — съвзал Иванов стрети и стиро. На все ма миоте обещали в молодости зге омполнили обещалное в зредме годы. Деог довациять:

Тридцать рублей! - сказал опоманатийся Алексин.

Восемьлесят! — сказала жена.

(должовались на питидесяти пяти рублях, и хозяева начи в придвчу два оснейника, простой и парадный, с принцами. Отдали поводок и отличного качества directly.

Вот-вот, - сказал Алексии, спорачивая ее и кла-в карман. — Плеточку-то вы не забыли призбрести.

Так черный пойнтер восьми месянем от роду, по влише Гай, потеряя свой первый дом и обрам второй, преденный — можно было считать его полубездомным.

Стариви поспешнан увести собаку.

Они вели Гая суетящимся, кипящим, готовящимся к

п ртезду двором. Вдруг Алексии остановился. - Слушай, - сказал он Иванову, дергая тянуще-

го назад щенка. - Дом мне знаком. Полему? Еще бы, — сказал Иванов. — Ты же его и стро-ил А с покупочкой теби, приобред верхочуга. Нало

г бры науть покупку. Станиць коньяк? А?

Но Алексии увильнул от примого ответа.

- Начинаю вспоминать дом, - гообщил он Иза-11019V.

Отарики остановились и паблюдали суету жильцов, ак при пожаре тацияних все из комиат. Несли чемоловы, узлы, фикусы в калках, тацили пианию вчетиером, кряхтя и ругаясь.

Дом переселился.

Там, где быть повым кварталам, вначале убирави старые дома. Ломают их.

Они еще стоят, щелястые и темпие, в нах жавут.

Но в планах города эти доми уже мертим. Их мети: ставят быльлями возвер домя, не тот, ято он посил жи-вым, а помер домя, переченного смерти. А если у ри-бочих нег бълыл, то повкер нишут черной краской: топором стесивнот крошаниеся старое бревно :

нишут.

Затем уезакают влажельны Если дом избольшой, во отъеда их медлизметен. Придет грумоник, и неж при стут грумоник, и неж при стут грумоник, и неж при стут грумоник, и неж при что выполнять и вединати. И сави помотут.

Но если дом был старым общежитием, то отъеда да исто суматопылия: гудат зашины, безамет доли, старики таниат домалемую жучками мебедь, а им кричат желе выпольживаются до нести не к мощите а на свалку.

Остановитея старив, держа креплей сще стул для ящик, вынутый из пулктого комода, «Как же так, — дувает он — Это выбросить? Я его Ливаниете, жене, да-

...Невуганные, удетают воробыя, что жили за па-личниками оком, и голуби, ходиншие по латаной крыше.

крыше.
Собезают ямыш, что жили во миожестве пор, продитых неюду, в подполье в в рыхлых стених дома.
Упольнот науви, двузываетии, лестножна. Но эти
уходит последними, когда бульдоверы упирают плоские
лбы в стены дома и начинают подтальновать его.
Стены трескаются, падвой доком, рушится поголян,
подпимая вкеря жлубы известковой пыла, спетлой и евкой, от которой свербит в носу и жачет горло.
Затем ямых садится. И выдно, что дома пет, а сжит куча бревен и докок. Воет чъл-то собява. Но лиципочно примодят к бывшему дому — проциться! — жинние в нем коны. ине в нем кошки.

Собака, та привязана к сам дом.

Вепутнутые суетой, то и дело к Гаю подбегали ин-

пто судьба.

Приходия шенох такой опраеми, будто его шяла на шрива рыжане собяза, черных и рыжих, подочала шривая рыжане собяза, сухонокам и дрожащам. Крикту, подходил пос лет десяти-дачнациячи, бель-рибый и ибъ навезва на пиреду, но с чертами всех на свете соочных пород. И есля к нему випочательно присмутенных умам призвава легавой, в наяком тудовище крочь такс, в а широкой груди умата дога.

И морда его была инрокая в алингая. Это двеавы-

собака.

«Сорная», — думалось Иванову.

Пес сел ридом и стал вадыхать. Он вадыхал глубоно и долго, и стало ясно, что просто тяжело двидал. Дом стремительно пустел. Звенели выбитые стевла,

трешали наличиния окон (многие пытались просунуть в окно шкаф или стол).

Являлась на белын свет мебель, которой правила по-

ри печезнуть либо на свадке, дибо в квартире дюбителя старых предметов. Хохолодие молодые дюди вывалили из овиа старин-

ное резиле боро и превратили его в шенки и рижую труху.

Па. Алексии узнал до у Кит в працатье сом от периулся свертельно устальня посто тражданской подна, ему греально тихов работы ватовода в городском парке, но воображаю и једо к омучнистицелни дород в насе прекраснейшего став на красных деревьев (включая и падъмы).

Но погребность была в строителях, чтобы дать жилье созидателям абсолютно новой жизна на земле. Тогда-то и родились эти дома в два этажа, построен-

2 А. Якубовский

SC. Tuens / S. I.

17

ные бог знает из чего, но простояниие половниу столетия.

- Сады? Нет, брат, будь строителем! - велел Гау хов, их отрядный комиссар, теперь силевший в горкоме. хов, из отрядивая зовнесар, тепера сласовани в городос Свазаа громко — еще не отвык командовать. Алексии позразна, и Глуков обрушился на него. — Что? Способлюстей нет! — закричал он. — Ты их

понщи, понщи и найди!

Алексии еще не отвык подчиняться, — способности к строительству нашлись. Надо было брать знания и опыт.

Первые месяцы Алексии просядел чертежником-ко-пировщиком. Потея ночами над учебниками, он черсз три месяца стал конструктором домов в приняе вемалую экономию городу, изобретя деревянные адвигале-ты для оков, что сберегало металл. Но проектирование и надежное строительство домов!.. Год пришлось агризаться в учебники.

Полявство, эдолел ли бы он их, но Глуков погово-рил с Ивановым, желавшим в мирной жизни рисовать исизажи, и они потели над книгами илвоем. А через год

уже ставили первые здания.

Начали с проекта теятра оперы и балета и исбоскреба в триста с чем-то этажей. Глухов геатр и небо-скреб одобрил, но обратил их, то есть Алексила и Ининова, просвещенное внимание (так и сказал - впросвененнос») на острую нехватку жилья. И кинул идом двукотажных дамов-общежитий.

- А небоскребы у нас, голуби мын, назвалитея: на

опыта, ин материалов добрых вету.

Ла, е материалами было ве то чтобы алохо, а невыносимо. Не хватало киринча, ограничивали в деревс: оно было излютой, нужной для покупки вовых станков. Зато в изобилии давали опилки, горбыли и сколько угодно замечательной, превосходнейшей глины. Ее брали в городском овраге.

 Хоть ешь ее! А пемену базальней дефициу, — горал Глухра. — Обойдатесь гиппой.

Обращись. Но работать кое-как Алексии не умел и

не хотел.

Он разработал приект двухотального дома на двадоать однокомнатимх квартир. Алексии был цемлого цобретателя и философ. Он рассуждал так: тормах в пирках — это недализов, по исе же Будуное. Оно оперсыя. А сейчас пужно глядеть на дома, как на мазинпы для житыя.

Да и вто внает, как нее оберпется? Вит и Чемберлен грозят, и Германия замахивается. Завоит, дожа дожны вімять запас прочисти. Так сто замть? А пот так можля сделать паружную общинку этаким прочими висшним скелетом дома. Пример — хитиплюній памицымука.

жука. И произошло технические чудо: тибля по старияке чистевленные добротные дома, а зачесниемие щенки (так дразнили их) стояли.

Он чказал, что химет смогреть, как будут ломать

AOM.

Навнов ответил: — Напланутся с вим... Поймем-ка домой. Гай.

. Май и этот вечер они пили дольше обывновенного: Инацоз опробовал пятназцать сортов варенья, а Алексии хлебиул вини.

Скулил Гай тоненьким голоском.

А к брошенному даму двае нарыей и это время весли канистру с бензином.

Во будет фийерверк! — говорили они.

Часов в двенадцать почи Алексии пошел проводить Изанова. Выйдя на улицу, они обрагиля знимание на странное красноватое небо.

Оно было цвета сажи, перемещанной с илимениции киселем. Пахло гарью.

Что это? — удивился Иванов.

- Я бы сказал, что это пожар, по звуков поспышию

 Айда до дома! — вдруг предлежил Иванов.
 П точно, горел их дом. Должно быть, его поджег рассерженный бульдозерист.

Это был странный пожар — без людей, без пожарных машин: огонь не угрожал никому и ничему.

Пламя ревело, то и дело възетали искры, мелькали над домом летучне мыни, бросая огромно-червые бе-гучне тени. И было далеко видно, как светились глазь ночных кошек, пришедших смотреть на пожар.

Веяло сухим жаром. Три собаки совно жмурились на осонь: пестрый щенок, рыжая собака и старый бе-

лый пес

Сгорев, дом рухнул, и старики пошли прочь. За ними увизались все три собаки. Алексии нашел конфеты в кармане и бросил их. Но собака не брали конфеты, а шли за ними.

Шел, смущаясь, пестрый щенок, ковылял грузный белый нес. В стороне бежала рыжая собака, диковитая.

Бежала боком, словно готовись укусить и готчас отпрыгнуть.

- Бросили вас, - сказал им Алексии и повернулея в Иванову. - Вот чего я не пойму: живем мы сытно, в дома призрении для брошенных животных открыть не собсремся.

 Тоже придумал, — заворчал Иванов. — Дома приврения... Гонори — для бесприворных, и все! Он зазвал собак к себе и вынес им еду — колбасу,

залежавшуюся в холодильнике, старый желтый творог,

от в сахар. Потом долго стоял у овна, 1.38.48. кок услат почь, а собачья гронца, полурясь, не ест, а са инт во дворе и ждет сго слова.

Что он мог сказать? Что сделать?

Он лег спата, но сон не шел. Извноя ворочался, доло скринен пружиноми: нег сня! Госла он встал и ушел ать чай на кухню. К нему явился, неся в аубах сеою описталях, Том, его гладкий и толский побитер.

Буржуй! — обругал его Пванов.

Так в день отъема и пожира в ботелиния по узицаю социла коника и собякая прибацились еще бездомиме социл и собяки. Некоторых кониск язили лизи, в кумьна треу собяк плаучила необациное развитие. Тому визмі были сибирские всед, обслужащище город. Тензия позв. детимня в Сибирь по ветрах Атлантики, за парин.

Черный менов Гай, паплакавинсь, спал у двери

А по улицам метались три соблев. Одня из изе быпострым савенным висиком. Его холовем гориодинеуевля в то время, когда от бетал на улице, обивхиновне, то похулят на улице менята: заборы, камен, окурен, кониск, сумки, поти.

Рыжви Стреяки... Ее отказался брать лять старуми Адексидры Поанивни, что годы растила собоку. Желание тихих отношений в доме заставило ее бюсать.

собаку.

соозку.

Третьим брошенным, знакомым Газ, был нес Антон Его держали в знак памяти об умершем отне. Дома он только спал, проводя остальное время во дворе или корилоре.

Когда его иставили, уехаа на машине, он не стал

гнаться и даять.

 Видишь, — сканал муж. — Не очень-то мы ему нужны.

Может, его подберет хороший человек, — ответила жена.

Когда положгля дом, щенок дремал. Он слышал инто тех, кто поджигал, и скиозь сон покилал на хвостом. Заскупил.

Это был добрый щенок. Он не имел имени, должи двал его просто Шен. Он был сыт: постодный уеллем заим это просто Шен. Он был сыт: постодный колбосы. И поке рабочие поднимали его услоднываях на мониух холяни модал по двору и смотрем, поку откать полбксу. К нему-то и стал подползать на брюхе, повивачилям, ценок.

Он был в вылв, с мокрыми дорожками у гляв.

Уезжавший сунул колбасу шенку. И был рад — не пропала,

— Ты бы сабаку не броеал, хозяни, — связал груз-

чик. — Нехорошо.

Не моя она, — отнетил тот. — Чужая.

Манина ушла, рыча и пуская газы, а щенох съел эту очень вкусную колбасу. Затем послыналия ужасный грохот — пришел и начал работать бульдовер.

Щеник убежкая в наличалинк и сидел под кленом. Около стоили два парви аст по нятнаднаги, с налосами до плеч. Они курган, силевмяли, лениво переговаривансь о том, как надю ломять старые дома и на каком по счету толуме этот дом упадет.

 Румпель! — говорил один, — Спорю! Дваднать первый толчок свалит с пог эту халупу.

Нет, Толик, десятый, — сканал посатый Виловы.

ка по прозвищу Румпель.

К ины подовачи двое Сережск — Окатов и Кугии.

— Даю три буважки, если на двадиать четиертот
толчие, — дредлага Окатов. Но с ини не спорыды, боялиск: чужие деньги он бряз, а отдавять свои не торопился. А чели поприести: мужила и узывалься. Но узыбка его узикого зняка была странной. Как говорила в

классе девчонки, у него не гляза, а холодиме стех-

 Ставлю пять, если дом исчениет раньше завтрат-него для, — сказал он после изтъдесят витого удара, когда бульдоверист махнул на дом рукой в задувился, не уйги ли ему, а сломыть дом влигра.
— Согласен! — сказал Румпель.

Разбейте! А деньги?

Предки дают на химпабор.

Когда бульдолер ушел, щенов устроился счать пол домом. И все прислушивался, не половут ли иго Но същива только шуршание и стуки опадавией шту-катурыя. Затем прибежала Стреака. Учуна запах със-денияй колбасы, она мемула щенка. Прошел мимо, раскачивансь, старый бедый вес. Он яздыхал на ходу. А часов в двенаднать почи к уулу дома подощли Сережка.

Опи цесли канистру бензина.
— Плакала Румпелена питерка! — хихивнул Ку-тин. Окатна примодчал. Они привал в дом. Векоре в-выпосных вонь бензина обожла иоздря шенка в пр-

гнала его на другую стороку улицы.

Там он сел. Фыркая, продувал ные и дивился из странаре явление — дом осветился. В нижнем этами окая стали красными, будто глази страшиюго засря, что спитея плогда. Они смотрели на него, помаргивая. Crpax!

Щенок прижался к земле и заскулил. Земли была

холодная-холодная.

Стали красиеть, и моргать, и плечаться искрами и другие оказ дома. И пдруг дом высунул из окон крас-ные языки в стал ими облизываться. От цего несло су хим теплом.

Щенок замера. Он ношел навстречу терлу. Подошел в сел. Свова взлетели вевры — рухнула балка. Щенов завизжал и инкулся вдоль улицы. Но кросное не гиз-лось за ими. Когак он снова вернулся к отревнему до-му — там уже сидели рыжав собяка и белый нес. За-тем педопла и стали разговаривать два стерика. Оли увели их всех транх. Но домог не взяли. пришлосъ-слать в подъежде, на кирипичах. Утром шелох бегва смотреть дом. Но его не было, а

только скверно нахло и на его месте лежала сухая чер-

ная грязь.

ная грязь. Шенок убежал в чей-то сал. Там. вабыв и лом и ко-звев, он долго гонялся за стрековой и не ноймал ес. Но вышла из дома кошка. Она зашинела на него, оцарапала нос и прогнала.

рапала пос и прогнала.
На умие его часто останавливали люди, говоря друг
другу, какой оп смешний, даже удинительно. Они димали конфеты и пирожки, по с собой и брана.
Одня человек присед к нему — шенок тогчас лег
на спину. Спачала тот почесая голяй жилот шенке, и
затем прижет осоньком ситереты. Потом оп комотал цал
занем прижет осоньком ситереты. Потом оп комотал цал
занем, И тут же заслуж Бодь ожога была сильном, писмом бежкал от нем и ем вис убежать.
Теперь он жил в палисадинках, кормилев тем, что

ему данали.

сму Давасии. Шенок стал грязен, длиния пестрая его шерсть сва-дялась. Щенка ожидала бы участь псех шерриятиюто ав-да сущесть, но он имея всеслый кранктер и был умен. Доводьно быстро он научился определять добрых заодей и смело доверался им.

люден и смело доверваль им. Он ващела место, где мог спокойно жизь. Теперь по-чевать он ходыл не в налисадания, а на склад пустой тары: познакомился со сторожами этого салала, людыми достойными, молчаливыми, сдержанными. Они не ласкали его, кормили только клебом, зато и не обижали и часто разговаривали с ин ч.

- Вот, брат Пестрый, ты вроде бы беспри орник. -

гозория єму моложавний стараж с бородой. — Как міхоле гражданской войны.

Беспорядок это — глать жимие сущ етвы. — за

мечал другой, морщивистый, бантый.

Спал Пестрый в огромной куме древосных стружек и опилов, накимия скипидарим, питалея в вафе, где сму давали остатки. Иград с такими же бездомными в грав имми собаками.

Он вскал хозяев. Однажды Пестрый обходил рынок, июхая мусорине ящихв. И вдруг ваял чутым след хозяйки. И пошел-пошел по её следу, а там и побежал.

След нах восхитительно. Он бежал, опустив нос к зехде, и чуть не попал под машину. Пестрому сильно повезло: козяйка купила полную сумку виц и не рискнула с ними садиться в автобус, полесла из пециком.

Повый дом был недалеко, и шенок выследыл коляйку до дверей. Повизгиван, захотел войти в янк, даже

парапался. Но дверь оставалась закрытой.

Шенок скулил тонко и долго, по его не пускали.

Пестрый иденок вышед во двор. Задрав голову, увидел на бальоне мужчину в крас-

ной майке. Хозянна! Тот стока и смотрел на него. День был с северным вечерком, холодинй. Но мужчика в олини врасной майке ел красной и большой по-

мидер. Он откусывал и ленико жевал. — Нашел таки, паскуда? — спросил он щенка.

Тот завертелся, выляя хвистиком да, да, нашел, теперь все будет холошо.

Он узыбался, срявл, скулия, просясь в дом. Даже водпрытивал — сидя! — показывал, что готов бежоть я

двери.

— Посуди сам. — рассудительно говорил ему мужчима, — на что мис ти? Вид у теби сезобразный, породы никажей, шерсть диниомая. И раньше брать теба не следовало. Ты моя ошибка.

— М-мм-м, — скулил винзу шенок. — М-мм-м!

— И тебе лишние переживания, и квартиру ты не украсивия. Но делать, видно, почето. Мужчина дося помидор в вышел во двор. Щемок бросился к пему в воти. Принал.

Ну и грязи же на тебе. — холодно сказия мужни-

на и толкнул щенка ногой. — И пользы никакой. Он отведелся, не сметрит ли кто. Затем подавля изту, принедился я так подавл, что щенох вытетел и онисви полукруг в воздухе. Перелетев штакетник, он упал в глину.

Его окватил страх. Щенов аскочил, крича, и побр-

жал по улице. Вот и с влеч долой. — угртомо прибасил муж-

 — А и сволочь же ты, — сказал кто-то сверку. Мужчина в майке быстро поднял голову, оглядывая окна, и инкого не увидел в зих. Он пошел к двери подъезди, на упало мокрое на голову. Мужчина провел надолью по вплисам - влевок! В него влюнули! Кровь бросилась в голову. Он стал красен, ник съеденный ны помидор.

Труе! Выходи! — ваорал мужчина. Никто не вы-шел. Мужчина провиза к себе и в вазной долго мыл го-

дову холяйственным едины мылом.

Утром, когда он вышел на балкон поразмяться двухпудовой гирей, нашел дохлую крысу. Большую, мера-

кую, сдохшую давно.

К вей привизана веревочка. Понятно, ее закинули на балков. И тогда он напугался. Понял, его ненавилят мальчицки. А уж они найдут свособ отравить ему жизнь. Их намять кренка, прощать оки не умеют. Он ебросил крысу с балкона.

 Но ругален-10 взрослый, — ворчал он. — У-у. проклятые...

Винзу разгорелся скандал.

 Кто мне гадость бросил? — визгливо кричала дворинчиха.

Дяля и красной майке, — вояения тонкоголосий мальчицка.

— Эй ты! — визжала глупая дворинчика. — Ты, который в краской майке и живешь на втором этаже! Выход! Погавди! Люди, да что же это? Дохлых крыс бросают!

Жена его вышла и поглядела с балкова: дворицчиха

держала крысу бренгливо, зацепив ее щеткой.

 Это тебя зовут, — сказала, вераувшись, жена. — Возьми совок и выброси ее в мусорный яник.

Но следующим утром крыса снова быля на их балколе. Она разбодилля мужчину своим запахом на риссвете. Правилось се завернуть а гажту и далеко учести, и закопать поглубке!

Пестрый щелок, перелетев кучу глины, бросился бежать. Со всех ног.

Он был неуклюж, еще толетовит, но бежал стремительно, взвизгивая на бегу.

Болех замибленный гочных пинков бок. Жгле посдоторых од тогуских в куму замраби длини. Но у висска его зарку учистван педосденным пироваком, в другом месте на найма мороженое. Кто-то урания, и мороженое кателога воробът. Замоматися Шеном протива их и стал зимать свы. Даже яннох питой забыл — так было вкусно!

Съев мороженое, щенок полунал и съел буминку.

Затем убежал на склад.

Тав сваем сториж, кот, что зистириве, в облаве вкусвейция экиком. Он готовнями экть, авпул за сумни жнеб и замижарна, достал вусок авревито мяся и товко вирокал его ножов. Затем амиул вз вариани аканость, заверитую е носиоб альтом, отвернумся от двенка и аталим ее в рот. Постучал зубями — перянтся! И стал есть мясо.

Шенок подсел сбоку, заглялывая в рот. Старик жевал жиео и варчал: оно было недоваренным, жестним В конце вынала он дал его щенку, сам же ел помилоры с хлебом: обманивал в соль, перемещаниую с черным перцем, и жевал. Нетрровливо

 Так и жать будем. — говорил щенку. — Вигро-ди, вомечно, суровая зима, но этим не смущайся. Пока я здесь, еда и жилье у тебя будет. А что с тобой случидось, это я понично. Но свет не без добрых людей,

проживещь...

Стредка пувствовала себя оданокой, но не очень тосковала. Ее и маленькой часто гиали из дому. Она привыкла и в ремию, и к шелчкам пальцем по носу; зить хозяйки не любил се.

Когда грузьян машину. Стрелка угадала подативвость ховяйки: старушка покормила се жареной кар-тошкой и двумя коглетами, всклиннула, пообещили найти.

И толкиула к двери — ступай!

Стралки ушла. И раньше ей приходилось часто убегать: она живала бездомной по два три дия. Потом ее снова впускали.

Она бывала даже в лесу.

Стрелки не голодала. На рассвете она обегала по-род и успевала сытно посеть: многие люди поздно ве-чером брисали из окна кости и хлеб. Стрелки знала наперечет все богатые мусориме

ящики в городе.

Она ловила голубей, чрезвычайно ловко прыгая на них: была легка на ногу, пружиниста, зверовата в два-жениях. В ней было много дикого, в се маленькой сулой голове, в черной, будто обугленной, морде.

Дикое просвечивало и в ее выпученных карих гла-

зах — она бенвась рук человека и не верила им. Потому ес реляо угониям. Голько одникам она сытно, даже броло отвясно, поуживали колбасой в компании с человеком, который ве решласы идля домой.

— Жина моя тигр, а жизнь погублена, — плакал он. — Ты сыв, а я сые поплыжуев. — 11 пнл из бугыл-

ки, вынимая ее из кармана.

Оп давал Стрелви вызбясу, отреляя по маленькому кусовку, чтобы она слушала его исповедь до копца. Стрелка просидела с ним ночь, а утром проводила домой.

Она шла, глухо надень, что ее позовут в дом. Но человек и сам шел шаткой, неуверенной походкой. Должно быть, от страха.

Так поляла его Стрелка и убежала спать в одно навестяюе ей место. Было опо среди брошенных строите-

лями труб.

Эти грубы лежали долгие годы, среди них много раз вырастала и умирала трави: польив, лебеди, просвириик.
Там Стрелка устровла свое логово. Но харавтер се

Там Стреака устропав свие логово. Но зарватер ее начиная подгатись. Однажды мальяниям поджавам и ударили ее камием. В другой раз они подкараудили ее и засижнати каминми оби выхода из труба: она садели голодной три дия.

С тех пор Стрелка встречала каждую протянутую к

ней руку захлебывающимся рычанием.

Рынала и прикидывала путь отступления. Но сама не отходила — ей было тесклино по пременам. Быть может, в моще концов и пациелся бы теленек

и оценва се диковатую изящиость. Или, идв на рынок, ее встретила бы старуха и уго-

ворила зятя пустить Стрелку.

Но случилось другое.

В день тоски, когда листья сывались от колодиого ветра, она убежала к дому, которого не было. Там уви-

дела Белого иса. Он шел, исхудавший, чумазый, с перскошенной легиим параличом мердой.

Стрелка почувствовала — сму плохо, много хуже, чем ей. Ола опутила его псечастье .. и лошла за инм

Пес приновыявля и дому. Но дом исчез. Теперь здесь был высокий забор, пахнувший сосновыми досками. Белый нее прошел сквозь этот запах прямо в щель. Он вошел в нее увсрению, будто в свой дом. Стрелка постояла, слушая его уходяние шаги. За-

глянула в щель и вместо двора увидела земляную

яму. Будто пасть.

желтые губы. Стрелка Яма распахнула глинистые влезла в дыру и села у забора.

Работы по закладке фундамента кончились, и ствои-

тели пременно умли, оставив краны премать.

Их вараулил сторож. Этот лысый старик кодил

вдоль ямы и курил.

Белый пес шатающейся походкой брел краем потдована. Временами он останаванвался и что-то женал И тогда в Стренке приносился то запах клеба, то извивающийся и быстрый запах колбасы - остатки вчервинего ужина строителей.

Сторож начал ломать диски. Он разбивал их топаром и складывал и кучу. Затем поджет. Теперь од сидел, глядя в отоль. Доски весело сгорели, оставив красные угли. К ним подошел и свл, греясь, Белый пес, по-

добралась Стрелка.

Сторож говорил о чем-то сам с гобой. Стрелке это не поправилось, и она убежала. Она завыда из трубы и нанугалась своего голоса. Вернулась на стройку: там, в теллой золе прогоревшего костра, спал Белый пес. Стрелка прилегла ридом е ним тоже засиула. Крепко.

С тех пор она стала приходить на етройку и днем. А ночью больше не приходила: нашла сарай с автома шаной и спана в нем. Она охраняла этот сарай — так решила. И хозяни машины прикармливал ее. Приносил ей теплый суп в большой алюминиевой маске.

Сун был густой, вкусный, с покрошенным мясом, наогла со сметаней или молоком. Постель хомини тоже дал

хорошую.

Кормить-то он Стрелку кормал, но домой не брад... Быть может, она и прижилась бы в конце концов. Но однажды Стрелка гуляла, а за ней погвались собачлики. Они бежали, перомные, страшные, размахивали круглыми сетями. Пришлось убежать на стройку. Злесь была тихо. Сторож куда-то ушел. По кромке котлована брел нес, когда то бывший белым. На кирпичак силели парни и ели колбасу.

Они пинметили собак и засвистели им. Белий пес привык к такому обращению — он заковылял к паравм. Он шел к ним так примо и уверению, что и Стрелка вобрела следом. Им дали конскую вкусную колбасу с бевыми кусочками сала такой Стрелка еще не еда. Парин смеялись над собаками, их широкие лица были врасные, улыбчатые, веселые. Глаза блестели.

Они переговаривались между собой.

 Откуда берутся эти собаки? — спрацинал один. - Холят, заразу по городу посят. Надо их поймать. — говорил другой.

Не дело это, — возразна первый. — Ловять не-счастных. Ты им помоги!

А сели вабесится? А? Что долать?

- Врешь ты.

- Десять уколов в фиохо холень? Чего болгать, схватим их.

II собак схватили. Нашлась веревка: их привидали и забору. Парин ушля, решяв польбиить а трест очистки из ближайшего автомата. Чтобы приехали и взяли собак.

Правязваний Бельй пес лег и задремал. Он верил если привизали, то и этиммут, падо ждать. И в памити

его шан случан, посла старый хозвин правизывал его за молодое баловетно к ножае стола. И еню, погла они бывали в гостих. — чтобы нес не обимал хозийских Стрелка же, ощугив веревну, стада рваться. Петля

стинула ее горло. Сабака экоманлась. Она пивернулась назал. припала на бок и стала жевать веренку.

Это была крепкая, выпачканныя в машинном мацис

веревки. Но собява грызла и грызла ее.

Веселые парви не нашли в карманах двух колеск и не полконили в грест очистки. И собаки дождались бы сторожа, тот отвизал бы и успокоил их. Но во двор заглявули Володька Румпель и Окатов, Увидели собяк,

- Адло, собратья! Это вы нас выводили в люди? сказал Окатов Полобрав камень, он метнул его в Стрелку: тя зазызжала. Окатов швырнул камень в Бе-

лого пса — он взревел и подиялся,

Теперь у забора выли в метались на веревках две собаки. Окатов приврыл ворота и, поддерев их доскои пошел набирать камии.

Расстреляем! – сказал он Румпелю. — Я, быть

может, и не хотел быть человеком, а они вывели.

Не хочу! — сказаа Румпель.

- Тогда попрошу питерку. Ну!

И Окатов глядел тем взглядом, которого (ов хорошо, знал это) все боялись.

- Лазы!

Сразу бы! Кого на себя берещь?

- Рыжую, она смешнее.

Окатов гложил камии аккуратной горкой. Его охивтывала странно веселая злоба. И было ему и жутко, а стыдно, и хотелось кричать: «Я боюсь, боюсь и ист же еделаю! Но кричать ве стоило, еще привяжутся И нужно специть, того и гляди сторож вернется на стройку.

Темп! — велел Окатов.

Опи взяли по камию и швыриули: Опатов — в Белого пса, Румпель — в Стрелку.

Кадали близко, промариуться исполножно

Металась Стрелка, то и дело взроявывая старик пес. Окатов видел: верод ним вертелось что-то болос, ово риспавляють в глязах, его хотелось бить-бить-бить... И восмотреть, что на этого выйдет.

Ручнель килал в Стредку ленино — камлем в бок, памиом в лапу, в задикою, в передикою. С забора им кричали пацаны:

— Эй! Что делаоте! Мы вот скажем...

Варуг Стремва развулась. Связью. Надкущенная перезка люнула, в собяке броспалсь на Оватова так нежельню, ято тот упал на синиу Ова равнула сиго аубами и упеклась к забору, в щель Румпель швыкриух ейвесам чие камень и метко. Она завызкала. Истован,

 Ты мне заплатинь за это, старик, — сказал Окатов, поднимаясь. Он вытер платком укушенную руку и

перевязал ее.

И вошел за кирпичами по пяниками.

Да брось ты, — присил его Румпель.

- В тебя?

Окатов скалился, будго сменяси. Вът только глаза его бъли тоскаливы «Черт е ним, с пенком, — думол Румполь. — Кончим дело, и сбету, и дружить с нам перестаную.

Пеловинками вирничей они стали добивать Белого исв. Варус Румпель веарикнул и скнитился за голяну, Ожатов повернулся — на вик дали с каминии в рукал мальчинки, человек десять совлячков. Одопеди-гики забор.

Ови были хатрые, эти соплички, они щли россивных и видали, кидали издалевя, с ловкостью окраинимах мальчишев. Первый их зали полал в кель, я второй, и тоетий.

Окатов бешено орай на них, Румпедь отступил к по-

ротам с достоинстиом почти изрослого человека. Пока они убирали доску и открывали ворота, в них летели Выскочив за ворота. Окатов припал к шели и стал

разглядывать и запоминать детские рожины.

 Проклятые микробы, — ворчал он. — Ничего, еще наплачутся!

Пошли, — торопил его Румпель.

- А пятерку все равно отдашь, лениво бил.

Пришел сторож из магазина со свертком вод мышкой. Он взил Окатова за илечо и удивилси, какой рослый!

Ты чего? — спросна од. — Чего подглядываемь?

Отеп! Попрому не распускать даны!

Окатов дернул плелом и глядел на него сверху он был выше старика на две головы. Тот даже изумился — молодые, а такие длинные. Аж прогибаются. Совсем другое племя...

Что делаешь, спраниваю?

- Наблюдаю, как подрастающее поколение каличит животных. - сказал Окатов в быстро пошел. А вз ворот бежали ребятишка. Они гнались за Окатовым и Румполем, крича и гризясь. Бежали до одного, разовы окраски, дома. Там (это хорошо знал Окатия) жил знакомый его отпу хирург Фамалия его Розов, запо-мается он в институте в заседает в родительском кожи тете. Это неприятно вождивый тип, едкий, будто вислита. С ним наплаченься, он такой.
- Довтера вада звать, довтора, вереговария». лись мальчиния: они тоже знали Розова. И такая удача: он был дома, вереканывал грядку. К нему и ввали лись а отород и стали проенть — в один голос — очето к собаке. Доктор пошел.

У полного доктора была одышка, шел он медлеяно. Хотя и выстел, будто исе впечя бежал.

Камиями били? — спрадивал он.

- Ага, дяденька, подовинками! Ах... паразиты...

 Они в нашей школе учатся, одного иличут Румпелем.

Вы... молодцы...

Белый вес лежал в киринчной имли, лины его дро-

Он же весь друстит! — кричали им оставшие

мальчишки. — Он будто с самолета унал!

 И я ае узнаю собаку! — сокрушался сторож. — А ведь коринл вчера. До чего оказанели, проклятые!

Ак наглены, ях парпінвны! — твердна врач.

Он поисел над собакон и опупал ее. И та лишь покрихтывала, когда длинине тонкие нальцы врача пробегала по телу, залевая одно, нажимая другое. Врам хмурилен — нес был изломан. Располот гре-

бень ловатки, сломаны ребра... Плючна раздроблены, их и не соберешь.

Практически эта собака убита жистоко и подло. Перебита ее первиосица, сломаны обе челюсти. Будто нес побывал в молотилке. «Усщинть бы его. — тосклино дупал прат — И му-

читься не будет. Дать морфия, чтобы отошел без мучений. На колоню бы и сласти, это будет великий урок и награда ребятам».

- Унесем его ко мне! - велед он и посовым платком вытер руки. - В чем бы его уности?

- Вольчите посилки, -- предложна сгорож,

Ребята схватиля тижелые носилки - в нях посили бетопный раствор для мелках работ. Понесав собаку доктор шел впереди.

Робята, человек песять, свиди и с боюзв поддержи-

вали носилки.

В коридор оан внесли гобаку предельно осторожно. на руках. Положили на пол Доктор шенвул жене, в та увела ребят.

Он стал возиться со шприцем: перебирал ампулы и не ваходил мерфина. Тогда набрал ширац димедрола.

Все же легче тебе будет, старина, уверяю.

И уколол. Пее трудно дышал засыная. Доктор же позвонил приятелю и спросил у него марфия. «Тут, старик, возникло такое дело. » — объяснил он. Затем набрал другой исмер — ему пришла в голому одна мысль. Неожиданиая.

 Мие бы Ивана Васильевича. — сказал он в труб-ку. — Да, да. Розов справивает. Слушай, есть пациент. на нем сможень опробовать свой препарат. Безнаде-

жен, мнижественные переломы!

С ума сощел! — возмутился Иван Васильевич.

- Не неловек это, собака! Ставь опыт. А переломы се прямо для твоего ялея. Она .. безнадежно сломана для обычных методов.

- Ты уверен?

— Эти прекрасная возможность опробовать костими клей! Но только в требую это делать под водной внестезией, боли нее вытерпел выше головы, его били хулиганы. Я думаю, и сердне у исто певажное, и склероз...

- Посмотрим, - отвечал Иван Васильскич. - Ты

сможешь его принести?

— Тяжел.

Тогда выезжаю.

И через пятиалиать минут к дому блако подбежал голубой «Москино». Из него вылез биродатый толстки человек в белом халате. Он нее большую корзину.

Розов встретил его на крыльце.

Толстик присвистима и натиулся, DESCRIPTION TO

— Обработали!

Он выпул коробочку со шпринем, протер руки спиртом. Они сделали псу укол и уложили его в корчону Бородатый набрал номер и по зелефову велед этотовыть BCC».

Сразу и на стол, — сказал он Розову.

А ты не термень время, — удивился тот.

— Поможешь?

- С удовольствием.

...В машине они говорили только об операции.

6

Стрелка проскопила в щель, задев гаоздь И не остапилась лилать рану, бежала. На бегу товко повизгипила.

Вим далеко обгонал Стрелку. Прохожие останавлипались, глидали, а мимо инх ароносилась рыжая гобака, и визг се стихал в отдалении.

В бесилась, — презполагали прохожие.

Куда бежала рыжая собака?

Побливаети от города еще оставались леса. Летом там часто отдыхали горожане, сейчас же леса были поосенному пустые.

В их тишниу бежала собака.

Ей случались и рацыне убитать на города и лес. Стрелая уходила в компании городелих собик, околишихся и лесу на итимами, беспомощью голяциих зайцея: итслаць их апотливам, пулатая, пунавлявая стая, выпунка жартные става, Ванизиная и хриполо-лая, они воображжани себя состинками.

Стренка бивала в леу. Но, побрадив в вем день, встером она видела во Ужениям Лесом, в дитория формам Воль Ей встомникател усолють, и стренае чолврацилател в город, радуне смедости — была в леу! Слузя и повычным, она рассказывана, от уславие, в та

слушаль, влази, оглаживая ее голову, и голорила:

Хорошо, ты молодец...

В лесу Стрелка бывала легом, изредка весной пал осенью и вногда вимой — мерецомись волка за каждым деревом.

Сейчас, пробежав от высоких домов к низким и мимо них к торговой базе, огороженной дощатым забо-ром, она переплыла речку и вълетела на бугор, поросший соснами.

Исчезла в лесу, стихали ее визги.

...Стрелка затвилясь в лесном глубоком логу, в гли-няном его закоулке. Сверху ей была видны клин иеба да торчки сосеи, пускавших запахи. Здесь же глина, песок, застоявшееся дневное тепло.

Утром она вышла и речке полакать воду, но увидела людей, шагавших с лапатами (Алексии вел Инановов сад), и сбежала в лес. Ей кричали вслед, звали се, но Стрелке казалось: в нее швырнут камень, тяжелый острый.

От людей онв уходяла таубже в пригородный лес. И все гуще становился лес, смелее переменивал жил-тые березы и красные осним с голубыми соснами.

В аесу было хорошо, повойно, безопасно.

В нем тишина, шорохи мелких зверей, стуки крыльез летающих туда-сюда дроздов.

В кустах перепархавают свивцы. С вами вместе,

единой стаей, летают поползіля и дятлы. И повсюду лежат упавшие листья, вориха мертвых

листьев. Среди них вопсшатся муравьи. Вот певь, в котором гудят церции. Собава подощая — их сторожа зареве-

ли на Стрелку, и она убежала. Собава варуг ишугола невеную разость от пашины, вялого осепнего солица и желтых листьев. Радость заливала се всю, от зап до кончиков ушей, подпятих торчким; от ньса, чунвшего лесные запяхи, до кончина ин-

виливающего, довольного звоста. Она весь день ходила в легу, знакомилясь, пюхназа

все.

Сунула вос в пору к барсуку, пробежалась за вы-скочивним забием, скватала в траве поленую красную

мышь и понесла ее не зная куда. Мышь завозилась пасти, и Стрелка глотнула. Нечаянно,

Царанучий клубок прошел в горло и стал возиться и

царапать внутри. Затих.

Собава перепугалась. Она питаращила глази, рас-

ставила ланы. Вытянулась. Так и стояль, прислушиваясь к себе. И с тех пор ей казалось, что красная мышь жилет в ней.

Следующую мышь опа загрызли и съеда мертвой. Сытая, она переноченили под кустом дикой акашин.

Но угром обнаружиля здесь муравьев, до сих пор не епавших ил за теплой осени. Они кусались, и Стрелка убежала. Велугиула зайца и села на хвост от изумления, глядя на него.

Занц скавал огромнейшими прыжвами. Будто астел. Стрелка азартно вязгнула и погналась, сгоряча то и дедо налетая на вусты. Она кричада:

Aŭ. aŭ-aŭ!...

Лес отозвался ей:

— Эй-эй-эй!...

И Стрелке казалось, что зайна говит не она одна, а большая стая собак.

Это был счастляный для Стрелки день - ова убежала далеко, в силетение глубочайних лесных окрагов. где ее ис смогли бы найти. Это успововлю собаву: лес будет ег домом, вдесь она веседа сможет укрыться,

Ночью Стрелка убежала в гирод Ова долго рылась в знакомых мусоряму яниках и хорошо поель. На пассъсте ушла в лес: влоль домов, мимо саящей базм, и

шлеп-шлеп-шлеп через речку.

И вот он, лес... На лужах его тонкий ледок. поблесвивают промерзивие за почь купола муравейников, дежит кмея - околеневшая, будто мертвая, от приморозка.

Стрежка проспала до середины для. Потом встала, наявлясь в лужице, что скопил родина, повюхала висло пахиуший муравейник. Затем лениво гонялась за бурундуком и чуть чуть не схватила вылетевшего из куста те-

Но промахнулась, зря щелкнула зубами. И убежала на огремное картофельное поле, клином входящее в лес-Там причувля куропатик — запах мависал над полем.

словно шатер.

Она прыгнула в середину этого густого и сладкого запаха. Птицы разлетелись, подава даль, в Стрелка за-

дохнулась ею.

Остатик для собака провеля, напрасно вытоясь схва-тить какую-инбудь птипу. Паже подкралась в последиему в этих местах раухарю, токованиему по-исецияму

му в этих вества глумарка. тованивания по-сеняю, деняю. Не вот был в скартнюм настрения. И. жистоко клюксь, он гоняя Стрелку между деревьями.

Ионью Стрелка енова убеждата в город. Быть может,
она бы постепенно превратилясь в пригородную собаку,
что не может прожить без гарада, в нем не находит

свое место.

Но в один холодиний день оне поймала зайни, разоспавшегося в кустах.

Заяц глупо влез в куст циновинки, из воторого был один выход. К нему-то нечанию подощла Стрелка.

Однажды ей повезло с тетеревом, ранениям охог ником-браковиером. Затем она наповивлясь элегитыся сама. Все реже и реже ила появлялась в городе

Ей велю! Егеря, кранивание лес от брак-насров бродячих собав, не заметили ее - Стрелки в лесных оврагах проживала одия, бродичие вотаги собак не забигали так далеко. А вот вошка, те приходила и загили к отицам на деренья. Но даже они бывали релго. В полное голюдство Стрелки попил вугок леса олощадью в два гри квадратных индеметра. Доствися без драк и реаления: прижинавшие здесь барсуки бродили себе потиковыку, городские воты претендовали на одинк только итии, да и тех повили на деревых, и эксы еще

не перебирались на зиму к городу, к его мусорным свалкам.

Жителя леся отлично ладили между собой: логи питались оснивми и тем сеном, что косили им отеры.

Мыши обятали в травах, землеройки и кроты - в

Белин, бурундуви, дрохды, синины, дятлы, поползви шатальсь где ни заблагорассудится. Кан-то Сурелна заяла на бурундука, свшего рябину. Он брал ягоды с той ветки, которую быстрыми вленками веникал серый дрозд. Это корминееси содружество чем то подкутила

В этот же день Стрезка нашла барсучью вырожую пору в проследила, это жил в ией, кроме бареука, еще и кот, похожий запахом на того, что вырос с иси когда то. Он так же густо пах паутиной, съеденными мышами и птичьими перьями.

Стревка приходила к поре и долго июхала ее. Бар-сук серанто тудол, а кот шинел на нее на геплого земляного нутра.

Она лаява да вих, ой хотолось в пору, она звала иг-

рать, по те не выходили.

Однажда она астретила чтого кога, черного, возврашающегося с охоты. Он нес в зубах сороку, итичий хвост воличился по жувлой траве. Стренка подбежала к коту, висело вомадивая мостом. Но кот бросил сороду, зашипел, выгнулся.

И варуг залез на сосну.

Он висел на вей, внаяв когти в голотом кору, а Стреляя ждал виня: Потом нів стала есть сороку, и кот серавто выл. Наковец он спристуд вина и с ужасным криком пробежал в нору.

На время Стрежка позабыла его, увлежникъ довлей белки, та жили в гисале, силотенном на сходе ветов двух сосен. Таким образим, у гикада было два выхода, что арилодило в отчаявае жившую невлалеке кукиму.

Затем все переменилось.

Олнажды Стрелка остановилась у ручья: барсук, живший с вотом, лежал на бережке. Стрелка насторожилась — звярь не пил, он просто лежал, асунувши пос в воду. Дыхания его не ельпино.

И чем-то незнаномо и страшно пахнет. Стренка под няда голову — по ту сторону ручья, у обамивлой по-

ряги, стояла огромная кошка. Рысь.

Стрелка зарычала в ощетипилась.

Рысь забежала сюда из тайги. Она увидели бареука, лившего воду. Оне подкралась в нему и готовилась прыснуть и схватить. Тот выдвал голону, посмотрел на нее и закрактел странио: рысь замерля, а бареук сунулся посам в воду. Умер от страха.

Стреляя, полятившись, ушля. Рысь перепрытвуля ручей в взяля барсука, истряхнула его и попесла: оп Лишь через неделю Стрелка прошла к поре и дол-

был ее добычей.

го слушала завывание кота. Затем собака на докотках влезаа в нору и стала устранваться в ней, рыть, делать ее шире и улобиес.

Кот, ваннув маниследок, сбежал из норы и ушил ва

леса в город.

неса и город.

Но Стреляя жила в пере всего несколько доев вдруг проенулаев от враждебного запака. Планина голову – на нее глидела лиса. На другого хола жутко светяла глазами вторяя лисица. Они впрычали вместь, и Стренка быстренько выпольла в запасной код в сбежала.

С той поры в поре жили лисы, пришедшие зимовать около города. А Стрелка напла стинации черный сто-

и спала в пем.

Вышка снег. Стрелка шышно обросла зимней шерстью. Теперь она умела мышковать, не хуже лисиц искаяв и паходила под сиегом мышиные зимине городан. Она сделала нору в стогу, ей было тепло снать.

Зима этого года была мягкой, даже барсуки в поябре еще выходили на пор пить воду в ручье. По в декабре крепким морозом (однажды ударило за сорок гра-дусов) Стрелке прихватило кончики торчащих ущей. Эти мороженые кончики поболели-поболели и отпали. И надо было зализывать уши. Языком их не достанешь, нан ты ни старайся. И Стрелка лизала переднюю лапу, а ею протирала раны.

Зато в вяде платы за примороженные уши лес улиб-пулся собаке щедлой и жесткой улыбкой: Стрелка па-шля лося. Бракопьер развы его выстрелом в шею, гилл-

ся и не догнал.

Лось астек кровью в лесном овраге, умер смертью спокойной, будто услуг. Он и лежал-то, будто сиял. И Стрелке даже показалось, что вот сайчае ов встанот, огромацій и сильний. По свег нах кровью. Они авскули-

ла просяще и поползла к нему.

С другой же стороны к лосю нагло и весело ила красная лисица. Она схватиля его за копыто и потвиу-ла. К ней подбежала другая, С. этими двуме лисами, выгнавшими се из веры, Стредка и съвля лася. Хватило его налолго - лацы в феврале она стрывла последние кости, поддающиеся зубам.

Зимой всого два или три раза авдила собяка и город. Она даже нашла ховийку, идущую на масалина. Вадрогнула - запах был пезабываемо свой, но шол от незнакомов старухи. Не так давно была хозяйка полной и бидрой. Теперь же шля с авоськой худая беленькая

стирушка, шла и оглядывалась на собаку.

Она не узнала Стрелку.

Не признала свему этого рыжого впери с пылиным хвостом и круглыми ушами. Но в память о Стролке

бросила старуха кусок мороженого мяса Стредка понохала в взяла мисо. Она долго врокнякала старуму, не подойти к ней не решилась. Да и не было в ней больше госки по дому — лишь по стае.

В лесу ей было хорошо жить: зайцы-беляки насились по снегу, не проваливансь, будто на лыжах, мыни спали, вавернутые в пуловички, сделанные ими еще осенью

Проголодавшись, Стрелка ходила от одного такого мышиного города в аругому и сытее сытого дожилась спать. Но глубокой почью сна просыпилясь и выколили на холод. Ей было так одинско, тоскливо... Глаза сами начинали жмуриться, уши прижичались в голове. Они салилась на свет и начинала безостановинили бет ца месте, перебирая лапами.

Она выла.. Упосился вверх ее тонкий и дрожащий вой, откликались ей си всех сторов придрачные собака,

Стрелка затихала и прислушивалась: нет. не было здесь стви лесных собак, она одна среди черного леся И снова выла Стрелка, и ее опять обманывало лес-

ное эко.

И пропосвлея, неся отни, самолет, ронял гул на леся С ним пролегала между деревьями огромная черная

тень. Как птица. И так стращно, так яро светила луна.

В городе ила зама-многос недвил. То и дело подтан-ная сиет, и по лиму печатали следы все, киму не лень Сел воробей — вставил след, прокатил ветер репей-ник — и аставались следы. Крохотные, будто жук прополз.

Когда же приходили северные ветры и снег охваты. вала леданая корочка, тротуары посыпали солью, чтобы ве падали горожане, от соли опять полтавнал сист.

Новый дом на месте старого рос. На его стройке шля великая суета. Непужные теперь краны убрали и обрабатывали дом сихружи, с подвесных люлек. Работали штукатуры и маляры, по этажам вверх и внир беляли сердитые бригалары в салогах, выпачканных известной Приходил к дому Пестрый, рассматривал следы, некал знакомые. Не нашел. Потом долго сидел, подвернув хвост, и глядел на сусту.

Это был уже не смешной щонок, а рослый и сильный

пес с узкой и изрядно лукавой мордой.

Нарыд это был по-прежнему ключески смещон — пязнями, торчашими древесными стружками. Но яна эн имся благополучный, сытый,

Удачливый был пес! Ему веало даже с окрасной

Видя Пестрого, люди исвольно улыбались. Он же подходил к вим неуклюже-ласковыми шажками. Но глазал его следыми за руками человека, опыт боролся с добродущием.

Пестрому велли: сказал ящиков хотеан убрать и объединить его с другим складом, побольше. И не убирали, а сторожа были предобрые старики.

Пестрый ночевал, если хотел, с инми в теплой проходной Но в такой шубе ему редко хотелось почевать в помещения, он предпочитая закапимосься в сгружки или в спет.

Сторожам правилось - охрана на дворе!..

Ив же в тепле можно пить чай и прочитывать очередной голстый роман. Или курить, разменнами о жизин. А надосст думать, можно позвать соблку, и та будет

слущать с винманием, что ей ин говори.

Пестрый считал склад домом. Охрания его, он часто домом, высукум вые на родовретия, и дама на проховик блеми: «Гау! Гау! в Желуков кор Ока отничный и переварияма все, что удавались съесть. Ио счастье Пестрыму контла голько до чиваря — склад переведы в другие место, а дряжное помещение сведал. Пестрый уднея в спаса в свету. От лижнося в ждал, коудо его адмесет теплам спетом.

Есть же водял в старику сторому домой. Тот внус-

кал его и давал ности, хлеб, вчеращинй суп. Ну а если старик болез и выпадало песколько голодимх дней, пе-пристранвался к воромам.

С холодами в город арилетела эта стая больших серых ворон. Ночевали они в лесу, но прилетали в ти-

род кормиться.

нол ворошноси. Они была пожилые, умиме, солидиме воромы. Цест-рый быстро заметна, что свят выстоящно что-пибудь на-модят в снегу и едят все вместе. Он следка за ними и тоже прибегла есть. Но не отбирал, не набрясмивляся, в ждал свою долю.

маси свои доли.
Ворони привыван к нему и присматривали за псом с деревьев, залица. И застенью, добые что-инбудьсъедобиде, он обваруживал викруг себя кружок ожидавошкх кором. Чувство справедниюсти была заложенов нем — пес оставлял еду коронам.

Так он жил, и хорошо жил: покидал места, где его не терпели, на слишком часто бынал там, где и примечали, безоцибачно ловил ту грань, за который собака начинает надоелать.

Пестрый изучил людение слова и жесты.

Пестрый клучил полекие слова и вкесты дог старые теварит ему: «Ты исслаетный нее, я дам тебе посеть». Но рука сжимается, анги сердито топчут-ся и токорят: «Ты примидивы слишком часто, у тебя без донный жежурам, а же совестями и не могу отказаты». И Пестрый исчезая на неговодьки дней и пряходых, муза старые начинат тренажиться. Из Пестрога вырабатывалась та беспримунаю то-родския совбах, что исстребича я жольноспобияя, мо-жет ринть без чезопека и исследней обращено. Претибе чезопека и исследней перед.

мес липо ред ческовкем в ис золяет оер него. Пестрай все дала, то его положут в далей-инбудь дом. Плитав часлям разглядивал оснещенное окно и долей за цеоропинаемых приврачимых степлом. Вот едят, разглаваривают, смертем... Повидивни коес-

том. Пестрый частенько засывал напротив чых-нябудь оков. А плияжды он дълго рассмитривал Гая, сидевшего на динане (тот примохимался — запах Пестрого аходиа в раскрытую форточку). Но пес не озлобился, пе стал угрюмым добытчиком, его сласало добродущие. Дурных людей он только остерегался и всех процяд.

Мдача быстро верпулась к нему: в феврале друг-сторож караумия невыя магазии «Промтовры», Пестрый стал жить при магазие. Там было много яников, кучи превосходима стружев. В Сибирь же шла весна, в на съзненном двинеке всемо запритали воробъм. Наконея принел типлай март. Свет тама, ходяли тумания. Вороны каркала, стан на зеревнях Весело санстван чумазые жуланы, и повисым вонна сосулев. Мальешикам до смерти надости вимя и уроже. И погда заказыни вельмарди Окатова и Володкау Румпски, они швария и наи жеваный хасо, наливали чернила и шапки, сивбали з жеваный хасо, наливали чернила и шапки, сивбали

В коппе коппов был устроен показательный швольими суд, свядетелями приходили сторож и обя арачи. В марте была сделана последняя операция Белому

В марте была следана последния операции Белому псу. Не сриставшинете сами по себе кости, потвиженные срастаться для контроля в не сроениете, гоже были соединены плем. Пес ложил в гипеовых финтах, скоманный ими.

Ов двидел дуквими авиженными груди, не забирен полуже сразу, а браз его постенения, велимия пряхами, И косал в форточих и печу выстал духам — индевать сау из миска — и изушна его белесия полистом. Белай пес сентал его снои.

Руки ведей токи спалась ему. Добрые, ини сладили и заскази И в этой же яви или бескопечном сие оз видел бородатого челожека в очеках, видуа тех, странисбивших его...

В марте Алексии закончил доманнию прессировау Ган. Пес выполнял команды влежаты, эспасть. Слушался приказа «по мне!», умел ходить без поводка на улице, полией соблазнов: бегающих кошев, валявшихся костей, заманчивых столбиков. А их так дюбят обиюзивать гуляющие собаки.

Запялея Аленсии и отработкой попоски - заказол тантван на дережа. Он так решвал пусть Гай развивает мускулы шен, пусть в будущей своей жизне эдотника приносит узаянну убитую динь. Любую, двже тяже-

лую — глухарей и зайцев.

Иванов противился гантелям.
— Ты что, собяку шаху персидениму готовины? яловито спрашивал он.

 А почему пойнтеру не привосить динь хозиниу? Легаш не должен восить дичь, он слишком утовчен, слишком первен, в этом и связ его и слабость. Только очень нежные, голкие первы, заметь, могут усилить чутье собаки.

- Плевать!

 Гай — комок первив. Он только знешне спикоен. убитая двчь его разка орит. Он мне стойки будет сры-вать! Пойми! Ведь его стойка — это приостановка хишника перед броском на дячь, а его бросок эхотник заменит выстрелом. Понимаець, напряжение работы Ган не разряжается в прыжже Стрессовая ситуация!

А тебе еще и авин подвий. Сорвет он стойку.

— Не сприм! — возражья Алекени. — Я миллион раз повторыя команду «леявты» и яко мне!». Эти команды вошли в паледую еги клеточку. Если ты ему отрежень ужет в тот поговится за ношкий, крикии «лежаты - и хист ляжет. Скажи вко мис's - и квост вернется.

- Хакет, а не с бака. Она с темпераментом, дай бог

мне летом справиться.

...Охотники спорваю, Гай дремал на коврине, и в лесу дробил дятел, и глухарь пробовал токовать, чертил крыльями снег.

К нему кралась Стрелка, ловчила из-за деревьев ее ментой было схвятигь эту червую, огромную, грозную птицу.

Хорошо быть собавой в весением героде!

Принтио бегать улицами, шленить данами по снежным лужам, нюхать вытаявшие из снега рукавицы, слушать визг котов, трыть низко повисине согульки. Хорошо быть всеснией шалой собакой и всетись по все ловатки, в даять за прохожих не потому, что ты зол, а потому, что рад.

Вкусно лакать из первых луж.

Хороню влюбиться в болонку, которую выпускают гулять в подстеженной шубке, оставляющей открытыми тонкие ее лапы и пружинку хвостика.

Можно долго влять, когда выпесут се. И кинутыем навстречу, выпеся ялык и пыхти от изобилия весениях чуветв. Пестрый, выросший в огромного, по пресменииго пса, бегал по весениему городу и влюблялся.

Сипчана он влюбыкся в ту болонку, что хозяни выпосил гулять в кармане пальто, чтобы она не плака-

ла лап.

Боловка гляделя на всех на этого удивительно глубакого кармана, дминала свежим воздухом и лачла.

 Ты не лай, и тыши, Мили, ты дыши, — внушал ей хозяни.

Но га павита на истх, доже на Пестрого. А тот брем на холимов удивительной собачки и привюхивался к его кирману. Хозяни кармана не гнал прочь. Он смеялся и говорил:

- Что, брат, любовь не картописа... Ах гы, гру-300006

Тяв-тяв! — кричала болонка.

Хозяли былонки сочувствовал Пестрому. Он брал в

другой карман клеб или большую кость, завернутую в газету. И угощал его.

Пестрый так и ходил за ними — с костью во рту и

нежностью в глазах.

- Адыю, - говорил ему боловкии козяни, возврашаясь в подъезд, пропакций кошками, и оставлян палось в подвоза, пролагания всинказат, и оставлям пестрого за дверью. — Сваьвиль, как говорат французы! — смеясь, кричал он ему, высунуванись с балкова, через полтора или два часа. — Что значит: «Жизнь сеть жизнь». Держи! - в бросал сахар или конфету, иногда даже шоколадную.

Но собачка не покидала кармана. Легкомысленный Пострый влюбился в бульдожку, толстенькую, французскуш. Он поправился ей, но их жестоко разлучили. Это ие разбило сердце Пестрого: он немедлению проликся симпатией к обчарке. Та скучала на балконе третьего этажа в том же доме, где во нему тосковала бульдом-

ка цвета модных ботинок.

Овчарка глядела на Пестрого сверху: он казался ей красивой таксой. Пестрый созерцал ее синзу, Приходил си часто. Хозяева овчарки заметнан его и назвали Клеопатриным покловинком (огварку звяди Клеопатрой).

Та не сердилясь на Пестрого. Ее селаце победила неотступность и его многитакивое сидение в спетовой язже под балковом. Но вогда ее выпели гулять. Пистрый увиделся ей совсем другим, пелели с балкона. За-нах был тот же самый, по выд. вид!. Певлонник осальяся до отвращения влинионогим и дохматым. Клюопатра со запстью принялась его разть и грымть — Пострый едва унес воги Нескольно дней он пролежал в стружках, зализывая равы. 11 Клоппатрины хозяева говорили всем по телефину, что Клеонатра «заела» насмерть поклонинка.

Через три дви Пустрый снова бегая по городу. Но Касопатра выбила дурь из его галозы. Его тянуло

серьезное — лесиме запахи, приходившие в город вместе с ветрами. Он выходил к нам наветречу, на окрамну. Там выдел дес. Веена вкодила в него проталивами и остекленедым снегом, резлишим даны. Пробегазина, шайки сибан авали с собой, но Пестрый не шел, оставал-

павая сента знати сътока, по построжнался. Ся на опушке спава, смотрел, приподнавлея. Лес манца Пестрога, по оп был слишком осторожен, чтобы присто так койти в него. И исе же стал приходить на опушку и спотреть в темноту высоких древесных стволов.

Потом всизанвал и убегил По холил.

Чтобы попасть на лесную опушку, надо было перс-бегать резку. Поло льдом плескадась ее незпланая ROTA.

Пестрый то елушал воду, то долго следил, мак сороки и впроцы продстают в лес. И, судя по всему, инчего с ними плохого не случается.

Велому ису - и сиях это - тявже виделся лос. Будто илут они в него с хознимом и вликем ищут гри-бы-боровики. Ол. если мочет получить конфеку, должен найти гриб и полаять на него.

Белый пес тило люка и бежал, бежал впереда своего давно умершего холяния, бредущего за ним с корзиной.

Веслой трудии добавать сау и лесу. Ланы провадилаются в снет, педаная върва вроквант их. Хочень ав хелень, а приходилось бегать в город, в мусорных ван кам. Всева гнала Стрелку в город

Еще одиночество: Стралка попыталась дожить с лисами. Но те не верили даже собаве, алишей в лесу. Убеталь И заважды зающие красный лисовии прокусва ей лапу. Стрелка тотчас порвала ему ухо и ушла на трех лапах в город. Но, сытой вернувшись в лес, об-

радовалась его тишине и покою.

Как-то почью она бежала из леса к одному знакомому яцику. И варуг учуваа Пестрого, это был запах не горьковитый, ценячий, а смльного, крепкого иса.

Стрелка была усталая и голодиня, с ободранными и кровь лапами. То и дело она седилась и зализывала их. Она чувствовала себя иссластной, одиникой, гододной, Ей хотелось твердый номощи от сильного иса, который бы бежал с ней рядом.

Она остановилась, не зная, куда пдтя: в мусорному ли ящику пли во следам Пестриго.

Хотелось есть. Очень! Но Стрелка побежала по следу Пестрого. Она теряли слод в густой воян разлитого машинного масла и бензина и находила вновы.

Полбежала в промтоварному магазину. Шла весения глухая почь. Со столба, пеставлен-ного напротив магазина, лампа бросала широкий жел

тый круг. В нем блестели ледяные острые корочки. Стрелка обощна световое пятно стороной. Подощна к воротам. Принюхалась — авлах Пестрого. Вот ог ромным влубком он подкатылся, двишит в шеля... Заску-

лил, он вспомнил ее.

Пестрый винулся в сторону, в дыре в заборе — Стролко встревожилась и перебежала улизу. Там в стопла. Вилела — в шель, визжа, протискивается крупный пес. Застрия, вертится, выривлея.

Пестрый перебежал дорогу прыжками. Но чем ближе он подходил в Стрелке, сжавшейся в ком, тем мед-

лениее шел. Наконец лег на брюхо и пополз. Лазнул ее в морду. Стрелка отпрыгнула.

Подошел — ова отбежала. Погнался — Стрелка безкит.

Он бежал за ней, по Стрелка и с больными лапами легко уходила от него в ночь.

Они выбежали за город. Там, запыхавинсь, долго сидели - она на лесной стороне речки, он по другую

сторону, что ближе к городу.

К Постражу несенов болрые ступи города, а на той стороне речин зисла, как туча, лесная страшиля тишина. И отгого Стрелка казалась сму тавиственной и томе стращной. Она манила, она и пугала эго.

Пестрый вшетинился в зарычал. Полятился.

Побежал - Стрелка васкулила ему вслед.

Пострый бежал не останавливаясь. Он вбежал в городской центр. Хорошо! Светло! Мохившкий! Мохививия!. — позвал его почий.

милиционер. Он прозяб, и ему было скучно бродить одному. - Пиль сюда! Конфетку дам, - звал ов.

Пестрый вдруг повернул и крупными прыжками унесся обратно к речко. Выбежал на берег - пусто. Стрелка ушла. Он перебожал к лесу и политился Го-

род он знал, жил в мем, а вот лес он не вкал. Ощетивись, Пестрый убежал на городскую сторону речки, там и лет. Утром его спугнула приезжая мазивна

А когда он вернулся к магазину, его ругал сторож Схантив за шиворот, он шленал Пестраго ладовью и

приговаривал:

Будень убегать? Будень? Будень?...

Пестрый тихо повингинал. Не от слабых ударов, в от

того тоскливого, что родиля в исм ушедшая почь.

Весь деяь он ждал следующую ночь, но Стрелка не пришла. Тогда под угро Пестрый пришел в замоновом: Кругу и сел в него

Он сидел, ясно выгаеченным и далеко видний.

Проздал микао тикелов манияла, громычнула вудс-вом, вичего плохого не сделала. Произвали вестова полуиочники Гле-то очень далеко и красиво свистели милицейские свистки.

Ходили коты,

Пролегеля сова, с гулом ударилась о провод и упала добдизости. Коты напали на исе. Они долго гразали сову, затем потацили ее куда-то. В темноте произошла ужасающая драка между котами — с криками и визгом, с дикими воплями.

Тогда и Пестрый завыл.

Он выл неожиданно тонким и дребезжащим голосом. Разбуженный им сторож вышел и постоял рядом,

держа ружье, будто метлу или ловату.

— Новь-то, почь... — сказал оп, шпроко зевля... Звезд-то сколько васывало. Весия... Ты: часом, не боспирася — спрасил оп Пестрого и подумая вслух: — Прививку тебе сделать, что ля? А? Полдом-ка спать, парень!

Пестрый ушел с ним в теплую сторожку. Заснул. Спал он долго — начался день, и пришел кладонцик.

Выгнал.

Выгнал. Пестрый схедил к столовой и поел из ящика вчерапиних махарон и томатном спусе. Затем убежна к лесу

и долго сидел на опушке. Дием же не был стравным. Знакомые вороны перелетали с макущий на макушку и кричали знакомым

конком.

криком.
Пришла Стрелва. Шла она из города и воходила на долгонотую лисяцу. Подошла и обявокала его морлу, спределям, что он ев. Пестрый ливнул ее в пое, Стрел-ка побежда, отладывають в зовя.

Пестрый стоим в нерешительности. Стрежда вермудать и сама димума етв. И педейь увережно интрусила

в лес. Не оглялываясь.

И Пестрый шёл за нею — в мир незначомых сму

запахов. Шел настороженный, на прямых ланах, готовый в.

внезапному прыжку назад.

Запахи обступнам Пестрого. Они затовляли его, обполькивая, все незнавимые, держие запахи. Они то запикрались, то шля на него стеной и разбеталесь покрут узаким струйками. Пахло все: разбухающие почки берез и осин, шел крепкий, самоуверенный запах COCCH

Наковец собаки привым к стогу. Его темная куча сначала напугала П-строго. Он истановныем. Стренка пробежала в этому темному, исчемя в нем (Пестрый ощетинился) и бежит обратию, насмецияво раскачива-

ясь на бегу.

Хвост се и дразнящий язык болтаются на стороны в сторону. Пестрый обнохал их, альбав перста. — ова снова попачалась ему чужой в странной. Но попад она сместся вад ним. Пестрому не котелось быть смешона сметств над ини. Пестрому не мотелись выть смещым. Он, щетниясь, подоцева в предюм; стогу, повижал и авлая внутрь, откуда наждо Стрълков. И нашел тако поружное в теллое догово. Стрелка тоже впольза, собявля легла рядом, цитатнулись и варут ускужи.

Очиулен Пестрый неожиданно. Ему ликизалось, иго

его полявли и крепко держят и рядом что-то мягкое и страциюе. Но Стрелка ланнула его в морду, в Пестрый уепованден. Он лежил и глидил в отверстие дама. Видел паступает почь, и в ней растноряются темные

деревья.

Утрок себаки зыщля из логова на мороз. В возлухе, не то задав, не то въястая, висла блестищая морозная пыдь. Она прикрыла деревья, делия их инвалаюмыман. И если бы Пестрый был челошевом, он бы сказал:

— Заесь удивительно красиво... В аруг Пестрый удовыл странный, с привкуком зату-лости и гивам занях Он шел на тилого систа. Стредка бросковсь на запах, разрыла снег и съеда вышь. Пестрый всегда учился быстро. Стрелки повяваля ещё олиу мышь, он проследы) ее движения в тоже повыва. Бросия - мыни дежала на святу мертво, но хвостив сдрожал...

После этой странной для Пестрого охоты Стрелью растинуваеь на солиценске. Она грелась и зализывала

лапы. Ей было тепло и покойно.

Пестрый же бегал вокруг стога и обиюхняяя кусты. деревья. Поискав, он поиял — нет здесь мусорных ящиков, а еду нужно добывать. И убежал в городу, Вот речка. Подо льдом она тихо шумит.

Он сел и глядел на город.

Полимался вым, пахло машинами и мусорными виделами, полимин еды. Где еда, там и вужно жить.

Подошла Стрелка в села рядом. Она скулняв, вовя, и убежала в ляс. Пестрый тажело бежал за ней он не привых еще к вегкому быстриму бегу, которым Сегают авери, живущие в лесу. По следал выбор!

В легу пошла его жизнь, подная охот, иго, дюбви,

удач, неприятностей.

Свежная Весна возкла на его глазах в лес проталинами. Пришла голая Весна с набухними почками, с очнувшимися комарами, с прилетезцими горихностками. Выходили на солиценек муравы, рыжие и черные,

расциетали желтые мать-мачехи, летали бабочки — лимонные и храдивницы. Оживали мухи. Они садитись на којечик поса, нахально лезли в уши. А после Голой Весны закричала аукушке о том, что

идет-идет Зеленая Весна.

Собяки видели, как женились барсуки, по-весеннему яграли зайцы, токовали глухарь и селезии, ухаживая за утками, шавкали на свежных лужах, на токах. Хохотали белые курспатки, а мелкие птицы уже завивали гнезла.

Охотичься на лесных зверей и птиц, по-вассинему

шалых, было легко.

Мышей Посурый ловил быстро. С дачью покрупнев прихидились трудисе, по Пистрый спображал. Это оп. а не Стрелка проследна перелети гетеревов на почевку. он предложил изотиться на молодого бансува, он зыгнал на воры, щинля за дяжки, врупниго дисовина.

Нора стала свободной, в вин поседились в неп.

Пестрый, обнаружия, что зайны убегают кругами, ваел охоту из засады. Он находил, и веругивал зайна. и ложился в кустах. Затанвался.

Стрелка же, долговорий в легиий на вогу знерь, гид-

ла зайца, дая свежим голосом.

Эхи отзывались ей. И какоп-инбудь охотивк, блуждая по лесу просто так, из интереса, прислушивался к впу-кам гона и ухмылялся. Он думая, что кот забежала в лее собава дура и развискается. А м ж ну тем шла с рысаная охота. На первом нап втором кругу зания в охоту вменивался Пестрый.

Зиви, не водопревавний опасности и скакавний полегонечку, варуг обнаруживал крупного иса в всекольних шагах. Ужасом ежимилогь сто сераце, начи-пался смертный пробег,

Пестрый важе научился левить соров. Он ложился в весение травы, около брошениой кости — манил. Ле-

жал мертво. Но вот белку ему пикогда ис удавалось схватизь Пестрый приходол в поистолетио, когла балка дразвала

его с ветки.

Он прыгал, лаял, метался. Стрелка в это время емотрела с широкой ухмылкой. Она не могла сменться, лишь вздергивала верхикою губу. Уши, вечню насторо-женные, варуг распускались и опадали. Стредка валивась на спону, а Пестрый, опомиясь, бежал в ней тап-

нувшей пробежкой, могая головой в хвестом. И оне вачинали пру — бегали друг за другом, шут-явко грызлись. Потом дожнаних рядим в лежала, пос

роко в блажение раскрые пасти. Димок вырывался из ину — весна была кого в со: вечная, но с северо посточным моринным встром.

Но временами Построго охвативала посва не горолу. Он улодил на опущку в сидел там, глядя на город, влихая его зимм в запади. Миргир волеты его годаимить. Заговерили о помъления добиля собав. Старини

егерь, прослышав, пришел смотреть. Но Пестрый был счастиначиком — пока стеры сидел в засяде с малокалиберкой, Пестрый и Стрелка перебранись в город. Там жили неделю охоло столовой. Они усердно питались. отъедались на будущее.

Ночевали на съладе магазина «Промтовари». Сторож не забыл Построго, пускал в валитку вместе со Страл-

кой, говоря:

- Вот, теперь ты семейный человек.

Пестрый вилял хвостом.

 Это хороши, правильно, — одобрял этором. Ну-ка сгрызите этот сахар.

И угощал...

Зеленая Весна пришла с третьей волной прилетаюних птик, с посадной картофеля и капусты. Потеплела. Теперь можно было ватискивать Гая по куликам вода в болотах согрелась.

Речина, что и гонорить, была эще холодии и мутна, по болита мелки и вельшжим, они легко прогреваются. 14 для полевой дрессировки удобны — открыты, и падно,

правильно ли ведет себя пес.

Навнов горичо взялся за дело и ожидал быстрого результата. Но на болоте Гай перемениятя. Дома ол дол мясок, не нахинлишься, а здесь вдруг стал сурди тым, хулиганил.

Так вот почему ты свудаетый! – горество явум-

лился Иванов. - Это у добя дурь выставиласы!

На билоте Гай забывал, что сроил исю зиму пад миской, над броменным самиром в просто так, по приказу. Он причунива болотных куликов — в чутье у вего было свежие и громалное — и кидался ловить их. Гиалея, не слушая приков, так был горяч. Попять,

почему он должен не ловить, а замирать над кулихом,

делая стойку, Гай не мог. Врожденную в поколениях стойку ломало страстике желание охотиться для себя.

Но охотиться то он должен был для человека.

Опытный Иванов всегая отказывался учить собакфлегматиков. Знал — это спокойно, но на ина хоровинх собак не закодит. Пусть уж страсивая, зусть всиослущная собака. С ней тяжкая, учить ее трудно, но толя будет. И все же Гай сто угомиял.

Иванов знал по опыту: безумвая гоныя по болоту пройдет, стоит Газо поизть, ито ему надатежит деати на болоте и зоняму именью. Вот толька когла оп побист? И не станет ли ав это врем его привычей сумасшелшая гонка за птинами?

Иванов мог себе вомочь. Он был взибретателен.

С тех вор как прежинй натаслии Фанов бриска подепри натаску, Принова ослажавни младельны молюдых легацией. Частью по доброть, могью зая приработика, чтобы старука из кривала, что вог-де опять инпунцет ружне. Инацина брился натаскинать:

В изне он пабирна изть десить ценнав, а не удалось отбатом, та и питиалиать. С ятой вожней, ланивей, кускопцей магатой ин едал куза-то в дольного теревизи на вонутием грумовие. С собой брал куль отсемки, якаю матеминов. А. Б. С. Д. рабий жир (бучаль) и виши препно посущеной эрески. С атим грузом ибнемка, вак в воду.

Что ин там делью и дерение со шенками, дельнестно, по правозна их обратив рабочими собаками, биз вамити влюбленными в него.

Оя навилия их на полежые аспытания, они брада там третью степень, а иногда и вторую.

И влянтья пручили емя разлет, благолярили. Секрет жи успеки Иналиева был прост: он ляніна спіля, не бил их, и те лекарства, которыми успекцивают первона людей, давад собакам.

И щенка, успокобаные, не отвлекались пезнакомов

летней обстановной, а быстренью съватываля азы вкот-

инчьей мудрости и начинали работать.

Слава Иванова-патасчика росла. Но к Гаю он не хогел применять эту методику: до середник июди, когда он набирал собачью команду, времени было достаточно да и хотел Иванов натаскать пойнтери Гад вчистымъ методом, похвастаться перва Алексиным «Вот мы ка-кие талантливые! И пес и я!»

Лаже сиблизи выять своего исв. чтобы он показал

Гию, как работать на болоте, Иванов отринул,

Коста он с Гаем внераше пришел на болото (накавуне завеь Алексии нашей аупелей), они вепугвули камашинину, птичку размером с ваперсток. Так себе, срувяв. птичка-синстулька, ин с запяхом диня. За нею Гай рванулся так, что в болотиую поду подиял буруном, и осока засвистела.

Исчез в кустах. Что он делал в тальниках, изиляестно, по выскочил на них, вочти держи квост визреди ле-

тящего дупеля.

Иванов сначала восхитился: страсть-то, страсты! а затем пришел в бощенство. Он засвистел, кричил, звал Гая, Погнался за инм... Когда Навнов роймая Ган, тог дрижал. В выпученных тлаках его травяным отнем светилось охотничье безумие.

Иванов увел его с болота — в наказание.

На следующий день ини пришли на болото с веревочной. Извиов привязал её к ошейнику Гая с расчетом наступить, вигла тог поговят ятину. И не усила насту-

Упрямый, как вее патасчики собак, он неделю ходил с веревной в надаязывал ес. Суть метода наключалась в том, чтобы заметить приостановку Гая по дупелю в за веревку придержать его. И из этой-то приостановки и вырабатывать привычку делать стойку. Но, когда Пранов не смог узнаться за веревкой длиной в тризнать метров; он вышел из себя.

Они здорово поругались с Гаем, а там и подрадись

среди болотных кочек.

Сначала Иванов всыпал Гаю. Крепко. Затем тот ванися за Иванова: старику приходилось тижело. Отбиваясь и упав два раза, он отступил к шалашу оговодного сторожа. Тем и спасся.

Гай, рассииреневший и не жалавший простить изрву, долго ловил Иванова, подкрадываясь в нему с разных сторон шалаша. Но Иванов вовремя убегая, примения то зыдвигающуюся тень, то горяший глаз пойнтера.

«Вынирмили битюга на свою шею, — бегая, горько думая Иванов. - Друг Алексин... В салу возится, я я

сражаюсь с этим чистопровимм дракономв.

"Дема Иванов услоковлен, а они с Гаем стали ярузьями. Волой не разольешь!

Больше Иванов из горячился. Он пял усповонтельные таблетки. Он тверло (но мягкой рукой) направлял Гая. Тот, благодарный и любящий (и помия поряу), спрашивал глазами его совет.

Дупелей он больше не гонял, янилась стойка. Мертвая! Такую и положено быто иметь пойнтеру высоких

кровей.

Затем Иванов совершил тайный грех: убил из-под Гая дупеля. Никто не заметил его выстрела, не оштрафовал, обощнось, слава богу. Зато Гай зонял, для чего

он работает на болоте.

Все понив. Гай заработал, как чудиого устройства мехачизм. Иванов в поле, нескольно отавлив натаску других шевят, прошел с Глем и вое что из того, что полижено охотничаей собаке проходить лишь на второн год обучения, то есть работу по тегоревам, Гай воспринял.

- Ты мел утешение. - бормитал ему, возвращанев с болота, Иванив. Он забыл все прежине пруряторы. Глаза его были влажение Гай показывал работу

просто аоришую, но исключительную.

Иванов за вечерним члем говорил Алексиву, что нет, не эря он старался достичь высот в обучения собая, папален-тави ему Пес с большой буквы. Он его, Иванова, приклашет... Малай Гай!... Отдавая тетралку с ваписыю всего дионещеднего

(певлючая таблетки). Иванов говория:

— Нет, мы с гобей не напрасно жили: такой нес!

— Положим, яев Дина была лучину Гая. — дорохорился Алексии, поднимън на макушке голосявой ко-Навиов принимался опнемвать Алексину, как Гай холок.

довид линих бекася за сто шагов. Рассканывал, что он шел следами кулика-ручейника, а следы были трегыз- Что же, не продавать его? — спращивал Алек. лиевочные.

сии. - Ты возьмешь? А?

 Продавай, дайно! Я... и педостови. Гию пужен. молодой охотияк, а ч., жизнь мов кончастся.

И веханивул. Теперь старика часами перебирали диакомых городсках охотивков, по не находили среди вих достойного. Так себе охотивки, посыресники, бухалы ла охалы

Это угнетало стариков. Гай же был счастлив. Он видел сны, в воторых искал

куликов и тетерок.

Навляги Иванов приномина пригородинго старщего егеря, человека, влюбленного в окоту, в собав, и лес-Когда то он работал анжевером-влектроником, но броена свою инженерию и васктронику. И ушел в сгери-Переродился!

Жена его собачанна, — говорил Иванов.

— Он это, факатов оходы, твой стерь? — спранциал Алексин.

— Но дело одогне знает не хуже нас с тобов. Он полод, силен, у него все впереди.

- Сколько ему?

Сорок лет. Завидуещь?

— Счастливчик!

-- Он такой. Удачливый во всем: в стрельбе, ружьях...

- Бывает.

— Он проохотится всю охотинчью карьеру Гая девять лет. И еще двалцать лет охоты впереди с другими собаками.

Старики обсуждали вопрос недели две, перебирали

все елат и «против» и наводили справки.

 Отлядим Гая даром! — предлагал восторженный Иванов.

 После вания клопот? — спришивал Аликсан. — Это нас, конечно, не разорит. Но тои поднимал палец) все, что достается само собий, не ценится и не бережется. - Пусть-ка посмеет не беречь!

- Инчего, постраднет карманом. Пусть поднатужится, беря Гая. В конце козщов, мы с тобой една ли вернем наши расходы.

И они дали знать стороной, что-яе продастев по случаю болезии владельна (Алексина) поянтер высоких

кровей и таких-то качеств.

Егерь объявится и момент, присхал на агазанев в час ночи. Научро он усъква обратво с собакой, отлав двести питьлесят рублей и думан, что прлодан Алексину еще столько же.

 Вери, бери, заелужна, — говорка Алексии, отчин гав Иванову гто зваднать имть рублей. - Отлай их

mene. Дулья. — сваная Наянов. — Я продам свой тройниь, приложу деньги и возьму гот спигреня. Поманиь

Суелова? Он вимер, а жена распролает его оружить. - Опать повое ружье? Ты с ума сходицы!

- Друже, - говорил ему Иванов. - Я люблю ружья. А ты, ты сухарь, ты с олным ружьем на всю жизны Не понимаю тебя...

- Я однолюб1 Ты просто деревяшка...

44

Полундин, изобретатиль каче для постей, заптравал. читан фенологический очерк.

Газета быле за семниднатие июля, очера развертывалея. «В поле и лесу все молодо, цветет лесяое круппртравье - борец, пунка, дудиня, - и кончают цеть итвцы. Им уже некогла развлекаться, она выкармливают птенцов, продолжая эстафету жизни...я

Эстарета жизни... Полуидин выпил еще мофа, съез еще один рогалик с маслом. Крошки ов смел со стола в далонь и рассевино бросна вх в рот. Затосковал.

Вот, добряв автор, подавсывающий звыстки «Стрый

воробейв, осведомил сто, это уходит дето.

Да, уходит еще одно лето, практически не замечанное им. Потеряна лучшая часть года, не выслушаны пусни в свисты малых итац, не гобраны в букет любимые помашки.

Он не был даже на рыбалке, где так короню думается. И не будет — дела! Сколько их... Опыт с влеем заканчивается, накопилясь тыма набаюдений, аналимов,

рентгеновских снимков. Горы снимков.

Эстафета жизни. А перед ини. хирургам, всегда манчит чужан смерть. Теперь она, провлятая, дежурит у клетки. В ней проживает Бельй пес... Да жиз ин оп? Присхая в ИИИ. Полундии вбежая в свой кабинет.

Он бежал тревожась. Но пес бил жив. Он сидел тихо и глядол в темный угол. Полувани увидел, что гдаза собави запали в пес сжавен в тайной бирьбе со

Бедацій пес' И Полунави, говори: «Хороший пес, смертью. славнай, милый пос», - протянул было руку погладить и не решилен. Пес зяскудял, побрел в себе в клетку, еле лежала полотилка и были поставлены алюминиевые чашки (одна со сливками, принесенными ему Полундипым). А ведь ходит, Ходит!

Последние анализы мочи и репттен показывали, что каже рассосалск и вышел на собили вои. Это даже не повредала поточи. Возник, правда, асгонький нефраз легой почки, но он убдет.

Намаялся Белий пес — лубки, операции, лекарства...

Бединай ты, бединай суарик, — выдохнум Иван Сергеевич, поднивансь и растирии поясиниу. Задумарся.
 "Итак, въей расседска, а рештиен поясама, что теперь вости собави — крепцие кости. Хоть двадцать лет живи! Удачей был появый состав клея. Победа! Успех!

Клей заменит нынещиною грубую гехнику сращивания костей, свинчивания ак шурупами, соединения штырями из метала

Но за побелу вало платить: Белый лес умирал. Сепрость. Пришел его сров. Сколько ему лет? Встеринар Котия сказва, что двеналцать или питиалиать: резны стерты, клыки спосились.

Старичов паш на пределе, ему каюк, сказал петеринар, моя руки. – Двей верез шееть булет готовый препарат.

Жестоко сказата! Несараведанно в ааборатории, в Белому всу. Но прав ветеринар — пришел срок Белого иса, и с этим инчего не поделаениь.

12

Пестрый застрил в городе на нелую педелю.

Он абдивающится со многими собавами. Они же припоставление в Переграму, дахнущему лесов, смолоб, вомалной в разврешной вично: в ходани за ним, словии маличина за удачинами охотников, иссущим домой много дичи.

На окрание и забрашенном сарае (Пестрый перебрался в исго) тепера поченали не лве, а пять събан:

Пестрый, Стрелка и три другие.

Был старый вес густо вършно пачта, быз очень и селый и хромов щемых. Третьк же собава визкая, ориземистая, длиниая, была помусью таком и фокстерьера. Она попала и город проглами. Химпия пустил се прикудаться у воклада, а сам ими диво да глявел на нес. Но отвлекся, загонорился, а когда кватился собаки, надо было срочно бежать в вагон. А собака осталась

Затем пришли еще две собако, обе помеси пворият с

овчарками.

Это быля очень сидыные, арупные исы. Вели ови себи непереносимо грубо. У нах Пестрый научался арабся и рычать, ощетивнить не только загривок, но даже XBOCT.

Затем - стаей - или ушли в лес. И такая была их удача — днем раньше старший егерь сиял явсялу.

Он ушел домой, в удачливый Пестрый вбежал в лее.

в за ввы тянулись данния пепочан собак.

Она распалась на инушке. Пестрый в Стредка ушли (дубоко в лес, в собака побетала, зоиграли и повернули в герод. Но с тех пор они часто встрезвлись с Пестрым в постепенно принывала в легу. Одна за пругой этисобаки уходили в лес.

Первым ушел щенок.

Ласково повитивая, ов бежал за Прегрым. Когда отставал, он пачанал скулкть, в Пестрый жаза ещ-Щенок поселился бы радом с пиме, но Стрелка ну пуствла его в логово. В воние коноов идлов стал жить в стогу, питаясь мышами, бабочками, кузнечнами. Пистрый уделял ему часть добычь.

Это был добродушный ценея — педецел и бредуже му дегом егсрю и лет педед нам ин слину, скули и преси илять отслода домей. Он лежал, стучи вностом и меризгиван от радости. Ему потелось одного: чтобы ото узыли в тот дом. запяки которого пропитали олежду

Етерь рассматривал шунка в полной растеривности. То, ято предстоваю, не радовало его.

Правила бържик лиза "нали сурким — брозваза со бана голжин быть убить. Инвеу ила станет анципром в аку, будет отнимать закожную добной человека и размосить больные. Но странять но варыскую собаку это один: а в глупого в доворнициотел жилов — тексем ару-том. Был вымен — плекти правило Скажем, воять в

Нав отетить его мауши, за так, втибы он страниися человека.

Егорь, сили ружне с этема, ризгилималя спілку.

Вотъ домой? Не ота безона, испорасна шатаниями. Оставать? Будет надушея долон. Егорь кисло мир-

шился. В жиние понныя по выстралал и ушил-Первыме в убятому щенку явились жуко могильшияв. те, это поліжна на розділь. Ні надала парывать это. Затем прищел в общолал пенью Потрый. С ими были

Увалья мертвого, она вимучалась, манила Пестрого.

звала его уходить скорее.

Опо лачиц на чето, для с вугала. И Изстрый вощет зи мун. Она ущин в гамы, дальное истому оприн Там нашли другую вустум пору. Долго работали - углубляли ед. хадили перемизациями в гание. Они неселались в этом глубовам опрате Стог тетерь учина червыя вет и отставшая от польза собава. С виме помнал сите три: два шенся в почеть борьна и дварна ге — огрозный пес. желтый и сухопарый. Они поведа жили, колугородских собав, ту, авторую с уходом в дальний лесной озраг околчательно бросили Песрый и Стрелка.

Собава — черный иге и другае — вормалесь а горо-ве и умились охотиться в сегу. И меде им ведло в они

бывали сыты, оставались там неделями. Голодиме же, они уходили в город и копались в мусорных ящиках.

Шло лего, темняло пилано — их унилели зногие. И даже старино егро. Он став вскать събак и находи ях следы, приекупивалси к вауму игр в дряк. В вовще коннов он пашка тот-общевалите и даже сфотографировал его. К тому приеван став увеличитась до семи собак. Правал, щемков заявиван в годисе — сетяни работника треста очистки, а полубирато примания дерементами мужичик. И удез ее в степном дажелое сейо охотитася на заста в дайжел. Но пала и им я стоту друтие собаки. И одивжама егры призачатна с слоби автоматическую мезиохалиберку. Он лег, исложнот стара выстотки на явы и встатурастве спотческий прицел.

Сердито моридась, он навед его силий произотвельный вягала на голому дремавшей собиви. Нажал стурск: обяза окмула и отъянувалеть Егерь тотние выс персвед прищел на другую собяку — он был отличным стролюм. Из имен соминк на угрене собик он вака трех, сбоюза ма дини сертам и получахов. Да и то дишлалев мони-

ка хвоста.

Егерь подощел к стогу, браска на пато убятых собак п поджег, карауля огонь, чтобы не убежна в лес. Он тыл доволен своей отпячной стратьбой и ислововен стеленным.

Зато теперь старший егерь был унгрем, собака че придут и его же. Они персстанут бузномасрствовать в его леза. А цот Пестроно и Стреми мерь не невал. В этом и была его опибка.

15

Коллето потпилывали на собику, ждали се всизбежпую смерть и обязателнию всирытие. Любевытство гравло их, вызывали споры. Что алей? Как он спола кости? Но Полундин за время работы как-то сродиндся с гобакой: Белый пес был поворен и терпелив, в Полунили ощутил алву. У этого пся люди отобрали молодость, преданность, тело. Он похоронит иса. Черт с инм, с клеем! И Полундия уже присматривал место похорон в саду внетитута. Он нашел его около березы. Она ровяла превосходную дырчатую тень.

Шумят листья, поют кузнечини. Было и другое хорошее место, под дубком, что так бодро принялея расти в их салу. И пришел этот день — собика упоряю лезла в темний угол, она собпралась умереть. Полупдин сел

рядом с ней.

Он тихо, дасково и долго говорил, усвоканвал ее словами. Так дождался смерти. Потом взял упесенную из дома простыню и завернул и нее Белого пса. И понес в сал, припоминая, где их дворинк ставит лопаты.

Но есо караулили. В дверях Розманов остановия и взял его за плечо. Рука была твердая, жесткая, педоб-

рая. Пальны так и впились в мускул.

 Слушай. — тихо сказал Розманов. — не устранвай эмоциональное буйство.

Подупани пермал сверток. Розманов говорна - И так уже нее в институте говорят, это каке групла, самореклама. А вець это парван удача лаборатории. Да, да, ты любил ися и гли далее. Но.. надо векрыть собаку, завершить наше дело...

Не дам! — сказал Полувдии и попыталея пройти.

Розманов не пустил.

- Так нужної Знання, не забывай, превыше чувств.

- Это осквернение трупа.

Пу и это? — сказай Розмонов, холодным умом имогда походиций на мирецивина.

Полундви не сердился на него. Он знал его преданность науке. Помина — обычная, челонечья жилиь не питересовала Розманова, «Все время и все клетки монти. - твердил тот. - пужно отдать позваниюв.

 Я отдем себя, а жау перілома своих костей, в ты мемя сальнив... Нойки, пужно исследнять проистетвоого жлев. — Полудана сжаз састрок. — Иужно исследовать кисти на налов, нужны гистологаческие исследовань;

И был прав.

Черт е гобов, бери! — сказал Получкии в отзал сверток.

Розманов взял его и осторожно, как ребенка, понес.

Полувдия имя следом. Он эпал — телефон уже надрывается, звонит всем, кому вичерсеен их опал. И едутемал яван — на трамматах, в такот, в в яготусках. Иехороно получилось, но, по сути деля, прав Розманов, а не оп, Получили, наибретатель, во не ученый исследователь.

Сейчас Розманов в кателчатом фартуне и со скальпелем в руке будет вскрывать и объяснять. Потом коллеги, грудянс до полуобморска, в считавные дии следают блестицие препараты.

Беллый старый пос. — бормотал Полукдии.

Пестрый вылел и лег рядом. Вводрав тип и разки кисстом, оп приглушивался к цовым личкам — Стредки кормила менят. И Пестрый варуг донял, что он должен

ельлить: исвать елу и привести ее Стрелке.

Еда должна быть сейчае же, минго въучной сада, инборма в город. Чака два сбусте с огромным батаном хачеба в хубах (он выпул его да чисёто тозяйственной сумка) Пестрый был внушев в вору. Ему даже позвольния общожать ценков.

И у Пестрого пошла сустлявая жизнь. Он стал забо-

гичным семьянииом, добывал итии, довыя зайцев. Он то и дело убегал в город и причосил хлеб, коловеу. Один- вы принис апельски висолого цвета — им долго играяз щенята. В августе Пестрый паучал ва довать мышей-полевок и показал им, как надо сарадывать услучиях в кустах зайнев.

Учил их втому, это умил долать свм. Стролия, силонив голову, гандела на него с одобрением. А в стороне лежали и смотрели равнодущиме но исиму черный рис п полутався. И топуалея, поведущавая от аозбужления, ок пок, увитившийся за Пестрым в дос.

В сентябре вюжина собях постылаеть в глубоком овраге. Это были осторожные, проученные всы. Дием они

в репро снаяв, охотились ист годька примо

Приследав их, сумулся было старыме сторь в опрас, во тот был таубы в вкульбев, с болотом вогредии: Егерь поснользнулся, унал и понимал ружье. Он макнул рукия на собац — пременно, до земи, согла болого замерзнет.

 Это же сумасшостви: — ворчал Алексии. — Олититься с легания тлубокой отново? Где он найтег личь? Клиан птина выдержит стойку? Подпустит а себе? Он что, вабесился?

Друже, не наша это забота. — уснованная Ина-ров. Он разлется в пресле и уамылялся — быез доволем.

Алексия выпул из шлиба ружье, сморшался и поста вил обратио.

- А что в возьму? «Зауэр» в четыре вило вегом? Его пести мне сердие не двет. Вчера перебон были,

камфару пил.
— Верное позражение. Знаены, у егера бельгийка етть, дваднать весьмого калибра, беспурковая, вес в лва кило.

- Летское ружье? Не хочу.

 Ну, стреляй пальцем! Пело было такое. Старший егерь пригласия их поохотиться. С удобством: он располагал машиной. «Га-

зика стоял у полъезля. Алексии долго оденвлен. Наконец старики вышли к манилие. Впереди шел Алекени с ситьой, полний вкусных продуктов (колбаса, сыр, яблоки, конфеты). За явм Иванов нее огромнейший рюкзях и звысуленный, в давно им купленный, шведский дробовик — автимат «шогрен».

Он был в кирзовых саногах сорок пятого размера.

в ватючке и в брезонтовом влаше поверх язго.

«Не человек — гора! Как он здоров!» - завидовал

Алексии

Они втиснулись в агазика, и шофер разнул с места так, что Иванов влюзул висом в синну друга, сенциго виерели.

Как вы там охотитесь? — спращивал Алексии.

- Хороны охотится одан Ефрем Иванович, да неды у вего и собава. Мы же охотимся на городского браконьера, это наша осенняя дичь.

- И. много их?

- Изрядные грофен: за чесни двалиать пять ружен отобрали, а убегло еще столько. Автомобаластив отло-

выли зогемь штук. Но вы хорошо поохотитета.
И оне зативорили с сложностях осенней охоти и

близких к городу в практически бездачных местах. То есть нак бездичных? — вдруг областся вы-фер. — Мы вуропаток разводим в полкормку эстранив-

ем. Зайды вам что, не двиг? Их много. Есть один тлу-Я быю займен на зневной лежке. — похвастал

Иванов.

 Надо охотиться по первой пороше, — говорил стерь-щофер, пригормаживая машину. Он подвернул маленькой деревеньке, выскочившей вдруг из-за поворота. Подвез к дому.

- Здесь наш старшой. Но его нег доми, он в лесу.

Старший отерь пригородного леся жил в бревенча-том доме. Свежем, желтом, накинси смедой. Высок был дом. На крыше тарчало штук пять скворечинков. Их воробые готовкие для заменки, посили соломины и белые курпные перыя.

К остановившемуся взаликув выти от ломи гуся присванетые важные атины. Охогнави вылезан, в Алекприводичие запавления типа. Укловния доскаять, в овержина до-сив свазва Ивалия, что добит гусов, этих подпах до-стинства итиа. Ивалов, усмемуванием, ответка, что то-же их любит — с вачустой ав под стилочку. Охотники прошла в дли. Их встретьки соблии егера-

Гай и другие — гомчий пес с седлом на спине на пятия черного цвета и ланки, очень рыжая и литрющая, стли судить по ее раскосым глазам.

Гай был равнолушен, чем обилел стариков

 И исе же оп мядина для охоты! — сказал Иванов. ...Жена егеря провела старивов в каблист мужа.

Там был конторский исшений спол, внижная полкавз довов, на ваторий стокан гри уздание вЖини жипотных» Брема — два на русском, я одно на неменком

чениях пред на стоие поисе чений выприк из денточес.
На этом колдине виского петь итук румей. Везанх
Была трехлипейния старая минтереа и пробовой автомат. Висели дорогой слауму при вильная, тулка пистиилиятого валября, ослагийня двадлягь шевмого ка-лября — пявшиог, легкое ружькию То, которыя Ивания пугал Алексина

- С этой пуванкой гы таутающий охотиться ме-

ия? — упрекнул Алексии.

 С ней, — ухмылялся Пванов. Туг жела егеря принесля чай к картофельные ват-

рушки, еще гарачие, и к вим топленое масло. Старина пчля чай и еди патрушин, поливая их гормчим маслом. Погв, стали ждать колянна. Слдели рядыником — им не хителось на улицу, ще было сыро, ветре-но, знобио. Им зеобще инчего не дотелиць, только бы дремать и этой теллой комвате, погладывая то на ружья, то на чучела, что сидят в каждом углу. Отличные чучела! Превосходные!

Старики разглядываля вечно токующего глухаря, солгрнали тетерева, серуш куропатку, ястреба, дувеля.

В полявлини старшего стери был даже рябянь. истреблениців в этих местах лет двациоть вазад. Но чу-

чело свежее, чистое.

- Голиву даю на отсечение, это оприжный раб чик, - сказал Иванов. Опи заговорили о тех рябчяках, что не улетеля с глухарями в тайгу, а ушля в овриги. гуето зарасшие осняой, черемухой и олькой. Жавут там, а охотники в них не верят.

Пришел стерь, подрый, прасный, пахнущий смоной и потом. Он заговорил о рябчиках, перебравшихся в ов

раги. Видел их сегодня — жибут, из тужат Минье! На малок их из вызывения, их инчем не возь мешь, такие заросшие овраги.

После чая в разговоров укладывались снать.

Алевсина хозирва удожили на диваке, Иманову привесли раскладушку. Постельное белье было снежее, прокладное, приятное, лунный свет то и дело про-рывался скюзь бегущие тучи. Поблескивали ружия в стеклянные глава филлиа, посаженного на этажерку у окна.

Старики лежали и слушали звуки дома.

Вадыхая, бродил по комнатам Гай, стучал когтями по половицам. Звикал ценью во дворе гончав. Лайка

илима на заселнику и загавльявала в овно. Она поднимались на задине ляны и смотрела, пырисовывая свой легкий и островатый силуэт на темном стекле.

Временама она сбегала с завалинки

заять гончаку резким и зноикам даем. Гончак всл основную партию голосом могучего колокольного знучания.

Это было красиво.

Старикам после крепкоге чля расхотнось снать. Она долго слушали лай собак (он весся в нени я введам), потва сиворили о ружьях. Иванов ш лтал другу, это ружья стеря куже его затоматическоге «потрема».

Старший стерь не спал. Он ущел на кулаю и там сидел в одном белье, чтобы озабилть и добыть вще и-

много сна.

Но сон не шел, и старими егорь пил холодный чай с медом на размышлял об окоте, какой око будет.

Старичков надо удивить, так оп решил. Затэм поразмышлял о своем — слишком уж блилок город, мало зверя и птицы. Скучно!

Принел Гай и лег к его погам, гряз их. В окно заглядивала луна. Поблескивала железная крыша соседа-

И стариной егерь измиожко поментал, как он будет восстадаваннять даешной лес, сля березы в соблы, Бот бы ени вырастит пакую спиреную крашиву (и посекть гле издо), чтобы туристы и выблитивали лес, бовлясь. А охога... Пичего, он уще разпедет куропаток, серых...

Ебурь не миг отрешеныем от песпокойства за лес, от разговора со стариками, которые за уживим много то-

ворили о древних ружьях.

Старечки находили, что ружья взачер» не так уж хороная, годковали, что лигичана — вит то пыдаливали

первоклассное оружие.

Ох яги мущения, лучаные, обозваемые старички, довшие ему кажую собаку! Она аносчениятые, беспазавляне судыв ассумотичныму собак на ползевах испатомиях, на циставава. Какие они охоты перевовная! Сколько повыбона лин, сбредали за одну состуу ко питавесет-его жулькой или уток-прикуд. И радом с четной мисстико о заиграничес или служие и непоные мысли о человеке и природе вообще, сейчас и в будущем. К пяти часам угра охота представлялась егерю так: они уезжают в поле. Там ость тегерев, живут и куропатки - штук ето. Правла, места эти открыты всем ветрам, зато старики узнают силу чутья собаки, увидят Гая на открытом месте. Булто в кино.

Итак, на разелете они сядут в «газик» и уедут, а сатем побредут с ружьями. Свать некогда. Старший егерь

оделся и занялся готовкой, не беснокоя жену.

Он принес дров и затепил печь, с удовольствием июхая горький дымок. Это давало ему радость. Острую. Поставил на отонь котел - сварить овсянку со-

бакам.

Старикам и себе он приготовил завтрак — картошку, ябиа и вареную тетерку.

Пахло зищей, стучая крышкой закинающий чайник. посвистывал носом кот...

Старшай егерь вишел на крыльцо. День обещал быть холодным и ветреным. Ежась, он глядел на просынлюшеоси соло: холийки затопляли изчи. Затем пошел в Алексею поферу - в застал того проснувшимся.

- Здорово! - сказал он. - Через полчисика полъезжай во мае. Затем возъмень Изана, с инм засокайт-

в квадрат номер семь.

Как стариканы? — спросил шофер.

Сият без задних!

Но старший втерь эшибея - стариян проснувиев ровно в шусть. Ови быстренько искочная, увидели в овие начинающийся день, холодный, быть может, го сис-2002

- Разие собава покажет в такой день хорошен работу? - раестраивался Алексии. - Встер унесет запахи.

 Пропала олота, — соглашался Иманов. — Тетурева сейчас все настороже.

Егерь сиял ружье для Алексина. С удовольствием:

и ружье — перышко Двадцать восьмой малибр! Редкая вещь!

Из стола ок вынул патроны в нему.

Хороши были патроль — нальзы дагунные, сивношие, зовещьяте, канскали загизаны до удора, знажа, чтобы не выбалать, калити почлиным восном. Свя у пасеняка браз. А руждено, даром что легкос, быт неаурио, старик прияти одините.

Да в много эт стърпившие падог Вольмет пировку куронитот — и за газаз Себе егерь пана задуве двенадватетст калибра и чиховью процед в кухом. Мимоходим заглявнуй в също — нее угламивший Биуже садам в гламике. По връменам ов выглаждавая на машина.

... Они клази на охоту в молчания, зак и положено. Дерега шла полями — гумрачными, осоленными, бесковечныем. Небо было мятуществ, серок, полкое, с зага-

Не поймень его то ян оно происингся, то ан осыплет дождем. Или, чего добино, эцегом

.

Манина жила. Охотники и черный политер Гай остались г буркие поля. Огромного, пустого. И всяч бы не березы на кулю втог, не залежий лог, то каналось бы, что вся замя — поле.

Лекали верхна силомы. Стерия торчала, буйто грубая детима. Подущая пробивами вздохами бетер-споговик.

Не простудить бы Ган, — встреножнаем Алексии.
 На холу он не замеранет, а пенцат охоту — по

— тта моду он не замеранет, а венчат охоту — човенту падену. Как бы скет не пощел. — Старини егерь поглядывал на небо.

 Нет, его не будет, — уперил Инанов. — Поясии на не болит. Охотинки подождали, когда чутье Гая освободится от бензиновой сладковатой вони и станет свободных и снаьным, а миллион раз сильнее человеческого.

Пока это она собирали ружья.

Было легко сложить двустволки: раз, двя - и готово. Но с автоматом вшогреня Маанову пришлось мучить ся. И песложна была его сборка, да забывчива старость.

Он складывал ружье, и все неудачно. На сложил-гави и зарваил, опуская патрочы в магазии один за другим, тоомко восхищаясь уднавледьной конструкцова

DVSKbS.

 Нтак, ялая охоты такой, — заговорил старший егорь. — вачаем мы отсюда и тихо двинемти к легу. Нам могут попясть на мушку гетореня и куропатки отв займам, толярищ Иванов, в прошу сдержать истериевяе до молбря, погда шкурка станет пастоящей. Иначеитраф Ваше ружье. Икколай Валентиювич, я понесу сав в буду его отдавать для выстрола. Не возражайте, обидного адесь вет, с каждым скранем может елучиться, Ну начали. Гай, вперед!

Навибнувший черный зойнтер разнулся. Прыжком. И торчае стал, озправеь в принюхиваясь. Затем по-

шел с гранией сильной и ловкой собани.

Старики ахнули.

А по толых берез вышел немецкий кургузый леташ,

бородатый и щетинистый.

Повиливая обрубном увоста, он вел ногом по земле, имиюхизан чей-то елед. И вдруг стал, а черная птица, трезеща арыльями, рванулась в полет. Тегерев косан вылетел обнаружив, что дальне ему бежать некуда, впереди были люди и другая собака.

Хозяни леганіа, выбежавний из за берез, вскимул ружье и промахнулся. Тетерева убил тремя выстрелами,

слившимися в один. Иванов.

Беродатый легаш, видяя обрубаем, взял тутерева в

унес хозянну.

е хозину. Тот подошел и ним («Местный учитель», — по авта егень) — сутулый человек в очках. За вым шел детгой — толетый и молчаленый человов.

- Полукдии, хирунг, - сказыл он, «лепянсь стири-

Учитель, обиженный сноим промиком, с леду вачал вядеваться над Гаем. Он гонория, что ето Аксель вод-калометра вел за косачом, и если бы ве аурапкай вромах.. Вот друг, он спилетель и соврать не даст.

Я думаю, мы километра полтора проили, — усмех-

BYACS TOT

было видно — мантель гординся собакой. Он го-

- Гай верхочуг, он того не сделает, что Авсель сможет. В такую вогоду выгодно нижнее чутых.

Гай нам другое с мляет. — связка егерв.

В это время Аксуль, все выхваний закруг, бы стойки вспугнул тетерева. По нему промазал Полупани, по не огорчился. Ничуть.

 Холол! — сказал учитель, увавленнай неудачей собаки. - Птина запах запарли. Ващ пое тоже бы не причуна. Сейчас вужна собака, работающая до саму.

 Что же, я лумаю, пам пора. — связая Наднов. Гай, вперем! — праказала старшия е-ерь. И соба.

ка пошла в поиск.

Гай попесся по полю, су это велугул везяни польтом над этим бурым покосом. Черная молипи! — сказал Алексии.

Теми отличный! — отоявалея Иванов.

Гай бежал навстрічу ветру. Он, кад вывирят паптники, выед нелновомя, го есть сповал туда-скога, будго в руках извидимого рукол да гвача.

 Гай — парень умный. — поясния егерь. — Он вте. знает, как делать, булте старичком родался.. Он мает,

что нужно идти строго челинком, так птину не пропустишь. Вот и идет.

 Это я его научил ходить математически точно. хвастал Алексин.

Туда сюла, туда-сюда... Гай сизчала раскидывал свой поиск метров на тридцать пать и одну сторону и на столько же в другую. Но сторь мехада ему рукой, и Гай расширна поиск. Теперь оп процесмала полоку и сто сто пятьдясят метров шправы. Шел быстро, в старикам даже назалось, что на бегу он не касается цемли. оставляя между быстрыми ланами и стерией струю полоску воздуха.

И варуг стал на полном ходу. Твердо, будто ягновенно отлития на черного мугалли ституя, намятнов всем

на свете охотничьим собакам.

Синевитые, металлические отеветы леган на спину

 Стойкв! — выдолнули охотивки. И у всях меньануло опасение: а высидит ли атица? Ведь голо и ветрено. Подпустит ли она их?

Они пошла в собаве - Инанов и старший втерь.

Поради них пынтел Алексии: он задыхалеч.

 А куда мы, собственно, летим? — деланно у дивил. ся старший егерь, желая показать каменную выдержку Гая на стойке. И охотивки пошля тише, приноравливаясь в Алексину. Пока они шли, ятица огбежала.

Тетерев уходил. Где хозяни? Гай огиянудся на охот-ников, проима сще немного вперед. Стал — тетерев. лег мертво, дальше стерня была янзкая, его могля увидеть.

Гай пил аромат тетерева. Запах — он походна на прерывнетое, быющее из итицы плами. А когда ветер стихал ва минуту, Гай видел заива — ногом — как вздувающийся висру вузырь. Он чуял всех: и тетерева, и чильник в черном картофельнике куропаток. Их занах примедил в виде трениющихся по ветру витей.

Чуял охотников и е нами движущийся сладкий страшный запах ружей, составленный из запаха стали, зожи, горалого пороха в ружейной смания. Гай полюбил его, начав охотиться.

Окотинки подонди и остановидись (а тетерев сжалея, готовись к полету). И надо было сленить, но одот-

ники залюбовались собакой.

 Картина! — восхотился Иванов.
 Статуя! — решил Алексии. — Потляди, как ов лержит пруз. - (Охетивка навывают так голый и сильный хвост пойнтеров.) И Алексину, знатоку крояных собав, знавшему пойнтеров самых высоких, самых чистых кроней, хиост говорил о собаке, ее карактере и настроении.

Он был в инсторге от этого хвоста!
— Высший балл за красоту! Но каково то чутье? Сила его?

- Ну, я полагаю, если он чует даже в гакой ветер

и холод, то... — говорил Иванов.

в Госнади, сденяй, чтобы все было корощо... - думал старший стерь. И сму, несмотря на внобкий ветер, лезущий пол куртку, стало жарко.

 Современный стиль работы, — рассуждал Иванов

- Завлинает возаул! - причал Алексии.

«Кая бы ве упустить птицу», - гревожнася егерь.

- Вигрел! - шеннуй он, и Гай шагаул вперед. Тетерев присел, черная собака подходила в нему неслипиными шагами. Ближе, ближе. Тетерев разжал врызья, готовясь лететь.

 Вигрол! — приказал старший егерь, и Гай шаг» нул раз-другой.

Тетерев вытетел, борясь с ветром.

Он, быть может, и улетел бы счастливо. no weren сбла его в ровно поисс в стороку. Ввашов чисто взял его первым же выстрелем «погрена», в Алексан счатал ага-га ат стоящего Гая к месту выста птиом.

Сорок емких шагов!

В такую погоду!

Он подышел и воцеловал собаку в макушку. Егерь ечастанно и громко засменася, а Иванов пошел в сби-

той итине. Гай ожилал нового приказы искать.

Он напрятся, готовясь в первому быстрому прыжку. Но одотники не специял, они рассматривали тетерова. Это был коричиеватый, летнего вынола летушок. И они дула в перья, трогали его брови, расправляя, и либевались раздвоенным и выгнутым в стороны явостом.

 Я же говорил вам, он одинаково владеет сутьем и собой. - хвастался старший егерь. От удачи Гая он словно опьянел, и ему хотелось говорить без оста-

новки, и все о Гае.

— Он талантлии, он любит меня лишь за то, что я

опусь с инм. — уверва стерь охотанков. По куропатке выстреана Алексия (его была очередь), и удания. Затем страва егерь, и свова Ивавов, и опять Алевсия. Они ущая с открытого поля в брали илиль сврагов. Зассь теже были поля — мелянии заплагамия. Боруг них в ризвых траках притолись птицы: для каналось достаточно. И в ситипые Гай пекакал спац-

ное, вернос, дальнее чутье. Он болад, как легел; останарливался, подавал найденаую пінцу под выстрел и был счистлив. Хоте спрвал

воготь с передней лапы и онарапал уко.

Одна только случалась наверза — из кустов к Гаю выбежала лисяца с овальными ущами. И стала ласчатьсв. Стравно полгоногая, ова визяла химтом и манили Гом за собой. Он не шел, по тоже виляя хвостом 1970-была Стрелка. И, обнохимаясь с нею, Гай веломана дем, долянна, белого иса). Но выстрелом, пушевания высру, делгоногую энсу отогнали.

11 гиова Гай миняся, и металлом поблесьивала его

Они принесли домой двух тетеревов, трех серых курошение и передела. Старими иного поворята старивам, случно баж. о блестиция его будущем в рози чемпиона породу с сой будет из. будета. — уверяда они). Алекрантерныя дагжем первой стански по болотией дича. полотую медаль на выставке. Ты не горозики!— останиванняя Иванов. — По-

всякому может случиться.

— Не должно случиться! — кричал Алексин, битал ин кабинету. Етирь жи советскимо посменналул и каленал

стаепчивы крепкий горячий чай.

И снова была почь и спода отога — тях в тире дод попрад Гай во уславал, во станови уве ства тапува попи. Тут встать повощел сист Он тойко лет на ссолю и на крыши, опущва а дерению. Охота с легавой новый-лась до следующей осеии.

Старини жили у стеря эщо пескранко дией. Они мин-Стариан жили у стери вин нежольно дися. Оне мо-го углади в лесу бтам встроллан в Получания; пахо-явля воляху целебним в удивлявлен тому, что жилут в гровае, а не влесь. Оне беседовняй то с втерем, то с Получалими... Он гиперил мале в слумо в зроизводия вправление человена, вереживание о ветравтность. Егерь вет рассказащала о своих небавителем 2-талто токования глухары, попазывал фото. Екс жаловатов из создат – аличали в раздобничают в лесу. — Попимаете, — таворых старинов стерь. — попет-

лись диние гобани. Думаю, они прибокали из города. янсь давие соряве, думаю, нии принежавае из города. А волиев ист. конкурситов они не имеют, безчавствуат, можнател. Сапрепстауот, аканаку посласт. К наи при микают другие, наши собаки, дережеские. Понимъте — в шу хозяни обидел, другой вольной жими кактелось. Гая оди манили, да он пренебрег.

Питереспейшее явление, — говория Алексия.

И давно так? — спрашивал Иванов.

— Гавадились датом, а чеперь ях тут целый вавод; пестрые, белые, рыдле — всякие. Хитриване стервены! Покелились в заболочениом опрате, к ими и не подб: решься.

 Отстреляйте, — советовал Алексин.
 Нескольних мы убили И что же, аругие немелленио перешли на почную ологу. Попробуй позъми их! Это вям не лисы, не полки, их фляжками не обкидаешь, перепрыгивают и уходят.
— Капканами их!

- Взял одну в канкан, а их дегатки. Может, два десятка, по снегу я точно узнаю.
— А стрихини? — сприсил Алексии. (Иванов поко-

сился на друга.)

- Прибовал цианил и тоже одну взид. Телерь она и не подходит к отраваливому, сдят тольке свыю добы-чу. Понимаете их тактику? Стият нажать и одном метте. они тотнае перебегают в другие, стип зажать их полнистью, в они, глядь, вертятся в городе. Дв. да, и их в городе встречал, знаю чекогорых, так съязать, в ли- во. Есть тут один пестрый влоув, пожак, его в встреная.
 — А если мы их подвараулим? — спросили стариви.

— Дело полезное.

 — А вет сас. — деянито оговорна етариний егерь. — Волин Сосмовки был едипичныя дыговодем, теляя сламав. Холину вень было заривать, ее се выять в лес и бросы. Там и зараульте, смоло тельи. Онп. я думаю, обизательно придут к ней. - Гле же?

И точно, у Сосиовки увиасли они собачни следы. Вроде бы и лисьи по размеру, за пяльным не следты в тугой комок.

Да, да, это распущенные, неряшливые собачья gamet.

Следов оказалось мичго. Выли они у дороги, были гради помоек и хлевов. Были и на опущке леса, и вообще рассыпаны повсюду.

Следы подходили в получасыпанной снегом телке,

Турыму пятну на белизне свежего снега.

Старички устроили загазу в сене не убранного еще в текого стога Вооружение их было такое: егерь дал Алексину мелкокалиберку. Иванов зарядил натропы картечью и промыл механизм «шогрени» керосином, чтобы автоматику не заело на мироде.

С этой стороны все было хороню, даже вож ваяли Чтобы не мерапуть, старика прихваткам с собой термос, полими сладкого горячего чаю В него Иванов алил

водку.

Оделись тепло: в валенки, в тулуны, стали зарываться, уходить в сено.

Впрочаясь и крихти, они устраивали себе уютное глубовое лигово. Устроили. И, глядя в наступавшие су мерки леса, ждали собак.

Принала вунная мочь. Свет дуны был ограния плостний, почти страниний. Зато а прицел вимовки (Алексии то зроверил) виделея дориню. И телка ясно видия До нее метров пятьлует или време этого. Можно бить навернява на пробовика и винтовки. А дучие на обоях сразу.

Алемени поставил прицел влитивыя да пятьде-

метров.

Старики ждали, попливания посама. То и дело оня заемпали, яо тут же прогнявляет. И вазели одно и то ме — гролице, пичто певыпосимое глазим блистание лоной вочи. Погладия на чего, спова уходыня в сумерки полузабытья и неподвижности.

Моролев был лигини, и Алексия отказалел от чась

Иго, довежьно поправлыват, выпла Иванов

Вынил — и зимний лунный миз показался ему прекрасным миром, а оживаемые собави — заменательными зверями. В них стрелять? Да ни за что!

Конечно, это влохо, что они бресили человека, сбежали в лес и предят, пожирая личь. Чем им не угодыл

город? Вирочем, от грубого хозянна сбежникь

Алексин зааремал. Ему присиился Гай. Но не общиный нес, а Черный Демон Охоты, безжалостный в веутомимый, в некрах отня. Охотились опи с Гасм на слонов: нес летел по воздуху, Алексии бежал за инм и задыхился слоны ревели.

Алексин проснулся. Ни звука - установилась глубочаниям леская тивини. Алексии разбирался, что разбудиле его? Диний соя?.. Чыл-то шаги?.. Да. да. к нам шел кто-то, Алексии вслушался - ист шагов. Стоит мертвая, гренная типина. Будто он не караулит беглых собак, а летит RUCMOCY

Но гле же собаки?

Оп викоспаса на приваду. Пикого. Алексия погмотита вииз и відрогиул, около столли эти ссёвки. Они глядули прямо на него.

Спачала оп увидел штук скть или шесть собак, и ему подумалось, что старани стерь прад, говоря о двух деентках. Но, осторожно веля гланачи, Алектия увижел

TOVERY.

Те собави лежали и сидали вывруг стога, примо на свету. Вот одна закинула голову и ширеко менула, другая отвернулась в сторому. Но ближине, гная и дежа, все глядели прямо на Алексина.

В глазах собав горели врасние огоньки.

Алексин разглядивал их обынговенные ABSTRUCTS Ольи собаки воменьше, другае пабельше. В свето луши ятия на окраска: нятия на боких, пятия на морлах.

Хазсты у одних собак были лихо закрученные, у другис учило свисали вань. Но были и куцые собави, были породентые. Даже, кажется, привидский сеттер.

Сманили дурака!..

Алежия видохнул, и собави услышали его. Теперь ний диогреди на вего — вге до одной. Обычные собаси педел он таких сотии и тысячи, по в этих жуть и vunes.

/Куть? Это ясно. А упрек?

В сти сик могут иго упривнуть? Не ов гиал их в лес. 11 ме же тосканно сосило нод пожечкой: виниват...

Совысть ото чиста, но все жи следано вы что-то неуприние, тнаваное на города итих исов.

й адруг пан будут метить?.. Броситея?.. Наморозь дегва на его синну. Алексину стало страшно, он толькул Иванова доктем.

. Тот приспуден, как просыраются охотивка в засале:

исполения и не спращавая ин о чем.

Иванов открыя слава, увидел собак и едва не принаветнул восторженно: сколько их вдесы Но сдержился. А в стогу подходит тонкая конноухая собака, очень

похожая на лису.

Где-то он ее встречал.

За вей идет большая и пестрая.

Жалинг звери... Навнов так их вонял - жалкиг и одиновие, хотя их здесь большия стая,

Но это привело собак а явм, сюда (не к теляе), а собрадо их под столюк?.. Дробовытетво?.. Тоска по чеча-

Алексии стал поднимать инитовку, желая одним альалинея и всяннуть ее, и поймать собику в проремь. Всяннул, но собаки — все! — прыгнули в разные сторыем. Упеслись, и выстрел мелкоколиберки безиредно щелниул

им велел А чего ты не стренян? В она бы двух-трех? — сердялся Алексии на Пванова — У тебя же автомат, пять зарядов. Иванов молчал.

— Они здесь всю динь повыведут! Они... — Алексии хотел было сказать о вережитем им страхе и не ре-

А Иванов ошутил его страх. Он стал его страхом, И не перед собаками: чего болться вопружениям вюдим? Старика испугала пепривычность виления.

Гм, гобаки... Это уже не псы. а звери.

Они с Алексиким, исуалюме ворочансь, вылезди из сеча. Подошли к телке, осмотрели. Но телку-то собаки не риали, на них глидели. И дождались выстрела? Неxonomo.

Но что ях может гнать из герода?

 Проавализируем, — синзал Алексии, закилывая ружье на плечо.

И старики, иди в деревню мимо черных деревыев, то и дело освальнываясь из свежем снегу, пытались ре-

шить вопрос.

 Не наше это с тобоя дело, — гъвзад в воине копнов Иванов. - Мы делали что могла, даже больше. Мы воевали, переделивили стирый мир и повый, станули город молодым. Дали им удобства, сцетую жилов. Так пусть же, черти, и разбираются по всем!

— Тс-с c! — прошинед Алексии. — Гляды! Стариви шли от стога треной, ао врию опрага И увидели — по аругую сторому ктого огромисаниего оврага провеслась вся стая. Молча.

... Собак вядержая в стога запах добрых стариков. Веломиная их Стрельа и остановила стаю, специившую

на ночную охоту.

Опи бежали к тему лесному островку, где паслясь несколько лосих в слабые телята. Их выследная Стреака в приводила глялеть Пестрено.

Они подощли. Но логи не испугались двух собак, их

прогнава молодая досича, наскакивая и грозя ударить

ROUBLTOM

Сибани убежали. Им было ясис - нужно отбить одного лося. Но по такой крупной дичи они еще не охотиансь. И пем стали готовить свим изиту: то и дело насванивали на висей, а те ответно напидали на собав.

Недели две шла эта пуота игра, а затем как-то варуг нее стало на место. Охота единилась кама собой. И к веразмау в поле, обычно используемому лосями, убежали первый отражий якс и с ним помесь будьдога с овчирепії, собана очень свльнан. А также Стрелка іг трое ее менят, успевних вырасти в врупных себав.

Засады была устронны собаками и чще в двух-трех местах. К логим же пошли Пестрый и полутакся, а с вими все почти деревенские собаки, давно осотившиеся в весу. Эта ватага, весять собак, волькавила в логам

вместе с Пестрым.

Логей они нашан там, гло им полагалось быть, на лесном островке, среди оврагов. Собаки остановначен. а Пестрый пошел вперед.

Были морозно. Пар видета из это ласти. Сигт под

лапами скрипел.

Пестрый запкнул на лигей - раз и зва Игрино. Он важе подпрыгивал, лас на них

Лоси вышан из кустов влиховника в струациись. И снова выбежада вигрев та бийкая порова, что гоняла его в Стрелку. К ней вюл Пествый,

Он праходял, вгрине раскахивансь на ходу. На самом же л. к., ная так, чтобы удабы... бы ю отпрыенуть в сторону.

Корива стала толять Пестрого Наскакивала, всяравывала, питальсь уаврить явлытом. Он то пригал в вусты, то вертелся между деревьями.

Лосихе были песело гологиев за собакой - та от-

ступала. Когда же лосоха отощия от спада, все залетщие псы, что до сех пор нервио дангали лопами и хаатали зубами свет, вдруг набужали с ревом и лазм. Они окрумили и отрезали логиху от всего остально-

го стапа.

Косля вывалял и покатился на нее лохматый, ревупий, темный шар гобва, ширива испуталась и следная эмибау — пибеждая из в стату, а в поле,

И пачаль в погоне - посили бежала по склону опрага, а собавът вачага — выше се. Не пускада в праз.

налетала, кусалась.

Лосила бежили вколь дога, а на нег пискакивали и пасканивани собями. На станцавалось исе больше

Корова запугализь: эсиму были собаки, инобычвы:.

В воние заниов оци-таки направили лосплу в тому муходу, которым обыло у болько на состав са выма. Корова обогнала собяк в вскомога в гаубово врезанный ручей. Путь что том занавин, от уполна на такие огром-ные поли, так сотбаке би се гершини, там се из доглага. Останались вывым обобнуть ручнем туето вставшие на пути леревыя, в далля иля ровная дорига.

И влясь-то на высилу бросились пять сидевшах в на-

сале псов.

В подном модчания они прыгнули на нее. Сбоку Они впились в бока, в зига. И сразу же Стрелка пере-кусила сй суложилие задяей ноги.

Догнали отстанция было събака. Наваля!

Лосиха билась стращию Она ударила собак перепинии копытави. Черному псу она снедва керен, по Пестрый удачно пологама ее вубама по суможилию другой задней ноги. Лосиха телерь не могла бежать. Она осела в воде между заснеженных высоких берегов. Прокушени мисе всема; загососилые высоких перегов промуните име жилы кровили От ледниой воды теле немело, его будто в не было Собаки были вокруг: телерь можно и не свешить Но то адиа, то другая собака варуг брогалась и, рванув досиху, отскаживале навал.

К той пришло забытье: лостче назалось, что она бе-

жит от собак полем.

А Стрелка отошла в сторону и понюхала своете инпан (оп был убит). Она лазала его, в когли поднимао голову, то видела лежаншую в ручье догику, громалпую, хрипящую,

И Стрелка завыла.

... Что, что, что это? — справивал Изанов. Они бегут, как водки. Ты видел? Видел?

 Уйлем-ка, — шентал Алексин. — Быстрой повым. В Сосновке они чьстучались в первый темный лом.

Дергани Сосновка и Березинги разделя десьой оврас Глубокий. Он зарос первым легом, писл собствоввую речку, собираншуюся из множества родинков.

Было в этом оврате и свех типкое болото.

Когда-то здесь жили волки. Они выли по почам, нагиняя тоску на деревенских жатслей, резеди счотику. Но простодущных выявов постоленно выбили охотинка Теперь этот овраг заняли собаки.

В украмных дазах ходили они за чими слотились. их кардуляли с пущими. И пличиение собаки привомнилу гревички Древинх Собак. Они заучнанев олги след и след и путать охотивном, пробытая по жилий воле.

Стаю водиля Стрелка и Петтрый.

Стренки была всегда настороженная соблед, а тотразумен и удачлив.

М покан плиты сытая стач ушин в овряг. Салан э- св день.

41 снова пришла почь.

Теперь вге управвине собаки были на болотном островке, восреди опрага. Шелен визнансь, взримаме сидеда молча: оки опущали вхожаение в спою жизнь чтиго нового.

Они видели звидей, намучания так эканомо. И в пе-

истребимой собачьей устремленности к человеку поло-шен к инм. Выл страх, и была надежда. Люди защевелились, выстрелили в них.

Стрелка яснее других ощутила вхождение этого но-

вого: на нее охотвлись городские добрые старики. Надо бежать! Скорей! И она запрыгала с кочки на

кочку.

Собики глядели ей вслед. Она остановилась и заску-лила — Пестрый тоже пошел. Потинулись за ним щени-та, а там подиялись и остальные собаки. Прыгая по кочкам, стряхивая сиег, они выбрались на опрага и вдруг любежали. Теперь впереди стан легко.

золчым сконом несся Пестрый.

Отеветы города собаки увидели сквозь деревья.

Они выбежали на опушку, сели, прилегии.

До глубокой ночи глядели собаки на широко рас-сеянные огии города. Щенки затемая было возню, но варослые были серьезим. И один за другим щенки переставали возиться: глядели, тянули и городским огням острые морды.

острые ворди. Поста в печета ными улицами, минскали центральную площаль.

Милиилонер взарогнул и не понерил своим глазам, увиден их быстро катяниеса силуэты. Откула? Почему

так много?

"Собави обежали город. Они побывали у темной миогоэтажки, ветавный на месте прежиего сгоревшего дома, ходили к складу магалия «Промтовары», имли на улицах.

А затем ушан назва, к лесу. Но генерь они не сидели

за опушке, а миновали ее деловито и напелемио: собяки бежали на север.

Алигенны (с вими супруги Пвановы) уютно приводи-

ли вечер.

На ужив была шпигования свлом тетерке, обжаревна в зуковке до водотнестой королев, к вей подав гарно с заменам горошком. Когая става пита вай, Асоксим изговоры о собывка. Маннов вателяция ва вего некоса и песовольно отодникуя стакан.

 Кула они все же ундля? — недоуменал Алексии. —
 Что в лесу будут двлать? — И требовал ответа Инанона — Скажи! Ты натасчик, ты блика мена, тесные сия-

или с собаками.

— Не знаю.

И оба старика вадумались. Им варуг стало неуютно стола. Опущение ваны, воден высе съеденного, опеть водского в нах. Словно неприкванание призрава, перез вима вставали бедгомици соблава. И кажина фумал, его пол ди. посвотеть. Ну, посностеть, помоскать пубами. это ди.

Позвать?.. Но куда?..

Нашин польшей и подощем и окну. Слетную штору, залься на улицу. Но выком только проскотенный аумент вересция расстоим располения макериомия расстоим — разгочим каменцоугольного теплоги периода.

Собавя в это время бежали в дальние, бездводные, гаежные леса.

Тришали деревьи, пенстово, булто изтегделях, горезо дуна. Тели деревьев лежали на зеленом луппом спету.

Теперь стаю вела Стрелки. За иси легно бежал

Пестрый, за ним ристанулись в беге инжита и остальные собаки.

Они беждам след в след и ка каждой собакой кати

лась ее черная тень.

Торизивляет, етарый же и буздаг-полуововрия, завимялов в бете портичноски, опочет таком и пругой вакойто собяки. Безьяли други — данникай, реслагуацийся перополі Из горячна на різв вырывата дывов, в осны хивал в нем холошный блеск дуны.

Собаки бежали...

чемпи

.

Рифа управи а пяму, воскресной почью Емге и час почи по был ва месче. Когда Игоры, приводии На до, мес и себе, Риф завышал и васкулат в шель карач, заступал по вискам явистом. Но Игорь не остановиями, а прибежал в себе, из четвертия.

прицежал в сеое, на четвертым.
Влостам на этим, од услащал тонкий вой Рифа е
думал, что делает недоброе, отводи вечернее времи одной Наде. И нет времени для славного пед Рифа, пет

для матери — нехорощо.

Игорь открым дверь своим ключом и оощел. И застил на кулонном столе чанных, накрытый кулон-матренной. Он подняя се полоз и опулал зайник — горя ий В холодильнике изял вареное мясо, сыр, масло-Ел немогото — узыбатся, забивал жевать. Пове, он лет спать.

Лег. согредся и ощугил Надю, се крепенькое тело.

ег острые локотки. Славная, добрая.

— Слявия ставива савайная. — шентал он засмиты И тотчае пробежали белые собаки, и легло поле красных маков.

Вее дальше в сои натился Игорь, а не засынал, · III ждал слонов -- они стали приходить в его свы две валели назад и теперь являдись сменошно.

Собственно, этих слонов должен был видеть Пикодимон — его посызали работать в Афинку. Но гот забо-

лел. и ехать предлагали Игорю.

В первую же ночь после предложения схать и приотъи слоны. Они вали длинкой верешеней, держась за хвостики друг друга.

Гляза слонов были маленькие и веселые, уши лохмаго-периые, будто у Рифа. И уак захотелось Игорю к ресельм словам. Ов повросил Надю ехать вместе с ним, линий. Надя женой стать согласилась, но ехать отказалась решительно.

При отказе ехать она даже и голову иссколько сбычила, и гжала губы. Ему захотелось целовать ес. а слоны кая-то отошля. Но тольке наяву, а мо сне они проходили. И говорили Игорю о силе его желания усказьс Надей и Рифом.

В Африке жить, работать, охотиться,

Наковец появились внацемны слины, Игорь взделнул легко и радостно, и тут же его разбъяван. Будила мама говора:

- Hroms, apocuses... Hra, apocuses... Hra. Hra. Hra. Он слышал се в не мог шевелинутем, глявшийся с учислей кроватыю. А мама стукала в стукала его своим голосом, будто резиновым вузырем по толове, и тоу скрипел.

Да просинсь же! — векрикиула мама. По Игорю

не хотелось просыпаться.

За полем рос пос в выде поленой псим, их вего в вы-SOZULE OZUM SE ADVISM CAGODO C SUDDAMU MONESTIAMU ушами. Они трубили:

Нига-а-а!.. Нига-а-а!.. Пига-а!..

«Не хочу, - смутно думалось сму. - Не хочу Бувит . Наверное, дурит Соня, придется звать чекорую... И все кончится валерьянкой... Не хочу просыпаться, хочу слонов с черными ушами».

Господи! Спит как убитый! — векрикнуан мать.

Голос сестры:

Загульном. Но сейчас я его подниму, Игорь, Рифа украли! — крикнула она.

Он сел, ударив в пол пятками.

Он сел, ударив в пол пятками. Горела настольная лампа, рисовала на потолке аркие кольца. В длиных халатах стояли мама и сестра. В окно входила зябкость, пол холодил ступни, и та-

кая сониая слабость... еРифа украли». Игорь хотел сжать кузак, по паль-

ны его не собрались вместе.

 — Украли?. А вы почем знаете? — спросил Игорь и увидел в дверях сосела. Лицо у того сонное, бородаток. на дыение — отблеск лампы.

Соеед искоса выдлядыная на сестру.

 Не спалось мне, Сонечка, — говорил он и поематрел на Игоря.

— A дальше? — спроева Игорь и стал оденаться.

— Не спалось, — объясила сосъд. — Выплл я димерка у постор Респадатор обот объекто постор объекто сърза подятел Думаю, и пусть возятся. Думаю, и пусть возятся. Дет а попоризвася. В друж приномила, вера кто-то проде постопиявал. Не то реазди, не то давляли кого. Выглануя, а сарай-то ваш открыт. Салатыя в се стены руженнико и яния. Подхожу, а собачка не дает, пусто. Скакнул на удину, один конкай бегают. А ясит уже подканиваются от табасток. Сода получае, парешаята.

Господи, как же в без Рифика жить буду. — Ма-

ма всплеснула руками.

Иторы подощел к экиу: чернота двора, гускоме намим, оспецианние червые кубы сарыйчиков. Свой распианут. Игорь смощнога, веномние скудем Рифа и стук, его хиоста по доским, «А и не подощел». Я бы вышал милицию, — медлению говорил со-сея. — Пусть вщут по горячим этим... следам. Гадюки! — векрикнул вдруг Игорь. И побежал

винз, гремя ступенями.

Выскочил. Сунулья в сарай — пусто. От ноги его от-

чется замок. Игорь выбежал на улицу.

Схватясь за палисадник, рванул планку. Вооружась, он перевел дыхание в пошел большими шагами. И проглальзывали, уходили назяд тени домов. Позвал Рифа — ташина. Пробежал туда сюда — никого.

В милиции собаку искать не захотели. Даже обаделись на Игоря.

Что вы, дорогой товарии, шутите.

 Но собака-то породистая! Внук чемпиона! — вскрикнуя Игорь. — Ищете же вы часы или вную дрянь. Моя собака подороже десяти часов, она материальная ценность, в конце концов.

 Какой она породы? — спросил дежурный из-за стола. У дежурного лицо с широкими углами челистенно глаза маленькие, а веки черные, будто падкрыльи жука. Спрашиная, он номаргивал исками-крыльями.

 Кранчатый сеттер, — сказал Игорь. — Всесоюзная родословная. Белый, а по нему черный и коричке-

вый крап.

 Трехциетный, так и запишем. Я Сергеев, — сказал Игорю дежурный. - А ваша фамилия и прочие обстоятельства?

Игорь сел на старый, вытерзый стул и сообщил их Сергоеву, человеку полстине огромнейшему. Ростом гот был с самого Игоря, но широкий, красный, налитый силой.

«Если такой сгребет за шиворот... страшное дело. в - с удовольствием подумал Игорь.

Сергеев задумался, постукивал себя пальцем по ко-лену, широкому, как опрокинутая чашка.

- А сколь дорого стоит ваша собака? Рублей двести по объективной оценке.

- На собак, дорогой мой охотинчек, цена не объективная, а сколько дадут. За иную рубля жалко, а за пойнтера Кадо доктор маук Полушкии отдавал «Побелу» с мотором «Волги», а получид шиш. Сволько дава-

ли за твою? Рігорь вздохнув и посмотрел в черные окна. В каждом огражались настольная дампа. Сергеев и он сам.

— Двести рублей, собственно, мон траты. Но однажды за него предложили штучног ружье фирмы «Лебо». Врешь! — быстро сказал Сергеев.

- Зачем? Лебо, штучный, с колоченым механизмом.

- Здесь, в нашем городе?

- Конечно.

Сергеев. стукая колено, осо навва этот исключительный факт. Должно быть, не верил,

Игорь и сам не поверил, когда Макаров предложна

такое ружье за щенка! Чепуха, насмешка...

- Bol - свазал, помодчав. Сергеев - Если не врешь, то дорого твой пес стилт, «дебо» на восемьсот целковых идет. «Лебо»... Ишь ты! Нет. ты не врешь, оно одно у нас в городе. Либо за врошая у тебя собана, либо Манаров с винта счита ...

- «Лебо».. - бармота і он - По теперенней дичн только с такими ружьями и ходить, серийным се не возьмещь, боя не хватит... «Лебо»!.. Тогда мастера истово работали. Ты не ружьям, ты замечательным чело-

веком стреляешь.

И Сергеев прикрыл глаза веками.

К ним подошел седенький, еще не старик, а так, лет сорока пяти. Он смотрел на Игоря не то ласково, не то насмешлино. Губы его сложились в серую дудочку, словно он сосал больной зуб.

Я Лобов, — сказал он Игорю. — И все слышал. Папаса вашу събачку. Слушай, Сергееа, — тако загопория оп. — Я ухожу домой и сам пройду с товарищем

— И ухожу домой и сам пройду с товарицем Есть, товарищ квинтан, — отвечал тот, не открыни глаз. — А я подремлю, город стихает — утро...

3

Лобов первым вошел в сарай. Светало. Поблескиваап велесинеды — Игоря в сестры. Из-под крышки потиба, вырытиго в сараг, аслая закажи капусты и картофеля, сытные, тяжелые.

Еще памло развичной и стоявшей на полке олифой.
 Вторь сморщилея, он не знал, что на рассвете так ак-

гивны запахи.

 О тикнода, — гозорида мать. — Укради вашего мограмка. В чан-то руки он зопас? Дай бог, чтобы я дорому зеловеку. Дура, вора добрым воку. Наблите из Разбика. товарии даматыны, выприте.

Посмотрим, — сказал Лобов.

Ов лодии по сараю: Нагнуяси, взяд раскрытый замов, подвержаа его на ладоне и бросыя. Сиона нагнуяся и подваз что-то. И это, поднятие, супуа Игори в вос ударил запах конченой колбасы.

Краковсияя колбаса, тря цастьяючя кого. — ска-

зал Игорь автоматически.

- Пленно. — водувердел клинтан. — Вон ок его чем привлек, вор-то.

Отравленняя? — треножно спросвя Пторь.

- Лачем? Присто кородняя колбаса. И целом, это заосраща зародистура соблау в погребной вони? Вы подтите упикальный эпират чутля, завы дожных завиться заща сехная сеттеристов, просто объязка. Вы меня простите, но дал соблам далже лучие попасть в другие рекв.

Капитан отчатыва: Игоря, держа найденную колбосу двумя пальцами. Ное его брем авьо морщилем. Игорь чувствовал недоброжелательство в себе капитанского

поса и страдал.

 Не вонимие я таких владельнев. — сердняся Лобов. — Найдем — продавните ее скорее. Но искать буду, снабдите меня портретиками и приметами. Принесите в отделение сегодня.

В подъемне соложение в насменаниям грубочку, «Он смотрят на мена важ на иднота, — думал Игорь и помукствона себя невыспавнимом, глупым и огромим, как диван. — И верно, дурат? Не удосужвлее сделать сиглализацию, дрянной замож... в

Ох, надоели ему все соседи, погреб, дурацкий са-

рай, пос капитана.

рап, пос капитана.
Только Надя в Раф милы ему, Надя чудо, и Риф чудова. С ними бы жить, охотиться, испытывать пра-

Лобов закурил и спросил мать о соседе, страдаюшем бессопинией. Потом стал говорить ей о неудоб-

стных проживания на высоте четвертого этажа.

— В вашем возрасте, — внушал он матери, — высоко жить предио. Собака — это беспокобство, язбанлийтесь от нее. Я тоже собачник, сам зназо. И у меня собаку крали, — сказал он Иторю. — И знаете, где ее нашли? В Горьком. Я махиул рукой и куппа себе шенка.

Какого? — спросил Игорь.

Пойлтера. И вам советую: берите пойнтера.
 Это разумно — гитленичнее, удобней, в квартире держать булете.

4

 Завтракать, дети, завтракать, — говорила мама.
 Сестра откуская хлеб, полевала его и сказала, гляда Итори сквозь свои локовы, как африканский яшер с девева; Поздравляю табю Надежду.

Игорь положил на тарелку салат. Нег больше собаки в вашей жизии, — продолжата светра, глядя на него как внаисектор. - Мешать нетому. Может, ночью сам выгнал?..

Софья! — сказала мама.

- Ты хотел возвеличныем своей собавой. Думал, чины внука чемпиона, все будут говорить о тебе. 1 и же Рифика не любил... — говорила сестра. Пторь певал салат, не чувствуя его вкуса.

- Посмотрим, что сама запоещь, когда станешь вы-

модить замуж, — сказада мама.

 Я не выйду замуж. — сказала Совя. — Никогда. Сестра была громовдкой и без обавния. Решался уваживать за ней только сосед, плешивый, коротенькото роста.

Игорь оскорблялся этим.

Мать часто говаривала, что напрасно, рожая, дала Пгорю красоту, мужчине она не нужна, а Сонечка окаоглась обделениой. И остиется девушке коротыш разведенец.

Игорь тоже жалел сестру, териел ее первозности, серденные приступы и бегая почами, вызывал «скорую помощь».

А вот теперь обрадовался неудачливости сестры. Она женала салат. Листики пищали на се круппых зубах.

Мать говорила:

- Мне не хватает Рифа, я с ним за эти месяцы гродинлась, я его выращивали. Ты. Игорь, только принес и лег спать. Тебя ведь из пушки не разбудинь. Я лёжу, не силю, на аупива узор смотрю. И варуг через него идет белая маляночка, плет и скрипит. Соскуплась, мать вщет. Я его и положила под бок. Он взил в рот мой налец и давля сосать 11 так заснул, не выпусда палец. А под другой бок прашел кот Василий. Так и спала я под двойным остережением, шевельнуться

боялась.

 Да пересуаньте зудеть! — вскрикиха Игорь. — «Был. быль» Я говорю, что Риф не голько был, ян и будет. Этот произв. - второго заведу. Тот произдет вуплю собачью свору. Гле живу в. 15м всегда будут жить собаки. Ла ну вас!

Игорь вскочил и сбежал винз. Походил, уснововыея. Когда вернулся в отоминул почтовый ящик, вместе с газетой и письмом к светре (без обратного адреса) вы-

пал воиверт с надлисью жирным нарапданом: «И. Лаптеву в собственные руки».

Исерь разорвал конверт - там лежали дельги и бумажжа, исписанная не изакомой рукой:

«В счет стоимости Рифа 500 (пятьсот) рублей». - Оригинально. - прибормогия Игорь, рассматривач конверт. Оберточная бумага, самодельный, склиен

врихмальным влеем. На влотном его боку печати чьих-

то жирных пальцев. Улика, — пробормотал Игорь и медленно пошел вверх. Выгряхнул на обеденных стол кучу десятирублевок. Все мутные, сильные бумажки. Игорь пересчитыя их - пятьдесят одна.

— Что это? - Вот, в яшине нашел, - Игорь пожал влечами и улыбнулся, снова ощутив себи громоздким и глу-BAIM.

Фальшивые. — скакала мать, а сестра захлопала

в ладони и закричала:

 Попяла, поняла, поняла! Это компенуация! Тион состоятельная тещенька подговорила пацанов. Знает, пто эти бумажки поддут на се Наденьку. Не выномну се! Привыкла вметь вучшее! В десять лет — золотые часиви, в четырнадцать -- вязаное платье, в двадцать -здоровий, красивый и глупый муж. Верти им как хочешь!

Язва ты африканская, — сказая Игорь и сел на

Вот деньги. — говорила ему сестра. — Кти мог их с с атъ? Вор? Тогда в чем логина его профессия? Но берем будущих родственников им Риф костью в горвотвидаси, в собаку веждиви в безгрешно устранавит.

Фантастика!

Нюрь снова пересчитал бумажки — пятьсот десять бумажки — пятьсот десять следет такого.

Дв. она зовет их с Надей жить в себе, по твердо свиза, что не станет жить с Рифом. Да он и сам товарна Пъдс. что курвщая теща онасна для нежного чутья Рифа. А держал в сапас.

А держал в сарае...
 Иет, не может сделоть такого Лидия Андриевиа.

А села она? Сласта, держа сигарету в промуреннах силах. Они желтые, сухие, похижие на востяные ротавки. На наждом пальце по осотому кольку: наука теперь кормит щедро.

11 так, куря и пуская дым вверх, она все обдумава

прешала е присущей ей твердостью.

Что делать? Смиритьем? Или — валло! — кумать отружо собляу? По рисставаться с Рифим сильно не хотелось. Виук чемпиона.

Кому случается первать такую собаку? Почему пользя украсить сто жижнь? Да и кок охотиться бы

собаки?

После обеда Игорь снова восмотрез почтовый видив, доже постучал по вему жулаком. Теперь имовал жоский копверт. «И. Лаптеву». Конверт голубой, стантерия. Он декрыл его на обстиние:

«Игоры Процу клишить меня за экспропрациию Ра-Ван тиграми отказ домоух меня к сему решигеаому действия. Побыте — в старок, а выи Ри запистресовка меня. «Лебо» я продал, яз его стоимости (20) цитьсоту рублен постан изм. оставлящае деясть рассчитываю пока употребить на работу с Рифом. Еще пятьсот рублей выплачу частями в течение этого года. М. Макаров».

Росперы смедый, нахидыный росчеры. Однако каков! Игорь стоял. У него заломило правую сторону головы и надбровья в тукало в уши - раз, раз, раз...

В голове шла суета мыслей.

«Гм, выходит, не шутил старив... Проучу его! Чертов дед! А если взить и согласиться? Сообразим, старик станет нянчиться с Рифом. Чертов стария!.. Что ему еще остается, кроме собаки в его кончающейся жизни? Тысяча... За пятьсот рублей в куплю себе штучное ружье, тяжелое, сработанное по старинному образцу.

А остальные деньги? На что их потратить?»

...Макаров сидел у Исакова, когда Игорь пришел покупать Рифа. Исаков хвалил щенка, ов то хотел, то не хотел продавать его. Все твердил: будущий чемпион,

Макаров ворчал, вытягналя вижиюю тяжелую, бре-

гливую губу:

- Чемінюя, чемянюць.. А я тебе говорю, что генетика Тома пеустойчина. Я езжу на московские состязания, там выставляют детей и внуков Тома. Посредственно-

сти. Отсюда делай вывод.

- Кто их знает, - бубнил Исаков. - Это третий помет Магды, а бог гровцу візбит. Вдруг щенчинка повторят Тома? Если бы не проклятье явартирной тесноты, ей-богу, оставил бы всех щенят себу, всех пятерых, а потом бы выбирал. Щенки - это лотерея, - твердил он. — Я чего боюсь? Что ан в Тома пойдет. Отвам будущего чемпиона — не прощу себе. Ей-ей.

— Чепуха! — шумел Макаров. — У него пяпка уккая, чутье будет посредственное. 11 уродань к тому же.

Продавай!

- Да, голова маленькая, это верио. Отдаю, - согласился Исаков.

Игорь скорее радовался, чем огорчался, выводом стариков. В той дотерее, о которой говорил собачей Исапов. была и у него доля надежды.

Конечно, они опытны и понимают исов до кончика ну хвоста. Но вот чего они не могут видеть: щенчинка, сылизанный матерью до белизны, светился, словно яйпо, положенное на солице, лучныем, так кливлось.

Игорь понял: щенка мадо брать не разлумывая, неия этому светящемуся. Но он все же решил назвать его

Рифом.

На пятом месяце жилли Риф стал быстро красивець. «Кровь выстаночных сеттеров», - определил, осмотрев щенка, Макаров.

Пес из глазах умиел. Голова стала объемистой. Он быстро научился открывать дверные запоры. И хотя собаки, седи верить кипгам, не различают писта вещей, Риф ясно выделял красный пиет.

Но чуял Риф пеясло, дичь оказывалась слишком далеко. Игорь понимал так — Риф примечает место, куда чадилась вспуганная птина, запоминает и ведет к ней «на глазок».

Выясиять на болото ходил Макаров. Риф в этому аремени стал плосковатым веравлой с аппроленным черным носом.

Макаров был в полотняном костюме и сапотах. Он ворчал:

- Испортинь на иси своей начаской.

 Отдам егерю, — говория Игорь.
 Не смей! Он их быет, сели хочешь лиять. Наберет твадцать штук и эленит. Его уже в секцию называли, Он нам сказал «Какия зенер», идет соблька? Раньше ее грючком потянечнь, она отрухкувась и онять работаст. Теперь быень почти любонно, и они грасется, глаза выпучит и бежать».

.. Старин шурилея, круглянии его глаз ерзали митро и беспокойно. Игора повоенася на старика, лицо большое, плоское, а в фигуре нечто от обвисшей, готовой упасть канди. «Я не буду старяться», — решил он. Посмотрев работу Рифа, старив удивил Игоря.

 Слышь, продай его мис. — вдруг предложил оп. Старик давал за Рифа его рублей, потом ето нятьлесят, двести... Игорь торжествовал. Он сказал Макарову о тех словах, что столько месяцев отравляли его.

- Ошибся, - соглачился Макаров. - Ты не замеь на нашу дурость, а радуйся ой. Ну, двести пятьдесяя!

Идет?..

Игорь не продал Рифа и за двести пятьлесят рублей. Однажды Макаров поймал его по дороге с работы. Старик шел рядом и говорил, что отдает за Рифа ружье с

золочеными механизмама, настоящее «Лебо». За щенка? — интересовался Игорь, чувствуя бла-

годарность в Рифу. Для меня главное в охоте — собака. — говория

старик. - На ружье мне плевать. И старик сплюнул скиозь зубы.

- Я плачу как за отличного, выдающегося взраслаго пса, - настанная он. - Согласитесь. Рифа на еще надо сделать.

- Не продам. - бормотал Исорь, ощущая кружение

п голове. Он думал: «Мне хоровно с монк Рифим»....Это в ирипомина Игорь. Тысяча рублей...

К черту! — воскликнул он, — Депъси разбегутел.

с в пои-то веми понадет такая собана в руки.

Ему было ясно, что делать - вернуть Макарову деньги, пристидив старива, и изять Рифа. А заигра пойти в милицию и соврать, что Риф прибежал сам.

«Задам и старику взбучку». — с удовольствием думал Игорь, иля лесом от станции.

— Где здесь дача Макарова? - спросна он моло-

дую жепинну (она несла две полные сумки - клеб, лук, кульки молока).

Дорога была узкая, темная, и женщина шатиулась от Игоря. Но другая - постарше - указала на побу, влезшую на гору.

Игорь и пошел в этой избе. Древияя, она яся же быда хорона. Бренна ее потрескались, приняли герополубой оттенок.

Около заборе ходил бычок, пестрый, как сорока, п ел траву с таким вкусным хрустом, что у Игори пабе-

жала слюна.

 Заравствуй, телятина, — сказал Игорь в остановияся. Бычок поднял голову. Жевать он перестил, и трави выглялываля из его рта, по пошевелевались и булго сама собий входила в его черные слюнявые губы.

- Вкусно? - спросил Игорь и разрешил: - Hy

жуй, жуй...

Но что говорять старикашке?

Отчето-то недовко стало Игорго, будто хотел следить талкое. Даже овемели кончики сшей.

- Ерунда! Нес мой! - рассердныея Игорь и погавун валитку. Он прошел мимо долденой бички, пахнушей кислой брагов, прошел рукомонияк, при пожденный к столбу. На голубим козыраке дежат обмылок.

За избой Игорь увидел довьятую пристройку со сисжими рамами. Около земля быль утоятака и присыка-

на опилками, Зилчит, сделано на диях.

Игорь заглянул в окно пристройке. На полу в поле безнадежности лежаз Риф. Он был привыван ценочкой в ножке круглого тяжелого гтола. Рядом поставлены две тарелки. В одной налито молоко, во второй зежит сырые куски. Гм, мясо...

- Мой пес, плентал Игорь, гляди на Рифа Moñ

И его затопила нежность, налилась до самого горла при виде несчастного висри. Ему бы жить вдесь, на даче, есть мясо и хлебать молоко. А он изсчастен, его тянет в вонючий сарай.

Чудаки-дураки эти собаки...

пудавителу разва з п. создавать. В пра — встал. ценочка звякиу-ла. Игорь повитился. Ему отчето-то не хотелось, чтобы раф увядем его. «Поговори» на с Макаровым, цистоваръто Об езова процем мимо рукомобника, мимо древесной чурки с воткоутым в нее топором. А вот и окна набы, маленькие, слепые, стародерсвенские: Они распахнуты, на инх выбливантся голоса и табач-

ими дым. «Кто-то у него есть. — думал Игорь. — Подожау. Дело човкое, посторовние вам не пужных Игорь вриежущахся. Ну, это талос Макарова. А второй Игорь высоко подяза броян — второй был голосом капитана Добова. Да, это его шелчущий голоров. Он сооб-

щал Макарову:

- ... Так вог, заговория парень о твоем «Лебо», и всестало ясно. Вижу. Сергеев уши навострал, в и ввязался. Зили — ты, старче, сыяхнулся. На твой случай есть ста тья в колексе. Гм. статья-то есть, а вот прецедента не POTOGMIL

— А Полухии?

- Осторожный был человек. Кто может доказать, что именно он увел собаку? Нам остается его версия покупки собаки на базаре. А если Лаптев деньги возьмет и скажет — не получал? Ты бы их хоть по почте посы-лая, что ли. Квяганция бы на руках имелась.

Я широк — тысячу отдаю!

 Н здесь ты удивил меня, старче. Интересный принцип — тысячи. Подумаець, миллионер нашелея. - Если бы ты унидел иса на болоте! Тысячи ма-

ло... Я сам не свой ушел.

— Все равно много. Налей-ка еще чинку. С чем ты — все ранно запото. Пален на еще запку. С чем ты его запариваешь — такая приятизя горчинка? Мы смог-ли бы через секцию даставить его придать собаку тебе - Не хочу оданживаться. Взял, и коичен разговор. — А такая гипотеза — если он сюда придет? От денег откажется?

Голос Макарова задвигался. Видимо, старвк ходил по комнате.

— Слушай меня, — автонорна Макаров. — Мне навсеть на статы нодекса. Есть же, нерт возьми, водекс стравесаливости! Не может быть живое существо мым-то рабов. Оно — ноймите это — единственное, рождено для высшего класта. А тут вошочий сарый, дубив-хозчан, барышин на уме. — Макаров закоозчая, Игорь слышая его чоттание. Снова говорот: — Увидаел в эту собаку а понях — та! Пощумаещь, я всегда мечтая иметь тумаящия, а по пять собак циалиция».

 Четыре, — поправил его Лобов — Их клички — Неро, Лели, Джильда и Том.

 А вето в держая девятналцять собак. Я профукая на нну воловину всей зарилаты, они мне милее жены, детей, всего!

- Но ты их продавал же.

— Объясно в недал. Всю жаваь в певал одну негравненную себаку. Были у меня харошие исы, повалались останиве. И вог увадел Рафа. Увадел, и во мневес опроминулось. Вот он! — свазыл в себе. — Знаени, пвервые в увадел Рафа на прогулее. За ими шлагае сооъременняя громадина — пон п, на пуве правыметор, на роже самодовольства. На интеллекта, на любии, а одна сумасивелива удалы. Какато он расекавала вие, это Рифице мяленьями, лиух месянов от року, целал столяу възание в удала то услагия. Говорит, а свая не понимает зачесь. Ниято не верыя в Рифа, ов. в. Дурам! Осел! Скотина!

Грохиуло — упал стул, и Лобов висменися. — Мебель-то при чем, если голова виновата.

 Мегана зерез два встречаю. Увилел, и серяце занедо — нес врасив, изящен, легок. Потом на болоте

смотрел, как решительно, по-мужски он его разделывает. И варуг причува, еще сам не понимая этого. Поднял пос высоко, как твой Кадо.

 Современный стиль. — вставия Лобов. — Раньше все же проще было, пойнуер -- «король болот», сеттер — вкородь состязаний». А сейчас исе перепутались, Дель Фиродь состязаний». А сейчас исе перепутались, Дель Фирода, пемен-воитиненталь, купый, грубый, и работя дальняя и чисто пойнтериная.

Риф словно янчко на носу держал, — продолжал.

— изврасновия вичко на посу держава. — придостивна, не слушва, Мазарива. — И пинимаещим, этого олуж даже, не заметна. Решния, что Риф на глазом работает. И пот и решний зделать Рифа неибиноном. Есть у ме-ня на виняме еще тыечовика. Женя о ней не знает. Я се

так употреблю.

И Макаров расскачал Лобову о днеге Рифа (молоко, кости, печень сырая), о натаске в октябре — поябре на Севериом Кавка е. о стерва-патасчиках Москвы и Леиниградь (науасчин должен быть точен и находчин, вак правитель в государстве).

Игорь чувствовая — пемент его усталые потв, впа-дает в плумление намученный мож.

Нет, не так он представлял себе содержание собави чемпиона, не так. Иначе, причтией, все восхищены хвалят, он гордится.

Лобов сказал:

 Гм, чемпион... А и помру собиководом-пюбителем.
 Печально. Ты знасшь, чем и утешаюсь? Наимина заптпичант выстранция сей в учинивые гланиция выпичант выстранция выпут этого — дет серта десенты по хоту будет легаты на дерголеге. Заго мы с тобой записи были в гом бересцияте, что рос на месте выкладал, ил десенть штук в час. В памяти може эти забичими жизы. А разле теперенния могу бразь за весерною эере трациять уток? Настрелить получу сэтку дунолей? На-ложить в штаны, встрелить с медведем?

- ...Стану держать для натаеки Рифа подсядных птиц. Перепелов я уже заказал Иванову по пятерке за

пару, о дупелях и тетеревятах тоже условаюсь. Покажу Рифи Оксанову — чудный проч.

— Он же терапевт.

Об ме съръшент.

— Вечеринары, мой милый, слабы, а у Рифа авитамиона. Риф!. Дуранкое вми, в его Томом назену, А доманиее имя пусть будет Чемни. Бузу далатъ бром, сырой фарш, морковку тертую, горох И обязательно рыбан далр. И тренпровик. Впука авставлю, пусть на нелосиведа едет, а Том за вим голится. И тода здая черех
тря даниемен мы с Томом за короной и Москву. Рифу
будет четыре года, мне шестъдесят делять. Еще авусим
Славы.

— И все же ты сумасшедший, — тихо выдолнул
 Лобов.

Они ушан на компаты. Их голоси гудели и избяной глубине.

И варуг Игорь успоковлем. Ясно, он не сможет бызъзреводвиком Рифа в землновы. Только старик, положив жизнь, подпимет Рифа. А охотиться в конце концов можно и со средней собакой.

ятПоложим. — соображел он. — и отниму Рифи. Что будет? Ствиет ли Риф чеминоном? (Светра прана, я держал его аля себа.) Нел чеминоном его пужно ретель. Сколько забот вставай в шесть угра и гумий с пим, сли на работе.

А патаска, поседки на охону, дальние поседки вблизи дичи не оставись Собственно. Рифу дико попез-

ли. И мне тоже — гора е илея. Ил дельси, за . И, манув конверт из карвала, си отделал себе сто диванув конверт из карвала, си диванувания си Стальные он сумуа на подоконник, среди горшков се

алоэ, И ушел. Он шагал, а сердце его слядко ныло, и губы дрожали. Чу! Риф гихо завыл ему ислед — почувствова з

ли. Чу! Риф гихо завыл ему вслед — почувствовал?... Игорь пошел быстрее, быстрее, Увиди с горы медленпо идущую к станции электричку, он побежал... К вечеру жара усилилась. Подул ветер. Он гиал желтую ныль. Они гисната тополи, еще утром водянисто блестевшие листьями.

Надя пришла к реке ровно в посемь вечера, отыска-

на Игоря на набережной: он соверцал текущую воду. Вдруг Игорь прицелился и шамриул сигарету.

— Эх. промахнулся. — сказал он Наде огорченно. —
 А тякая была мишень!

— Игорек, что с тобой?

Ты лучие посмотря, — сказал он. — Вниз смотри.
 Эти?

 Вон, и той лодке. Видинь лысину? Рядом с Соней? Огромная, а и промамнулся. Какой и охотник после этого.

 Ты один хотел бы любить? И твои сестра вмеет право на личное счастье.

Нгорь скривал щеку. — Что с тобой? — спросила Надя.

— Что с тобой? — спросила Нада.
— Инчего, — отвемал он и смогред на нее неприличным поглядом — оценивающим. Да, нежная, красныя бловдника. «А мне здорово понелаю, — лумал он. — Весьма». И скалал: — Ты значив, я никогда не видел слопов, выходящих на лесу. Мне бы хотелесь посмотреть по нах хоть раз в жизны. Поедень со мной?

— Ты меня разлюбил? — спросила Нади сдавлен-

ным голосом.

Нет, нет, — испугаася он. — Просто, день гакон.

Я узнал, как собака становится чемпионами.

Игорь рассказал Наде сегодиящий день. Рассказывал и видел — губы Нади складываются в ту же грубочку, которой утром обидел его Лобов.

По трубочка Лобона серая, а эта яркая, сочная.

— Ты что, рада?

Нет, здесь другое, — задумчаво говорила Падя. —

Л увидела твою душу. Ты отдал Рифа тому старику, отдал свою гордость, надежды. С тобой в инчего не бо-«съ в жизни, вичего. Да и зачем тебе Риф? Погладъ ченя! Мой смешной, мой хороший...

Игорь осторожно вотрогал нальцами ее волосы тонкие, легкие. В них путалось солице. Он убрал руку

и свова подумал: «А мне и на самом деле повезло».

 Я что-то устал свгодия, — пожаловался оп. — Мне все надоело, работа, дом. И больше всех я сам. Я все делаю глупо. И отчего-то мне стылно за себя, за еестру, за того старика... Знаешь, в Африке была эра Великой Охоты, когда били бегемотов. Я сегодия ощущаю себя таким бегемотом. А красивая была охота слоны, львы, носороги.

- Чего же ты хочешь? - Голос Нади угас в

шепоте.

Игорь зажмурился и сквозь ресинцы смотрел на солние. Веки просвечивали розовым. Он позвал слонов. по видел только красное маковое поле. Вот, словно нена, веплывал лес. Игорь заговорня:

- Камерун, Уганда, Берет Слоновой Кости, Ингерия... Если я поеду, ты будень со мной? Повтори еще.

— Но я не могу. Ты хоть вемного думлешь обо мне?

 Хочу в Африку, — капризно говорна Игорь.
 Надя положила руку ему на шею и погладила.
 "Повинанеь слоны. Одни за другим они выходили из леса. Отсветы макового поля ложились на их бетонпо-тяжелые животы. Слопы ближе, ближе... У них веселые тлава и лохматые черные упи, как у Рифа. Они держат друг друга за короткие хвостики. Но вот слоны подняли коботы и затрубили.

- Инга... Нига... Нига...

 Игорь... Игорь, — говорила Падя, теребя его за руку. — Опоминсь.

Он открыл глаза и сказал:

Пойдем куда-нибудь, о слои души моей!

ЗЕМЛЯНИКА В СНЕГУ

Однажды заговорили мы с Иваном Матвеевичем о красках лунной кочи, и разговором этим кончилась наша дружба. Привазала дилго жить. А теперь о самой почи.

Кто видея спбирскую луну, когда мороз жмет за сором, тот не скоро забудет ее зеленое блистание в каждом

потасшем окие, в важдой спежинке.

Воже уписи долго слядеть на этот лунный свет. Вер-

ная смерть! Я в такие почи жилею даже волков.

Копечни, давят ине скотнику, выхватывая ее с пашего столя, — ма вираке обинаться. Дв. да, согласем разбойники. Но жалко мие из, вогла в такую поме ои сметрят на дупу, поволарянную кратерами, в повруг трещат деревая, и морки превращает сиег в белую сипучую курику.

Так вот, с Инаном Матакеничем мы столля у окна в темпер комнате и говорили о дунной почи, моргое ч

волках.

Fости разошанев, жена Ивана Магнеевича мыла грентию посуду, сврдитью, гренеев на хуэле В компете был запаз выкуренного табака и того вкусного, что может стотовить можей стот

Пахло укропом, чабреном, еще чем-то. А мы рассулдали: за обедом Иван Магнесинч месбнул немного инина и с исприямчия, от пустых травяных закусок, стал-

говорлив.

Мямо нас прошла в свою комнату дочь Ивана Мак-

веевича, высокая, как столб,

 Тъ банныки? — епросил Иван Матвеевви, а кочъ не ответиал, только дериула влечом. Мне стало жалко Ивана Матвеевнуя, я любил сто.

Это он тянул меня в большое некусство, он пилил газетный шум. И мие было жаль, что ему в семье живется нехоромо, и хотелость бы знать почему. А мне тогда было здорово хорошо — на мою доло оришаась бутылав рислията, двага в съет два здоротиния бутерброда с ветонной, двесь жевал съврстийский, с привкусой дрожжей, шиейцерский в начаята орехов Совал в рот и накие-то пезичковкетранки.

41 думия, как мне поволю: Иван Матвеецич мой друг и критик работ. Это он предекатия, что в далеко полау и был кружковен и лице мечтол стать кудолвиком.

Сытый и довольный, я глядел на друга добрыми собачыми глазами.

Он был интересоп, Знаете, есть тяп людой сумощаных и легкив, как бы летящим. Седые плають подобнов плабы подвижаются над головой Ивана Матаесевуча. Должно быть, от них и появляется в этом человеве что-то полетающее.

Ивая Магаесвич какой-то двухступенчатый, черт анбари, он почти ангем! Но на крызьях его, не пуская в колет, сидит земное: серантан жена, дочь с погами до илем.

Иван Матвлевич добрый, воспитанный, умиме

Я же, его друг, чельнух грубый и часто ученкам за годо, с ружьем. Там стрестично игии, авры, жарво из и ем полугирыми. Не из грубых вонк поступное замя собой рождинется съметна картии. Из визут пежио-апримесиими, а почему, я не лано.

Зато мой друг это знаят и точно может объясимъ. И погому ридом с ини я часто ощущаю себя тажелым,

глуным и даже ведостойным его дружбы.

Изав Матветану — върописный критик. В моем воображения ок. словео большая бабочка, нарит пад нашима холстами, вбирает их мед, надиали им соты синги.

К тому же он музыкант, играет на том фортенвано, что стоит в актовом зале нашего Союза.

...Итак, гости разошлись, и свет в комнате был погашен, а мы стояли у окня. Нам виделаев чрезвычайно яркая ночь: лука горела нестерпимо, была ночным солнцем.

- Не зря ее народ зовет пытанским солнышком, сказал Иван Матвеевич. И мы заговорили о луве.

Я, человек практический, рассуждал о красках и

формате картины, которую напишу. Иван Матвеевич все толковал о хлорофилле вселен-

ной, несущемся в этой зеленой ночи, чтобы где-то породить жизнь. Он мыслил широко.

И мне вдруг увиделась его голова, как хлорофилл,

несущаяся в космос. Волосы на ней седые и юдыблены, они походили на сияние, что обнаруживают у пробивающих атмосферу спунников. Я думая, что нарысую котда-вибудь весущий-ся одиновий спутник Земли, похожий на голову моего друга.

- Хлорофиял, - бормотал я, - это здорово при-

думано.

 Я и не такое могу... Тут Иван Матвесвич варут хохотнул в рассказал мне

следующую занимательную историю. Дорогой мой. — говорил он. — Мысль о несущемся хлорофияле приходила мие и ранее. Вам надо понять, что мысль очень похожи на ребенка — она зачи-

нается, рождается, вырастает. Ла, да, рождается хрупкое дитя, и вы должны быть

готовы схватить его, завернуть в пеленку дисиника, пи-

тать молоком размышлений. В конце концов мысле становится взрослой, больше того -- гвердым кристаллом. Она жимет сама по себе, и ей плевать на тебя, как выростиен дочери. А чего ты только не дельи ради ние, чем не поступален.

Вы не поверите, но однажды, сберегая мысль, я си-

вершил довольно-таки неэстетичний поступок.

Была такая же ночь, мороз и темнота. Я стоял у шила и абдумывал тему «Сибирская школа художниковосо зажистов». Перед этим я года два сповал повсюду и и Красноярске был, в Томске, в Бийске.

Я расспрашивал, смотрел картины, шарил по чердаим умерших художинков. И, зидете, в удавливал нечто сходное, и у меня рождилось презанятиля мысль.

Гогда, у окна.

Я выключил свет и стоял в темноге, чтобы сосредоточиться. Но этому все мещало Скрин шагов допосил- с удины, сюда, на пятый этаж, мещая думать; в призижей скулила Земляника -- собачка е шанку величитип. Ее подобрала дочь, а приотила жена. Цвет собатопки был не рыжий, а скорее красный.

 Охра с примесью киновари. подсказал и.
 Вообразите, собрика крохотиая, красная, вучегазая, то спротливая и покорная, то визгливая. Папрали ее Земляникой, и жила она у нас педели

дие-три.

По моему, собачку бросили переезжавшие хозяена она долго мыкалась около нашего дома, как-то вала. Дети, я замечал, кормили ее, а спала она в вотельной

И вот мои женщины взяли ее.

Я слушал визги Земляниян, и раздражение охваты-нало меня, даже отчаяние — мысль не давалась мис, ускользала. Ей помогали убегать шаги и гудение бойлера, визги Земляники.

Я стоял в ждал, когда прохожие успут, бойлер пере-

гтанет трясти дом, а Земляника стихнет.

Но та тихонько скулила и визжала, скулила и визжала. И я подумая, а вдруг мысль умрег і замечаете, как

действует ее самозащита)? Я пошел и дал Землянике морковную котлетку, по та не замоль за Надо было поступить решительно!

Вы знаете, я неконфликтый, мяткий человск. Потому ждал, когда жена и дочь услуг, и лиць гогда олелея потеллее, поманда Землянику и вышел.

Опа беждав вперсди меня, катплакь по лестипие. Когда мы вышан на улицу, морок съясел мон повари (было под пятьдесят). Я подция веротням и пошка, не зоия Землянику за собой.

Пусть, думаю, уйдет, если хочет.

Но Земляника шла за мной.

Мы прошли е нею частные дома, развороченные

строителями. Ужализа картина — разрушенные темейные талы. Име Землянна стала подвинать. Я же замеря и думал, это нот даявальски хододю, а собата, быть може, беньма, и ков жена — довернявал астеричана арта, и что есля и пойд домой, то Земляника побежил, придета не потетить. Ноги мон сталы, И и — соверниенно бесолизательно, заметате, — парут подхватка собаку под докотки (опа кусчула мой пыте скворь пертолет) и посавия е в свет, и ей-то па иссадия.

Под коркой спес оказаляти рыма и сыпуч, и Зопавпика погрудилась в пето, и поприлась, и стояда, опррател на окотел. На счету оказались ее передице апи, и голова, и блеск в очень безьщих тавтах, практе смарациих на меня, — аскуан она, и я би влял ее. Но Земжинка мыгчала, и я решил, ято пока оне выбирается из спеса, и усиею уяти домой. А Замляника пусть плет в сною котельную.

Я вириулся и, сигревансь чаем, долго сидел в нуме. Полночью прохожки ист, бойлер перстал тульть стоти. Но масль не пал. Земличия зани вслугиула ес-И еще мие было стадио: переживание дато на этичення уполи.

Я лег, по долго не ввешнал. Я ворочался, встанал, ппл снотворное, снова ложился и овять вставал. Заспул яншь под утро.

118

Проспулся в десять - ясное солице врывается в пиниту, и мысль, вак бабочка, тахо опускается во мне. и записал ее и повиел за хлебом (моя домановяя пагрузка).

На умице было морожно и ясно. Так же происвилось и по мне. Я попил, что Земляника просто нервничала, а разпороченные дома подсказали мяе, что один из пык оказкивалея собаний. К тому же подумалось, что еще тивжет жени, вернучшись с работы. Это меня сильно встревожнию.

В клебном магазине в купил калорийную булочку:

угостить Землянику в се котольной.

Я верпулся в пошел в котельную - вет Земляниси! Где же она? Бугает и мечется по моролу? Мой ветабрый гений поисс меня к тому палисаднику.

Я, видите ли, решил посмотреть следы Земляники и определять направление, и котором она убежала. За-

тем найти ее и вернуть домой.

Вокруг было очень много солица и мороза, а запидевежние деревья светились: такое вам, художникам, не удается передать.

Я виед и был доволен собой - вот и мысль нашел, и выпорявную будочку исеу Землянике. Словом, короший человек

Я подошел, заглянуя в тот палисадиня — и ощутил

увар вод ложечку. Земляника иге еще была там. Она стияла в свегу, положин на сто шершиную

ожу даны. Глаза се была открыты и припорощены cherost

Я оглянулся - векого, Потрогал ее -- вамены!

И тут я догадался, что ова умерла сразу, вогла я писадил ес, от разрыва сердца. Вот и свет разворощи: ла лишь слегка.

Что же, это емерть быстрая, легкая, которую я веста жилаю себс. Но кошки скребли меня: умерла Землиника... Что-то я скажу жене...

Я шел домой, уши мон горели, а мысль нашептывала мие, что да, я виноват и должен наказать себя сверх-усердной работой.

Вы замечаете эгонзм мысли?

Конечно, я нее расспазал жене.

Но благодаря моей жестокости в Землянике я быстро кончил книгу, котя заболел от переутомления. И мысль, став кристаллом, ушла. Теперь она живет своей жизнью.

Иван Матвеевич снова заговорил о хлорофилле: сло-

ва так и сыпались из него.

Я же был Земляникой и стоял среди колючих звезд спета. Я костепел, глядя на луну сквозь застывшую глазную пленку, ощущал данямя глубокий, сыпучий, как мука, спет — ни опереться, ни уйти.

Я охотнася зимой и потому точно знаю, как умирала

Земляника.

Ошущать, как тебя колют даниные спежные иглы, и видеть лунную морозную лочь! Бр-р-р... Я поима презрение жены Ивана Матвеевича, нахаль-

ство дочери и даже свою жалость к нему.

А ваша дружба?.. Она ноичивась той почью.

ОШИБКА

Таланты - они развые... Есть даже талант дружбы и любан в събаке. Потому в бывает: прекрасный человек не задит с исом, а забуламна науодится в нежнезших отношениях с своей какматой собственностью.

Любицая, преданная собава пристушавается в чоаяньу, ловя его давжение, вздох, слово. Проинцательвость ее удивительна. Так вог, талантлавый человек тоже чувствует свою собаку.

У Жогина нес был, по на галанта, ни желания заслу-

жить его любовь не находилось. Что можно понять: десной таксатор, он работам в тайге, как работают голько старые работники, до полного истощения. Выяснять, что ворится в собачьем (да и в своем) сердце, у исто не было ин сил, ин времени.

Он не дружил с собакой, а просто имел се. И наблюдал нежность других к своим псям с насмещкой.

А пес?.. Он понимал Жогина?...

Этот черный, с приседью пес вышел в нему в елоной тайге, кинулея прямиком к огню - старый, в шрамах,

Разорвано ухо, морда в белых пежинах.

Он лег около костра и двожал, а Жогии разглядынал собаку. Собака мощная, с щирокой костью, но погренанизя жизнью. Вполне пригодный нес! Пожалуй, пужный. А большего он и знять не хотел. Какая разни-на, откуда ваялся пес. Может, ушел от умершего в тайте охотника. Это бывает. Нап бросва двкую собачью стаю - Жогии видел такое!

Пес же не мог рассказать, что щенком он жал у кабалмошного, к тому же драчлявого хозянна, убежал с собачьей стаей в тайгу в постепенно добрался до Эвенвии. Здесь стако встретили волки. Свиренствовать в одина местах с одичавшими псами они отчето-то не могут, и волки быстро прикончили собли.

Черный нее спаста чулом - бежал к востру. Праметив в почи его им дочку, он ухидна от волков, бук-

взавно внепувших у вего на хвосте. Ушел. Волки, посидев какое-то время, спили осаду: инчего ве поделаень, здесь человек. В конне коннов, по их ковиманию, все становалось по местам; соблял уходила обратно к человеку.

Пес услововлея, Жогин достал из рюкзана и броска ему кусов сала. Он догалывался, что судьба Черного чса была раз в тысячу тяжелее его собственной. По ка-

кое ему дело?

С тоя почи он относился в ису с равнодушими ува-

жением. булто в селому человеку, встреченному, скажем, в поезде. С или и помогнать зорощо. Он и тогда моз-ная, у костра, Броски сало и заимгся чася, хлебая его. горичий и сладкий, е наслаждением.

Молчать Жогин привых е детства. Старшай брат работал, и он целыми диями сидел дома один: матери не

было, а отец бросил их.

II далее жилось не лучие. Он полюбил лес, свое одиночество в нем, работу лесного таксотора, все время илущего вперед. Хорошо! Не прожив с ини и двух лет. ушла жена: Жогин верпулся в поябре, с рикзаком кедровых орехов, и натвиулся на запертую дверь. Соседи выпесля ему ключи, все объясилящие безмоляно, точно и ясно.

У Жогина кошка скребли на сердце. Он бы запла-кал, если бы умел. Но, поразмыслив, решил, что жена право: как жить семейно, если муж девять месяцев в году бродит в лесах, а остадыные три угрюм и пераз-

Он лазбил ее, но свеласился, что это пикак не выяв лялось вневии: И все-така Жогии обиделся отчето-го ил всех. Оп ламинулся в элом одиночестве, утещался ем-Лаже перестал встречаться с друзьями, редко бывал у брата. И, как водится, пересолил: остался совсем один. Порож он чувствовал острое, как боль, желание иметь рядом є собой что-вибудь живоє: итипу, мышь, сверяка. Но только не жену, пет!

Все продумав, он решил замести люку с опытом тасжамх охот, чтобы не аря кормить иса. Но привычка к одиночеству вросля в него: уже лет десять он собприлси запести собект и не заподел, бозлен хвопот. Но вот — Жогии еще не разобрался, что и его жизва входила первая случайность, — выскочил к костру Чер ный все, таежный охотини. Пусть староват, вусть охотился только для себя. Зато опытен. Он не видиет кностом, зато помогает на очотах. Пес не лизал его рук. на свирено охранял лагерь — росомахи уже не отваживалась сунуться в палатку.

Черный лес тоже был доволен, что в нему не лезли нежностями. Он, как и Жогин, предлочитал минимум общения.

Постепенно такжные бродити сжились. Угнегала Жолайна лишь всеобходимость маждую осень всегие пси из тайти в город. Привадь он посезался в сутрябе, что наметало встром на балкове, по по нужде его надо водить на сворке. Чтобы не было сканаллон: тот же наноскы гиралских мирных собык и жестком мусая их.

Жоган с уапволыствием замевая в одобленности пса венто похожее на те испациян аристи, что изкатавнан и из ието самого. Но между собор они състрессновали заряю нес еразу пресек попытим драгься, а Жоган, сманавая подом укусы, не забалу урок, не прастад Чкурю, у прокущенной руки. Прочес же, осли учесть их угра-

мость и всимаьчивость, ило вполне терпимо

Эти случавности. Городский человех вытантывает голому споят автив-быты в, кода все, слодат их в минымум. В лесу же газ все изож всерь, япони, ссыни, ревяз, — каждый чес, каждый аень проходит выс, чем весераниный 1-б. Жетем, проработав таксатором семпаднать лет подряд, умущимся избетать пеприятных мучаймостей и в сеспой жании (закано оп обощел много принтиого). Был начеку, вот и всех секрет.

Если Жогип разбивал бивае, то иская место, сде не било врасияс обомпелах деревлев, могущих уписть от асрисого рынка истра. Если донуватьсь ода, в одени не воднорачивались. Жогип выходил на медаеди с пуза-

ми, которые лил сам.

Готовясь переправиться через реку, он часами бисдил по берегу. Но не зъбовалем — кидал в полу из-жи и выбирал панлучшее место.

А ежели примечал человека с ружьем, то обходил

его стороной - мало ли что!...

В результате семнаднать лет Жогин ходил по тайке, и вичего с ним такого не случалось. Он не тонул, не кругил романов е девушками-радистками, не замерзал в снегах. Медведь, подращенный кем-нибудь, измученный болью, выскочив в Жогину, сразу водел черный глаз ружейного ствола, а затем ослевительную

Но случайвости произвли-таки к Жогину,

Вторая случайность оказалась сокрушительной.

Жогив давно подозревал леся в ущельях Путорана. Не сейчас, конечно, соображал он, лет так через пятьдесят, когда все будет повырублено, придется брать дредесят, когда все будет навырующем, пристах, где она сохра-весину не там, где удобно, а в местах, где она сохра-нилась. Авось не будет таких времен, о них и думать противно. Но посмотреть, занести на карту эти леса нужно.

Жогии, когда ему что-инбудь западало в голову, свое намерение исполнял непременно, даже если горел график работы. Трудиться отчаяню, во все лопатки, па-перстывия упущенное, он тоже умел. За это ему многое прощалось начальством,

На собраниях Жогин молчал, получая грамоту или подарок (часы и т. п.), тоже не затрудняя изык. Но руку он жал крепко, от души, затем брал красикую бума-

гу и шел на место. Все!

....Случилось это на третьем году совместного с Чер-ным исом житья. Жогии брел в своему несчистью мелкими хребтиками, что постепенно сливались друг с другом в один общий, невысокий, но могучий хребет. Это у таксаторов называется идти «линией водораздела»; здесь не мешает шагать везде растущий кедровый стланик, густой и цепкий.

Пора была осенняя, но редкоство теплая для Эвенкии. Что-то там сместилось в пебесах, и холод Эвенкин застрял на Украине. А влесь было и тепло и мягко.

Жоган шел весело: он любил горы, синие мазки мьой-

нити деса, по особенно осенние лиственинцы. Красные, от бодрили его. Пес то шел следом, то обгонял, обию-

чиная попадающиеся норы.

И то, что с инм рядом не человек, а собака, радовав Жогина. Человек бы обязательно возражал, критикокал порогу, видел трудности — нег шел. К тому же мог помочь в охоте в смягчить, осли пакатит, тогку. Рядом с ны можно помечтать о том, что еще лет тридцать Жотин будет бродить по этим местам, уже стариком - бодрым, тощим, с винтовкой на илече.

Свие, хорошо... Жогин прикинул, что на своевольный выршрут затрагит дней пять. Немало! Ну, он наверстас дии, уточнив маршрут, работнет до сладкой устало-

ти. Все будет хорошо.

И Жогии шагал весело, нес тугой рюкзак и трехлинадую винтовку. Приятная зяжесть! Что на говора о поздеходах, а идти самому, чунть ногами жемлю или даже камень — великая радость.

К тому же вдесь яваче и не проидень.

Еды Жогин е собой нее немного, три С, так шутил он, сахар, сало, сухари. Но винговка была им тщательпо пристредяна, натронов с собой много. А значит, дюбая дичь, пачиная с хохдатого рябчика и кончая оленем, будет убята острой винтовочной пулей. Дичи здесь изналом, чего там! С жратвой все в ворме, благо исс ест лесных мышей.

Жогии шел, прыгая с камия на камень. Дымились спежениме вершины Путорана. Жогви то в дело воматривал на них и каждый раз говорил: «Ух ты...» Ниогда лаже останаванвался, чтобы удобней смотреть. Lorда Червый нес тоже задирая морду, по сеоего отноозения к заспеженным громадам писем вс выражал. Это Жогину правилось. Он как-то пдруг стал всем доволен. Тем, что в первый же день ока отмахали вавое больше расчетного в ваньи маленьые согновые леся в укрытых от ветра ущельях,

Жогии сфотографировал найденные леса, прикинул

высоту, обмерил толидниу стволов и записал.

Пърсночевали тоже непломо. На ужин сварал помлебе ку из белок, пастралиннах и сосила сол посъв с собов патранна, зараженные деревящвами: вверъки подпускади близко). Насвящись до упора, ощі умегансь, симли в срезящими Жомнацья запиже. От попното верта иззащищая частоков на палок пібням в макенастую законтиму сладко, бля сною. Пас закрыл нас запостом и пере к чему-то приступнявлясть, па кон-то портав.

Утром — так часто бывает в день беды — Жогину

было особенно легко и весело.

Было осоосню легко в оссоль сухари... А какое множество горащих осения, листичний избетало на склоны, вание процестали стан утом И Жотин умывалом той съго-совольной улыбкой, которую не перепосия на лицая другия. Он увыдом веобычайное синине горных сиегов и прокричал:

- Никогда такого не видел!

Вее, все, что Жогин видел сегодия, было красным. И его обычная угромая изстороженность ущла. Он был отнов приласкать Чернога все, если бы тот подощел. Сважем, погладия бы. Но вовремя свобрана, что зольво всертиет все, ях прохаадиные отношения ставиновмой.

Сытый, налимнийся крепким и сладвим часы по горле. Жогия всего на свауиду-другую забыл о том, что илет не по тротуару, а по ваменистой кромке обрыма.

Он деябражал, «за станут говорить. «Осе! Этого одного возка на проведениь, от него им едио дерево не укростем. Еди-правилось свяе тело, сильное и жальстее. Отличива доен и старая, плитивка отвинавля его плечо, в добротним фотовиварат «Москва», заряженный цветной плечноя, дочета потрасные сильми гайнох говор.

ограми легов. И не только в отчет, он их увеличит и по-- пит... Гм. дарить снимки было невому. Брату разве...

лонг... Тм. дарить симки окало некому, оргату разве...
Ладно, решим Жини, он повести яз к комнате на тепе, будет добоваться ими по вечерам. Один!
Я один... вестая один... старымен и свобно-однаме. — Жогин запиз, нумни гобяку. — Червий пес даве приподался к нему. Тут и случалеть пес сумудем
полать, а повящий Жогин глупо отнастнуя от него в сторопу Кампа же быля мокры от росм, предвестивны от-пилого для. И Жотия поскольнулся. С кем этого не бывало! Но вопреки обыквившенно

го пота не става на вругой вамения, я водать в водать на — Ул! — вскрыкиу жотин от выущения чего-то отненного в далония и поне на руках. Теперь си видел ис спежные горы, я деринстий камень да свединалющие не спежные горы, я деринстий камень да свединалющие не спежные горы.

от водин ставинка, морщинства, а серых крупинках, Умидет свои пальщи, пининиста в эти кооза; Быстрот совершващегося потриеза Жогила. Сорико-ся?, Ом?. На кориях повиканся колечка разрымов. Гися?. Олг. На корних появились колечка разрывов. Та-желенный рокажи, следуя инерции подения Жогина, по-някуя его виня. И корни допнули си стражным муком, Словно вздекнули оснобождамсь. Небо процеклось над Жогинам. Он увяжая верукням сосен в развин ска-лы — под собой «Коть бы на дервина, — поженая си-ебе и проломы, нериций, презилие в другую, помяжа, и был отброшен пруминой толстого сука, сломащието сму ребро, но сидешего жизни. Его посстала колино-ощущение: перед ним замеликали молитки, стамески, зами в помять помять помять по постала колино-ощущение: перед ним замеликали молитки, стамески, зами в помять помять помять по постала колино-ощущение перед ним замеликали молитки, стамески, клещи в прочие инструменты брата Затем его знатнан на голове; всинхиула картина дрази в Колганские с пол-емплиним кулисцом нирокое лицо в черной бороде.

глаза, брошенный в ударе куаве, червый, будго гиря. "Когда Жогии смог вриоткрыть один глаз, все пред-ставилось ему водявистым в колыхалось. Второй глаз, протертый от крови, вернул окружающему миру плотпость. Все прочно, будто приколоченное гвоздями, встало на свое место. Но Жогин шевельнулся — горы зашатались, будто картониме, а солице позеленело .. Жогия зажмурился. Он уже поиял, что все стало другим в гориом мире, потому что наменался он сам.
— Черепущечка моя, видно, раскололясь, — про-

бормотал Жогии, подлезая пальцами под затылок. Рвапула боль, он застовал. Нет, такой боли он еще не знавал, будто ввинчивался в мозг длинный толстый винт -

поворот за поворотом.

Боль то уходила, то возвращалась - от шевеления губ, от движеняя глаз. И тогда все: горы, лес, камин шевелилось, рассыпалось, грудилось.

Но этого просто не может быть, — прошентал

Жогии.

...Замелькали яркие полосы. Такое он видел пацаном, когда пробегал мимо налисадника, где солице чередовались с плянками, те — с солицем... Вот это боль! Не дает шевельнуться.

Черный пес, прыгая с камия на камень, спустился и подошел в Жогину. Принюхался. Пес щетинил загривов. чуя пряный аромат крови и острый запах беды. Вот только что человек весело шел, а теперь лежит и стонет жалобио, гонко. Черный нес прижал острые уши и мелко-мелко переступал дапами, ему хотелось упти.

Он чува беду, но видел Тот костер, а около Человека с Даниным ружьем. Двойные отоным полчым гиза-рассыпались вокруг. Сейчае их цет, по придет почь, и они повыятся. Черный пес завыл хрипло, басовито

 Кончай меня отпевать, прошентая Жогии.
 Он чувствовал крозь на затылке уже спеклась, связала волосы, словно на голову надели тутую реанновую ши-почку. Может, попробовать встать?

Ну почему, почему я не глядел под поги? — за-

дал Жогии вопрос всех угодивших в беду.

Черный нес лег около. Он рыкнул на подбежавшего к рюкзаку бурундука, потом встал и долго общохивал

- штовку, повиливая квостом. Снова лег, уже спокойный.

Пес задремал, но уши его двигались, прислушиваясь в стоиам Жогина, к покатившемуся где-го камию, раз-

говору пролетающих гусей.

- Что же делать? - шептал Жогин. Он припоми-. . . припоминал... Например, Чернов... Разбившись в трак, тот спокойно отлеживаеся в ждал спасителей. Пот в выход: лежать спокойно, терпелию ждать. И Жо-тон замер. Стараясь быть кименно-педвижным, он не

пыл вею бесконечную первую вочь.
Пришло теплое угро. Глава жадно схватывали его
приметы, летящих ведровок, медлительные влоские облика. Но было и сомнительное: земля (или голова?) потавал го ован и сомительног доман (или головат) друживался. Нет, он ба не доверялся этому утру, теперь он в дизни пичему не поверит. А сейчас не шевелить-дея, не двизаться. Пес сперауался каубком и лежат ра-цом. Но не синт — смотрит, помартивая фромвым. Па морае собъяк росл. «Чего он уставился на меия?» — встревожился Жогии.

Пес встал. Зевая, погянулся, затем ветряхнулся, как эстрямизаются собаки по утрам, побежао. Куда?.. Ловять мышей?.. Жогин ощутил тревогу: веристся ди пес?

И что с елой?

Хотя было велегко работать ощунью, левой рукой, к гому же опемелой, он все же развизал менюв, И напрл полограмма два сухарей (осмотрел каждый, не плочиеянот ли), полкило сахара и вусок сала, натертого чеслоком и присыпаварго красным нерцем, завернутого в полиэтиленовую пленку.

Всегая приперченное сало вызывало у Жогина саво-п), но теперь язык был сух. Как щенка. Ладно... Главнье, есть валория, он сможет продержиться пять-семьнежть двей. Но вода! Где взять се?., Жогии испутанся. Ведь если вет воды, тогда все, ок процад,

И Жогии стал вслушиваться. Слава богу, в безмер-

ной, почти гремящей тишине гор он услышал близкий голос водяной струйки. Где она? Ища, Жогии шарил, тянулся рукой. И вашупал се, битучуви вода тененько растекналов по камини на расстояния вытинстой руки, между пальцов бились се струбки - лединые чер-BRIDGE ...

Ладині С пилой віну здорово повидло. Поки что есможно брать, смичная посовой члаток. Так, с видой и жратної все в коридає. На гилова билит, а теля изчетоти примет. И еще иза пепрадичное становится при-

вычным.

Папример, отлыкая от поисков повы. Жогии вдруг

усливная эробь налинямих кормускуй света. Что ещь может падагь? Даждь? На развичии, тикии. еуко. Прикрылась колина облавам - стук литех, отвримска — шот оц. Что еще может сполться на эсили. жроме боомениях видитов? Завчит, это ини. Эко удиров было разным: маует шеголумич - от люд и модо, резкие щелчки - при ударах о камии.

Ведуприволев, Жогии выбыл обы вили, по выклуплись ваминия, в примело вызание. Червый песі Веристоси зави! Вое бродет, пропознавается, все осматривает вОдинко корпускулы не слывить, - выступни получилось Жигину. Но отличный им - пу ущел, верпулся, Благодариости переполняла Жогина. Что сделать? Помичать Черного за уурм, наметев, это вм. сибавам, правичея?

Ов возвил - пес видошел к вину. Но свигред на протокутую руку с подокрением, замо с зателом, в CHARLEY, H. WOTHER HE STAR ASCRUTE BEA, THE VENUENT,

HV ero!

Он торыл руку и смотрел на даны, сильные, могушие в димов мемент увести все птоман. Глидел с вавистым. Поливная глаза. Жигии спальзя, пуслядии по черной шерсти с блеском се съребристых и длиниях порешнов. Проклитое испривычное! Вориновы тотчае стали яглями. пацелились в глаза.

Иглы, кванты... Интереская жины пошла! Но к ней ани прилаживаться. Кок же иначе? Раз легьлая уйто от до, ило долять жальные. Собясе что, ей и вынаи, и трава последь, а шкура одил за все про все. Меау же в тайге жить грума». Забил. Развести костер?
на кураставших столетным налимам има? Сода пусниць отчив. — жине сторици. Сида голстое одеяло надо,

И Жолин стал собирать мох. Тот отрыванся от камней житию, но е глуховатым крином. После нескольких лини волин Жолын зарылен в мол. Отдыхав, он то слуные являты, то визрылся на блистицие игаы. Но его вое

больше занимала собака.

Черный вее наблюдел за нии и чуо-то думал при этом:

Что варится у пла и голово? Жогии с пеудовальствиси заметии, что голова собаки ибъемиста, это все мотопит.

«Чть он может думачь? — справилная себя Жогии и отмень за исто сом. — Принцавния, выявляет за зония. Себяни, — припоминая Жогие, — чукие, Тольнозобиления, а сёт уже все ясти, арат еще не сечет, а она тобо отменье. Или Оргает носималь одного а горяз!

Жогии печты ие в), не зоголись И с кограстающих привогой смотрел на вса, тот что-то решка. Что? С везыкой городью Жогия повола, что не завет смог собыку. Ему думальсь талько векорошеет треляет, броску одноменения в Умериа применения повером; тот силса рядов, грам. Жогия с трудом предилатыва мастание смататыва на свейния. Нет, тато-мидам долять. Пес сильный, ов запросто выриется. А, ботить с пим, чебе не едельены учет.

Пис. разлевая кугочас, идал оденувацего. Его восошие водитистве таков казадная Жонину двуже зучами, навыжения в темноте. Пес умимя, при причего из сдешет. Он ублет, определия, уто Жоган безнажение Да, найдут Жогина нескоро, никто не знает его новый маршоут. Глупо!

 Не оставляй меня, — попросил Жогии и дал еще сахара. «Я выживу», — хотел сказать ему, но не решился.

...Теперь Черный пес уходия на дальние охоты. Судя по придинцияму к его носу пуху, он охотился за куро-

патками. Белыми, еще не перелинявшими к зиме.

«Разве мало мышей? — размышаны Жогап. — Нядо полагать, птицы означают его возират в кольной осттее. Пее задерживался, а Жогии возновался, придет тот или нет. Но и без нез он не был один, его посещади гости: станивальсь мышныме шажки (собирали оброшенные крошки), являлись бурундуки, а как-то привыла лясния тапинето-рыжего циета. Но адруг радом с ней вырос Черный, зарежел, и оба знерв печекли.

Черный пес вернулся лишь на другой день, усталый, со вторым разорванным ухом. Он лежал рядом с внитовкой и лечился слюнивил лану и тер ухо, снова анзал и тер. Жогин усноковлем; пока ухо не заживет, пес

будет около него - спать, жевать, чесаться.

И Жогии решил, что разорванию ухо было векенем, как и находка родинчка на расстоянии вытинутой руки. Проучна его, несеастная случайность убралясь, и нее теперь шло езя на благо: вода была, и псе не ушел, этим подтвердия, что выблоровление Жогина бличко. Самое же приятное (и невероятное) было то, что сентябрь продолжая оставлателя тегдилы и солиечным и

Жогии, вскрикивая от боли, пачал вниневеляваться, сачия уми, омугнаем, рассавтривая Жогина. Но трецина между ними расширялась. От почного колола Жогину приходилесь, заражаться в мох с головой, а Черный лее не ловилея разом, не гред., сколько так его ин

30811.

Жогии корчился, трясся в ознобе, даже подвывал. Он змал собыку, то моля, то проклиная ее. — Черими гад! — ораз Жогии. — Мильй исина... А затем случалось то, чего Жогии боялся: пес ушсл. Ложе не стал ждать, пока срастется умо. а будто вспомша отложение дело и место, где его ждали.

Уходил нес в ясный, прозрачный день, полный огна обтъевине. Пошел от камия к камию, от сосны к сос-

пе. А там и побежал.

Жогин видел, что нее уходит не колеблясь Четкость голяньей води потрясла его. Все! Он конченый человек, иля свялява больше не верит в него.

- Веринсь!

Жогии закричая так громко, что встряхнул голову. 10 манриуло крик обратию, созоно камень, родин пото боль Не напраслум — пее вериулев. Он подошел и малел на Жогина — долго, то ли решая свою задачу, от правывать. А Жогии прокативал себя, что не изумя, не умест держать в руках темиум адии собым с

 — О чем ты думаешь? — спрацинал Жогин пса. ти решил, и припаду? И ты со мной? Но это же еруп-

да, я выкручусь, вот увидищь. Мы оба скасемся,

Ов говория, а ему котелось кривать. По милодим соочны глаза, они льют из Жогина поток педоперав. Жона барактается, дахлебывается в ием. «Пет, — говорит им. — Ты скоро будень мертиам».

- Не буду! - компанул Жогии, даже собака вопяплась. «Эх. встать бы! Или сурабастать иса?.. Черт с

пей, с головой?»

Жогин протянул эмну, по собака отскочила, не отвожестны гляя Дикая элоба охизтила Жогина: Убляя— Обл потянулся в камню, по Червый пес был эсстороле он прастиух в рукв. щелянул зубаки. Жогин пларнул рукх, а кобяка, прижав ущи и выставия стершеел клаки, рачала.

Может, говорить?.. Пее будет саушать, а пока слуша-

ет, будет адесь.

-- Старина, ты не должен бросать меня. - внушал

Жогии. - Понимачить, я боюсь быть один. Грызи. сипменя, тельно оставайем! И забудем произлос. Согласен, я был вевтяным запянном, во ведь и ты не медовая вопримяни. Звачиг, с этого дви так: ны мне друг, и я гебо. Мы друдья, ест в чем дело. А другоя не придаги друг друга. Плинмаешь, у меня в жизки не было другой меня части предавали. Все везались с отца. — И Жогии пересказая Черному срем жизив. В конце концов от слабости, от обилы он зажмурялся. Содице грели лисо, будто гиллун падоцоку подожное А вигая Жогия отврыл глаль, то закдел пев уже минерлу.

Осс бенью по обрыму так бы тро, так нацеленно булто или выдал повый костер и другий чания. Сиолого, — пробирантва Жоган, — Назвись,

тебя сожрут волки. Тик Жогия резалек выстите с бытью, е холодом имчеб, с ощущением одиничества, даже странов вустичи в събе. Бъли усилевались, «Это, конении, песнавения монга, – резина Жогои, – Теперь в общательно слоуиу». Он монти не вл. а тельки пал веду и стаках ребе на толоку знаяные компрессы, использую пессаной члытев. Он часто гервя сознавие и бирана. Так, между бродом и явые, ученью инверестире Жогину мисло инст. Но в часы, выгла это рызум проясиваем, в Жигине преда обили на миниь. Почему она дала вму плочего отна?-Убила мать?. Подсунува неверную жену, и ватем гибаку — черного предателя.

Это не поллость в квадрате - брисить ранового п

тайге.

Отец, женя... Те далено, те равли, сливно в тумане. По собака была адель, язная — чорнов. В ися, теперь мерс пилось Жигину, собрадам, яси авестокость англи, ее черное предательство.

И не случайно нее подошел тигда в вистру, а на

обрыве с танным расчетим сунутся Жонкау и поги-Слонно навочно, отобы добить его, варуг верим

вич погода. Навануве у Жогина был особенно долгий принова. Начался он даже весело - пробежали по ситу вобу белые паучка, и стала пуль, и в ней звезды. he тоже разбожанись... Прида в себя, Жогия виссте питерого неба твидел вижое, осеннее, холодине. Эни клубились тучами и понямногу, спучно рассеввало - плинки. Зато и этом небе, повыше гор и ниже туч, плыли два вертолета.

По-видимиму, это исе же бред, видение - мицины ния беззвучно. Но после ночи, в поторую Жогии протря ил мозга востий, и небе с утра началась суета.

Его искали, на вертолетах!

Жогии закожая: что не забыли, ребята выжидали почилими над нам, выбирали к югу, где он должен был HATH.

Нет, так его не найдут! Надо выбираться на открытое инти. Сивнем, на обрыв: там развести востер и дать голия. И издо торошиться — еще парку такую ночь он не выдержит. Жоган кос-как поливлея и вства, ухваво на окленку, колкую, линкую ву смоды.

Ом стоял, а горы, сосны, небо - все раскачивалось и пот вот могао упасть. А боль то, боль! Чем прогнять ти). Он воложил налькы на веки и приявал. Сильно,

пуобы новой болью сломить пуркую.

- М.м.м., - простонал Жогин и попросил боль: --

Она не ущие Уж лучше помереть, чем идуя в нею. - Черта высото, - связил оп. - Я стану жить до

ста тридцати лет.

Он залжен жить, его инкут... Людим бы плонуть потуги, тяжелого челорена, они же, рискуя машинами, мосмения запросто врезятия в гору, гратят рабочее врев води верин эго!. Нако итги - и инм, и своим рабочим друзьям.

Ладио, он перстернит боль, он войдет. Но вусть

живые не рассчитывает больше на его нокорность. Такие муки... Всей Хватит с вего! Узара за удар — вот так!. И отну оп не вростит, и жена пусть ядет к черту, а уж собаки... Зачит, асть на обрым? Жогии, придерживая темпор учками, посмотрел на его недостижимо высокую кремиеў — п. аснул: туха, гае вроблеживая грания, выкастивнось нерное пятю, живов. Пес? Верпулск?

Жогии вемотрелси: да, да, это Черный пес! Но почему он не идет к нему? Стоит и вынюхивает что-то.

И тут цель прихода Черного пса стала ясна Жогину, будто он сам был соблюй. Пес пришел оглядеть останки холянна, убедиться, что не ошибся, бросия его.

Но так шутить с Жогиным опасно... Хватит! Он выжил и теперь задает всем, так задает, что... И начиет

сейчас же, предатель получит свое.

На фоне горы, уходящей в небо, пес пырисоннявался четко. Как мишень. И Жогин нагиулся в виптовке. Взяй- ее в руки, передериул заткор. Лязгиула сталь. — и пес исчез. Сонсем?. Ата, снова повнился. Оборачинается, повыятивает, будто зовет кого-то. Ясно, такую же соба-ку, бродачую соволочь.

Но можно ли поласть в пеа?.. Надо попасть!.. Иначе все дурное, что было в жизни Жогина, уйдет неотомиден-

ным.

Присев, он ков-нак подива винтовку, опер ствол на нетум, морщась и ругая полоку странивами слопами, стал целтъсм. Но ствол плясая, прорезь а мушка распавались, в черное пятно собаки круглилось. Ладио Пусты!

Больше он не в силах пержать проклятую винтовку.

Нажав спуск, Жогин решил, что промахнулся.

Грохиуао так, будго упала сости. Отдачей Жогила пипуло в сторону. Он упал и лежва вниз ликов, и была только боль, ввинчивающаяся в затылов. Не сквизы нее песлышался визи собакв. Жогин захвхикая. И тут же застонал. А собана визжала и визжала... Теперь он будто виант ее: она бъясев, загребает запами камушки... Вот, тикла. Он разделался с подлой нарыш... Но что это?... Ему вослишались голоса. Жегин со стином подвия голожу. Это мерецинуем, Нет, он шамут доздей. На краюобрыва столам люда. Они пришля... Исикли его, услащаля выстреа и вришли... Уж теперь-то и будет жить.

Исхудалое ляцо Жогина, оброещее боредой, оскалилось в страшной улыбке. А с того места, гае только что вертелся Черный пес, ему кричали, чтобы он не стрелял.

Но почему искван здесь, если плановый его маршрут

И вдруг он догадался, поиял, Все!. И затейанно, линию выругался, Жизнь снова посмеялась над ним. Подло! Она подарила-таки, дала верного друга, зохматего и черного — отанчито минень...

БАРАМБОШ

Для каждой охоты нужва своя собака. По втине зучше всех легавая, по зверю — дайка. Но если вы йдете нечью за барсуком, вёт собаки лучше барамбина.

Так говорил Крезива. И знал, что говорит.

Он единственный и нашем городе еще охотняся за берсуками, нашел их подземный городок. Все деточныки в нашем городе анали Креншку, и пала к вему и октябре, д, покашлявая слухо, просван барсунаето сала Говорили:

 Лучше всего пить садо на ночь с горячим молоком. И грудь смягчает, и каверну заживаяет.

Познакомились мы с Крепнюй произой весной, в разлив Обв. Так было — застукама реки на островах много засря, и посладо нас охотобилество маланть.

Застигнутые звери сидели на островах, другие влади па льдинах. Попадались и нахлебавщиеся.

На островая общино сидели льси, косули, волки и зайцы, на льдинах чаще плыли деревенские сыбаки.

Ваделя мы рыжего кога. Сидят на брезошке, щурится на водяной бляск. Но как он завонил, увидев изс! Как жаловался и пдикал в лидке!

Тав и плавали мы - от истрова в острову, от льдивы

к льдине: мазаили.

Видал я мириме картины — лясы в зайны сизсались на одном островие, и косые не боявиев вис, в те ис-

терзали зайцев. Видел еминиюе — три лисины сидели на дереве, сто-

апшем в воле.

А сколько циплющах сераце картинов, когда зайща дугались нас и с плачем бежала в воду и тут же возврзивансь обратно. Оставалось брать их за уши и сажать в мешки.

Увидел в в Крениву. Плывет подочка, в в ней трое. два человека и барсук. Одни человек трейет, горонится; другой барсука за квост на весу дтржит и нее говорыт Ой, скарее, ой, по удержать.
 И опять: — Ой.

не удержу, ой, выроню.

Барсук ме, вися вика годовой, ругал списателя на все корки и водил лапами, ипрова заценить еги

Лодки наши пошли рядом.

- Во даеті. Я его спясаю, а он меня грызть хочет, — говорил спасатель.

Барсука держан Крепева. Я смотрел на прупиме его висти с въевисися пылью металлов. На пальны — силы

ные, грубые.

Рука преимо держала закря за купыя отрастик. И мый подуменось — это сиявод: чедолев, опемиясь, спаслет

À барсук все ругаетск, такорицител — странного ви-

да зверь, не то свинья, исто хименик.

— Этого ты свислень, а сколько поубника? А? спросил наш моториет, из лидочка уже шаз в берегу.

 — ...Какая ваша основная профессия? — сиросия я Крипцву вечером, на отдыхо, пелочина метальня скикисти его рук. - Слесира в. - ответил Крания. - В дело

ботаю.

Ов поравил меня мрачным видом. Кму быле за пить-DECRY CHANG, AND CYMPHICKOTO THESE, SO LIBER MARCHIкие, зеленые, впалые.

Индиализивым был эчень дорошил лей, падалили-

пивсе пра точным анавем. Что там, аз инит.

И Крепива стал мие любопытей.

HATTENS THE TO CHACKERIN, TO, STRUBBER, CARTERINALS

на барсуков? - спросил я. Де нак обе сказать. — Кримива периманнуя формна. - Они полезно, видухом движны. И вустать (бист-

до усмехнужен). Вольных гене многовито, почител, ди видмужен. Н не бой и бирсукив, итину бить пругов. Егге гестиниям — свердами и порад сверлит, привывания постоя дущат, большим жеут. Я же эксри убизан культутко, палочной по высу. Ноконырна у паркува хрупкал. К тиму же перку баранбоши. Сам матинь, жеть соба-из — окотишься... Как и семьей жеть жом — коорботан валиць, долост — инчего за нали Задода каколобуль. разеляну. Жику и на Киронском спуска. Знасть? Номец appropriatest macra, a species whereas, a appearant may

- Зайду, Расскажи что-нибуль.

- Ordera me ne navendrara. Boogs no ovast?

— Уверен, — сказал я. — Ивъ. тм. унерем. — усмехнулев Крепива, згала И в узвал стириты барсунаей странной ихиты. Я слунал солос Кросивы, в или пачильно изпаться, что распримостев сан в одотники с дийначи, тапистичным, древняя.

- Завинт, с собывы ихитиппед? — перепроевя я. — Каких берешь?

БАРАМБОШ ПЕРВЫЯ

 — Я их зову барамбошками, – говорил Васи-лий Крениви. — А они просто всикие собаки Понима. сшь, для каждой охоты пужца собака. Конечно, спаниель сработвет и куляка и белку, из-под легаша можно бить когого на лежке. Слыхал и о сеттере, ходившем по медведю, и колмия над его могилкой видел. Но все же аучше спец. Вои мой аять работает в уг-

розыске, так за бандитами лучше всего идет овчар. В нору короша такса. Она узенькая, маленькая, везоду променет. А челюсти у нея проде тисков. По для моей

охоты лучше всего барамбовь.

...Кто такой барамбош, спросниь ты? Отвечаю — яюбая собака: голова, хаост, четыре ноги. Догадываешь-

ся?.. Барамбош — это характер. Если сибика умна, она псе может. Таким был Михинл. Но если собака авезд не хватиет, а воображает стбя серьезной собакой, не выйдет из нее барамбош.

Каким должен быть барамбонг Отвечаю - лагкого права, но в то же время иметь в себе подноватость. Повимаець? Подлаванвать зверя должен, подлаванвать. Он как работает? В третью смену, почью.

Проверию и киждую пору, не одну ночь проведу ря-

дом. Барсучка изучу от носа до кория квоста.

Все знаю, велик он или мал, венильчив или меланхолик. Самые жирные барсуки — меланхолики, испыльчивые всегда тонци. Как и люди, сам понимаеци.

Бызает, сидишь за кустиком, ждець рассвета. А оп идет, сопит иосовой картофединой. Если жует на ходу, значит, с сальнем. А вертит головой, цветами интересуетси, на дроздов викает, то он периный, с плихим аппетитом, и на списочка и его вычеркиваю.

На проверку, заметь, собаку не беру. К октибрю я точно знаю, кого мие из барсуков брать, а кого оставить. У меня и марта начерчена, и заявки на жиры приняты. Тогда-то и появляется барамбош. Идем мы в норе поздини вечером, когда звезды высыпают и барти идет гулять. У поры отпускаю собачку. Сильного тутья барамбошу не нужно, нос дворняги вполне годит-«в ямы быетро находим барсука. Колить он ие маства, облачных договнет его, барамбешит, насканивает, за фокк подпиовывает тут я я подбегаю. Три задачи у ба-ражбоныз; найти барсука, в норе не пустить и зарыться не дать (барсук, как штолор, в землю ввинчивается).

Ранее я хаживал с ружьем, но перестал. "К барсукам, парень, меня пойна прижала — рождались дети, их надо было кормить. Сидел и под броней цено, стратегическая дорога. Но в остальном тоще. Я быдо в животноводство ударился, порося стал выкарыливать. Выпормил, по залезли ночные воры и примо а стайке закололи его. Кинулея я на воров. Двое по-мигли мие в этой борьбе. Первый — мой все Михаиз. Он разбудил меня и сам на них кинулся, даром что был величиной с рукавичку.

Второй мой помощник - сосед, старичок охотничек. Выйти он побоялся, но на форточки стрельнул вверх. И жена визжит: украли, украли, украли... Я схватил то-

тату в на воров, в ярости. Воры в побежали Старичок с того дня ко мне ревьем донеденатея отвиовись охотником, и все. Сымовья его без вести стипули, жил оп охраной магазина и барсучками. И стал тарик меня соблизиять, на барсуков подталкивать, на Мишку кавать. Говорил, это шибко умен нес, что такие илт маненькие самые лучшие. Говорил, что барсук че-вины, выкармливать не нужно, воров боятым исчети.

Воротил, воротил и своротна таки. И так корошо у нас с Миханлом пошло дело. Барсудов много было под городом, не трогали их охотники. Почему? Отвечаю Русский - он дурак в еде. Меня савого только война научила видеть во исем добротное, я смысле жратвы, основание. А сначала в барсучнов

менял на хлеб, на сахар, а иной раз и на водку — от радости, повернулась война в победе. А там и сами приепособылись барсучатиму жавать. Неплохое кушаны, эсибения с тушеной вануетой,

Дети у мона все барсучата, все на его мясне до потолка выросли. Глянець, и самвение — твои ли?.. Да, Михана и нас и чачаютив здорово поддержал. Я веди не всегда на выгоды. Посмотришь — наут, клевают, аст кис выплевывают. Жалко! Бывало, так сапа дашь, азром, зато и сейчас иной раз на праздиль поллитровочку

А Михана умен был. Снажем, поставит жена сун. радом охрана — сидит черный головастия и рычит А сам ин-ин... Кисти ин собирал, набивал ами почурку Чуть приголодается, готчас вытаскивает востяные сукари в грызет - козаив... Поментуя, стал я слуру эти кисти выграбать из почурки, так он во как за руку меня

хвития. Ударил я его, а жена кричит:

«Опоминсь, кормильца бъешь...» По барсучку Миханя пошел срязу. Старив взял на охоту его в свою опытную собаченку, Шустря - так он ег звал. Михана отрайотал с ней первого барсуна и начал их пощелкивать. Случалось, брали вы с инм за ночь по три звери. Весь секрет здісь в гесном расположении нор.

Погружу их на тележку, Миханан сигрку инсажд. Утро лютое, красное, Ивей. Идешь, от холода подпрыгаваець: я тележки делал легкие, на разниовом холу.

Слесарь, он все может.

А дома нас ждут.

... Микани... Било и в нем неудобство — черви нап почь, не ураздань. Санка ему жена болью фартучих с завизками, и фоварь приспособил на стволи. А ост равно не помогло.

— Что же случилось? Крепива вздохнул.

— Могу в рассказать тебе эту жизненную хранови.

"Пошла ми с ави в реже Купите. Рукой зодать. Тамміл барсук-окализомик. Жирний — твиет живот зогуале в аке чавлат. Пошли. А почь с бетучими обланами в зучой. Сталом таут, в зуча в лея же верзит,
ите парает. Савов тауелая сёстанала — в в голове
работ, и талаах.

Нашария Михана баресчив около подав, пачав барамбониять. Он крочит, в е бету, ин призит мис: «Схорен измаза, — а мис под поди гуми хомут. Упал раза две, доперь потучрав, индер разона А у Миханан фазучуте «перь потучрав, индер разона колония» Раздоную «перадука, при при при при при при при при при «пачат Михана с барекском, будто дружан, в заиту-топредил, Располниет я. Шара по березе ружном — потила, натъ осба куланом по банае, в далосто кас поло

Привез его димай — жене давай меня монотего потение, но кучака у нее мягие. Выег а сама вост. А в гоже сам не свой.

БАРАМБОШ ВТОРОЙ

После Макшая эне длаго не вслао яз берембония, без карал... Но могу вобе зращо скваять: гаумее второго собляк у заян ще было. Случалось ону заблучаться и в торудо, а уж в лесу он у моня терьясе исслатите втосла для Но окраска его была хороша — бельна (яков сго акже подхинивала) в в зуквую новь сасини дациет в возлухе.

Я приспосаби в свисточик, и барамбані паводна міня хорішнь, вели не забивал, ето и вачая ему свистит. Оп-то в нове и застрил,

Остановили мы барсучка, в граз палани по несопарск. прималяулся и засистел себс по колену. А на изыве Взамл я, скачу на одной ноге. Барсук, конечно, в но-ру, и барамбон за вим — так а възхал. Я прикопылял, зову, моргаю ему фонариком — воят.

«Бобка, — говорю, — терпи».

Ковманю в тележке за лопатой (я ее всегда беру с собой). Барамбош влез метра на поятора. Думая, легко отконяю. Но пока в ходял, барамбон полз впе-ред и застрял глубово и прочно. И так кричал под землей, будто его барсук там живьем ед. Словом, конал я до вечера: онень неудобная была пора, сплошиме корни.

Копаю и говорю себе: «Помии Мишку, помни». И барсук злой. Я копаю, а он гудет на меня, а копаю — он

гудит. Сердитый мужик! Сначала я двухвостую ящерицу вынул, уже дохлую, потом барамбоша. Домой его на тележке привез. Жена кричит:

«Этого угробил!»

Дурак был барамбош, и, когда номер от чумы, я даже обрадовался... Ну, до рассвета еще пара часов, храпанем, что ли...

ляе с половиной барамбошки

Я пошел в Крепине в середине августа. Хором бывает конец лета в узках окраиниих улицах Город - по-

чта деревия. Аефальт, по так пахнет землей.

В огородах зреди помидоры, Жень Крепивы ходив огородах время помидоры. Жене крепивы ходи-ла и пощинывала пасынки, а Крепива сам ремонтировал прицеп к моточиклу. От аето пакло керосином. Около крутилась собака Певеста, жавотина добрая, но внеш-не страховидная — в шетине грязного серо-белого пвета.

 Чудо природы, — говорил, глядя на нее, Крени-1 ляжу и сам путаков. Барсучатница, и, гля, перств как на барсучке. М. жет, подня? А? Невеста? Гля.

ни ушах и спине песая, а каждый волос трех цветоп: в кория желтый, середка черная, колец седой. Он стоял, оториваннось от заванивания болта и по-ложив задень на поясницу. И видно по динжению мор-шин — сму примяти выпрамиться. Я смотрел на Крениру: он стая яснее мне. Вспомина-щею берелы. Когая эти многе дерены срубсия и онкурия-пон полежит на воздуме и отчето-то задубениет. Тигда березу ви пила, ин топор не берут, только огонь да время. Огонь жрет ее с хрустом, другое — не торопясь, годами. Тление тот же огонь, только медленияй.

Крепна и был таким древесным остатком. Рабочим, но и промысловиком. Из тех людей, что не живут без ружья, — их было много когда-то.

м навел ражовор на таких, и Крепива мие вемало израсскавал. Есть такие и сейчае, услажающие на знау в тайту, бить съболя в белку. Один, Селимерстов, жевет в двух ваврталах, рукой подять. Есть услажающие замильно. Беть кезривае иншим. Немоторые же в отчуско быот и лесу белок и сдвог шкурын. А когда разрешаюсь бить весной уток, то сосед Елискее умел так салако процеть и минок, что к нему кучей слетались холостье чирки. Но все это старики, молодежи на охоту плевять. Я навел разговор на таких, в Крепива мис вемало

 У меня два сына, а охотник — зать. Да и охотить. ся ему, вижу, стыдновато, да в мае приработок вроде менужный. А если свесут домик? В многоэтакке ме бу-вень сущить шкуры на балконе. Титда и я лончу свою эхоту. О чем мы арошлайсто раз говорили?

И Крепива, полясь и поступиван, стал вые риссиалывать дальше:

 — "Без Миханла охотился я на засидках. А это этука кропотливая. Во-первых, пужно соорудить полати, ле-жеть на земле – простынець. Во-вторых, приходить засветло, пока барсук свит. А стрединны его на рассвете,

вогда хогодиз видно. Случались, что и заснешь и прово-

ронишь.

Барсув вдет, в ты восом напирываемы. Он стоит у моры и приявожныется, а ты ены разглавляваемы. Вскичины, а уж солные, на лужах блестят стохлинные коромов, а барсух слие а лоре. Разва это ахата!

Став в приневовать сновку. Покак Бобын запол были смер двория», так они что свелали? Бирсуки дотили, предупили и риать его вачели — воприне, годольке звери Кинулся отбирать, в они не меня. Опружают, газавами свети: «Ну выс. — думаю. — в лешему». И в сторону, в сторону в сторону и убер сомой.

Стал в вокать Барамбоцюя. Невал не тольке болых, а в правилистых, этибы по потредани. До Навоста

у меня жили две с підовання собока.

— Две с половиной? — Две върпелия в один циппа, выходят две с по-

додиной. Поливнениям в с одной стирухой, Аганто Ведоровной Явму жентулы оне обс выгром паличных а впримание макентализми пинатрые на глание. Она вх тогае в городе у викот да в склерах потук дитего паставила. Одна померы трубила, другие барабациян, третья песли значи.

Кудав такия старуда, с усями и склыб бородкой, по руки бодымие, сильные, как у трудиги Да и полятии.

глину мест

Епиорат, ясля меншина с бирилой, то ведола, Эта была добрая. Она събирала бездоминах събак в женала им хорошего человека.

Давал в старуле сваще, а она мне приводили собик. Привода и Шарнка — по заказу, с провые таксы, длян-

пого туловом, на коротких ногах.

Чувава собава! Спокойну се в жизни не видивал. Журет в саят с крапом. А еще с пос брат так... Упрат к поротам, нос в подворотию выставит и на причолете «Гаута Сломие в умо теб- развиум громальна пос. Прихожде, служаюсь, крупкие пици на рук роведи. Он пора разыбаема. Тот увае фифорозана сървата и осе его и скаторти. Шарик ганкаул — и стольна въргани оказа даших ворот было! Сгреб-на парви. Но барамбощить Шарик отказался.

Не идет, и все.

Я с вим вжих так в не сварил. Тогда беродатов стаум с приведа втирого, тове Шаркка, гоже белого. Он имы пос реводий, булго спориецская вертифалива, усин стечине, прав бесатальный. Велого кудя-то укалил. Или служая где-шабудь, пли на бырахолке спекумировал (Кренина укмыльнулся).

Он и процяд таким же образом — ушил е доловым положения и ве периумен. Писле Шармков решил и опробональ леганна. В сорода войну перезпала эле сеттрики: одия у художники Монсева, Тгот от себи влеб отромева, и корман); аторая, Альна, жили у архитектора Рохмча ва коррасчете. Она хаживала в хамбиком метанину (там дан-в-шода квест сирых и убитих стоил — клеб поссын).

Альна — собачица умная, она приходила и садалась и раду. Не ньяв, на психику прохожим из аваная, в смитреля. Не такис были у нег глаха, что рука сама в булке танется.

И ребитицки ей подавали. Оно ввестся, мовьяет последней кусок клебе и аубы — и домой Слоком, такую доикуренцию вишим соявала, что те ее плакама били.

Выпроска в впеновна через старухи. Но ховини Аспом за собявой ве следни, и поводна заля мет испектото Это был ребеном военноем времена, ветамацикай. Он на минуты не следо на месте. Если и его браз ва руке, правиваю трамица трамица трамица трамица трамица трами, он бетам кругами, рычка в пенят за буханку клебо.

И во как драпал от покупателя.

После войны верпулся я к правильной барсучьей охоте. Поведло мне и на Невесту, сильно повезло: и барамбошит и двор сторожит. Мудрав. Однажды мы с ней сегкой барсука для зоопарка довили. И удачно.

Но что теперь за охота? У всех транспорт. Варсучков около города выблан не для пользы, для развлечения. И езику я за сорок калометров. Надолго езику, на неделю вли две. Отпуск беру в октябре, но второй его половние.

И надо ехать, ведь за салом челожек сто ко мне в октябре придут. Я их не обижу, нет.

ниоре придут. и в пе совожу, от ... А на днях что случилось! Ездил я гулять за город. Виучонка взяд (дочка подкинуля, на юге отдыхает с зв-тем) и Невесту. Мы запригла бенанцизую лошадку, ки-дометью двадыла то городз.

дожеров дваддать отмахали от города. Еду, а в голове рошо старые киноленточки крутится. Будго вижу я прежине густые леса, табуны тетерок. Были же здесь, были великие леса, и тучи птиц, и тьма завидем. И ист лесов, ист птиц, ист зайцев.

Не сбереган их, не удержали.

А еще были лесные оврати — с речкой в каждом. Но обезмесная мы оврати, и утекли речки. Скули не скули, это естественно: народ плодится.

Вот к этим оврагам мы и приехали. Остановились. Овраги известно как идут — один, второй, третий. Навыли мы воду — так, простовый родинчок, собрази сущняк да польны процалого года и этиля костер.

Он горит, внучек събя индейнем воображает, на слонов с Невестой охотится. Я же прилет въдремнул разморяло. И так хорошо, без снов въдремнул, такой вокой ощутил. Должно быть, земля в себя поткихая

Проснулся я, когда или по вебу красные павка. Вскочил — ян собака, на внука!. Закричал — тишния... Сгоряча избежва, но запыхвася.

Нау я во-ихотивчьи, сную налево-паправо, загляды-

 в каждый овраг. Подумалогь — сверзились они.
 р издавлились и — кувырк... Наконец вышел и к одному - бульшому оврагу. Он всегда был малодоступен крутой такой, будто провал.

Пришел и вздолную: лежат оба менх ребенка на право опрага, свесились вина, только их полки и видим.

Подхожу к ним, а сам на ходу высматряваю яворостипу Внук оборачивается и говорит мис. «Ши-и». Не-поста обораздвается и глазами на меня: «Ши-и-и». Прилег я рядом и вику — противоположная сторона ов-вата просвердена большими дырами. А от дыр дорожза — вверх, вияв, к ручью, к кустам. На дыр барсука смотрят, а молодые барсувата по аврожвам ходят. А средв нах один седой. Словом, фильм!

Так мы до сумерек и сидели там, глядя на это бар-

стяве парство. Барсуки ходят, в кучу малу играют. А отчето опи сбереглись? Место это обощая и жизиь и охотинки. Одни считали, и тоже, что это слишком уж бышко в городу, а других в овраги калачом не зама-

1111100Ac - А где они?

Так я тебе и сказал.

Охотиться на них будешь?

 Не-а. — Кренива помотал головой.
 Покажи-ка мне фито великого Михапла. — поппосыл в, а Крепива мотал головой, твердя.

Потерянний мир, ой-богу, будто в кино — барсук

илет за барсуком. Миханла бы миз! Да-да, именно Михаила, — напомиил и.

Это можно, — сказал Кренина. – Изем в каба-

Он провел мени в свою, как он назвал, чкабинеткув — узкую, чистую комнату. Висели причиленнутые и картонке фото, целые грозди родствениямов. А поперек ковра инвешена потертая двустиолки, солициая

Тульского императорского завода... — довольно

сказал Крешва. — Дваднатка, а деяять фунтов тяпет. Старичок ее завещал.

Что так? Широкая вровать. На столике книги -

«Технология холодион обработии метаниод»

Крепива мелулск и вытипул из под проциту зицичек исстемым достов, поличер длиний и такой, же примерно высоти. Раскрым что — удирало в нос, и такивафталицов. Он же выпул черпула собаву, прийнтумлапами к доцечке.

Эте было машеников чучало собяхи, но е удинательно объектесной голинско. Они глинула на меня прициельном стеклиниции глазами. Они съотилира на червом барале ео шкури. Такая черкота! Будто хусок такия комплека

авить. И и меня тоскляно ситапов сирац

 Заявинея вле набинал Мяланля. — абъясния Крепнав. — Добрая работа. Я в вафтилине не доржу, чтобы моль не побила.

Он вика чучкан в ства гладить чтн. Бормитал:

 Еали околитесь по церу, то нужив зайва, о осан, кам я, подью на барствов, то лет собяза кучше Маханда.

- Да шуни тебе чучели? Жутки и... солошное пис-

стройство

 Зачем, зачем... – вдруг рассерднага Кримива. – А осли их вогда-побудь паучатся оживалить. Ведь Миккола у меня ин одной косточки не пропедо.

У меня по слине пробежали муряция.

Mia inconstruct any his appear - y mito minary,

грустные глаза. Нет, он не псих.

 Может, в исия ожнаят вмосте с вам, и барсунка в овраге, Соборетска иси инии виписав аничет. Им. врувру- Билинет, кому, искламу, размащействиям повадимансы. Что сего старкку мочью долать? Он же прассвом, Михона. Ган, какой черный. Будео провад вуда-то, коть руку просозывай.

Мы типов посмотрели пруг на друга. Тевь усление

пинавла по губам Кренивы и сприталась. Он прамигmid sine.

Когда и распроизаси, Крепная проводна меня до порот, говоря:

— Ты закоди, и еще мир-р-го чего личю. Может, и

шипьем когла.

 Конечно, — сказал я, пажаная его руку. — Коmullio, HDBAY.

M не влу, боюсь чего-то.. Так что псих. инверное.

нивлянский бык

воляной жук

Бил апрель, сухой в холодиий. Я переходия дорогу. П - под ног велетали дерожния пыль, сухви се смесь сомани, товко размолитая выдесями машка и погами прохожих.

И в этой же нили брев куда-то водяной жук, полз.

напрагался, работал погами-веслами.

пригвася, работал пигами-песлами. Зьсек я его случайным ваглядом. Н пришло ко мис удивление: ная случилось, что водниой жув влияет и пыли? И следувовее — вакой възучий жув! Миночали его человечья цога, маниралля колося на дороге Откула плимет онг.. Где вимерала его родина —

лужа?...

Выло рано, часов около семи утра, а дорога полу-Направление его быле верных, движения медленны п

Он конрался веслами, отгребался, то зарыванся в пыль, то выпыриява из вер. И пама, плыл... А да реки тис вилиметра два пути, полеса, пога.. Сколово ихэ... Сто?.. Тысяча?..

Нет, не дойти жуку! И я помог ему: взял бумажку, завернул насекомое и отнес к реке. Бросил: жук исчез в глинистых водах.

Однажды пересох и водоем моей жизни и поманила иская дальняя река, подынав мне, как водяному жуку, падеждой и свежестью. Я заторопился к ней, сжимая время ракетными двигателями самолета, мял его же-

лезным прессом колес.

Несчастве было такого рода — пришла ко мне Боль-шая Догадка и ушла, потому это я не ловерил в себя. Будто схватил я радужную, семи цистов, чудную птицу в полете и глупо разжал пальцы.

Разные бывают в жизни несчастья, в нет им числа. А счастье только одно — сделать все, что дано тебе,

полностью. Я не сделая: Догадка улетела.

Подействовало это на меня странно — чоги стали тяжелыми и голова, мысли, надежды... Я заболел сердцем и проболел всю зиму. Друзья мне говорили: теби, старик, пужно показать одному редкому арачу. Начались суета, переговоры: был редкий прач. Все

знали о нем, многие вели переговоры -- счередь была

огромнейшая. Врач просидел со мной больше часа, пътаясь дога-

даться, чем номочь (очередь шаркала ногами и скреблась в двери).

Лекарства само собой, — сказал редкий врач. —

Но купите-ка себе дачу. Это вае оздоровит.

Кунить дачу?.. Я даже вспотел. А врач втолковывал мие, что только работа в салу, на свежем воздухе за-кренит его лечение. Сердце окрепнет, первы, и все хорыщо пойдет: работа, жизнь.

Он трихнул выпосани я прочитал стахи:

— «Живи в седу, трудись средь гризи и нанова, тебя примерно лет на сто омолодит метаморфоза». И на десять лет неплохо, а?.. Купите, не жалейте заграт.

Убеждая, врач похлонал меня по плечу и уронка

оеринлыный прибор. Зеленый, камениций, должно быть, дареный.

Вее покупают дачи, — сказал врач и предупредия,

что иначе мне будет худо.

Я попрощался и вышел. Купить дачу?.. Почему не Луну?.. Рассмотрим ка свое положение. Мне сорок лет, у меня нет ни семьи, ни денег на сберегательной книжке. Нет даже самой книжки. У всех сеть, а у меня нет. Обидно и страино. Почему нет?.. Кто я такой?

Отец мон был кузненом, солдатом, затем художинком-самоучкой. Мама набирала книжки в типографии. Я же яншу маленькие рассказы и зарабатываю маленьяне деньги. А надо, как мои друзья, писать романы и

получать толстые пачки денег.

Купить дачу?.. Кстати, знакомые желают продать свою. А деньги?...И вдруг дача не поможет?.. Как бы это смоделировать?.. И я решил усхать в среднерусскую деревню, на ту прародину, откуда мон предки уходили в Сибирь.

Поехал не сразу, когда пришло лето. А сначала на-

лисал такое письмо:

«Здравствуйте, Автон Львович! Большей привет вашей супруге! А также сеттеру Бою в обенм кошкам. Уанав, это вы телерь на даче, пниу о себе: у меня был период клопот и болезии. Впроцем, и так живу, это и писать не о чем, разве о проклятых восьми этажах, на ков, если отклжет лафт, я бреду цельй час и прихожу при последнем издыхании. Но я привык в такому состоянню и если вочувствую себя хороно, то удивлюсь, наверное. Дела мон последнее времи были полны неопределениости, по теперь проясинансь: я холу укрепить сердечную мышцу, а для этого нужна дача. Выберитука полчасика и напашите о себе, о животинках, лесс-

О том, не раздумали ли вы продать дачу?» В Москву летел я самолетом — в гремстах кваю

метрах от нее была мов среднерусская прародина.

Я несси и непредвиденным астрочам и нежданным MELOISM ...

В наждом из нас. если не повездо, силят двог. Конечно, бывает и трие, пятеро, но я сложен из авух. Одно мое ева свелое и сильное — в дела, уходиването в Си-бирь, в отпа-солдата. Другое же испотрительно и до отвращения благоразумно.

Летел в в авосто самолета, так выцыю.

Я сидел на последнем месте, хвост Ила мелко дрожал, будто хотел отломиться. И одно мое «я» одолевал страх надения, а другое старадось уничтожить его.

Эти стракв... Вот и Догадка, случий вое изобресение. напугало меня.

Явиансь нио нот откуда - и зателя писать фантастические рассказы. В них должны были летать инк гером и только в моих кораблях, на монх двигателях. могучих и этим красивых.

Вань приста разлита всюду. Она в былючке, стиха. пиступке, машине... И пришла Догадка о дангателях. изв их сделать красиво-мэгучияв. Так и нашел идою изжого ракетного двигателя и, полятию, по пот поперитсейе. Но прошле несколько аст, в я увидел его чертежи в одном полутехническом журпала. Двигатель был тот же савый, вог только фамилия написана не мол. И исодна в тому же: кыллективное изобретение - это тепера модно!..

Потгрять Большую Гремящую Дагадку! Отея умер. а то бы он такое сказал.

Впричем, в смутно надугна тип. ста Догальн, чувствуя, что оне, как медкель, якчаянно поднятый на берлоги, может сломать мой хребет. И и благоразумно обнел заманенный лесней выворитель, того недведа, читяжелое дыхание уловил.

К тому же махали руками добрые люзи: «Не ходи!

Гам опасно!» Я не пошел.

Висреди сидел человек, похожий на жука, червые ответивние водоси, верный косуква, поблескиваниония, осло не китина спиланный. Он осбека в горилине укообода. Олектого волисатива с даниныя храшеватым почты (о таких еще говорят — дител):

- Тонны... тонны...

И напостром ука: Мае хотолось отвасовся от вибрааумилито хвоста, от каба и пислушать о токках, повернии, приманения автолом. Вит, летят и Мискву объеспяться.

Лучене вослушать, чем думать о стое «Реме, осму-думайте о себе», — велел мне врач.

Но те гонориля, что-де, принатия до Моским, камоот ник сождет стольного токи внолороды, потребного пансагная горозито. Кислорон выстанит растина, THE EXCHEST HE SHAD REPORCE, STOOM KINDS HARRISONTS этот сгоревший кислород?

Жумоватын энди — сообадцать чыста гектаров доса. По ведемему, на был легином или решим бимовтим. - Kenzpersed more serves gard is desp comp tour-

THE ESCARPAGE, - PEDICAL OR, GASPITHER SPINISHED WOCтим. — На олими кватратном метре леся, учит отвешность асток, растет четыре кватрать вистии.

- Нет. игт. ист... -- Соска грас инспи. -- Меньше,

меньше, меньше...

9 попробения сам произвичти раскот, но быствы усталв вериумся в своеми: в напучался и перетемого.

А вель были и ликованию измена), Сам!. Некумеся

в потом, и Догжана процеда мимо-

But all Agament coment a he bacenty orkheito suгорода и выпр. Ведь тупот же на мак кразь умедых арта-- э. уходивших и Спбирь Первое мея вде и литули. частупита, но второе, предусматрительное и зараво-основания, писоветовалесь с пручания. А выподаТакой: пикогда не советуйтесы! Пдите прямо, куда ведет крупный человек, сидящий в каждом. Быть может, он приведет вас к габели, но умереть смелым мужчиной в нек болеутоляющих лекарств не каждому дано.

Не ходите в друзьям! Не пужно! Они вас любит, не

котят терять и постараются сберечь — для собя

.... Раксом! Ты с ума сощел! — закричали мов друзья — Ты что же, считаещь себя умисе всех? Пойми, ученые работают над этим. Раз таких аст. лиачит, и быть не может!

Но допустите роль случайности, догадки, работу фантазии, — оправдывался я. - Мае повезло на удач-

ную мысль Допустим, это выпервыя в лотерес.

— Старва, нет случайного, одно всегда вытеквет на другого Ты дитератър и можень только висать расска-зы — получше или похуже.

Друмья мов — добросивестные люди. Чтобы оконча-тельно смирить неня, они устроили мае консультацию

с ученим, огромненшего роста мужчиной.

 Да, соблазнительно. — выслушав меня, издохнул тот. - Грандиозная вдем, вы даже не понимаете значения ее.

Ов подняяся со ступат грузная, в груда и шее бычьи

— Птак, на котите в ракствые дангателя вводить и второе гопливо. бодее сплыное То, что сейчас сжигает во известные вам материалы. Ичак, у во, как и понамаю, у степов камеры двигателя горит общиное топлико при относительно низкой температуру, а другое, как атое им, плолированное, может быть использовано... иментов им, иментрованные, может имею использования. Из... — он помодчал. — это перезанию. Путь здесь дру-тов. — индо искизь стопкие материалы. Над тим и работают химики.

Оз похлопая меня ладонью по плечу. И так была пренета и тяжела его рука, что я буквально приседал под ней.

 Догадка ваще, — усмехнулся ученый, — лежит на выврхности. Вы литератор? Вот и напишите рассказ о своем двигателе.

С этого-то все и началось, — няябормотал в.

- Вот видите. Нет, это несерьезно! НИИ работают, колдективы, а вы...

И ученый потрогал мое плечо ласковой теплой рупой, говорившей: «Эх ты, чудачок-дурачок!»

Шел я в профессору с гордостью (в страхом), а унил лочти довольный: великую тяжесть непривычного сиял он с меня.

А Догадка?.. Пошагала дальше... Я же занималея глоны делом, даже рассказ написал. Лишь вногда в веноминал врики друзей, ученого, Догадку. А года през два и нашел ее упоминутой в статье о новейших ра фаботках ракетной техники. Она была снова найдеча - другими! - и названа решающей проблемой дальиих полетов.

...Всегда трудно переносить неудачи. Но сели загля нула Большая Догадка и ушла, этого себе не прощачиь. И тот крупный человек, что дремлет в каждом из нас, вдруг поднимается, гневный... И разрушает второго, робкого и осмотрительного.

Но если друзья спохватились вовремя, то борющегося в себе человека ведут к врачу.

Нечто раскаленное вдиннулось в грудь в вресекломое дыхание: это мое больное яя» стало уничтожать малое. Я залыхался.

Спас меня нечаянно зашедший говарищ, вызвав ескорую помощь». И теперь я то люблю, то боюсь беспонаднь требовательное, сидящее во мне. Слежу за вим. Почувствован его движение, немедленно усыпляю зелеными, цвета покоя, таблетками.

С аэродрома в проехад прями к воказач. Но было отменено подряд три электропоезда, и несколько часов я слонялся у красивых вигран. Констин. замешкался и свободного места и электричке из нашел.

Пришлось ехать, держась за поручень, в деревенском пыльном автобуев На дорожных выбывнях в могм желудие молмуьлся авиаобед: сыр, почидор, клей, чай.

Мяе казалось, что съедению громых плицется.

Я стипл, погами придерживая беспокойный, ерзаюпани чемодии. Меня окватывала тоска неудобства. Чем

бы отвлечься?

Я лишарил глазами, прислушился. Тотчас нацюлся интересный пассажир, данними растом мужчина и постюме с краспой вигкой, в апразных гразных сапосах На колиня он держал, будто ребецка, оплетенную бутмаь гамзы, в разговаривал теми словами, которые можво передать на бумые одники точкими. От слив-точ к хохотала выселая группа мужчан,

Я прислушанея Мужчини с бутылью оказывся дерувенским пастудом на состиего с мони слея Никанны, Он зарабатывал фантастическа много - триета рублей в песяц! Как и мог полять, единстванных грозовым пй-

ликом в это жизни был мни пянский бык.

Компания смеялясь, загаущая рассказ. Но пребимаеч голос мужчины, с огромной изобразительной сплый риозванный картиву, выт бык дигенку, сажает на рыги

какого то уполномоченного.

Поручень был вышачкая машинным маслом, допожпри гранка стучалась в дво машины, постарка кальлась мне глупой. Что я буду делать а деревие? Гулять из смогу. быв ходит в стаде в погонится Изгая сердца и пе смогу убранать, бан станет сажать меня нь роги.

Что бы таког изобрести?

Мыкир посить с собъй палку, по разрешиют ли бить совходных бывов? И пилучается, что и сплина, астол, и бых станет воргить миг отдых. Но это поделать, такова приятиля правда данного места. А мон правда? Она ня, а нужно искать другую. Но где?. В чем?.. Автото заправлел и, словно заопувшись, остановился. Я жачнулся вперед и спросил:

- Авария?

 Тебе выходите! Выходи скорей! Выходи! — такране чие яси, елипьянине имя ноей деревущий.

И вина усполен и вышел, катобус пожитанея делине. А деревия?..

Да вит опа, на въдови, от страници, пупринции, остойни дива - диагы/ - да пировые вбизов, произдепод пини. А кондух-то, вохрукт. В име на палиния, пун-CHIPPER TIMESO ORDVINE VODVINE SOURCES SCHOOL mannens.

Man apapacima!. R makes present a so sim sure to глу стируивы с золимии видрами, в удаче. Старушна

шляделась в меня.

LORGERS - Decrease one - Ill the open of He-THE PARTY - N KNOWN - TITLE STREET WITH Маро, Антинация. Потвиуму, межен, не родену.

- Ara

Начиго, самод, доминту и тебу спичатаць Хита дачинков приехало ныпче многовато.

И, жтоого окара портан уливы, ческа устрональ-

чени на жительство.

Па, нев прарослега — темпь увиранция дерушие. он (Пожов, в точно умыл это.) Даже кури ация ста-THE SECRETARY TRESPET OFFICE SPACES

- Дучала, замирият риба, он явио шест.

- Моя свослогь, а зами талка полнатова, и оморов-AUGUST...

Варотов, менто ян надо старувнам? Огоролы ва принт, простирелие куры токо. Да вонова, да вкоменный ум. Даже тенлике не выприят мудрия старушел — они готовит сах на экономичносциих верг-

Июнь. Не Сибирь, а такая резкая вечерняя прохлада. В ней что-то систовое, та родинковая води, от которой ломит зубы. Но здесь не боятся холодного: ходят босые женщины, ходят дачные дети с голыми данниыми погами. В травах желтые цветки ловит последнее солице - пятернами лепестков.

Гакие молкие эти цветики, что их щемяще жаль, как детей щанят и птенцов. Но если епросить деревенских, кая называются, те сважут: «Это которые желтые».

И прибавят: «Ими Кровяниха желудок вечит». Я прошел мимо пветков, желтых в безымянных, прошел мимо ветлы, зажавшей в кулак пучок всток, мимо

сарая... Это темими, высовий сарай. Он заперт на замов, тапой большой, каких теперь и не делают. Зеденца мхов в пазах бревен, окало стены кучки тех цветов, которыми тегка Кровяниха лечит свой желудок. Но здесь цветы не светится, их погасила тяжелая тень.

Блеснуло в тени стекляннос. Я подошел - там стоит пол-латровая банка, а в ней цветы, диловые пуны-

DIMBERS.

Цветы стояли в воде и были свежими, согодняшимин. Значит, была заботнивая рука, была причина ставить иветы. Я стал искать ее и нашел бугоров чистон лемли: он прямоуголян и отмечен двумя воткнутыми щепками. Периметр колмика обсажен теми же цастами, без корешков, свежими, по со знаком близкой смерти.

Да это же миняка — маленькая, ласковая в

страшная.

Я понял — злесь лежало чье-то горе, маленькое и объемистос, шире асего взируг; поля, лэса, реки., Потрму что лучшее из этого — цветы) — приносилось сюда.

Что лежит адзеь?.. Птина?.. Или плоское тельне домашието зверька?.. Он умер и спрятии сюда.

Кто он?.. Щенок с хвостом веселого характера?.. Котиль, что играм с клубком англок, высвоя на завивъеска и воссана завъто набу, оправнува усескую набу, собравчую под одну крышу все хомейственные сооружения?. Изведия — и вдруг ущега куда-то, полобые в каба свое възланьяе: тело. Оно лежало, плоское и холодиое, и бына всем угроза. И напрослам воделя учести его.

Конечно, те масенькие, что хоронали заерьки, скаьно можей. Верит: он встанет и выйдет. Понохав цестовые мунирациям, он вотанет и выйдет. Понохав цестовые мунирациям, он воймет — его не забыли, ждут. И вершега обратило в набу.

Но маленькие ещё не знают, что такое возвращение ныло бы страннее самого ухода: оно смещает границы, и будет неисно, кто где находится.

...Ветлу обсели лишайники. На ошувь они мертвые. Но это мертвое живет, оно образовало растительные формы, оно окрасило их в аквирельные тона.

В линайнике мертаое притиориется живым, а живое положе на мертвое. Но отчето мне кочется гладить русьми их шершавния? Закотелось видеть свои руки и поту, убращные этими чешувам?

Почему я кому стать рядом и так стоять — без мыхниня и движения? Пусть въет на меня дождь и осычаст спетом, пусть греет и студит: многое бы я позвятогда.

Все мы хороним, все конаем могилы, большие и маиньнее Свят в нах дорагие косточки. Но произительнее эсто сморть маденьких — в снау беззацититься их. И человек в его историческом движении станет больним, только взяв под защиту неех маленьких: детей, итив, зверье, гравы...

С берез варуг рианулось огромное — черный летя-ший зверь! Ов рассыпался в грачиную стаю и попесся вдоль деревни. Та - маленькая, и грачи пролетели се вдоль, завернули, пролетели поперек и элять вдоль. Теперь ени рассаживались по разным деревьям. Но это ве простое усаживание на инчлег, не тяга к родному де-

Грази, рассаживаясь, определяли челорика. Они садились к тихим и добрым людям и кричали, причали. Грачи как-то не мигут жизь без крика, и тихие люди

это понимают лучше бойких, крикаетых.

Стихло все - в деревие твирится предночное. Селице валится за сарай в виде красной лепешки, ходят кранивные облачка комеров, пылит стадо. Механиватор в поле, сразу за деревней, ганяет в гоняет свию машину, кладет ряды клевера, зеленых солдатиков в красных папахах. На антеаны, выкращенные солицем в красный цвет, сели голуби и окровинились закатом. Они вневелятся, переступают, будто металл жжет им дапы.

Забыты милые деревенские неледости. Вот прогнали коров, а явито не гадал по ивм завтращиюю погоду.

По улице мчат куда-то велосицедисты, етарый и малий. Оба ови в белых рубашках, оба в сандалиях из ременков. На шее малого бытается и кричит гранзастов в команом чехольчике. А по травам ищарит за валосипедистами пущистый серый кот. На богу кот вяжает что-то. Наверное, такое:

«Погодите, я с вами!..»

Сосны, это стоят вад речкой, краснеют, а берези теминот, и в гущине их вричит варакуш. Так старательво, будто состоит на вридичном жалованье.

В деревенском доме всегда хирови», в жару прохляди в в холод телло. И всегда в нем поизахивает преовет Помогравно, что тот леговыми заплашос выпускако малыми поршиями — степы, шепчут о совместной выстра учества учества

Не спитси, и и симу записываю день. И тут во мне

ипляется гость.

Личная молі, влітела в окло в села на бумвгу. Кафтіл се серебрист, характер ввердый. Она хидат на бумту, ягивет бежать до вей «цечному веру», й став серветь се, пияталкивать к врам. Она везарапцавась обзитие. Ес якива бумата, Чем? Беланами?

Иля лееная моль знала, что лежащия на столе бумата была деревом, то есть демом, питанием и жизна-ю

во к азеных молей и она имеет на изе прадо.

За березовоб пощей всходила луна. Я пошел к ней замать сов. По мере место прохождения луна меназамь. В конца концов в увидел, это то больший костер. Из то жезется, то краснел, утасяв, и его отслеты свядили имурх и вищя по березовим стиолям.

Приномина мето, в сообразна, это костер разведси озади берез, на речных несках. Всиомина — тяза гхаан на асавзинелиста, туда бежка кот. Значит, он кариал: Избала! Дайте разбал! И сейные ждат ев. сиди

V KOCTDS.

у мостря. А вот горит още костяр ... гретий... четвертый... Дозать осгровых и являблющихся нун всходная на речиму бергах. и тям. сле рыбачат местные, и тям, гле выставлены плавтии туристов...

А гимина. Конечно, я пукал ее, по не такую же Дием еще туда-сюда, дием живет деревия. А вот учая травы поднамаются, гишина сустеет, аграныя плыуут в ней. В такой деревие хорошо отдыхать: будто бы отскочна в сторому от всего на свете. Как от набегающего вътомобиль. Но и что-то служое есть в этой маленькой деревне. Ее жители в основном старухи, и ин одного деревненского младенца! Все, что привезены, все городские...

Неужели урбанисты правы и молодые люди уйдуг в города?.. И работать на полях будут ученые машины.

а деревни станут мертвыми?...

Не верзої Ну а если уйлут?.. Тогда ушедшие будут иметь все телесные удобства города, но и холмик в дуще, обсаженный пветами, — родную и полумертвую деренню.

ПЕРЕВНЯ

Здесь все старухи — вловы войны. Они на пенсии, живут хорошо, но отчето-то сердиты на мужчин и направлены на них какими-то невидимыми рогами.

Как живете одан, без мужчин?... – спрашиваю их.
 И хорошо, что их нет. Бездельники!

И хорошо, что их нет. Вездельн
 Они бы работали, — говорю я.

— Много ты наработаешь!

— Своболно живем!

Свободно живем;
 Свобода выражается тем, что они собяраются и выпивают по рюмочке, закусывая инрогами, испеченными на поду. Выпив, ноют песни, такие же старые, как набы и дережья. Потом ходят заме. Утром спросмин:

Марь Антоновна, у вас есть творог?

Зови меня Манечкой! — кричит она. — Не продам

TBODOTY!

И не продает: деньен ей не очень-то пужны. Все у пес есть, все у нее свое... В тот венер старушки нели особенпо долго. Я тоже. Выпил, конечно, а ары. И почью мне присшисте ученый, садминйем мне на грудо. Затем огромнейший бык пригиозадия мени к постели рогазын.

и выталея издохнуть и не мог. Проснулся в поту и страи стал шарить, искать таблетки.

Эга ночь всем была тяжела: произла сухая гроза, солиная и близкая. Мерещились сящовь сон разбивае-

мые в шенки крыши.

На за сухой грозы вее и не выспались... Собиралась появка по ягоды, чтобы сиять их на рассвете перед у гими восами, и проспала свои ягоды. Решил петух Морь Антоновиы петь, когда всходит звезда по назвапою Конопус, да проскулся только в пять утра. Он поправыев, поговорил с собой, стряхнул тяжесть сна, каштуул а закричал засланным голосом: «Куре-у-у...»

Лиже грачи проспулись поздно. Зашепелявили:

- Маммашша... Маммашмашшша...

Сон уходва, приподнимая вверх дом, тянуя меня за собой.

- Маммашша... маммашиша выговаривали грачи на ближней ветле.

 Улечу... улечу... — шентал я.
 ... Рыбаки говорили, то была не сукая гроза, а просто летели ракетные самолеты.

Не собирался я долго жить в деревушке и не готовил себи к этому. Просто в городе мне явились три идеи.

Во-первых, мне захотелогь принасть к родной зем-Еще казалось, что в тишине деревни я вымету на ду-ил мусор переживаний. Но главным, конечно, было же-

знане примерить к себе жизнь дачинка. На это все и клал неделю, а потом домой! Я и де-

пег взял с собой в обрез.

Но с первых минут в ощутил непргодолимое удоволь-ствие от мягкого воздуха, от вида яблонь, которые нет уужды огораживать. Принизо желание быть здесь дольше, узнать лучше.

Конечно, деревия многим удивила меня, но и я по-

разил веревлиских Например, понять, зачем сюда нало было мне ехать из Сибири, они просто отказовались: Ну если бы в Москву, а то... И глуп же ты, соволия!.. — посменвались ста-

рушки.

Глуп? А что, согласен, Догадку-то упустия. . Но вот их глупыми не назовень. Хотя я крайне осторожно расспрацивал о нивлинском быке, старушки все же разобдачили мой страх. Ум их ве дремал. Мне сообщили тьму подрабностей, как веем совхозом в Нивлянах отбивали несчастного уполномоченного. Чуть богу душу не отдал. Так и шла жизнь — я бокася, а старухи посмения

лись нало мной.

ъ надо мной. А вот здесь все жили смело, вели себя достойно: люди, птини... Такой пример — на моих глазах маленький ястреб выхватил грача на стан. Делать этого не стопло, он бы не справился и с одним, а тут была толна: грача спасали родичи. Стией они опустились с истребком на поле, унили черной кучей. На другой день и нашел голопу встребка и оторванные мертвые лапы, державшие каждая по пучку грачиных нерьев.

Не думаю, что грази, разорвав, съези его. Просте убяли, остальное следали коты. Другое важно — истребок, чувствуя себя всукротимым хищником, шел до

Я же боялся иметь семью, оправдываясь тем, что должен отдать себя делу писания рассказов, струсва изобретения. Сейчас боюсь инваянского быка. в это единственно разумная трусость.

Да нет же, не так и робок, не нобойлся квартировать

у тетки Кровянихи!...

...Старушка Марь Антоновна, оставив ведра, водила меня по домам, ища свободную хомнату. Конев нешим странствиям пришел только у Кровянихи.

- У нее одной дом пустует, се дачинки банчен, говорила старушка.

- Кто же она такая?
- ко же опавана, сказала та и надохнуда: Советская ведьма, — сказала та и надохнуда: — 10. богу, исо у ней по-другому. Остановится и с неравком говори, автирует У несе жув-коморад, без коппа обирати, а у ей с ним договор подпикан, он ее картоку де упосет.
- Стирушка пела меня, сменсь моще пеуверенням понежения и потликающими о пес авхалиные модиники: се изпазвали из намусть. Я думяю, сели бы завваять ей глава, и она вогами смогла би униять любое место, все траки, то могла-избо заденями додижки и скребом еб витки.

На почему Кровишка? — тревожился я.

А в пойну председателем была, намв командовала.

Място говорила старунико... Крованиха, по ее словам, одля активная ведьит-гравница. Она лечила всех и инжето не брада, ей нартийная совесть не позивляда. Это правилось.

410 результаты дечения Кроняниха записывала кар иллигом в клеенчатую черную тетралку, и по деравие о иныл слук, что она ставит опыты. Как на кошках. Это обидело.

Кроме того, курм у ней молодые и нет петухо — чуание зользуется! А еще авлаятияя, и механизатиры вырыли ей пууд в потроде («Бумалозором рыла, солодя»). 1 паеры дожди наливают пруд. и посить воду из колодци не изжим.

К тому же Краявинха имела странное обыкновение общрать напол по всей деревне, росли ее опоми замеительно: свои, деревенские, брезговали есть у нив. а зачинки покумали, и пичего им из делалось.

— Она!

Я увидел перед собой толетую и стирую деревенскую ламу.

На голове ве нестрый платов, завязанный кончиками вперед (будто рожки торчат), на босых погах — излощи, в глазах — усмещка, весьма ехидная. Но вокруг дома вертелись ласточки, а это мне повравилось.

Что-то их много имиче у тебя? — подокрительно

спросила Марь Антоновна.

 Пять гнезд, — отвечаля Кровяниха и повернулась ко мне. — Что, сокол, негде остановиться?

Негде, негде, — подтвердила Марь Антоновна.

Он из Дедовых, ты с ними крутила, когда...

Тебя не спрашинаю, — оборнала Кровяниха.
 Ладно, живи!

— А какая цена, соседка? — забеспокинаась Марь Антоновна.

 Как все, в десять рублей в придачу, — сказала Кровяниха. — И ещь что хочешь в огороде.

Кровинка. — И ещь что хочешь в огороде.
— Да все еще зеленое! — вскричала старушка. —

Что он тебе, бык?

 У тебя, — сказала Кровяника. — У тебя все зеленое, даже под платком.

А чем поливаешь гряды, уминца?

- Чем хочу, тем и поливаю.

И, называя соволом, к тому же ясным. Кровяниха повела меня в компату, указала лежанку. Спросила:

Белье постедьное, поди, не принез? Ладно, поду-

чишь.

Она внесав потный графии воды и поставила его на домашних работ: колото дров, ностть воду. Картошку могу брать на «мосту», морковь — на грядках, лук гоже...

- Ложись-ка, соколик, устал, на тебе лица нет...

И тотчас, словно по се приказу, я ощутна великую тяжесть в ногах. Прилег, вытинулся. Тюфик захрустся подо мной, пустив крепкий запах сухой травы. Гм, кажется, полынь.

 Идея — набивать матрацы ароматическими гравами, — бормотал я. Усталость закрывала мне глаж.

вынимала кости. Я вдруг увидел костер, покойного отца и с бя, лежащего около, на охапке соломы. Вдаль уходили желтые стога: первый, второй... сельмой... тысяча первый... Я спал долго. В час дня — следующого — Кравяниха вошла и спросила: - Умер, соколик?...

 Н-иет, — ответил я. — Счас встану.
 Она унила. А когда свова вернулась, а брел к столу, в ся банку тушевки, кусок сыра и конфеты. Кровяниха граняла. Тушенку оставила для супа, круппо порезала сыр, конфеты высыпала в сахаринцу. Принесла чайняк.

- Fun!

Весь день я был расслаблен и сидел на крыльпе, наблюдал за Кровянихой.

Ты бы погулял, соколик, — сказала она.

Послушайте, вивлянский бык... — спросил я и при-

вусил язык, боясь сказать лишнее.

- Имеем такого, - отвечала Кровяниха. И варуг гак взглянула, что в даже похолодел. Вельма! Видит меня насявозь! Что Кровяниха тотчас в подтвердила связав: - У каждого свой бык в жилии, сокол ясный. Ладно, я пошла вертеться.

И завертелась. Варила обед на кероснике, что запиявло часы. Пока она полола морковь — две гряды, вода в кастрюле закипела. Очистив картошку в воложив а кастрилю, Кровиниха ушла в сал, подпирала шестами яблони. Вернулась гочно к моменту, когда вадо было класть капусту. Затем ходила в смотрела листики яблонь, снимала зеленых гусениц. Складывала их в коробочку. Набрав полную, велена:

Йоди в лес, соколик, высади. Да коробочку-то

назад принеси, не забудь.

Я унес. Вернулся из леса, едва волоча ноги: А Кровяниха указывала на плетень.

— Видиць?

Ага, плетень.

- Сокол ясный, плетень инкуда не годитея. Падает,
- Упал. согласился я.

— И прохудился. Сруби-ка лоны, почини: щи вак раз и поспеют.

- Гле рубить-то?

речки догинвает. - Наи к мененке, что у

— А ближе?

 Здесь мы все повырубили. Раньше в лозы, и воды, и шелесперов было миого. И все ушло.

Куда ушли шелесперы?

- Кто знает, соколик, они уходили, а мы за ними не шли. Может, мы их просто съеди: народу-то сволько,

и каждый себе берет. Сам ест, псу бриент!

Я взял веренку, тяжелый выщероленный топор... Вернулся нескоро. Брисил вязанку, а ко мне бредет Кровяниха, сладко улыбаясь. Глаза такие хитрющие!.. Да, да, она ведьма, а я Иванушка-дурачок и сейчас получу повое задание.

Ты, соколик, пообедай да черпай воду в пруде, дей в канавки, — просила Кровяниха. — Тебе физкуль-

тура, а мне польза.

Поев и отдохнув, я стал черпать и лить. Вода так и поизтилась и гридкам: напавки были проложены с рисчетом, а огород выравнен.

Что, и тебя ведьми запрягла? — прикнуля Марь Антоновна, ис смущаясь тем, что Кровянихи доила ка-

зу: свись-свись... свись-свись...

 Дузура, — прогудела Кровяниха из стайки. Я бросал ведро в пруд и вытягивал за веревку. Руки

усталя, и все мне казались плохим.

Речка обмелела, туристы прут из Мосявы, свободно бегает инваянский быкі. Зачем, кому нужна эта мало-удобная жизнь? Пригаться от городских неудач и страхов? Здесь они проето другие. Например, старухи боят-ся сглаза Кровянихи. Я — быка. Бык то и дело приходил почами и садился мне на грудь. От страшной тяжести я не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться.

Э-эк, изменяться бы, стать другим! Тогда не напугаот меня инвлииский бык, а если и что-инбудь прицумаю, по поверю себе. Но как? Что мне поможет? А вот что-

формула жизни Кровявихи.

Да. присхать в деремушку стоило из-за одной Кровиовки, чтобы увидеть ее в хлопотах обыденности, испечислимо тоудных.

По-маему, Кровяника, ведьма на зенена, напла адсорить бытия. Овладев им, она предельно разполалванровами. В не машинами, как сделал бы горожании.

Негі В еє ограмном доме все по-дерезенска иссовервсяно. Зато она управлява домом как общим муханивмув. В вего входили связ Кровянака, еє коза, двегочки, се куры, научки, воника. Все работали.

Ласточки радовали Кровиниху, паучки ели мух, конви говили с грядок воробьев. Те же, гиезаксь в тренаной крыми. еделанией из щены, склевывали пасскомых, а мухи опыляли цисты пималоров. (Кровиниха, приманидан мух, поливала немидоры ополисками мяса, покупаемого к обеду.

Дв. у нее были лучний огород и сал. рогатая и самая молочняя коза, а в жизии — счет минутам и желег-

ная система.

Я. наблюдви первые жесты Кровинихи поутру, угадывал последвие жесты вечером, когда она, шенча и загибая на руке вальны, уходяла в свою горгему спать.

Мне представляется, что каждын от день был житейский танен, все фитуры и повираты воторого были испофетены и выведены. В розультите механизм ктолистовэтой одинокой, зворый женнины правилася, как на инаривозых полициниках. По-могму, Кропяниха была генисм домащието труда. Я наблюдял, следил, даже записывал, пытаясь уловить ее метод и применить его к своей ланиво движущей-

ся жизни.

Программ у Кровинихи я заметил три: День Бодрости, День Так Себе и День Хиври. И одже прихваривая, поливия вастойку кория-калсана, она что-шбудь делия хоти бы одной рукой (была у ней привассив и таква работа). И эта медкие движения аксодил в планы дви, недели, месяци и, по-падимому, живни.

Я, соколик, последияя тикая. — говорила она.
 И это верио. Старан деревия — грусти или ликуй! —

умрет со смертью Кровяних.

Это они, пепрестанно мевеля руками, были ведьмами в отличными холяйками, растили хлеб и овощи, корвили скот. А лятем умирали достойно и молча, кик сима дорения, теперь пепужная (молодые работники все перебрались на центральную усадьбу совхода, в двухэтажпые общие дома).

Мне жаль деревущку, Кровяниху, жаль Марь Антоновну, военшую траву, и ее королу, что пасется на единственной улице. Наверное, приятно есть траву. И в косьбе тоже, заключено лечебное: редкостами прач направ-

лял меня к ручному труду.

 Покледние. — бормочет Кроминика. Нет! Я прие о опыт и куплю дачу. Там. подобно Кроминике, и следнось вастельном пескольких подовых дереньем, мнализрая травинок и сотен тысяя живущих на деренье.
 Ки в траве посскомых.

Но только не ятиц, этих свободных, летучих существ.

РЫБАЧЬИ РАДОСТИ

Нашел рябину — узкую. Высоко она подбросняя пригоршию листьев — зеленых перышек — и держит их на ветру.

Я полюбовался и срезал се. Очищая длиниос тельце

и мелких всточек, я ощутил пустоту в лесу. В листвено й голаце, частью которой была эта рябина, теперь поваз черная дыра. По краям ее заголили девочки-березки тонкие поги.

И там же лезло ято-то присадистое, жирно-зеленос, . .н.шачьей спутанностью, с листьями величиной с та-

релку. Оно векрикнуло.

Звук пришел по лесу — синстиций и резкий...

Оно векрикивало и векрикивало. И чтобы только заскнуть эеленый кричащий рот, я поднял рябиновую магумечку, заострил и воткиул обратно.

И вот как удачно получилось - срязу же ударил крепкий дождь.

Я встал под ель, а дождь шагал и шагал на меня косо линованным туманом, а макушка рябины поднимала к нему горсть листьев.

Рыбачу. Так светло в воде, что видно - выплыла рыбява. Ова рассмотрела болтавшуюся леску, червый морик грузила, поплавок. Все поняв, ушла. Я тоже когчто нонял. Такое: в движении мир разбегается в стороиы, в неподвижности, например при ловле рыбы, сужается до размеров поплавка и плынет вместе с ним по стражениям облаков, мимо кустов.

Стала брать рыба. Но клевала такая мелочь, что полдания тодько дрожал, а момент самого клена был решительно непознаваем. И оказалось, что лучие пусвать насадку ближе к поверхности и следить за се беяни пятнышком. Когда оно гаснет, тогда и вадо тянуть...

Сначала шла рыба сирая, жалкая. Я пускал ее в во-ду — зачем обижать маленьких? Затем пришла рыба вокрупаее и пошире, маленький лещ и изрослая верховка.

Ловлю и на сладкий оладий, сбереженный от зак-

траки. Мелкие рыбин безнаказанно сдергивают его рых-лую плоть. А вот у больших рот шире, они глотван ку-сок вместе с крючком и конадались. В тране шебарныт побъявинае мною рыбки... А вре-

в тране шеоариыт пользиные миню риоки... А вра-ми от времен вода брупо векнаст, пуская большие пу-зари. Тоеда важьый видит свою менту. Одни рыбок танет валед в крачит, это ходит голавлы, деле бунует водимой гал, и оба инарат это. С указом росм сильно поит кулисчики. Звои подпи-сат кратом.

мается вверх и рисуется мне в виде прозрачного дребезжащего купола. Но там, где нет кузнечиков, в нем провалы и опускание до самой земли.

На всякой речке, большов али малой, четь места, гдо-купаются, и места для рыбалки.

купаются, и места для рыбалян. Там, гав крапства, на плажаный лесок лет головала из солщных. Спита вертиб безнанае его тела искрвансь синисмуми. Спита его прокушева защим сильным аубом. Я смограе в думал, кто этем тамой мусячий. И с аругого берега заяс крижиули, что а головала стреляли на

подводного ружья.

Я видел этих аюдой вчера. Они ходили по поис в воде и совали головы в масках в укромные часта. Она почамали головы в воду, и из ях дакательных трубов с фырканием язычтали струйки поды. Они призотнали в ранили голавля.

ранили головля. Пропада красивая рыбы, мечта удильщога. Оказалось, что не нужим особенная аска, и секретым инсенти, в просие раболовные голкости. Нужи-только надеть маску, всумуть голову в воду и страциуть, скривихи пружиной подводного ружим. Вомер, Пробимая ружиную плему, шалискившого голомичи. Над водой отплисменно поденки. Они возгламичи. Над водой отплисменно поденки. Они возг

тают, загибая двойной мвост, и опускаются на хвост -

их колосинках, как на парашютих. Суть этого танца и ритува, передача родовых признавов по премени. полом брак и голодиня смерть: подвики — существа без pra.

Вечерний дождь просыпал на воду стеклянные круж-ни. С берега в речку побежали глинистые микролотоки. и водоросли закачались. А на перекате кинели, в ртись, по то струи, не то алюминиевого вяста рыбки. Комары

летают, а поденки спрятались.

негают, а подение спритавлень. Не кончился дождь, пакло сеном, дышали ромашки, на зании слей выступали навитые, будто кудри, крусты Заесь староперческое квадбили, лежкт последние «ставозерых деренушки, вымершие вместе с лесом, ракой, тальниками.

...В деревню я шел клеверным долем. Клевер и прочие гравы росли высоко в густо. Среди прасиму шасов, витен ромашек а усов разных здаков в сдла передвигал moru.

Приснилось — придя рыбачить, я поткнул в берег рогульну для удваница. Пока средда ее и вгонял в берег, — Не делай мне цекотно.

И асали-лезли из рогульки молодые веточки. Распусвая ластья, они вытягивались, становились ветками. И а въжу, что в берег ногинута рогулька, похожка — очками — на оленью голову. Да это голова зверя вер тится и глядит на меня!..

ШВЫРЬ В ГОЛОВЕ

Я и деревенской жизни радовался, и по городу тоско-

и в деревенской колин родоводен, в че породен до В. Всихимала его тремя родами одмени.
Памятью желудка в испаминал отличные городские сам. Мо одно из премуществ колостого безотиветствения б положения была вызывающесть по временам тратить

деньги в ресторане. Мой желудок с тоской в ворчанием веломинал то петуха, тушенного в вине, то паровую стер-

лядку.

Второс — кинги... Я не живу без них. Тоека по кинги была острыя, я даже безал по деревне, пид вик. истарумням адесь не до чтения, они выхлючина в круго-порот рабочего годя — веена, лето, осень. Отдыхая, смотрят телевнаю

Газеты я мог брать у тегки Кровянихи, но милые моему сердцу журналы о природе, космосе, о ракетах,

о химии!.. Где вы?...

На грани сна, когда мизг слабел, город рвался в него с силой. Ворочансь на крустицем матрасике, и вспоминал... вспоминал... Являлась утрачениям мною Догадка и кончала:

Испугался, испугался!...

Милий, — шентала подруга. — Потеряени. м.

ия — пожалеешь...

 Хо-хо-хо!.. Я могла сделать так, чтобы ты не писал маленькие рассказы, а запускал огромные ракеты, — издевалась Догадка.

Люблю дурачка. — шентала подруга.

 Пар-р-ровая стер-р-р-лядь, — урчал, всиоминая, желудок.

— "Не синшь, соколик? — спрашивала из кухни Кровяниха, перед сном намечавная заитрашний дена забормотала: — Не забыть бы погонорить с агрономом о клевере, еще не сметан... На обед сделаю сун с ируной. — Громко: — Аль сварить боршок со свекольной ботной? А?.. Молчини? О городе скучасны?.

О нем.

- Плохо тебе здесь?

— Хорошо.

 Ты бори, бори скуку, делай что-нибудь. Вот, сважем...

И сообщала методы уничтожения скуки. Под ее го-

вор я засыпал. И онять будили меня щебет ласточек и стуки, которыми сопровождалась утренняя деятельпость Кровянихи.

Я вставал и выходил на крыльцо: солнце, зелень. И все ночное уходило прочь. Мне думалось, что редкостний врач глубоко прав, и мое решение купить дачу -

Кровяниха сидела на крызъце. Перебирая какие то гравки, объясняла, как замечательно жить в городе и, например, плавать в вание. Мечта!...

Уехала бы к дочери, но зять? А то чего бы лучше?

Она уедет в город, ее дом станет дачей.

Здесь что за жизнь? Сплошные глупости! Вот судьба послала одному механизатору из Нивлян преданную же-

из. Где она наконила столько чувста?

Дурак, не цення редкого счастья и связался с девчонкой, которую совлей перешибешь. Такую носит вобчонку — весь телевизор наружу! Дальше — лучнье, появилась дачница, повадилась грибы собирать у поля.

Видели не раз - дурак приглушит трактор мус. А там ходит дачница, в сравнении с женой сущая

рожа.

Свихнулся мужик! В городе это пришло бы маловаметно, а деревня, она увеличительное степло. Микроскоп!

Что получилось?.. Погибла хорошая баба,

Avpa! В городе бы изяла развод. («Да, они здесь все илут до конца: ястребок, жена механизатора», - думалось мне.)

 В город надо ехать, в город, — твердила Кровяниха — Надосла деревня, вся жизнь в работе, с ма-лых лет и до семидесяти пынециих. По недь услу по дому затоскую.

О городе мечтали все старухи одинаково: и печь не

топить, и воду не висить, и магазины под боком. Словом, рай!.. Телько в городе можно дать отдых старым косточкам.

А смерть, родное кладбище?.. Да не все ли равно, где тебя дети похоронят. Пусть сожгут, но ножить бы

год-другой в свое удовольствие.

— Там ни реки, ни леса, — возражая я. Вот и хорошо, — говорили мне старухи. — Напоели.

Я бы здесь жил.

- Это пройдет. Года ум-то знасшь куда вколачи вают?

...А вот и не пройдет! На даче и стану жить умно. мие пример Кровяниха. Но сначала в введу готальную рационализацию: поставлю бензиновый мотор — начать воду из реки. Стану беречь дрова (то есть деревья). устроив песколько простеньких солишенриемников. Оня мне будут греть воду.

Вот еще что сделяю — сожму огород и сад в размерах. Тогда я лучше обработаю ях и получу столько же яблок и моркови. Зато оставшиеся места зарастут дикими гравами, в них будет запонедник дли писекомых,

птиц, зверьков.

Подумал, и во мне проснудся вуд хозянна. Мне нее хотелось переделать, даже у Кровянихи. Но та верит аншь в свои придумки. За ужином, едим мы вместе, потрихивая рожками платка, учила меня Кро-

вяниха: Говорят, сокол ясный, голова всему хозини. Я тебе скажу горькую правду: сам будь голове хозянном, не давай бродить мыслям по сторонам. Голове воли давать нельзи, все запутает. Словно котенок интки. Поридок вот главное в жизни. А какой порядов в том, что ты похолостому живешь? Года-то идут. Ну женишься в пятьдесят, а кто твоих детей поднимать будет?

Государство.

 Мне семьдесят три, а я до сих пар гогударству прибыль дазу, за порядком в соямове наблюдаю. Потому гог самое страняме — это когла беспоралом. Вят ты веняя пораскидал туда-сколе: нивыры-шаморы. В годопе у табя сидин этот самый «швыры», ты а нек приборки устранвай.

Как это? — изумляюсь я.

Кровяниха, съев еще одно варение янчко, вытерда

 Ты ее утречком веником подмети, а все лишнее по являвам справь. Перед свом все приварь, все посмот-

ри. Но утрим обязательно приборка...

Я кивал, слушав старуку. Бливилась ночь, скривели транисторы дачников. Я вообразых, зак синт, уткиу в роб астую голыку, викавиский оброным бых в дачины, оправсь ирадется в чеханизатору... Но о порядке Криевинка гонорит верно. Вот, скажем, чем дма — нет и нох оордака инкакого. Так наведу ме это.

И веред снов в написал открыточку. «Здравствуйте. Антов Льнович! Принет сущруе. Гав, юпиам..» И сиона вадал вопрые о даже. Ответ прицел быстри. Буким исследь талоном, поперек лиционацияй бумати. Будто и атаку, въздрав ная голоной честочик събява,

«Инколай Инаныч!

Приветствую взане жвлание купить мою дачу. Не хопалось бы упрекать вас в затяглявания, по думаю, это вы

искали другую дачу и подобной на смосди найти.

Саммала перечислю се достопиства. Рядом водохразахище, воду и качаю эдектрическим пасием. На слузай ссидийного бедствая в виде пъвкого монтера у манилеть, ручной пасос, итанчно развивающий мускулы груди и пасч.

Я вмею десять соток под яблонями (сорок пять сортов, пять выведено много). Смородина три сорта черзой, зва — красной На красной смородины мы върны этлочное дарение, на белой делаем зимо, практически неотличимое от рислим'я. Есть пять гряд виктории, пять кустов ирги для отвлечения воробьев от хороших ягод, из врги получается прекрасная излияма. 10 сток земли под картофаль. Я поставая в прошлим году очень выстомий забор, в ребята не домалот деревыев, не раут абла-ки. Теперь мон строении: дом с террасой, летния кухонь-ка и бына с вотлом (отовление от вухонной платия). Сло-вом, места меатит и нава, и будущей жене, и детям — че-

ловек не должев жить один, это совет. Что еще могу сказать? Я был пепсновером, когда ме-Что вше могу скивать? Я был печенопером, когда ме-ило 15 дет. За это время монй построва дом, заведена дожа с мотором (ее вы тоже получите). Рыбалки, ухода за розими. Да, спачала были разм. только резы, а потом развел огород в сал. Я впекария культуршое садовод-ство в село, и теперь у винятая растут яблоки. Но в ста-рик, ослаб в потому продало дачу. Себе оставляю фа-неслек на дето. Хорошог Кроме того, в дому прощести кон-какие опыты с приручением южных растений в Си-пори. Теперь жалено, что была инженером, а не сваю-мого. Мо деле. Я хочу получить тольно в положенные миною деньти (за сад — по опенки представителей общестия садоводов), всего 5000 рублей. Эти день-ти были заработани мухамим тухом. Я хумама, на ста были заработани мухамим тухом. Я хумама, на общества садоводов), всего 5000 рублей. Эти день-ги были заработаны неустанным трудом. Я думаю, вы не обывсения тем, что я хочу получить их обратию. К то-му же сад и огород станут, в свою очередь, экономить деньт или. Мне семывеетя лет, я рассчитываю прожить-еще визъ-деенть лет. Значит, вы сможете вносить по-тысаче рублей в год, что пеобременительно. У меня сеть другие соискатели, но хочу быть полезным вам: только вы позволите мне экспериментировать в садух.

Да, я решпл купить дачу. Прикидывая так и сяк, я понял, что, пожазуй, выкручусь и с деньгами. Ну много зи мне надо, в конце концов? Стирой одежды

чле хазгит на пять лет, а если женюсь, то подруга подлераят меня. И друзья обещали помочь — первым полосом.

На лаче и ствиу писать рассказы. Устан, буду соопрать слиний, поливеть и рыклить грады. Можно затем усажать — из города путь удобом, автобус, паром прев подохранальние. Вот, и вижу — приподиллея из веды правобережный бор, лохиятый зверь, соскучившаген по мне зеленая собака.

Ова приподнимается, вода бежит назад, отливая тео блеском, что видинь на губах модной женщины.

Вот он, мой дом!.. Куплю!

Вдруг тихая деревушка утратила свой покой.

Шуму-то, шуму — Кровяниха илобрела! Чем обидела в старух и меня, неудачинка. Помия о ведикой польке гагушек, Кровяниха велела сбить щиты из старых досок. Их бросить на траву.

- Зачем?

 — А чтобы было, где лягаам прягаться, — ответила геннальная Кровяниха.

 От загара? — спращиваю я (последние дни жарапа, без крупники дожда), еще не постигая силу и красоту замысла Кровянихи.

По общиновенно та не ошиблась в расчетах, и деревенские лятушки, жившие тде попало, рипулись в ней

в порва. Дружна, буден совающиванся по телефону.

Их сотны. Скачут по градкам ангушки величной дакроны, в скачут по градкам ангушки величной дакроны. В сотны, скачут по градкам ангушки величной дакроны по сты и крокотине, будго купиеник. И все-чаят мух и жуков: огород Кровинихи инстехонов. Изт, от ари старухи ругают ее издымой: оскорбительно умиа!

Вот стоит... Уперла руки в бока и слушает старух чаным удовольствием. Что ж, ее победа. По я-то никого по вобедия. И так мне захотелось уйти поскорей и по-

дальше. Теропливо выбегая из калитки, я наскочил на тополь, обрубленный Кровянихой: чтобы не рос в провола.

Сто раз я проходил мино обрубыща, а только сего-

дия увидел его глаза. Древескые, серше...

Выпавшие сучья образоваки дви печальных глаза. Ими дерево пожаловалось мис: вот, не дают расти... И подумалось, что мы забываем (я, во всяком случае) о том, что деревья живые: они родятся из семени, они живут, старятся, умирают. Что мы исе берем у них: стиолы, даже листья.

Бии со мной такой случай: я вдруг забелел, и соседка двля мне березовые листики — заварявать их и пить. С тех дор береза лечит меня. Бросая живые листья в кипяток (лучше брать только что сорванные), я отнимаю их жизнь, чтобы взять ее себе. Но это несправедливо только брать! В конце концов, исе в мире держится на том, что берень, отданая свое другим.

Но чем, каким добром я могу ответоть березе?.. Что дать? С привычно живым проще - человека благодарипь, собаку кермашь. А дерево, что дает мне воздух. покой?.. (В древние времена ови загораживали Русь от

жестових завоевателей, то есть спасали и мою жизив.) Мов книги печатаются на размозженных телах де-

ревьев.

Кроме березовых листьев, я ликомлюсь медом, терпко-сладким, собранным вчелами. Что доброго я сдепал им?

Еще люблю видеть летящую желтую бабочку, после встречи с ней у меня всегда хорожий дель. Но что я дал

бабочкам-крушинницам?..

Сколько здоровья и счастья дарят ние сообина лее, пчелы, бабочки. Я их неблагодарный должник... Предположим, дача... Я воябразил себя конающего, стригущего деревья, карающего вредных насекомых. Полезно здоровью, садоводы живут сто лет.

Сад и огород принесут и другую пользу, яблоки, морт. п. картошку. Не надо будет их покупать. Гм, эдвояпо телевно... Но если я кому плюнуть на пользу «мне»? Почему, в конце концов, все ямиев да вмне»: сап,

деревья, птицы, морковка?...

ЗЕЛЕНЫЕ СОЛДАТЫ

Среданные ветки задыхались в моих руках. Я половий их в осоку, комельками в воду. Провислая вода приподняла, зашевелила их.

Шеволила она и зеленые вожи осоки, точа их один о другой. Звук этого точения ходил гуда и сюда -жестким шелестом.

А ветки пили воду. На моих глазах их зилые лястья

га рдели, кожина возвращала себе серую, с примесью бронзы окраску. Напивились, ветки стали дышать и палнуть. И на грязиом берегу, истоптанном коронами и машинами, за-

орызганном ополосками белья, запахло тяльником,

Я присел на корточки и смотрел на ветки. Я примес их сюда, решив посадить в береговую гоязь. 11 из решался салить — премя дисиное, меня могли уовдеть за этим занятием. Странным...

Могля увидеть меня (и срезанные ветки) деревенсъво, полощущие белье, могли видеть туристы, идушие

берегом.

Эти маленькие ветки я брал из густоты сберегшихся у мельинцы тальниковых кустов. Их сажу потому, что петка становится голобережной.

Сажу! Первая, вторая, гретья ветки... Четвертая, пя-

тая, шестая...

Это же аксиома - речную воду берегут прибрежные вусты. Самые лучшие из них — тильники, широкие и о отные. Здесь же они частью поломаны, частью вырублены. А мелкия их поросль притоптина — человеческая ступия идет по головам растений и губит их. Троим ширятся, а леса и воды становится меньше.

Сорок вторая, сорок третья, сорок четвергая...

Когда то речка была чистая, а воды ее стояли высоко. Их охраняли деревья, подпиради мельничные плотины. Тогда на перекатах бил рыбью мелочь шелеспер, а лес втискивался в деревию. Теперь же узкие ленточки кустов не держат ни влагу, на почву: дожди смывают голые берега. Только масса бывает силой. Потому моим кустикам надо стоять плотнее. Тогда они подопрут друг друга.

... Восемьдесят нятый, восемьдесят шестой, восемьде-

сят седьмой...

Ветки сотворят чудо. Они переделают корьевые влетки в белые сосочки корешков. А там, глядишь, окрепнут и будут солдатами в войне с разрушением берегов.

Так — я уеду отсюда, а в прибрежных травах будут стоять тальивчата. С каждого в речку упадет весколько лишних капель воды, каждый уровит тень, каждый выдохнет облачко кислорода, когда произит его лист световой квант.

Это расчет - оставить по берегам тальниковых детишек. Я хитрый, я знаю свойство человека беречь в жалеть детей — человечьих, зеленых, птичьих... По веточкам не пройдут, их не срежут на костер или удилище. В конце концов, они еще малы.

Вдруг ударна дождь. Он быстро и крепко покологна все. И подимлись запахи. С полей идет Гланный запах, сытый, хлебный. На его кренком хребте, как на тракторе, ехали другие запахи — ила, травы, снулой рыбы, монх тальников...

Я смотрю на проходящих дениц, одетых в курточки, позволяющие любоваться их пупками; на бородачей спутников. Туристы!

Они приехали из Москвы: сгибались под тяжестью и сладко совели под своими рюклавами. Их башмаки сту-чали во тропинке, утрамбованной другими башмаками до каменной твердости... Прошли...

Ав казенной пограмента, троивания А теперь заживают костры: дамные столбы выста-ананев повскоду. Слинно озирающиеся змен, станишие на хиссты, они подияли головы над деревьями.

Я не яду, че смотрю на ветки: меренится неудачи. В конце компов, приживление летом срезянных веток изнормально. Есть опредоленное время такого вроста оссиь, — когда растение закивает и ему кее равно. Или всена, когда оно проснется и бурно хочет расти.

А сейчас?. Заранее я так определяю результат: посемь десятых веток увяли, одна десятыя еще не знаст, что делать, истам делам делам опис не знаст., что делать, истам, ист формации».

Я правиел в возликовал: ветки принялись. Они стоя-ли по побережью речного заливчика и зеленели. Все! Я ликовал: растуг мон кустики. Хотит расти — это

ясно. Но радоваться еще рано. «Тебе неяет, — думалось мис. — Дв и тальник маткая порода. Он покож на городских воробьев и го-поля. Но ты вот что скажи какие выводы ты можещь свелать из этих веточек?. Где статистика? К тому же ты не значшь толком, отчего здесь умирает лес. Только ли виноват человек? Нужны опыты...»

Я снова вырезаю из кустов сто веточек. Беру их из густот, чтобы оставшимся веткам было легче дышать. И сажу их потому, что речка пахиет кислым пивом. Погому, что обрывал зеленое с берегов далеких сибирских

речек. Там я взял, здесь возвращаю,

...Первам, вторая, третья нетян... Кричит аягушка, с неамсокого бервта смотрит рыбак, толстый мужчина пудемого темперамента. Смотрит и модчит, и инкажиз тебе реакций.

Двадиатая, двадиать первая ветки... Это же аксио-

Берегу нужны сыльные кусты. Здесь же тальника, что еще растут, вилые, как магазинкые опощи.

....Сорок вторая, сорок третья, сорок четвертая... Мужчине надоело тлядеть стои, он садится. Я громко -тумчине наднело глядеть стои, ок садатся, и громко сиращиваю, не испытывает ли он желание поможь Исс. не испытывает, ушол. Но даже спина его не высказиль-скоего отпошения ко мие, а была равнодушио необъят-

ная, лениво шевелящая ловатками. ... Шестидесятая, шестьдесят периая ветки. Будущим кустам нада стоять общо, тогла они подопруз друг друога. Так пусть же мон тальничата будут авгунскы. 30 семьдесят пять, поссмыдесят шесть в репкими. байки-

ми, разбегающимися по все стороны. ...Начав, всягда увлекаещься... Я вырезал ветки одьховые, даже рябиновые и сядил их. Притыкал к воде. чтобы в рыхлом и мокром вышли скорес дория. Мис хочется увилоть их, шевелящиеся и белые.

Я-1: Если бы все правано швтающиеся у реки делали то же самос... Мы бы все потервание леса вернули об-ратию. Что, сели мие аттировать тураства? Э-2: Опоминей: Та не анасию, последствия своего по-

ступка. Если люди толке синкнутся и станут съвъть кус-ты, то. места не холтит, это делают изаче, надло жалть рекоменцаций приме толь та поймы! — должав рас-считать же связи. Ну, количество червяков да яндират-

ный метр, слизней, микробов. Коминдовать природе опасно.

Я-1 Ждать, когда соечитают бактерии? Не мешай! Я связал ветки в годстый нахучий пувок и уще их в врежним минм веткам. Стал садить их и промедстках, «педи прочих зеленых огоньков, в межите лужицы, истав-шнеея от последних дождей.

Сажая, в расшенаял ножом концы ветек да вспоми-

нал самолет и разговор тех, лигих.

Они гонориан, это в США своро будут вычиты де-метьсот восемьлесят рек. Ну а мон поседки одранит воду

в одной речке.

А есла такое затеют все?.. Будет это колоскальным порушением природного равновоски? Едак за. Конечно, молоско привлечь научные коллективы. Но мы обощлясь отв ник, уничтожая леся. Так объйдусь и я, слячи эти галовые кустики: мне нужно оставить покле себя тысячу. леревьев, их задолжали мон предки, такие вростные к лесу (рубили, жгли его).

Посаженные ветки одьки и рабины привяди, а гальнику хоть бы что: держится, зеленеет. Он нарушил требование обязательного всениего пересаживания.

Так — свачала был един дождь, потом второй, тре-пи... После него пришла дымка и легла на асс. Она вобрала звуки и краски, приклушила очертании.

Спачала димка мин вазалясь вредняй, а влажиреть — е запахами трав, игод и первых грибов — удушли-вой и преступной в этот вечер. Она смативыла очерта-ния предметов, я это была кража. Но глас привых к ее повыданным при в в при было сближенным в массинные куски. А деревья стали зания деревом, во разбежавшимся понеюду,

Эврика!. Смещение рас усилит моих зеленых солди-тиков, гибрид сильнее родителей. Значит, нужны тальники другой семьи.

Я виял нож и пошел вниз по течению.

Здесь речка была свежее, а процесс оскудения медлительнее, как облысение заботливого к своей внешниетя старика. Причина: берег круг и неудобен для водоноя, рыбалок и устройства почного лагери Вывид? Прежини: человек стал природным фактором, лее и река давно не живут сами по себе, а только вместе с нами. Тальники же здесь отменные. Листья их плотнее, те-

да желтее, кусты стоят густыми патриархальными образованиями. Они и к жизни цепки: на галечнике зеленел пыпернутый половодьем куст. Он соединился кориями с горсткой земли, тонкими коричневыми червихами сосал волу. Но рос до следующего половодья. А поблизости... Ого, кустище! С него и нарежу веток. ...В гуще куста меня кусали мухи. Но я резал и резал ветки, и нож мой постукивал, шуршали листыя, и пахло так, что кружилась голова.

Я вырезва те ветки, что слишком густили кусты, и думал, что е годами ушла «мудрость» древних лет хищная. И пришав к человеку поная мудрость. Когда-инбудь, поднатужась, она единой формулой охватит и речку и кусты — все реки и кусты на свете. В чем она?. Не знаю, нет, я знаю!.. Мы все тверди-

ли, что человек должен посадить одно дерево. Но это же старое!.. Новое громко кричит: надо специть, надо спис-ти ручьи и мелкие речки. Что нужно важдому посадить

тысячи деревьев!

Что мы боролись с природой, как во сие, бывает, борешнея с самим собой. А борьба должна идти в себе -

с глупостими, с истерпением.

«Вернусь в Сибирь, — думал я — Найау себе какуюнибудь обиженную, пересыхающую речку и обсажу се BCIO».

Хлеб кончился, и кофе, прихваченный из Москвы, тоза защиза. Мне скверно жить без кофе: и грудь тяженет, и сердие быета медленно. А раз так, падо наты и Пивалны на клебом и кофе. Тез былее что способом пералачи пиформанция без проводов дошла весть, жлеб сртами безый, есть, мясо и привезан ящия растворимого кофе.

Его-то мне и нужио. Ну и сахар. А мнео я куваю хонаке, так как сам, не рассчитываю эдесь долго жить, обедием и обхожусь войманной на удочку рыбой.

Ман. или. сокол. — сказала Кровяниха. — Я чтопі приболела ногами. Мясо двют? Значит. с быхом
истретицься. Ступай.

Я взял деньги, кошелку и побрел в Нивляны.

До дуга, на котором пасан инваниских коров, и шел болцо. Но блеспула отопьки на короных регах, и я вщодух в лес. Так себе лес. береничном кололам с осниой, ин уходил он вираво от Инплани, и далеко уходил: припеля в магазни к шкиючному реабору. Досталась мие одив суповам кость, а хлеба — пять штук мятых битопом.

Но банку кофе я взял и сахар тоже. Хотя и разбираи его хозяйки на варенье — в изволочки от подушев. С покуваками я явыев на крызьно и остановнаси, вдруг убли в ту страниую, тупую задумчиность, что избогает постал. Пробивались ко мие через ее ватный слой только заченые голоса, твердлишне одно и то же:

— Пык... Пык...

И снова:

— Пык... Пык...

И вдруг я понял: идет Нивлянский бык! Сюда!

Он вообразняся мне весь — вверь в тонну весом, подколивший со спины, целившийся в нее рогом. Я даже шали его услышал — ух и тижелы! — и рога почувствовал спиной. От их концов, будто в самолетные аситиляционные дырочки, полуло на меня ледяным, зимням

Бык?. Нет, это смерть: никто мне не поможет, никто не спасет. Я зажмурыяся. И получилось, кик бывает в стращном сис. — я не мог на даннуться, ни вскрик-

 Дорогу Ниванискому быку) — прихнули мне в уко и толкнули. Я открыл гавза: по ступеним маказинного крыдьца тижело, вразванну, пиднималясь цизквя, широкая женщина в плаще, в задяпанных сапотах. Полькала рыжим волосом. Она язглянула на меня, преврительно дернула влечом и прошла в чагазии.

Мужики, сидевшие окало своих мотодиклов, переговаривались. Смешки и слова передетали от одного

к другому.

— Бык... бык... Навлянский бык...

Бык? Нет его... И как часто бывает при испуте, сдабость охватила меня. Я сеа на крыльно... Сидел долго. Подошла ко мне червая собака и, сладко жмурясь, лизади кость. Теленок взял из сумки и задумчиво сжевал

Нивлянский бык... Где он?..

Я старален понять и не мог. Тогда сприенл. И муживи долго хохотали, так долго, это рыжая женщина, неся кусок отличного мяса, ушая и пыль от ее сапот улег-

лась. Мужики не спешали. Они ждали грузовичок, что привезет въдку в другие вана, и могли сменться и говорить со мной ваумчиво и не торопись. Я тоже не торопился. такими слабыми были мои ноги

Что же оказалосы! Инваниским былом звали эту ры-

жую женицину, пекусственно осеменяниную коров. Очень подезная женщина, зоотехник...

 А бык? — тупа епросил в 11 слова хахот, и разъясление, что быка при стаде не держат лет пять, невыголию. К тому же последний был сущий поджиготель прины. И вместо быка телерь у нах рыжая баба.

Значит, вради мне лукавно старушки. Резвидись?...

Давали урок?!. Ну ладно же.

Я дождался грузовика и купил бутылку водки. Выпли половину, заткнул скомканной бумажной и поисл к пасущемуся стаду.

Я прошел сквозь него, мимо спищего долговизого настука и его недремлющей собаки овчарки. Та обегала

стадо, стоияла коров, следила за ними. Сабственно, это она зарабатывала триста рублей

в месяц. Но собявам не платят, и был нужен пастух, чтобы расписаться в ведомости. Вон, храпит. Его начальник - бык... Так ему и надо! Собака подбежала и умно смотрела на меня. (Ко-

роны тоже смотрели, выпячиная большие глаза.) Я по-

ставал водку около пастуха и ушел.

С выпитой водки мне было и весело, и храбро, и и ворбительно... Боязси, а чего? Это надо же, бояться

тонну говядины, к тому же отсутствующую!

Я аришел в деревию и показал «рога» старухам. А затем стало худо моему серлиу, очень худо. Но и уже пичего не боялея, даже хвори. Ни-че-го!.. Я ощущал себя слабым, разбятым, по свободным от всех страхов на свете.

Колечин, в угадывал, что еще испугаюсь не раз. Да и вельзя жить без некоторыго количества страха, понадень вод автомобиль. Но если догадка, то данайте се-

сюла!...

Я свободен, исе дороги открыты мис. И если и чтоинбудь еще изобрету, то поверю себе. А и обязательно изобрету. Но что? А, будет видно...

Все мы хотим стоять окобо. Но так не бывает. Наспорыт, повсюду проступает общее. Если в сейнае иних, то долому, что учился у других; если жив, то вель жоди меня спасали.

А если точнехонько сосчитать все электроны, что вертятся в твоей клетке, взятой хоти бы с ногтя, то будет модель вселенной. Какое уж тут одиночество и отрезанность, когда ви-

дишь такую общность!

Но так же, как с гаснущими знездами, может случиться и с человеческой жизнью: она начинает затухать. И сели не борешься, а злишься на мир, как будто рав-нодушный к тебе, то станешь Черной Дырой. Через неже, говорят ученые, исе проваливается в тартарары.

Если же ты напряжен, то непременно найдень добрых людей, а в себе материал для новой вспышки и

жизни дальше. Важно только не пугаться.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Теперь я точно знаю — изобрести можно только в смятении и недовольстве. Сытодовольный человек редко изобретает что-нибудь иног, кроме закуски, новой дачи, мебели.

Вот и сейчас я в смятении. Ладно, с быком я расправился, но как жить дальше? Покупать дачу или не нокупать?.. Занимать деньги или не запимать?.. фу-у,

тяжко!

И вдруг я изобрел... Получилось так. Решая жизнь, я брел лугом, чистым и каким-то уж слишком даже ясным. Это показалось мне пеприличным, злило: как он смест быть ясным, когда во мне все спутано!..

Но абсолютию чистых лугов не бывает, всегда на них ристуг кусты. Я в уткнудея в такие кусты, березо-вые, мворые. Это примирило меня с лугом.

В первом кусте было осиное гнездо в желтой бумажке, второй, привяданий, явио объедея козой тетки Кровяпихи. И как-то автоматически я вынул карманный по- н. и стал отрезать сохлые веточки, те, что в желных точках. Почему?...

Преврасен луг, но станет еще лучше, если убрать эти мертвые точечки.

В каждое изобратение обязательно входит случайпость. Ведь не нарочно же в мося кармане оказалясь потточка пластыря. Вчера я порезал палец, заклена, а в тумву пластыря сунуа в карман совершенно автома-тенски. Но теперь вспомина и вынул.

Ны я закленвал порезы на веточках (возможно, не боло в этом случайного, а я данно готовался к такому

моменту).

Прислособна вустик березы к данному месту, и по-нен к другому кустику. Так, бродя среди кустов, и резыл п кажел, резыл и клева. И как-то само собой забилось, что ист у меня денег и едва ли мне дадут их взаймы. Скорее всего не дадут.

И это даже показалось удобным.

Ну зачем мне дача за пять тысяч — с ее яблонями, с заборани в мальиниками, которые высматривают ибло-кот К чему? Когда есть лес, в в нем хворые березы. В конце концон, мне прописана работа на воздухе,

чили деревьев, а не поедание яблок. Вот и отлично! и буду ходить и лечить деревья, возмещая вред своих бойких предков.

Я спустался в ручью и напился ключеной воды. По-стата, вослушил бегушую воду и снова стал ремонти-ранть кусты: ходить, резать, вленть. Но кончилась стушка, а ножик мой притупился. Тогда и лег в трану и стал глядеть вверх.

И как бываст, когда лежишь в тразе, а смотрини. о голубое спокойное небо, я вдруг засиул и проснудея так быстро, что облако, шелизе от макушки осины, по-вило лишь к соседней двойной березе. Но я был свеж и яуон, с вполне определявникися догадкой, что этот лек -исе леса России - моя дача, исе деревья мои и атиц.

зверей, насекомых, что живут в кориях, ветках и дуплах. Злирово получается! Стоит выбрисить слово «мое»,

и нет нужды зоввать с мальчишками за иблоки, незачем просить деньги язаймы — ведь моя дача поисюду.

Заменательная догадка! И какая простая! Но шел я к ней трудно, медленно, долго, словно водяной жук в де-

дяной пыли. На таки пришел!

Я засменися и сменися так долго, что даже заплакал от невыразимого счастья расширения сирего яна, в мяновение догадки варуг коспунцегося всех лесов на свете. И этим мои тревоги кончились, в это мгновение и увидел свою жизнь на много лет вперед.

Видел — в ней и весел и доволен, что бы со мной на случилось. И мое счастья всигда со мний, вежит в кармане: пож. липкий пластырь, тюбик охры или цинкопых белил. Ивогла в несу с сибой разборную донату и тогна пересаживаю мелкие деревца, лету и огромные, вломбируя их дупла смоляными пломбами.

И живу и легко, неудали перенопу весело, и ясе лю-ди мне хороши. Есла и ругаюсь, то лишь с теми, ято пагло портит деревья. Да и то больше учу их. Мон многомудрые друзья, конечно, посменнаются надо мной, дова чудавом, но я не обижен, вет.

чальным, вы и не пункачи, вет машан, в принола в берегу той реки, это вливается в общую человенческую жилны, природу и даже нечинеть. Не в колодиую, вселенскую, в в теплую, древесно-звернио-человеческую.

Дихий сад лес стал моей Большой Догадкой. А та. первая, в радусе семи цветов, та была не мов. С чем бы

это сравнить?..

Hy, все равно, когда твый красиный аруг идет с яркой денущкой, а тебе подтадкивают другую, рабинькую курочку. Но в этом подтадкивании заключен большой синся. Такой — надо пекать и найти в рябенькой ше красивое Вог с и нашел, стою в гляже на пет с жалинстыю садовода он так сбинцен, мой дивий сад...



СВЕТ И ТЕНЬ



ОКРАИНА

Когда в город приходит серый день, сливая дома в в всую массу, в задумываюсь. Надолго. И спращиваю стёл, почему в жину здесь, если душа моя бродит в десу, среди деревьев и зверья?

не понимая, вщу себе оправдания, разбираю свою жизнь.

Откуда я? Где рожден?..

Одни знакомые мне люди упирают на благоридство съсего происхождения от крестьянского кория, другие превозносят исе городское, дымное, пахнущее железом.

Я же ни два ни полтора.

Имея навыжи вемлероба, я хорошо понимаю охотника. Если дома поломалось что-инбудь желевию, то сору янии, полный инструмента: молотков, спера, гасимах ключей, навигаликов и поочего добод...

H — чиню.

Больше того, человек-станочник близок мис.

А все потому, что я происхожу из окраинного племени. Оно же особение, в нем столкнулись разные слои: мятунинеея хуми, которым была ненавиства любая трудовая запряжка. Эти, добывая свой хлеб, охотились, рыбачили.

И крестьяне, приходя в город, ставили домив на окраине и начинали огородивчать.

Рабочие тоже селились заесь - большинство заво-

дов было поставлено на окоеме города. Это переменнанное общество и сформировало изс. мальчишек. Да так, что до сих вор в несу клеймо: «Саз-лано окранной». Мы, пацаны, и были настоящими окранивинами, в нас слилось все: крестынское и рабо-

чес, от лесных бродят и от местимх худиганов.

Ди, водилась в наших местах и эта городская темь. Она обосновалась у реки, называли этот микрорайон Нахаловкой. И если ито из горожви исчезал почью, малиция искала там. И, случалось, обнаруживала шанку либо ботинок пропавшего.

С той норы я болясь печистую силу темноты и свято верую, что удар вулаком по роже мерзавца стоит трак-

тата о духовной красоте.

...Роски мы, пацаны, окраниными язычниками. Хотя мама до сих пор хранит мой дешевенький крестак, по сам я верую в Землю-Мать и сохраняю в ней молятисиное отношение. Больше того, как все полти сибиряки, я охотник и поэтому верю, что Лес - мой второй отец.

Да. да, я, современный человек, верю в научный коммунизм. Но не неключаю, как нее окранинки, суще-

ствование ведьм.

Кая могу исключить, если лично я вырок около од-ной из иму. Ведь это меня в отместву за краденую морковь сглазила Полюшка Дурной глаз, а потом дилго в безуслению лечил врач. Поставил же на поти Старый Черт, процев надо мной старинный наговыр.

Грозя почерневшим от эсман пальнем, он велед мвори, лихой сестре, убли обратия, на эсленое болого. Та и

ушла - до лестых болот было рукий подать.

В зарослях, у Дикой Лужи, проживал ближний де-

пил Но с тех пор нак Толстонит, повлав стрелять учек, чивая заряд дроби в зеленый лешачий изд, мы бокнов модить туда... И разле малютив-песиники из бетни во троинивам, не сметывали стоими сене для своих положения коровою. Это они разбеналис с тихим смета завидев изавлен, идущих в лес брать грыбы или честику.

Верная мм и в силу колдовства. Больше гого, нам был известен способ стать колдуном Простои нафун было провести кото на каладовии. И ческая мертивки оплужнали тебя жиним, ты уносил с собол дар колдовчела. Всеза было ваясстви, что так учесля его с кала, били Полошка Дурной глаз и Сларая Черт. И полазуюта, Полошка пункой голдова и летала по возмух, пучетникла тарраттевших в ребе У-2, но отегавала от тупоморым «инфаксы».

У другого в огороде все росло вросто замечательно!

с аругого и согром выс роско прост и заветательного Санай баликовтий из падалев, Дамая Герпи, попомая завтоды колдовства. Можно било получить, из възватыму зальным, короние отметия, изстать соготиться и и месте, куда ист дороги, а дичи пална — саният во миров.

Но Димпа не решилея провести ночь на пладбище.

— Утиворить бы дядю Сидорива... — мечтал пи. — Члобы привазал. «Сделайте Горена колдуном!» Небось пе откоутится.

Сотарустись иметить, что ведьмы, выдуны, мертики, деже хулитавы — все боюлись милиним. Если почим ис пашей улиние име на възабище мертик с замож за плечами и вътывался на участкового, хромого Слаорова, то дбега, фоска учас. В исм. сели равнерута, чаще чето оказавалось слернутое с чьей-то веренки скиро болье.

С тобой мертвях мог сделять, что вздумает, однако взаления трепуть не емел, на окрание их просто обоналя! И если какоп-пибудь срая так, что даже у пис, пацанов, трешали барабанные перепонки, изрослые, мах-

- А-а, пусть орет, коли ему так правится...

... Кормили младениев грудью по-дереженски, года два, а затем пересаживали на щл и кашу. И надо отметить, что дети вырастали отменного здоровья.

Одного меня родители рястили научным методом. И что же? Еще пяти лет я не мог своими погами вернуться из лега. Отец нес меня, посадим на плево и придерживая рукой (в другой было ружье). Врани — гадоми! — пичкъли меня рыбым жиром. В конце концов. я сам взялоя за себя.

я сам взялся за сеоя. Много-вного работять над себой, пока и научился одним махом всянкивать на высоченный забор тегки Семеники и не мантыси алиотом, слопав два-три десячки, сворованных у Толсговята отурков.

...Да, много утекло воды с тех пор. Как и все, я учил-

ся, кое-что узнал о жизни из книг, от людей. Теперь и знаю, что нет колдовстви, чаще всего это ловко скрытое преступление.

Сейчас в летию в командировки на ракетных самолетах в юные сибирские города, что выросли, не познавши окрани.

Теперь не старухи, а телевизор бормочет мне то добрые, то стращиме новости по вечерам. Да и можо окранну стребли бульдозерами, очищан место для мингозтажных домов.

Но я по-прежнему окранивый, по-прежнему верю в Землю-Мать в убежден, что Лес — мой второй отеп. Какое вожет быть сомпение? Ведь он спяг меня в годы пойны от голода и холода.

...Когда-то, возясь а отороде с ботанствым морковна в периоздяб редькой, выращивая картофель в дибумев на кружена укропа, в уняза то, что знакот людя поува, — здесь перекатывается, ходит туда-спода желиенная сила. Но окраниные старики, хитрованы-огородники, тол-

ковали мне в о другом...

Ковали мис и о другом...
И я верко, верко им, что если изловявться и умело
остать в круг (жемая — солище — растение — вверь, —
вода), то можно добиться исчной жизни побывать ща-1608ал), то можно добиться всчиом жизние пообывать ши-желым, поряжть жужином, уйти в комалю кужеляей насе-совного, побеготь в лесу рыжиющим медведем. А сели и узыту в бузу бесковечно жизным, то в окранил не ум-рец — в моси вазмяти будет жить песеда. Состажени, сказка, срумав. Тогда кому верить, что ново окрания, кажаючась, сама истанет в тот вечный кру-нения кру-

ловорот мековений, который называется человеческой DIAMETER.

И я буду ее жителем...

УЛИЦА КРАСНЫХ ПЕТУХОВ

Димке жилось легко, моему отпу тоже — у инх было по одному увлечению. Димка петоровляво в вдумчиво строва лыжи, на которых собирался ездить по воле, спету, суще и, важется, небу. Мой отсе, раздобим пруклум винами у на бараховие, стал первым йогом города. Он инз носом воду в по уграм столя на голом города. Он инз носом воду в по уграм столя на голом. Димка, отсем, улица были езастания. Все, крюме меня. Вообще это была улица Кончаловского, по се ввали за разлавость жителей улица котулом потом палалим угочилли). Или говорили проще: «Улица, тле чогатутье живуть одно празовалась сома собой в, пакоя на притесты милиции, повнеда на крато зарага, мете? Просто. Жить там разрешали при одном условия, если теленость. Жить там разрешали при одном условия, если и даже заго для и даже заго для и поменя ставия и даже заго для и поменя и печку сложия и даже ставия, одном условия, если и даже заготивле ставия и даже заготива ставия даже заготива ставия даже заготива ставия и даже заготива ставия и даже заготива ставия даже заготива ставия даже заготива ставия и даже заготива ставия и даже заготива ставия даже заготива заготива стави заготива заготива заготива заготива заготива заготива заготива заготива заготива заготив

и даже затопил ее, то живи!

аже затопил ее, то живи! Пройдет полгода-год, в райнеполком прописывал в

тороде дикого пилеления. Тот же, прикопив денег, на-

II потому какелилась ваша улица людьми боеними, чикал перестранвать дом. даже отчанивым. Они выяв, плодили детей и мусор, им засыпан овряг. Пропрао дет инто-пость, и не стало опрага, в удину валики почетным именем Кончилонско-10 и лаже вавесли на плав города. Затем повырастали топыли, уница стала красиной, и мой отец, художния,

купил себе дом. Еще вродой и бродна по вашей узице и одной рубънке, держась за хвост знакомой собаки (а другой был отромнай, зарез всю буханку, бутерброд). Я ходил и улыбалга. Но подрос и стал саями иссластник мальноком па сиете. Жизнь моя стала мучительноп. Вот отчего. уклечения, без которых жизнь, как известно, герыя. смерти, по мне приходили голпами. Пример?

Пова Димка придумывал свои выжи, на уроках разрисовывал ими тетралочные обложки, я бился с целой

Утром и строил гиперболонд инженера Гарина, днем толпой увлечений. окотился на воробыем и тилнотивировал маминов кур. Кажется, и яватит. Но было и в-четвертых, в в-питых, п в-десятых, и все сразу. Да, увлекиющийся в был человек в девять лет, пого-

му со всех фатографай тех лет в гляжу висло.

А теперь и горжусь, что мог увлекаться — сразу! гиписким, Люськой Шароновой, поисками ключа от шнифа, в истором отец хранил черный порох в собрание сочинения Ти де Минассави (они казались ему одинаково опасными). Что вместе е отпом я писал этюды с изтуры, е Витькой Подгорским адизмами дечил от дур-пого харкитера его кота Василии. Да еще уроки! Но тогда жилось мне трудно.

Отцам же вазник, иссему в Димпиниму, в те времена жилиев очень легко — у них было одно увлечение на

лооих. Вечером они спорили об Испании. Они громко однали, злобно глядели друг на друга и били пулавами

по столу.

Соста Кокии, человек с порязытельно кривым посом примения слушать из. Кривя посом, он сидел, примейыная чай. Можно было считать, что и из него приходитте поля прумного увлечения паших отнов.

В грослые, они китрые, им живется легко...

Дівняя отец так увлекся стучанием кулаком, что не золити перака испытанне диж Дівня: тот перевернулста в воде, как педаганне — полог с сарая виях, ажончавнийся акумя выбитыми бизовыми зубама. «Слава богу, по вередних, — говорил Дівнка. — Отец бы страсть как обозлися»

Отны епорядав, а Ковин слушал. Что било странпо Вейх спор — дело пустое, согрясение вызума, а деликой Ковин териеть не воог им пустым дел, на пустых могії, Бытъ может, он ходял потіму, что хотел понять, жте за в спорях хоть какой-нибеда проя?

На знаю, долго бы мой отец довольствоиваем трегью увлочения, по однажды оп ушел и верпулся очень поздно, храсный и ваворошенный, как петух. Но мол-

Отен Димки тоже перероднам в тот день. Верпулся за вовремя, по тотчае заметна выбитые Димкины зубы, муж имя и пе были перединии. Он менесимия павланем соотдер ощучае Димкина десны (в сам эпдек, своими замения замера на текту Арих;

лачами) и заорал на тетку Ани
 — Распустила!

Потом

Я вам покаже лижи с крыльями!

Кричал он гримко, но еще гримче варелел Димка. в тем посладнален вреск, обломки лам, а без крыльев пастели выше сарая. После чего ставии дома давралясь, и на Димки, на его братьев в тог вечер я больше не видел. Когда и нам пришел Кокии с пламеневшим носом и попросил чаю, отец усмехнулся. Он сказал:

 Не станем сотрясать воздум без пользы, а займемся чем-инбудь стоящим. Например, катка-йогой, описанной господиром Рамчараной. Я давно купиа эту кипжицу, да все руки до нее не доходили.

Он мотал перед посом Кокина дренкей книжечкой, а тот водкл туда-сюда длинким и неровно изогнутым

HOCOM.

 Это любонытная книга! — сказал отец. — Я отбрасцавно ее ценіпую сущность, так не лабудь, отбрасываю, и беру только доровую сердиевину, а именно, физические упражиении. Договорились? А пу, становись на голому так ведит сля. Рамунарка;

голову, так велит сам Рамчарака.
— Не встану, — сказал Кокии, мватаясь руками за спленье нагругого легкого студа. Их павывали венски-

ми, а гиули в нашем городе.

 Сделай одолжение, — просил отец, человек вежливый. — Встань.

 Нет. — отвечал Кокин. Теперь его пос побелел (он краснел и бледнел только посом).

 Так и сам поставлю его на голову! — закричал, водя. Двикин отец. Но тут мама попросила Кокина бодыще приходить.

— Значит, выгоняете? Ну-ну, так и запишем. — сказал Кокин и ушел, пичуть не испуганцись. Он вообще пичего не болася, даже своей жены, котя она была идвос шное и вдвое сильнее его.

Потом наши с Димкой отцы долго шептались.

Пога? Ладно, — вдруг сканал Димкии отец. —
 А я заведу нетухов, таких, что улица лониет от нависти.
 Вот так я узнал, что им надосло иметь одно общее

увлечение.

Теперь мой отец пил ногом, а отец Димки растил семь петухов, красных рокайлендов. Где он их добил, было невено. До сих пор у всех были деревенские бое-

ные нетухи или в лучшем случае белые леггорим. Быть пожет, найти рокайлендов ему помог Курощун, знав-

ший всех кур нашего города.

Теперь наша улина по праву могла зваться улиней остухов. Горинские петухи были чудовищно огромные и г. в огонь красные. На них приходили смотреть даже е анугих улиц, нашу же теперь стали звать улицей Краспых Петухов.

Когда эти громадные птицы гулвая по дощатым гротуарам, далеко слышался стук их тяжелых лан. А вот драться они не могли, были тяжелы в подскоках.

Мелкие петухи их били как хотели.

Чтобы все шло по справедливости, Димка с братьями довили этих вертких, деревенской породы петухов и ставили их перед своими, тяжелыми. И тогда красшай петух сбивал обыкновсиного с пог одним вленком. Во!

Мой же стец, когда не писал картины, то стоял на голове или ходил в одних трусах и босиком. Шленая по

тротуарам, он говорил:

- Я нью солице, я вдыхаю воздух. Все прекрасно! Мир прекрасен, разумен и удивителен! Мир создан для меня!

А за ним шли красные петухи, оказавшиеся до крайности любопытными птицами. Все-то им кужно знаты Бивало, вылазищь из огорода Старого Черта и видишь петухов, наблюдавших за тобой,

Отец твердил:

- Мир полон правы, я поглощаю праву!

 Ку-ку-реку-у-у! — басыл красный петух.
 Но тут высовывалась из окна тетя Поля и начинала ругать отца за трусы, и он уходна домой

С Шароповой дела мон шли неважно. Это была несчастная любовь, так я решил сначала. Я мучился (на это отводил час поелеобеденного времени). Страдал я с упосинем, даже перестал воровать у мамы наренье. По любое страдание требует мести.

Я подговорил Димку, и мы в сумерках выбили окно Шароновых. Отеп ее, старикан лет сорока, с удивительной прытыю гнался за мной целый квартал. Но разобраться в сумерках, что в есть и, он не смог, и все обощлось.

У Димки были гочили из коруида, ими можно было сточить все на свете. Я нашел подходящее стекло и, плюя на кего, тер. Димка же ньобрегая свои лыши. Он придельнал к ним съемные поплавки, выстругивал их из

сосновых брусков.

Димка водил рубанком, а из него с пильтием выползали тонкие дренесные змен. Они свертымались в красивые стружки, вкусно пахли смолой.

Петуха, не зная, куда себя девать, приходили к нам в сарай. Они то клевали стружки, то, силоняя головы.

боком, смотрели на нас.

Устав строгать, Димка командонал:

А иу, включаем гипноз.

И мы хватали птицу. Затем Димка держал петуха. я же с немалым усилием пригибал его голову к земле.

Петух не давался, переступал тяжелыми дапами, даже икал. Гребень его был пунырчаго-складчатый, красный в теплый. Еще у петуха были сережки и бородка, на ощущь приятиля. Гребень же и жестковат и жирноват.

Быстрей, я устал. — говорил Димка.

Тогда и рывком пригибал голову петука и упирал клюв в землю. Затем брал гвоздь и проводил по чемле жирную черту. Вел не дуром, а с расчетом, от плюва прямо — на разном расстоянии от глаз петуха.

И случалось чудо - петух замирал.

Ов, красный, сильный, стоял, уткиув ное в землю Я уререн, он мог бы так стоять сто лет подряд, если бы линия была ровная. Да что сто лет! Он мог стоить вечность, стать белым скелетом, затем горствю праха и не тронуться с места.

Но абсолютно розную линию привести трудно, и по-

ний петухи уходили. Не гразу, конечно,

Постова минут десять, они поднимали головы в шумшу страхивали с себя педрамую воду (теперь и думаю, сто в гивнове они опущава течение реки Времени, в потруко и макал их головы) Отрахнувшись, еще сончий, истух уколал, бодмена про себя петушиные ругагольные слова.

- Xal Ушел, - поддразинал меня Димки.

 Он мог бы стоять сто лет, — упоретионал и, если бы линейка...

- Bou!

11 Дияна вся рубликом. Он строгал с удовольствина — вибыл ручную работу. Он мог поченить авбор, чаправить старые гнолав. Все поджиго во нашей улине сметерия он, кому за яблико, а кому и просто так.

Это я вру? — краная я. — Сейчас не бера едова.

обратно.

- Вечером придет с работы отец.

- Hy п что?

 Не понамаець? Раз вечером придет отец, как же петух сможет простоять его лет?

И в самом деле, это невозможно: каждый вечер

Намини отец деляет смотр петухам.

Но тут вышла Димкина мать и стала кричать, что я чувыю петухов, а Димка переводит корошее дерево в стружки.

Выхилило это у тетка Анни примерно так-

 — "Мать кормит., моржовь разла не жрень, дерьно портинь, вот отей тебе задаст., клеб не берень, и «тружи строгаень "домай не приняенны, исе мать да мить, жить тебе с двадиатым детьми.

Но вель это пророчество! Нет, так велься. Если хичиь, дерись: если неитерием, ругайся, по макем мас-

рочиты

А это тетма Анна любила. Стоило ими пойти из ры-

балку, и следовало предсказание, что мы обязательно потонем.

Моя мама в тысячу раз лучше. Она не предскавы-

вала, а проето давала нам хлеб, пироги, вареные яйца.

на воздухе хорошо естся!

За вкусную еду Димка меня перепосил на себе через ручьи, он инчего не желал брать задаром. Я, понятно, не желал пересяжать, брыкался, по Димка был сильпым. Он валю меня подножкой:

Тогда в лежал и не хотел вставать. Но Димка был хитрый, он или щекотал меня, или начиная щинать. Бывало, выкручивал мой дален, заставляя леэть к не-

му на плечи.

Ну, уж тогда я ему задавал! Я понукал его, я подпрыцинал, долбя Димку своим костливым задом.

- Почему ты меня переносиць? - расспрациялл я

оскорбленно. - Я что тебе, маленький?

 Не хочу должать перед тегкой Натальей, — говория Димка, Он часто в половину умина отдавал моей матери. Та брала. Если отей упрема ес, она гонорили, что рыба дана ей от чистого сердца.

Вот это мамка! А Димкина знай вопит. Мы бежим. Гремят спички, брошенные в чайник, а вслед по улице

несется ее завынающий голос:

- Потонете, домой не возвращайте-е-есь...

Но веем известно, что утовленники не приходит сами, их привозит домой на телете, накраза чем-нибудь. За телегой идут люди.

Когда я жаловался матери на тетку Анну, она советовала мне воспитывать сразу шесть вепослушных сыновей.

Но с Лимкиным отцом в ладил, с его братьями тоже.

Кроме старшего, дурака Гришки.

...Петух ушел, зато в сарай приходит Гришка. В одной его руже пращ, в другой — добичи: семь штук убитых воробьев. Теперь он их ощивлет и станет жарить на гитавах, а потом съест. Один! Такой это был одиновий полк.

Как поживаеть? — спрацивает Гришка.

Гиперболонд думані постронть. — отвечню я. -Тебе глаз выжгу. Гле ты шаталев? — кричит из оква Димкина

пить - Где был? Почему во купил клеба?

— II не куплю, посылай Дамку! — вонят Гришка. — Он наше дерево переводит.

- Ваше! — заволял Димка. — Мие его дядя Иван подарил. Ва-ше-е-е!..

П началось — семейство было шумное.

А жрать что будешь? - переводя дыхание, спраnumber Mark.

Воробьями стану питаться.

 Вы меня в гроб вгоните! — вдруг закрачала Димлина мать. — Вы меня гоните, гоните, гоните! Я умругыру-умру! (Опять пророчество, что с ней поделаешь.) Старший требовал:

- Пошли Димку.

Он не хочет плти.

- Ax, on he xouer...

Гришка кладет воробка, а Димка бросает рубанок и на улицу. Но старший брат довит его. Вот привел, прика на умо. Делать вечего, Димка идет за клебом, з SI C HHM.

Обычно мы приносили сразу пять или шесть сытных режаных буханов, которых Гориным (и петухам) хватало ровно на один день.

У валитки выстроились петухи, но Димка проходит мимо. Вот почему. Вечером Димкии отец сядет на крыльцо и будет кор-

мить петухов. Сам. А тегка Анна, высунувшись из оква, станет кричать:

Горе мое, накупил петухов! Люди держат леггорпов. в явия отдают дегям. А гы? Взял петухов! Что, опинесутся? Может, их доят? Все многодетные держат коров.

— Замолив, мать. — отвечал Димкин отец, кормя у петуме. Уумылянсь, он сдедал, как они ряут дурга удеб он склемнаемот его большами мусками. Часто хатеб не шел в торго, втиша слаятывали его, хриня, дергая головами.

Дурак! — Тетки Анна захлопывала окно.

— А кто же еще, кола на тебе женвлен, — зладновровно отвечва Димкин отек. Съм крошна влеб, а нетузи наступата на нето. Осромные, с налитами кровью гребециами, медлительные в движениях. Словно рабочве, ванитые, кок и Димкин отец, работой с металлическими отлинками.

У вего вои и руки червые, и вообще он металличе-

ский человек.

Соседки говорят Димкиной матери:

Как ты с шим живешь, мильи? Не челолёк — чугун.

- И шестерых ему родила...

Наите на в черту, смедви! — отвечала она.

...Покармив связу нетуков. Димкив отец садитев к окву читать толстые романы. Или прасиво пграет из гитаре и поет вполголяси, а течка Анна подпециет ему. Их саущали все: петуки, дели, соседи...

В этот раз, когда в паелся голеной кранициой и дания. Она увержин, это с одним петухом я еще справляюсь, в всех жие ве загиппотизировать споы не хватит. Что в выходитем, и учалу, и булу лежать на земле.

Я обиделся, кричал на них горячо и дико, обзывая, дразива и наконец распланался, Они твердили одно и

то же. Так я вам докажу!

Я взял да и расставил исех негухов по двору.

Я ставиа их у крызъща и у полениицы, под окнами и у соргира, пояти всегда запитого. Всколу по двору теперь

подан прасные петухи. Я был мал, начвен и не подопенал братьев в коварстве.

Кигая в устанавливы в поэнцию последнего петуха,

по был потный, хоть выжми, а воги м за дрожали.

Шел заменательный вечер, полголнуки в огорыме дополе остатки светь, во всех дворах дымились летина телью, и по улице распольялся дровяной, легенй, вкуспин вым. И отовеюду висансь голоса: теги Поля слава-на курии. Старый Черт с криками ловид мальчишен и споем саду.

Ха! Теперь завопили пойманные мальчики, и в знал тожному: он совал им краниву в штаны, бери ее голыми пунама. У вего от работы с вемлей на вуках образоватесь подошвенная вожа, ее не белет врадева. Он заже --- ит саой ревиатизм кранивными компрессими.

Я, упершись в бока, залюбовался собственной рабо-

той. А братья глядели на меня на распрытых окон.

А пу, кто там болтал, что я не смогу загиннотнопропать веех петухов? Полюбуйтесь, стоит! И от наждого петущиного поса бежала черта, и наж-

лий не в силах оторвать вигляд от этой завораживаюшей черты. (Сейчае я частенько задуживаюсь, сколько рот: я стоил сам, запороженный приведенной кем то вортой.) Затем, как требовательный к себе художинк, я пореставил двух петухов покрасивсе. Когда, по совету Гринки, я ставил последнего петума посом к калитке и поднял на стук ее шеколды голову, то увидел Димки-HOPO OTHA-

Черный, огромный, с железным сундучком в руке, оп

емотрел на меня. Червые головы братьев исчезли в окнях.

Димини отец стоил скорее изумленный, чем гневный Слаза его перебетали е одного петуха на другого. Вот они остановились на мис. Димани отец не вигат о гиперболовде виженера Гарина, по глаза его жган пасквозь.

Я зпал, он железный человек, бывший партизан, а его пальцы рабочего по металау были не нальцы, а щинцы.

Сворей бежаты! Я рвануася, я чуть не прискочна между еся ног на улину — огромным прыжком. Но оп скватна меня на лету точным и, думаю, бессоватасьным динжением. Держа меня на весу, он рассматривал нетухов.

По-видимому, он что-то продумывал. Потом он нонее меня к крыльну. Там поставил сундучок, меня, сел на

ступеньку.
— Не стану больше, пустите, — запыл я, по отец

Димки вроде бы не слышал.
— Гришка, хлеба! — крикиул оп.

— гринка, хлеоа: — крикнуа оп. Вышел мой праг и улыбнулен, выставив шербатые зубы. В руках у него была половина ржаной буханки (теперь в окно глядела и тетка Анна).

- Сыпь!

Гришка обощел всёх петухов й каждому положил горость микшил. Тут в ощутал желание стать крохотной мышко, но Димкин отец в не смотрел на меня. Он разглядывал петухов, бурча: «понятно» и «обидно». При слове «обидно» и закмурился, воябразил себе отпояский широкий ремень: обычно ны отец правил бритру, но иногда «полировал» меня. Так и говорил: «А кото вужно сетодия отполировать?»

И шел за ремнем.

Обычно этот ремень (пояс отца, морского пехотинца, которых тенерь красиво зовут десантниками) висел на стене около двери.

Отпусти их, — велел мне Димкии отец, сам меня,

однако, не пуская.

Вы сами меня отпустите, — всклипиул я.

— Ах да, — сказал Димкии отец. — Иди.
 Я пошел и отпустил петухов. Перешевелья их всех,
 и опи стали ощинывать, разглядывать хлеб. Вот клю-

чул один, и крошки отлетели в сторояы. К яим с забора опиулись воробыи.

- Ладио. - сказал мие Димкии отец. - Ладио, понутил ты надо мной. Теперь катись, и чтоб я тебя боль-

ше не видел.

Я ушел. Теперь уже в своем сарае целыми диями я работал с гиперболондом, а ходил во мне Димка. Мы не поворили о красных петухах, а усердно работали — он грогал на отновеком верстаке, я же точил гиперболона на бруске, который мне водарил Димка.

- Батя на тебя больне не злится, - как-то скизал

мие Димка.

- Что говорит? Он не со мной, он с твоим отцом гонорил.
- Обо мне? - He-a...

О ком же? — Я бросыл гиперболонд на землю.

- Кто такой Сократ? Ну, был один такой, - отвечал я, - Философ в

Грении, в будущем году станем его проходить. - Чем знаменит?

- Жил в бочке. Потом его огранили.

— За что?

Говорил людям правду.

А вот и нет, он разговаривал с Платоном. Врещь то все про бочку, в ней жить холодио, нечку не поста-DESCRIPTION.

Он жил в Греции.

- И там холодно. Так вот, этот Платон, не знаю его димилии, сказал Сократу «Человек -- это животное на двух ногах и без перьев».

- Hy II 4105

- А Сократ ему показая ощинанного петуха и заправ: «Платов! Навоен викуси, вот твой человек!» Об этом они говорили.

Ну и что? — спросыл я подозрительно.

- Батя велел, чтобы ты пришел и поставил ему петухов.
 - Ври!

- Вот еще. — Не пойлу!

— Слабо?

Этого я выдержать не мог. В тот же вечер на крыльне сидели отны, а мы с Димкой расставляли нетухов.

Те стояли перед крыльцом, устаня носы в землю, а отны наши спорили и стучали хулавами по крыльцу.

 Ты вто такой? — спрашивал Димиян отец. Я художинк и беспартийный большеник.

- A cure?

иим на двоих.

— Пог по аушевниму влечению. А ты кто такой? - Партилав и Советскую власть этими руками на

ноги ставил! А когда гетки Анна вышла послушать их. Димкии

отец сказал ей:

- Петухов, мать, продай соседям и горнов.

Я так поиня наших отцов: им уже издоело иметь отдильные увлечения, они свображают, как обойтись од-

...Тетка Авва позвала уживать. Отец послад меня в миме, и я бетом принес сверток вкусной наяси. Мы ели жаренную на воде вартошку — обычную жчернюю еду Диминиого самейства. Еди дожками, такая была рассынчатая картошка.

Затем отец выслая меня, и и принес банку варенья. Из нее все зачервнули по столовой ложке, и банка стала пустой.

Мы инан отличный смородиновый чай. Все были всселы и ловольны.

А чего им было не радоваться? Димка заканчивал свои лижи, тетка Анна радовалась будущим леггориам, отец хвалил йогу, считая ее полезной для нервов.

Исе веселились, кроме меня: жизнь моя усложинлась.

Сегодия, проходя мимо, Шаронова выпула из-за щепригласная мие в руку приску. Змісм, вытерев вос ру-пригласная на свядание к тов куче брезен, что ле-пригласная на свядание к тов куче брезен, что ле-пригласная улицы и была видна всем. Я разманине вати мне или не ходить? Делять гиперболонд или править? Лечить кога опять начаниего безобразничать? Слещить у отца ключ?

...Я был тогда очень несчастен.

ЗИМОЙ В СТУЖУ

Замой дома холодно. Чтобы стало тепло, надо истоинть лечь. Хорошенько!

Печь можно толять провями, но лучке ваменным теся. Уголь нам давали по ордеру в так навываемом тумуне. Дрова приходялось добывать самям.

Поприбодна Дамая растапливать певь вольтовой атиф — в остаже б-а смета, пробил периторалів. Пова очне их — вайна! Ок поставан жучами, по пришва очне их — вайна! Ок поставан жучами, по пришва очне провод Папа Кумини и онграфовал иго. И оравильно с каслай Не уминай, разъявай учаль.

на одминания състава те уминува, ревъжатам уголо.

ж осу, прова росси в лесу — он далеко.

Быяв они в нашев създ. — тепъзи е желеной корой,

оризме затим, кустистые американские жени. По езбешенно вые оплаван и съвета извит ста.

Провами были заборы, наш и чужие. Логан их стояна булго солдаты. И каждая смогрела на тебя своими

правиными глазыми — питимы сущов.
Ам жили ини зайор жучики и расчетлике, чтойы о дентиро до жение, А гота в везаму ручиую клажку, и поклу в дес, и ваберу сущияка.

Или вессый концитст война, и все етапет хорошо

хлеб без карточек, дров и угля хоть завались. А до весны забора хватит.

Уголь мы возили на санях: нам выписали ордер на целую тонну. Панять машину мы не могли, да и взять свазу тониу хорошего угля трудно. Поэтому мы с мамой возили уголь по мешку.

Каждый взятый нами мещок вписывали в ордер, и

так, пока мы не вывезем всю тонну.

Сани у нас хорошие: довоенная работа. Правда, их половья стерлись, но Димка поставил новые, толетые. И под гору санки катились, приходилось за ними бежать. Мне-то даже приятно, а вог мама иногда падала и ушибалась.

...Однажды нам не удалось получить уголь. Мы уже взяли по ордеру два мешка удачного угля, загоравшегося от щелок. Но на этот раз вместо прежнего старичка, пахшего концпляным маслом и варевой картошкой,

нас встретила толстая баба.

Увидев нас в окошко будочки, приделанной к весам, на которых вешали машины с углем, она поставила на стол чашку педопитого чая и вышла как есть, в одном платье и с гольми толстыми ногами. Пахла она хлебом и сахаром.

На улице было минус сорок, а от нее валил пар. Та-

кая горячая! Баба взяла ордер и рассмотрела его. И сказала, что уголь не даст. Она была редкостного, огромного роста.

Угля для вас нет. — сказала баба страшного ро-

ста. - Берите кокс.

Нам бы уголька... - попросила робко мама.

- Только кокс! Ты не бойся, он будет гореть, растопки только не жалей, вот и все... А не хочешь брать. иди и жалуйся.

И ушла донивать чай с хлебом и сахаром. А мы стояли и думали вслух, что на улице морозище в сорок пять градусов, что уголь дома кончился, а шли мы сюда два

часа, на ходу подскакивая от мороза. Подумали-поду-

част, на ходу подсквопная от мироля. Подумали выду-мали в вядан кокс, не догодъмавась, в чему это поведет. Решвинись, покивали в окно — баба вышал, но стиерь в валенких и тудуне. В руках ее была лоната, похожная на ковин. Она повета нас — сани заскрежетами полозвями по осколкам угля. Мама шла позади, подпимала их и прятала в карман.

Мы прошли вдоль куч недоступного угля: он нагло ометавлял на снега аппечитные кусочки. Они блестели воричневым блеском: это был хороший уголь, его звали

«сахарным».

Гут баба несколькими пинками разворотила кулу сисга. И нам открылись стрые комочки. Они походили на угольные огарки и на металл в то же время.

Такие легкие, спекцився комочки, если держать их в руках. На них варят стазь? Удивительны!

— Вот привезли, а инкто не берет. Что делать с ним.

не знаю, — сказала баба. — Гребите!

И дала мне лопату. После чего высморкалагы: сначала на одной поздри, потом на другой. И вытерла пос

рукавом тулупа. - А чему в нем гореть? - задумянно спросные ма-

ма. .- Он же пустой. — А это уж не мое дело, — сказала угольная баба. ... Кокс оказался легким. Свещав мещок е санями на

тех весах, где веньали манинию с углем, баба сказала:
— Семьдесят килограммов.
А было меньше, я легко ворочат менюк.

 Ну-ка давай ордер, — велела она и вписала хи-мическим карандациом, слюняви его «В шет оставничем восмест иг выдано семьдесят кг». И поставила крючок. А вот дел был добрее. Иногда он дава г нам два мешка угля, а вписывал только один.

Это был хороший дел, потому и заболел.

- Гребите еще мешок! - велела нам баба. Мы, странное дело, подчинились: такая она была огромная и страшная. И она вписала в наш ордер еще семьдесят

килограммов.

От тупика дорога шла под гору, сани побежали. Хоти и тинул их одной рукой. Мама шла и глядела по сторонам, вида оброненные машивами угольные кусочки.

Я бежал с санями, держа ное рукой. Сквозь нар могго дыхания, садившегося на ресиним, видел на дороге групики замерзних воробьев. Они лежали на епине, втъеронна перья, выставив влювы. Но понять. отчего они лежат здесь, я не мог. Может, они летали пдоль дироги, искали еду — конские яблоки — и падали.

Потом дорога вошла в тору, пришлось тякуть сани обеныи руками. И ное мой тогчие же стал как пробка.

Но подощла мамя и тоже взялась.

Мы потвиули сани мимо домов и заборов, годищихея на дрова. Те с немалым страхом глядели на меня крусляшками сучков.

Отец встретил нас одетым в зимнее нальто. Сестренка была на печке. Она, завернувшись в одеяло, зуб-

рила уроки.

Углав! Уголь! — сиди, стала прыгать она.
 Нет, это кокс. — сказала мама, развихав олоде-

нелый платов. - Милые мон, говорят, его трудно растапливать, но другого нам не дали. Нет таких крепостей... — сказая отен и стая го-

товить растопку. Он собрал дрова и вдумчиво распреполил их в топке, а поверх уложил кокс.

 Ну. — скалал он весело, — если он не загоритея. можете меня повесить. И что же? Дроза сторели, а коке лежал, как был,

лаже не зарумянился.

Вещайте! — сказал отец.

Ох, и ругали же мы проклятую бабу. Небось по блату дает хороший уголь.

II родители — шепотом! - заговорили о таниствен-

от силе по вменя БЛАТ, о том, что он дает возможть человеку хитро властвовать над жизнью. Пока не придет милиционер. Вошел Димка. Он рассмотрел кокс и поспытовал

разжигать его электричеством.

- Колечно, лучше взять кузнечные мехи и дучь.

Но с работы их не упрешь, тижелые.

От вольтовой дуги отец отказылся и сжет пол коксом лавтраначною порцию дров и последавтращиною. А тот пождл по-прежнему, блистиций и легкий.

Бомбой его! — сказал Димка.

 Пускайте в код дугу, — велел отен, и мы е Дим-вой потинули провыд. Но нивего не вышло, только сторели пробки.

 Может, попробовать коросии? — задумчяво спросила мамя. Но я оделся, чтобы вояти к забору в вило-

магь еще пару досок.

 Бомбой его! — повтория Динка, отец авторого на фринте летал на почных бомбардировниках У-2. Бем-ов на нях бросали вина гольми руками. Поднамут н кинут — так рассказывал Димка. Внобырето врбор было жалко. Я его знал, ная род-

е полиция. Мы и так спилили свя, а теперь домали за-

тер, на котором я, можно сказать, вмине.

- Разгородимея, и нее овении летом потаскают,

взлохнула мама.

А и меня вубы стучат от холода, — синанти ска-

дал я и пошел, выломал две доски,

Он был красив, наш забир, ровный, сурый, в сисжимх ципонках на каждой диске, с печатью сорочьих дан ни газалий шапочие. Сорови и сейчас кое-где сидели, сердигы и угрюзые. Понятно, на пашей помойке мало чего пайлень.

А вот помойна средки Нешли богатая, потому что она работала в магазние заведующей, и еды у исе вдо-BOAL.

Нелла была инчего себе, красциия — остановит, польмет за подбородок и говорит, дыша жареными котлетами:

— Хорошенький мальчик, тебя бы подкормить. И я был влюблен не то в нее, не то в съеденные ею котлеты. Я часто думан о Пелле, засыпан.

Она была весслая женания. Вечно у нее гуляли, пели песии и толкались мужчины в сапитах и галифе. поенные от изгование мужлины и сиптах и галире, поенные от изгов до пояса и гражданские сверху, от баратиковой плики до голстого жикотя. Они все были завховы и заведующие, и такая была их форма; галире и сапоти, пока тепло, каи безные, общитые кожей бурки зимой, когда приходили колода.

льнов, погла приходания манадав.

"От друх дегов кове разгорелся и горед всю почь. В синих вываза пламени калькась нечь. Тепао пролидось из нас. Мы разнежились, и мама уже добрым со-

лосом сказала:

Что же такое выходит: чтобы сжечь два мешка

кокса, надо разломать весь город? Хворый очен влевая посом, а и думал, что громадная тетка вакего себе, топливо нам дала хорошее. А на растопку и чужие заборы найдутся. На мать, на отец не нают, что мы с Дямкой давно грабим заборы тех, что

побогате, чъв мужчины ве на войсорах. Что договы. О, тогда в много знал о заборах. Что догов зучие псего красть в сильные моролы. Тогда деревы крепчало и даже каменело, по зато становилось хрупким. Лома-

лось оно легко.

У нас с Димкой все заборы были на учете. И не один им били умные. Однажды, таша домой выверпутую пла-

ку, в встретал кучах согланация домон вывернутую вла-ку, в встретал кучах согланиям на так по десяти. Воза совлями, они перав на себе чыв-та калинку. Она ане показалась анакомой. Но у меня была тыми знакомых калиток. Лишь прадя к дому, я увидел в зняющий провал или луццый, спежный двор. Оказывается, спилячки сняли нашу калитку, теперь поди-свищи. 11 побегал немного, по где их найдешь. Как узнаешь,

на какой улице они кряхтят?

Когда в одиниадцать часов я провожал Димку, у иеня в кармане были клени и отвертка. Дямка озаботенно говорил, что не завидует мне, так как придется грасть все заборы подряд. И хотя мороз скленвал поздри, мы прошлись по улице.

Несансь весии из дома Пеллы — там гулчан.

Дием в любил глядеть на ее лом, такой он был поплиний и аккуратный, а бревна желтые и веселые. Забер, что выходил на улицу, тоже. По нему пробегала во пезная полоска, прибитая гвоздями, чтобы доган не упрали: Нелла была умненькая.

Мы с Димвой близко подоцьти к этому обжелезенчему забору. Стояли и слушали, как на врыльцо выховые гости и, прохлаждаясь, говорят друг с другом.

Вот ушли пьяные гости в дом и тенерь поют хором. оудго в трубы... Вот взвизгивают в топают, должно выть, авхо наящут. Незав хохочет, взвизгивает - веседая, счастливая.

Ну ладно же!

И не сговариваясь, мы с Димкой подощли к забору. и вынул клени и отдал их Лимке. Сам работка отперткой.

Но дергать гвозди было грудно, а доска все такие полодые, что ломать даже в мороз их не было сил. Гогда мы вырвали в одном месте железную полоску. Скручивая, потихоньку отдирали ее вместе с гвоздями.

Гости пеля, а мы снимали железную полоску, и морыз прожигал насквозь валенки, хотя я и патолкал в ших изрядно старых газет. Зверь-мороз!.. Гости вели про отонек, о костре в тумане, про славное море. Мы, кряхгя, выдирали гвозди.

Наконец забор был подготовлен, как больной к операции. Откладывать ее нельзя — завтра Пелла вее уевлят и снова прибъет железную полоску.

Мы, присев в снег, чтобы госеди нас не увидели, греля руки, дыше на них. «Если хочешь познакомиться, выходи на бугорок, принеси буханку хдеба и картошки котелов...» — варуг запели Неллины гости и засменлись.

— Пора, — шепкул Дамка. И мы стали свимать доски. Быстро. Смению: вог только что был рабор — и

пот его: Догки мы унесли и зарыли в снег.

Зарывать их можне по-разному, умно и элупо. Глупо воромить сиег, умин — когда приставиць доску и вго-иши, ее летким нажимом. Сиег оставется, как был.

Мы зарыли доски в Димкин огород, зарывани и в uam. — "Спозабыт, спозаброшен, — рыдали гости Нот-

 да. — С молодых раннях лет в остался сиротою. счастья-доли мне не-е-ет! И мы с Димкой удивлялись, отчего ист счастья сы-

тым продавнам, в завхозам, в даже дирактору столовой Цмырю, тонкий голог которого приредал остальные го-

Теперь дрова были. Сполько илезет!

Весь остальной уголь мы брали коксом, даже когда вышел на работу, проболев месян, добрый маленький старичок И плята наша за заму прогорала, пришаось поставить повую.

Нелла же быстро сгородила себе новый забор и продо бы даже не сердилась на нас. Только однажды ода воил меня за подбородок (я почувствовал ее ногти) и

протянула задумчиво:

— А глаза такие чистые и ясные... Но должия же и

что-то получить взамен!

И, приснувшись, дохнув котлегами, поцеловада меня. Я развулся — сильно! — в дома вымыл лиць серым воночих мылом. И после все ждал чего-то. Но в Нелле пришел зилящионер. Он увел ее, а дом заселили другое Мама была права — летом соседские дети-соплички. пробираясь в дверы забора, крали нашу морковь.

DECHE O KAULE

Давые-давине времена: лето, год сорок третий...

зедня с фронта хороние, наши быот фрицев. День това отавчный, цидрый на тепло, даже знойкий...

М светятся тесовые крыши. Мол, что пробегает их

пазами, горит зеленым огнем.

Мы с Димаюй невым ий крыше. Нам горячо и мер и симау. Сверху жаст пенстовие иншьение сима сима грест техновая крышь. И в животе гелломи элеровы полбедали. Свачала ели по талонам в полима. И в первое был сун, сваренный на разчит вертинском. Его принязан к столовой на двуволее.

Выприженная лошадь стояла и ола тот же са-

cruus.

Пл вторке была перловая вкусная ваша. С постным вкуском! Опо горчило, и все гонорили, что это макло на сурсили, которки по полим растет. Желтая злоки и вихпот редькой.

Но каша вкусная.

Автем мы пили чай с сахарином, тем, это в защу раз голов претсмодались. Нома мамя напарила саранос немы бугун! — и мы их тоже словали. Духовин саранос и развез вчера за люсу польза разваза. Их можно есть от пула. Мы и ели.

11 ват, согретые сверху, снизу, измутри, мы с Димков текли на арыше. Делать пам абсолютно печего — у

Димки выходной, и мие до школы еще далеко.

Может, сходить порыбачить? Но ветер юго-востоиный, сегодих рыба не берет. И охотаться още рано, отенцы не подросли.

Делать мне чечего, С утра я привел в огород двазлать бочек воды, выстоял в магалене вания у общее поршии, поколод дрова. Теперь работа матери - она ва-

рит суп на летней печке. Железная труба поднимается до крыши, и дымок пролегает мичо нас вместе с голосами отца и Павлова: они колдуют над американской смазкой, хотят превра-тить ее в съедобное масло.

Смавру — цельи боченов! — прислава и столяр-ный цех Паветова, где было печето смававать. Он же постидея в справочник и тотчае обнаружил, что она из констонот масля. Он решва, что ее можно есть, надо только очистить. А затем раздать лучаним работ-

никам

Сейчас они вдумчиво рассуждают е ощом, как очи-стить смалочное мясло, чем его передельвать? Водой? Огием? Горячим паром?... Вот пробуют огонь — на крышу лезет гарь и вопочий дым.

Газовая атака. — ворчит Димка и поворачивает-си сытым пузом к солицу. Молчим, говорить нам не хо-

чется. Но и молча мы друзья.

чется, гго и молчы мы друзья.

— Пувы себе перегресны, — гонорю и Двяле, а сам ганаку на улицу. Она красивая, в квадратах уличных опородов, темпо челения от картофельной ботны. У Старото Черка картошка уже цветст. Полющка

Дурной глав пасет свою козу, водя ее на веревке. И, отвернувшись, пускает жевать ботву старочертовской

картошки.

А вот по удине плет с тремя денушками фронтовой герой Кинцкии, раненный в правую руку. Он верпулся месли пазад лечить руку. В ней фанцисской пулсы был убит пера, теперь Кинкын выращивает его заново. Жалуется, что тот растет медленно. А нужно целых полметра!

Пока что он гуляет с девушками — всеми подряд. И уже Манька Кванцина побила из-за него Зину-Тину. Они пизжали, паранали друг друга, а Квинкии стопа, курил махорку и любованея. Сам в драку не лез: ему

ислыя исиховать, надо поскорее выращивать нера и

ехать на фронт.

"Тенерь по улице идет директор столовой Кэ Бэ Чамър (он так всем и говорит: «Я Кэ Бэ Чамър»», а на самом деле Константии Борисович. Он несет судки и нагает бодро, весело подпрыгивая с каждым своим шагом. Димка переворачивается и пристально смотрит на ROLLINIT

- Весело идет, - говорит он. - Сытый! Что у него

в кастрюльках?

 Перловая каша, — отвечаю я.
 Жаас-ет, — тянет завистливый Двика. И вдруг у меня волосы встиют на затылке. Это я начал прилумывать песню. Я их ужас сколько придумал, и всегда вог TOR

Конечно, можно просто влять чужую песню и доба-вить свее. Пример?.. Скижем, и беру песню «Мой костер и гумане светит». Если се петь как есть, это исем издо-

евшая несяв. Мознан на языке натерла!

Плаумаеция, «Мой востер в тумане светит, вскры гас-мут на легу...». Зачем разводить костер в тумане? Кому он нужен? Да в тумане от не светит, в только моргает, задит в наконец теснет. Дурак сочиный И еще — в ту-ман встра не бъявет. Зачинит, нет искер, которые гаснут на лету.

Плохая песия! По стоит добавить мои слова, и она становится лучше. Я продолжаю так: «...Ночью нас на-кто не встретит, я с мога тебя столкнуь. Почему с мо-стя? А я и сам не знаю. Ну, нал-шли, поругались и спилмуля друг друга с моста. Гауно? Иу и что? Все псеин глупые, так говорит Димка.

.. А директор подпрытивает и подпрыгивает: легко эте ногам, легко его сердцу. И вдруг я тихонько запеваю:

- Легко на сердце от каши перловой.

 Верио, — одобряет Лимка и поворачивается. На абу его моршинки, глаза зажмурены — он ду-

— А почему легко? — спрацивает оп. — Да потому, что ты сыт. А есан ты сыт, то не пропадень. Как бы ты пропед? А?

Теперь уже задумываюсь я. А во мне стучит и стучи: могив песни, что так душение и хривло распевает по рапио Леонид Утесов.

И мот я кою на мотив замечательно красивой песни Леонида Утесова:

Дегар на серане от кани перловой...

 Она пропасть... — подлягивает Димка и останавлияется. Меня же песет дальше. Будто на санках, когда выслещь на лед.

Она пропасть не дает виногда-а-а... — ору я.

Она прогастъ не дает винезда, зг.а... – ору я.
 Вот мы песно и сочинали, — говорит Димка и сиома покорачивается пузса инсря: он доколен и дальше сочинать не собирается. А из меня прет.

И любит кашу директор столовой... — воилю и.
Правильно, — гоборит Димки, турясь на нейо,
что телера герячее плиты. Оно прямо-таки пашет голубым жаром.

Кто еще вюбет перловую кашу? Полумаем... Я люблю. Димья леебит, все любят. Но мотив ташит меня, буто длавка за воротник, когда втираешься в клебную очередь:

- ...И любят кашу облюры повара!

Я авликовою и авхоляваю. Еляму. По крыше прысачо поробы, к имя крядется кот, до ужиес гоций и обледаций. Димия центится и пачаст на него. Повядает — кот пувается в спрыгимает с крыши. На утание тенера усло, и директор, уже в жайне и русках красиюто цеста, кодит у себя во дворе: там у него строится поветький дом из желтатых брезем.

Он сам его строит, по вечерам работая топором: он сильный, даром что пуватый. Двем к вему приходят строить дом старики улины Гоголя Работают они за сту, не горолясь, чтобы съесть больше кани. И директор сердится и ругает, но кормит. Вот жизнь: спел о влию, и закотелясь есть. Линке,

оказывается, тоже. Мы отновыриваем с досок вытоплалушея смолу и влуннаем жевать св. Ова горькая. Помля жевать долго и чаще сплевывать, то горучь уходит и кажется, что ты эдорово, до самых ушей, наслея.

Мы жуем и сплевываем, жуем и сплевываем. Директор стучки тенором, и менки отпрыгавляет от бревна. Старички пилят бревно, возят туда-схода чилой.

 Шевелись! — кричит на них зиректор. — Других пайлу!

И те начинают пилить бодрее.

Мы любуемся партиной: по удине снова илет Квинвии, теперь уже с четырьмя девушками. Они хихикают. 11 вдруг песня приходит во мне сраву и вся! Я пою ее с самито пвивава и до конца, во всю глотку:

- Легао на сердне от наши перловой, она пропасть ве дает викогда, и любит кашу двректор столовой, и любят кашу обжоры повара!

Я перевожу дыхание и пру дальие:

 Она им строить дома помогает, ана мовет и ведет их аверед. И тот, кто с кашей в кветрюльках шагает, тот никогда и нигде не пропадет.

Сочиния! Я сочины песню! И в вистирге я падаю димий индейский вопль. А Димка глядит на меня с ува-

жением.

Я знаю, он куда умисе меня. Он и рыбу поймает в том месте, где она не ключт, и наживалку сделает и про-дост е на бъраходие. А вот придумать песню не может. — Слушай, ты лоэт! — говориз он мне.

— Ха! Ты сейчас заметил?

Здорово у тебя вышло. А пу пой, я поучусь.

— Давай сразу, вместе.

И мы в два голоса начинаем:

— Легко на сердце...

Димка поет, перевирая замечательный мотив. Но вот он схватил его. А Димкин голос зычный, как у динамика, что повешен на влощади. И хриплый, как у целого хора Утесовых.

И вот моя новия песия разносится над крышами и улицей, гремит и раскатывленся, бежит к центру города умицев, гремят в раскатывается, сельных денетор, сельных голову набок. Он ятыкает топор в бревно и уходит в дом. Затем выходит в галифе и зеленом френче.

Директор идет к нам. Я знаю: будет жаловаться отиу. Он это любит. Когда Димка разбил его парники половинками кирпачей, отен по жалобе директора выдрал меня ремнем, приговаривая:

-- Не вакости втихую, не накости втихую, не ва-

кости...

Я ловил ремень обеими руками, вился, мама ломилась в запертую ва крючок дверь (отец всегда выставляет ее, когда шлепает меня).

Отен мне всыплет... Я молчу, и поет один Димка. Он подошел к краю крыши и поет, направляя голос, как

ружье, прямо в шагающего директора.

Чмырь вошел. Теперь в нашем доме слышен шумный и небиятный разговор. Я спрыгиваю с крыши и убегаю прочь, а Димка кохочет мне вслед.

Я прячусь в лопухах: они у нас здоровые, будто в тропиках. Мне виден наш дом, его окна, двери... Я ви-

жу — высканивает Чмырь, а мой отец пдет за ним. Здорово! Он держит директора за воротник и ведет его. Сам он тоний, а директор толстый и очень боль-шой. Отпу не справиться, но Павлов шагает рядом и тоже держит Чмыря за воротник. Они ругаются, и на их крики тотчае собираются: Полюшка Дурной глаз, коза, Старый Черт с тяпкой, фронтовик Квинкин с пятью девушками. Подивлея крик о прячущихся в тылу. Я подкрадываюсь в вижу сон: Квинкии хватает Чмы-

ра за шиворот здоровой левой рукой. Он прижимает приз его голову и вдруг быет коленом в зад. Погле чего ия мэлча стоят, а Чмырь вдет необычайно быстро. Идет с себс. Он входит в кализку, гремит ею, кринит на стаnuson:

— Вон! Пошли вон!

Старияя, собрав инструмент в деревянные узкие ящи-

ки, берут их за ручки, уходят.

... Димка слез с крывик, отыская меня и увел к себе. Мы сидели у него, инпорили об охоге. Затем наелись про ной картошки и влезли на крышу. Инмка сел на астрый ее конек.

Разор. Окая Чимов закрыты ставиями. Мы смотрим и посыпаницую ующу и с горжеством, с насмециой там парту песию. Мы прем и поем, мы охрипан от невел. А в густых сумерках, когда загорелись звезды, очень ч польный собой, я прихожу зомой.

Я босиком крадусь а слышу, что Павлов говорит

- А если попробовать щелочь?

 Омылится, — ответает отец. — Лучше бы варпать на водяной бане.

- А что потом?

Сейчас мы придумаем.

Я вхожу и сажусь за стол. За ним сидят и чертит ва бумажке мой отец в Павлов, крупный, гощий, желгов стария. Он поднимает голову и подмигивает мие, плен постек в справочнике, толстом в пыльном.

На столе, в тарелке, лежит порезонный ломгиками х п.б. Он безый, это найка хворого на желудов Павлова.

SI глазами ем белый хлеб.

Мама неслышно ходит по дому и готовит чай с сав пинном В блюде она ставит на стол вкусную, склидпую кашу из сараны.

Лвадаль три часа, радно, последвие известия! Отец с Павловым тянут шен, вслушиваются - два стерых друга, изобретители еды на машинной смазки. Оба худые-худые, только отец немного посинсе, а Павлов чуть-чуть пожелтее. Известия кончились.

- Вот что мы сделаем. - вдруг догадывается отеп. — Мы ее заморозим и этим разделим на жири, имеющие разные точки кастывания.

 Ждать виму! — ужасается Павлов.
 Зачем? Супем в погреб, на лед. Да-да, я уверен. это и сеть искомое решение, - полумав, говорит отеп.

На лед? Пожалуй...

Я сижу и учираляють, довольный своим отцом. Я знаю, что он мыжет все придумать: ярко осветить комнату одной масляной плошьой, изобрести рыболовную сеть для мелких лесных речек, приготовить еду из карией зопухов и одуванчивов, сконструировать подлодку, чтобы бить фашистов на море.

Он даже знает, как готовят луковины сараны, те, что я отыгванию в лесу. Одного не умеет огоц - добывать заму большими кастрюзван и строить иом из жел-

тых бревен.

Мис это правится, «Буду расти таким же», - реmaio a.

РАЙ В ШАЛАШЕ

Грому-то, грому на улине. Открылась, что Квинкии дважды женат. Не с печатью, и так — все видит, что женшине сущит на веревке мужское белье — рубахи и процее. А сам мужик стоит на кръльце и дамит дигаркой. Значит, жекат, даже если по пременам исчелист и спертывает дигарку на своем крыльне. Как. скажем. Квинкин.

Петук, — ехидно говорила Полюшка Дурной газа.
 Как чикругчинся-то? — гревожились старые мужими, когорым не то чтобы женяться, а даже на фронт

польця. — Катерина баба серьезная, и Евламини в рог пальца не клади.

Его посадят, - гвердил Макар. - Статья есть дия таких субчиков, я знаю. Инвалид! Ему пенсию дают,

чтобы выздоравливал, а он!..

А сам Квинини? Удивлялся больше всёх — он тара-

интея, раскильная руки, шления толетыми губами.

 Да ведь как, мужики. — оправдывался он. — Им разве откажешь? Обе вдовые, обе с ребятами. Одну пожелеешь - другая в крик, а тут еще какая привлентея. - Пу а если участковый придет? - спрашиваля

 Тебе же за авалиять, пора умясть. Ду-умать надо, думать.

И Канания тотчае покорно задумывался. Потом гопорил вздыхая:

- Все верв проклячый. Вырастить бы его скорей, в там уйду на фроне, и решитея мое дело без милиции. - ...Он на фронт сбежать хочет, - шентала всем Полюшка. - Говорван дураку, ходи с девушками. Ав

ост, с вдовами связался: хоть сыт, да побит.

Такую вот кашу заварил у нас по улице Каппана. II кто мог ждать! Ведь ушел в армии губастый парень. нее еще перавший с нацанами в бабки. Верпулся же в 42-м году — глаза врежние, рот тоже, но в плечах , годвинулся вдвое - ушел парень, а веркулся мужик. Силчала ви бодрился: сегодия обитал у одной вдовы,

зватра — у другой в косился на третью. Но теперь, спагазсь от трудностей жизни, когда он ал улице один мольдон мужив, а вдов много, Квинкия сбегая к нам.

мальчишкам.

С нами он ходил на рыбалку, даже пграл в ножичек. Мы ценили это: ведь Квинкии был необыкновенной личмястью — единственным вермувшимся фронтовиком. Пусть равеным, пусть в лечебный отпуск.

До него шли одни похоронки. До него всем каза-

лось, что пропадут мужики до единего, а теперь появилась надежда.

Сначала шло хорошо и гладко — мы кодили за ним кучей, слушали его рассказы. Но так было, пока Квиикин гулял с безопасными девушками — сиачала е од-ной, потом с двумя, а там и с изстью разом: не было

в нем твердого характера.

Тогда-то, почуяв в Квинкине слабину, за исто и взи-лись молодые вдовы: Надька Славина, Катерина Шуст и Евлампия Седова. У них-го марактера сколько угод-но! Начались сеоры и драки. До сих пор эти жемплина были примером: и детей растят, и огород, работнют на оборону. Но теперь, раскидав денушен и нае, пананов, они делили Квинкина.

Мы, пананы, ях не понимали. Дело ясное — они хотели садинать его. Но поему они не могла слушать рас-сказы Квинкина вместе с нами? Каждая браза его за руку и умодила к себе. Там обстирывала, чинила белье и, поизино, слушала сто удивительные рассказы. Потом он сбега́л домой, но его хватала другая в тоже вела к себе.

Ах так! И мы, пананы, не дураки, тоже установим на Квинкина очередь. Как за хлебом. И установили теперь по очереди им владел один пацан, и только ему Клинкии рассказывал о своих подвигах. Пацан же в благодарность был обязан дать Квинкину махры или

сводить на рыбалку, в самое клевое место.

Только мы продолжали между собой дружить, а вдовы этого не могли. Они то и дело дрались, а иногда нааетали на Квинкина втроем — с криком и квохтанием.

словно курицы.

Тогда он удирал к кому-пибудь из мальчишек, а ча-ще всего ко мие, потому что знал про гайный лаз в нашем заборе. Он царапался в окно. Его лицо, прижатее к стеклу, тарашилось, губы расплющивались, бололи. — Надъка и Лампа приходили, — сообщал Квин-

ьии, вадрагивая и омраясь. — Окня мон били, Нистю за косу выволяющеми. Потом за моня вялянсь. Лампа съветном правую руку. Надыки — леную вогу. Кълсдая гинет. Мамка и кладовку запералсь. «Вы моня разрияте! — врачу. — На одной не достануемы Нег. рерву и тинут, тинут и ренут. Кобедь меня отбинка. Слава богу, догодаета, порвал цину и отбин. А сейнас выбу домонот (и точно, слышваета звин стекла и деревинный треск). Н в уводал Кавикина в налаги, ва свою речку.

И в уводна Кашкина в шалащ, на свою речку. 3. была у меня в го время вы выллении речва Коната, была у меня в го время вы выллении речва Коната. Дели пристое все ближние включым у нас. маленицея, были поделены. Лины у пристани, в также и с илотев мог люже рыбу каждый, но выме у увил янцы киттев мог люже рыбу каждый. но выме у увил янцы кит-

рый Димка. Это были его места, хотя река аринадлежали неем.

Но вот очерна, до криев налитые ручьями, округличаленьяю, карасеные, были поделены: рыбы там кватазо как раз одному серексаному рыбаку. Мне осерца не матило, зато был изрядный кус речушки, уменькой, быстро текушей.

Речка была нескопчаемая, словно нитка на катушке. В яем и убедался, охотись с подхода на уток. Она пересевала лес, вотом громадими луг и внадала а общую реку. Лесную часть занимал и, а на дутовом отречке наонвала руку пуланчики. Ловили без крючка (поди купи-

его!), на связанного пяткой червяка. Речка была моя еще и потому, что в ией водились

линь гольяны да бешеного права харнусы.

Гольян слишком мал, хариусы же рвут лески и упосят драгоценные крючки. Ловить их можно было только им лески, сплетенные из влолее черного конского хвоста. — их хариусы не замечаля и клевали. Но черный хвост имеля единственная в нашей округе донадь Зорька. Я потребовал, и мой отем зарисовал с карточки потрее с хомянна, старшего Аверкина, что воевал около Ленниграл.

волосы из хвоста Зорьки драл Нарисовал -

я олин. Хариусы были хитры, я их довил, спратавшись за кустом и погихоньку выставляя уделения. И все же больще двух-трех ноймать в одном месте было невозможно.

Одоло речки в и построил полаш, покрыл это медкими ветками. В шалаше паклю веником и было корошо. Он спосал от дожди и меня, и бродивших в лосу ягодпиков, грибников, и. бывало, охотников. Шалаш был таной удобный, что я часто уходил симы просто так, даже жил в нем.

И погда снова расплющился на степле Каникии,

отец разбудил меня и сказал:

Спасай человеке, здовы в атаку перешла.

А мама заворчала:

- Разбудна в такую рань. Жили без него, на тужи-

ли, всех баб перебулгачил.

...Было смутно, четыре угра. Вдовы, шептал Квинкин а фирточку, примчались к мему домой. Он же разсказы вад в это время весиные истории Шароновой. Квинкия пзял огонь на себя, отвлех вдов смелым манеиром, а Катька тем временем залезла в подпол. Теперь вадовы лерутся между собой...

Я вышел босым, только надел отцовский пилжак.

Мы с Квинкиным прокрадись огородами, по-ваястуиски одолели росное поле и вошли и вес мокрые до ушей. но счастливые. Квинкии смеялся в советовал мис-

 Слышь, оставайся пацаном, не вырастай. Честио говорю, хловотно быть мужиком, а почему, не буду го-

ворить, сам узнаешь.

Но меня разбирало другое любапытство: ныняе и был сто списителем и гадал о том, что мне растивают сего-

дня фронтовик Квинкин.

О. его рассиялы... Он втолильнязл, какой свиреный и упорный враг фацисты. Рассказывал, как нацили рояль в доме, откуда выбити фрицев. И лоти в дом брогали гранаты, виструмент уцелел. Он лично играл на сем зчижик-пыжнка, а выкруг стреляли.

Ты же гольно на своих губох играещь. — возму-

плася Старый Черт, плюнул и ушел, ворча себе под нос. А расскалы Киникина о схватках врукопанную! Как он подбил танк из обыкновениейшей винтенки, угодив нулей в ствол срудии. Фашисты перезарижали орудие, отврили замок, а пуля Квинкина влетела и убила вонандира. Потом, скача рикошетом в танке, поубивала остальных фрицев. Квинкии взил машину в плен и был представлен к награде.

Да, да, генераз обещал ему орден.

Сапасм, Квинкина было не переслушать. Мы, вицаин, понивали вдов: те работали днем на заводе, потому слунияли его рассказы ночью. Вот только ноясно, отчето им не собираться вместе?

Это была Великан Женская Тайна. А мы знали от

гарых мужиков, что женщин повять ислым.

 Шалаш у гебя знатный, — хвалял Кинокон, злесь бы и жить.

Я стоил мокрый по ноис, но гордий похиалей. Я и им доволен шалациям; место для исто и шебова выд ручной, в поросли мелких сиева, с видим на ингровий эт. Когда отен не кашлыл, он приходил сюде с мель-.. ртом и висал этюды для будушей своей картавы «Свбиова.

 Хорошо в лесу, — вертел шипаной головой Капи — Хорошо мые с вами, паналами. Пропал бы и без. вас, честное слово...

Оп улыбанся. Шеки его были испараваны, под правым глазом називался свиях, жевая рука подвизана подотенцем в васе. Но он улыбален во всю ширь свосто вкобъятного рта. Такого большого, что не зватало зубов, чтобы стоять свлошь, и каждый из них вырос на расстоянии от другого.

- Птички летают (мелькиула краковая утка).

говорил он. - Рыбки плещут (хариусы остервенело бали мух). Благодать. А тебе чего надо, малый? (Бурун-

дук пришел смотреть на нас.)

Зверек ваглядывал глазами-точками, и Квинкан нарочно окаменея в своей гимнастерке. Он таки обмануя — эперек забегал по его пленам. И на испорченном адавыми ногтями, кругаом и добром лице Квипкина блуждало удовольствие.

Киникии не выдержил, шевельнулся, и бурундук ис-

чез в росной зелени леса.

 Хорошо здесь, — говорил Квинкий и тревожился. - А бабы нас не найдут?

 Она нехорошие, — гвердо сказал я. — Ты не прав. — возражал Квинкии. — Их жалеть

падо. Живется-то им как? А? Ты лучие расскажи что-вибудь.

 Слишь, — сказал Квинкии. — Домой и сегодии вдтя боюсь, а жрать хочется. Ты бы угостил меня рыбкой?

Не это запраето, леска у меня всегда в кармане и помия е собой. Я тотчас вырезал ряблиовое удилище. оставив на нем (мой секрет) зиствля. Привазал деску. Подползая к речке на брюхе, я быстро в удавно пойма в четырех хариусов, граммов этак по двести-триста каждый. Их. обмазав глиной, мы с Квинкциым испереда в востре и слопали.

Боз соли.

Каписли облизывал пальны и говорил:

- Вот это жратва! От такой классной еды нерв растет. Мне такую рыбу есть надо, а то все картошка на картошка.

Он причмокнул — вкусно!

 — А теперь давай расскажи что-инбуль. — попросил я и сел поудобиее, праготовался. И и угадывал его потриеный рассказ о том, как ов. швырнув в танк котелок с горячей вашей, понал в смотровую щезь. После чего ослениий танк боком влез в снарядную воронку и перевернулся.

Да чего там!. Я сам был готов рисскавывать все история Квинкина, выговорить их лесу, туману, дроздам, грасогузке, пробегавшей по узенькой полоске гризци, это окаймляла ручей.

 Гая, — сказал Квинкии, уставившись на трясотузку, — аккуратная дамочка, идет всерло... Себчас

а тебе, паря, скажу, как меня ранили.

Этого он еще вывому не рассикамива. Я даже окамепеа, а злага мон става кая линам в отповском «Фотогорез: ведь в должен был не тольно усащиать, но затинкам. Паредать рассика стиу, камы, сестреные, мальчинкам. Даже ядовам, ежели они хорошенько попросит меня

Н Квинкай заговория, но каким-то чужим голосом. Словно старик лет тридцати пяти — сорока Даже круглем его лицо обвисло и постарело, а влечи сжались, как у отновского пиджака на вещалке.

— Там была втичка, — сообщил мне Квинкии, гляия на трясогузку. И, всломиная, замолчал. Я решва, что рясская Квинкина будет бесконечен. Во, повезало!

А дальше? — спросил я минут через пятнадцать.

Там была трясогузка, — сказал он.

— А еще...

— Странно, — сказал Квинкии, помолчан. — Память, что ли, мне фанист отний? Злачи, он пер, а мы отбивались. И был и один городской, а нее оставливазаждиве мужими. Народ тижелый, их заставить что сделять, ронно пень выкорчевать.

— Ну и...

 Держили мм. парень, оборону. Сходились в том эесте два оврага в перешечеем между циним, зназны, как то бывает. Там мм. акрылись, а за намм. сам понимаени. Расев, поде, пунь на восток. «Ребята! — кричиг комбат. — Умрем, а не пустия фаницета! Выстотимы За кричел и, понятно, разгорячната, стал пример поназывать и выставияся. Пулька его и продырявина, на фронте уж коли ты зарылся, то не высовывайся.

И тут то фрицы двинули таяки.

Сважу тебе, спаряд понимаещь, пушка, ее налибр и прочес. Фаниста, ваушего в атаку, не боншься — ты сидиць в земле, а си-то открытый и смертный человек. Тольна, сереляя, из горячись. Самолет-пикировщик это, конечно, плохо.

А вот танк ин с чем не сравням. Он вроде бы целипом из желева и, пониманны, ползет и стреляет, присаживнется от отдачи орудий и стреляет. А не то вак резанет из пулеметов. Жуты По противотанковые гранаты у нас были, две. Мы выдвинули Ковыля и Харигопова, мужимое адпровенных. Наповлись, чэнименны, ка-тилусь проход, подсервов два танка.

Подпустили их. Но Ковыль погоронияся и гранату не докинул. Харитонов бросил удачно, да попал в березву, та и спруживила. И обе гранаты вворвались не там,

где нужно.

И танки, эти ходичие железище, разпернулись и давай гадить по нас из пуляметов. Круппокалиберных. А это, нарень, уж не дай тебе бог!

Пришлось удирать.

Ми уходили по оврагам. Глубокие такие. Вежим, и тут-го меня и рубануло вроде топором. Сомасл я. А косда пришел в себя, то бородач Самарии сует мак в пасть горявшко фляжки. Хлебнул и — водка! Сразу мие попегчало.

И вот сижу я, привлаясь к кочке, вокруг меня осока, кусты, и нас торсть осталась. Смирно, а в годове все смешалось, даже понять не могу, на что смотрю. Важу пятнышко какос-то мельтешится. Всмотрелся я у воды прыгиет трясогузка, ранеяная проде женя. Пулей ее едва зи шибануло, скорее веткой отбитой, но крыла у нее нет.

«Вставай, — говорит Самарии. — Авось уйдем», — И погрозил фацисту кужаком.

«Ес-10 за что? — прациваю. — Пинчку?» «Бредит. — сказат Скоп. — Повътркан стор.

Так мы уили к своим. Меня подожани сов. в запрыт (Квивкия оживался и споза был молодым). Пиднилась у меня температура, пари, аж в сто спрок градусов. Термометр допнул, св-богу! фельшиер газая выпушка

ляет мис воды, и клебву, а из поздей овр идет. Я лежу, матрасицию кравиной подо мной димится, в же брежу птичкой. Всадит мис шкриц обезбаливаюшего — мерещится се оторовные крыло, виму, будто

ено — это я, сам лему в кустах, а по мне музи полавит. Дл. брят, странное чедовеку делет в голову. У мена в башке погла одно горовлог иу кода нам не мватает моэта жить мирно, за что квлечим итах? А котом сы зна в далаги. — мне откуск дали иери растить. Вот и исс. Чего губы вадул?

Губы надуа... А почему мие их не вадугь, если и его чине, накормыя хариусами, в он рассказывает скупную группу? Птички!.. Я лично стреляю двые тегененыя.

Квинкин говорил:

— Вы, пацалы, вес ераасте, на войну хотите. Поди, можень? А ты не торолись, успечнь. А уж аоли пеназень, то помин: с танкали шутки вабли. Такии с собой противотациомую гранату, тажело, а ты се веси.

А коли выживень и верненься домой, пущь ганка інйем ядов. Ты их вожалевню, а чего хэрошего? Вот, перан непаравана, умина обхолочется. Но сами бабы зобрые, это живнь такая. Сбегай-ка посмотри, ушан Лампа и Надежда?

....Историю ранения Квинкина я прилумывал сам. Такую.

Будто бы Киникин раздразинд сразу два неменянах навка, такое им кракнуй, что фациеты резнала задавить по Обязательно! Ов же стоит, поплевымая, и не убегает. Танки разогнались на него, а Квинкии отскочил, и те спинблись лбами. Загорелись, понятию. Квинкии, само собой, взял в плен оба экипажа, но, ведя их в 1944, был ранен шальной пулей.

И пацаны мие поверили, потому что Квинкии был первым создатом нашей улицы, вернувшимся живым.

Как тут не поверишь!

А что он боится вдов, это мне понятно. Все на удане: нацаны, старые мужики, кошки, собаки в. думаю. комяры — боялись военных вдов, худых в влющих, буд-

TO OCH. Попробуй-ка соври у такой морковку с гряды!

Страшное дело!

игольный бум

- Миллионерам живется сладко. - повторил Димка свой афириам. И, откусив яблоко, зачавкал: такое было сочное. Словно брюква в дождливое лего. А еще было румяным, как соседка Неллочка, пока она заведовала магазином.

Яблоко шипело в Димкиных зубах, брызналось со-

ком — я видел эти летящие квиельки.

- Вкусно?

— Аперт, — поясния Димка. — Мировое! Хочень?

Продивали эти чудо-иблоки южные копченые стариия в ватных хазатах, перепоясанные полотенцами. А есть иблоки в войну могли только американские миллионеры, торговка картофельными драниками Полюшка Дурной глаз да инвалид Кокии: он счастливо играл на барахолке в угадывание карт.

А теперь яблоки жрал Димка.

 Ешы! — Он дал мие другое. Я впился зубами пкусно-о-о-о! — и базар вспыхиул в моих глалах.

Засветилось топленое масло в бугылках. Тыщу руб-

лей стоит такая бугылка, а мы можем купить, если за-NOTHM!

Мерцало кровяное мясо, сытное, дающее силу в рабите в драках. Пожелаем и сварим из него щи, сами нажремся да еще покормим Димкиных братанов, когда те вернутся с работы.

Но яблоки лучше всего... Димка выбрал и купил еще одно. Он держал его на ладони и покачивал, словно баплал. И ждал, когда я доем свое. Кончилось - я об-

сосал черешок. А это дань отцу. — Димка сунул яблоко мне

в руку. Вот пошла жизнь! Я даже стал отказываться.

- Таког большое. Ты хоть откуси разок - Бери, бери, его сегоднящияя доди.

И верно, в нашем деле была доля мнего отца. Дело таков: Дямка занялся выпуском швейных иголок, я же пимогал ему вечерами, после школы. Мы делали разные вголки, чаще огромные, которымя удобно починять мешки и сношенные валенки.

Пытались наготовлять и гоненькие. И наловчились в конце концов, иголки были что надо. Во-первых, матервал: Димка носил с работы сталистую проволоку, желтиватую, пружнанвшую. Во-вторых, Анмка делал вгол-

ки, а я их полировал.

Он мог сделать любую иголку на свете, но медленпо. И так же любовно я полировал ее.

- Слушай, - говорил я Димке, очень довольный п чером. — На кило картошки мы заработали.

Да. — отвечал он. — Так работают черенахи, са-

отажинки и мы. Пужен станок. - Зачем?

- Чтобы пропускать савозь него проволоку. На нал приделаем наждак и будем крутить и вытачивать иглу.

Мы занялись станком. В дено Димка аопросил друп отца помочь, и через месяц станок, эдорово вапоминающий мисорубку, быстро и легью делал иголки без унков. И даже сам начерно поляровал их. Но ушин мы все равно пробивали вручную и теперь за вечер зарабатывали два кало картошки. Что было плохо — при станке-то!..

Мы попробовали ускорить дело, пропаливая разрезные, в виде шели, ушки. Но такая игла плохо держала

нить. Пришлось идти советоваться к моему отпу.

Вил мороз на улице и у нас дома. Отец сидел в зимнем пальто в вырисовывал кисточкой на плакате блеск штыка, которым наш солдат протывал фашистского осыминога в каске.

Осьминогу это протыкание насквозь штыком не правилось, он дрыгал шувальцями. И в каждом было нажато оружие; в одном — автомат, в другем — самолет

с черной свастикой, в третьем — пушка.

— Ушки не получаются? — пересприсил отен и вытер кисть траночкой. Положив ее, он повертел в нальцах слепую иглу, бормоча:

 Черти, промыска открыли... Ладно, в принимаю ваш заказ. Но говерар будет высокий: десять шолок.

 Половину ваработка отдам! — сарачо воекляннул. Димиз. — С ушками плачем, в них вся загигадка. -- Нет, - ввупрямился отык, - один десяток.

Он глидел на нас, странно округлив глаза. И я понял, что к нему уже пришла догадка об игольных уш-

100000 И другое и понимал — раз отен решил брать деся-

ток иголов, ты хоть кол ему на голове тещв. Лады, — сказал Димка. Они пожнан друг другу руки, и отец велел маме собпрать на стол - будем пить

uañ. Она принесла от порога отличные паречки из тыкам и свеклы - пайковый сахар мы уже слепали и теперь кормились сахарной свеклой. Двя три подряд мама паряма ее с тыквой в духовке. Получался коричневый

спадкий мармелад, который и звали паренками.

Мама поставила чугун на стол. Димка вынул из кармана пуставила чугун на стол. Димка вынул из кармана кусок класба, запернутый в бумату, а отен подпелил вилкой самыную бальную паренку. Сунул Димке: сппd. И тот отломил лоллайки и положил клеб на стол.

— Видинь, дада Иван, — говория Дамка, жув, — в сегатах валатя бераниета Головатого. Он самолет кувлав в ярмив подарыя. Одні, Я же, если вы поможете, ферановту исе утру, куплю два самолета. Сообразите оперь издала стоит на баларе урик, и это справадивая исма. Иголки часто ломают и теряют. Заявит, у меня дерешенсяме и теродская стети купля миллин иголом. Я буду миллионером! Тогда сколько пужно дам на самолета, оставное проем. Так склание, поможет, в составное проем. Так склание, поможу в измогу помочь вам, коли самое грудное — уливи — сделаете вы?

Не желаю, — заворчал отек, — по все-тики спа-

Он высморнался в платок: в растрогалея, и был про-

стумси. Наванув, сторив муня с дининам списком в техническую библютеку, отен обложится справочинами. Засхвала он тенерь подрод: сидя у ментинки с мустиным рофозитирыя, он давая выписки и покантинка. Тауко, стоино в попилос.

И спосой был наидея! Химический! В соединения

с электрическим!

В мутной жиже, пакнушей чем-то бражно-кислым, отез меньом электродом в секувду проручал в игле дырку. Ровненькую, гладкую.

Конечно, интересно было бы автоматилировать процесс, — говорил, свети глазами, довольный отек.

Но тто задача не изверетателя, а виженеров.

Я же раздумался от гордости — отец мой все знал и все умал. Он и картины писам, изобратая разние. Сип-

жем, этот ушкодел. Также он изпорел лопато-вилы с хитро выгнутой руконткой. Ими было легко, висело

копать картешку.

Пля, скажем, тыквы... Она плохо вызренлют в начинх краях, в Свбири им холодио. Что тут придумаешь? Но мамя потребониля, и отен изобрел метод. Он пескал плети вверх, по дискам забора. Тыквы поднимались на солние, а там дожились на специально прибитые полички. Замечательно выпревали даже в свиое холодиос

И хотя мамя кричала, что теперь надо и побрасти метод выжить и не помереть ему самому, отец работал над подводной лодкой с экппажем в два человека. Даже строил модель на чердакт, доносился еверху железный грохот, стуки и скрипы. И еще то рядостный хохот, то чертыхания.

— А что ны тут наболгала? — нюхая жижу, спращи-

вал Димка.

— Севрет фирмы, — похохатывал отец. — Буду тебе давать раствор. А то, чего доброго, ны и вправду стапсиль миллионером. Но где ты возьмены батареи?

 Мое дело. — сказал Димка. Он сделал множеетво электродов из красной меди. Затем я зажимал иглы в деревянные планки, притыкал к ним электроды и опускал в бражный электролит. Дямка же через выпрямитель давал ток. (Брал его из сети, ослабляя трансформатором и контролируя вольтметром, - мы их дени во купили на барахолке.)

И скоро пришел двиь, когда мы с Димкой заработали за один вечер на бутылку топленого масла (яблоки

были потом).

Теперь каждое воскресенье Димка, повтыкив аголки в полоски холста и перепоясанинсь ими, ходил по базару. Я брел следом.

— Иголки-и! — орал Димка. — Иголки-и п-и! Разные! Острые! Сами шьют! — векрикивал и.

- A вот вголки-голки-голки! - орал Димка... Их здорово покупали, и мы с Димкой зажили сытио. (Ленивые его братья иголки делать не желали, по вормились вместе с нами.)

Во пошла жизны!.. Раз в неделю мы ели самое настоящее мясо! Я приобрел себе Брема — десять растрепанных томов. Но Димка обзаводился одежей. Он купил за страшные деньги слегка потертую кожаную куртку и высокие резиновые сапоги — для охоты. Он даже завел себе шелковую рубаху. Вскоре это был самый шикарный пацан нашей улицы в, быть может, всего города.

Что же, умен! Лобешница во какая, а губы поджаты, будто у варослого, синие веки накрывают глаза, чтобы

в них попусту не заглядывали.

Я гордился Димкой. Вот его отец воюет, померла мать. Он же ходит в шелковой рубахе и передовик на рабите в паровозном депо, изготовляет иглы и уже поговаривает о покупке первого самолета.

...Когда мы продали за воскресенье тысячу иголок, улина ваволновалась. Теперь, работая и оглянувшись на шорок, мы часто видели в сумерках чью-нибудь фишономию, размазанную по стеклу. Наблюдающий за нами глаз варочался, шарил по компате, словно про-

жектор.

Я высовывал язык, в Димка вставал и этак небрежно подходил в окну и задергивал новелькую штору " дырочками, красиво прорезавными всюду.

Из такой материи, — хвистал он. — ежели б не дырки, любая тетка себе блузку соцьет. А и её на оким!

 Хорошая штора, — соглашался я.
 Потому что и умный, — хвастал Димка. — Все мозги, отпущенные на братанов, достались мис. Заметь, у меня теперь все хорошее. И ружье в себе куплю самое лучшее на свете, вот увидишь.

И увижу, — не сомневался я.

- А что, дядя Пван не берет свой процент?
- Он такой, он не возьмет.

— А ведь кашляет все пуще. Цавай так сделаем, говория мудрый Димки. - Ты будто едень на рыбалку. а я куплю у Максимыча десятов-второй шкуней. И с охотой мы его станем объегоривать.

Таким пот образом я вскоре гремел на удине как добычливый рыбак и замечательный схотник. Всклипыная,

мама щивала уток и называла меня кормильцем.

...Приходил в нам участковый Свдоров, друу Димьиного отца. Хороший дядька, но с грыжей. Потому был не в околах, а дома. В револьнерной кобуре он носил кисет с махоркой и подарок Димки — зажигалку из латуиного патрона.

 Миллионером, говорят, хочень стать, — ухмыльлся Садоров и закуривал. — Что с миллионом велать бу-

дешь?

Участвовый садился в деревянное пресло и снимал фуражку. Затум он морщился и трогал правую негу в нее отданала свою боль грыжа. Но Дижка все придумал заранее.

- Миллионеры живут слидко, дядя Сидоров. Я сасдаю так: двости тысяч отдам на самолеты, на остальное стану жить. Отну приберегу. Вы его знаетс, кулрки у не-

го здоровые, а голова слаба... У отца-то?.. — взумлялся Сидоров. — Ах ты наршивец! Бросай-ка это дело, парень, вконец испортинням. Или, не ровен час. грабители прининбут.

- Я то? - удиваниен Димки - Мени-то?

- Тебя. Консчио, ты у нас один на улине Рокфезлер.

Ружье у меня зачем?

- Гм, фроловка? Ты, фабрикант, гначала бы ружье завел с двумя стволами.

Одноствоями лучше быот! А закончитея война,

я куплю себе «зауэр три кольца». Во будет ружье! А чо, диля Сидовов, вам иголки не нужны?

Только две, я заплачу.

Сидоров вынимал дви рубля. Но не уходил, а спрашивал:

- Ты уговорил торговать иголками Стирого Черта? — А чем плохо? — немедленно отвывался Димии. —
 Работаем с половины. Деду сытией, и мне хорошо.

А что в депо?

- Передовик в цехе, двести процентов даю, карточка на доске! Я умный, - квастью Димка, - везде

успеваю.

 Востры вы уж слинком сделались. — вздыхал участковый, глядя на вас. - Не деги, а старички. Ты. ов уклонал пальцем на меня, - старей своего отпа, Ты же, Дмитрий, у меня на участке теперь самый старий, тебе две тысячи лет, ты только с виду пацан. Дай мне иголки, те, что потолще.

- Мы вам дарим.

К черту! — венымивал участковый. — Рупь-два

у меня всегда имеется. ...С яблоками и мясом мы вериулись с базара, свариле ци и посбедали сытно. А когда и уходил, Димка

остановил меня. - Тут лежит доля отна, спрачь. А подобрест, отдай

ему... Иля вет, лучие мамке отдай. Димка вошария в ящике, куда братья видали обрывни веревов, ракавме гвозди, сломанные щанцы и прочую

дрядь, и выпул свертня. Тугой, жесткий на ощупь. Я сжал доньси и стоил. В окно мие виделся город. В пебе жужжали истребители: их делая наш завод,

а испытателя проверяля, голяя дням и аочью.

 Изобретателям надо платить, — важно говорил Димиа. - Иниче все остановитея, викакого тебе прогриска. И., значињ, — вдруг прошентал оп, — ходят вовруг какие-то. Грабанут еще! А в сберкаесу и блють идти, деньги храню дома. Суну, куда вор сроду не поглядит.

...Я принес отцу деньги и яблоко. Отдал.

- Вот твоя поля!

Отец яблоко разделия на три части, дав состреняе и маме. Затем он сунул вое в Димкин сверток и варуг

пазбушевался.

Ов бил желтым куланом по стилу и кричал гордые слова. Но вдруг устал и заснул прямо за столом - он теперь быстро слабел. И старел быстра, слояно с горы катился. Старухи на улине говорили, что он помрет следующей весной. Зацветет черемуха, опадет се цвет, и он **УЙДЕТ** ВМЕСТЕ С НИМ...

Я вашу чертову машину поломаю. — бормотал отец, просыпаясь. — Ах. бестия, он покровительствует.

Нет. каков поросенок!

— Что ты, старый, бесниься? — говорила мама. — Ребята трудятся, они корошие, непорченые, нас подкар-

мливают. А ведь это полагается делать тебе.

- А ты внаешь, сколько вдесь денег? Десять тысяч! Да! И пусть я сдохну, а не стану брать! Мой сын вырастет делягой? Не допущу и Димке не позволю. Я их рязгромлю, я им покажу...

Но громить нас отпу не пришлось; вечером того же дия, часов в десять, я побежал рассказать Димке. Но войти к нему я не смог, хотя и стучался в окно. Сильно.

Димка не выходил, не открывал мне дверь.

Свет в доме есть, а его нет. Помер он, что ли?..

«Убили, — шеннуло мие. — Ограбили».

И знакомый с детства горинский дом, гемный и горбатый, с повисшими ставиями и слепыми малепькими окнами, стал чужим и страниным.

Я дружил с Димкой, шутил с его петухами, слушал песни его отца и вообще любил этот дом. Но теперь боялся его, даже ноги расслабли.

Странное было в молчания дома. Оттого, что в нем

чрко горела плошка с зеркальным рефлектором, брокая прасты на потолов, становилось еще страшнее.

Эго значало, что Димка там, а с иим случилось

XVIIOe.

Да, его ограбили, это случается с богатыми людьми. На мой стук повыходили согеда, а Старый Черт пра-

бежал с вилами.

И Семеника ушла за милицией, а я всирикнул, разпожался и ударил плечом в дверь. Она оказалась певапертой — я влетел в сенки и времался башкой прямоп. внутреннюю дверь. Затем стали входить соледи еначала в сени, а потом в дом. Лезли веей толпой, мения друг другу (я не шел, мерешились ужасы).

Но Димпа был жив, соседи ношли и увидели: он си-х в стареньком кресле и плакал. Молча.

Рот его, большой и усмещливый, был загвнут сырой картофелиной. Огромиейшей, фиолетовой, взятой из ведра, что стояло около двери, чтобы картошка ве дрябла.

Он жив, жив!.. Но до чего же крепко привязан!

Я развявал его. Димка встал и выпул картофеляну. Он ходил по комнате, мотал головой и все не мог запрыть рот, чтебы сказать, кто здесь был.
— ...кятая... тошка... — выговорил он наконец.

А затем Лимка, который был умней всех стариков пашей улицы, сел на пол и заревел, как ребенок, только басом.

Иг-гой, — орад ов, идача, — иг-гой...

Я кинулся в другую комнату: и верно, игольный ста-пок утащили воры. Это грабеж! Его предвидел дядя Сиперов. Ну не дураки ли воры?.. Торонясь, они забыли прихватить бутыль с раствором для травления ушков, сабыли ванночку с электродами. Хоти она стоила на

He поияли, что это такое?.. Спешили?..

- Луки, - говорил мие Димка растянутым ртом.

Сам вытирал глаза и рот, размазывая грязь по щекам.

Затем умылся. Прихрамывая, вошел Сидоров. Он ходил туда-сюда и вдруг сунул руку в вечурку, где валялись щевки и старые трянки. И вынул деньги. Пересчитал велух:

— Сто... тысяча... две тысячи... Пятваднать! Твон?..

Мон, — просипел Димка.

Расскажи мис, как выглядели грабители?

 Ак вюди, — сказал осторожный Димка. Они тебе грозили? Ты их боишься?

— Дуки, убют... Участковый бросил начку денег на стол и велел:

 Их спрачь, приобщать к протоколу не буду. Невадо... покона... — просил его Димка. — Нева-

до... убют дуки...

Сидоров, махнув рукой, ушел. Я осталея. А в двенадиать ночи, стуча деревянной ногой, ношел мужик с чемоданом. Огляделся, сняд шляну. Настоящую. Сказал:

 Я с завазом. Беру сто, деньги со мной. По плачу не по рублику, исное дело, а по три четверти. Зато

вперед.

— Тись ты, — сказал Димка.

 Не повимаю я вас, молодой человек, — с достониством возразил одноноски, - учтите здопоты и риск... Ясное дело, кочу иметь выгоду.

Тупай, — велел ему Димка. — Я босил...

"Отец положил Димкины тысячи в сберкаску на ими Дматрая Горина. А те децьги, из авчурки, Димка сдал в финд обороны, пятнаднать тысяч летковесных выенных рублей. И невыносимо заважничил. Но иголки он больше не делал.

Игильный бум кончился, иголки в города тожа. Воры промахнувиев. Стянов наладить было просто, по уш

ки... Их воры делать не умели.

А кому пужна иголна без ушка? Так и не стал Двыка налиомером. Но вогда заходят рамовор о тех, лаипреких, он важно вивает большущей годовой. Потем порекает новый афоризм:

- Миллионерам живется трудно.

димкины сороки

Мясо!.. Оно мне синлось.

Я чувствовал его во рту, неныносимо, дерако вкусное, и просыпался, глядел с высоты моих теплых полатей. Провантельно сняла лува. В углах стояли черные

Я видел спавшего отца. Он тяжело дышал. А по комотте, тяжело ступав, идет Невидимый. Мне страшно. Волосы мон шенелятся — под ногами

Зевидимого хрустят половицы.

Я коченел в ужасе и опять просыпался. И видел луву отца, лежавшего веводвижно, и слышал, как в компите за занавеской сонно дышали мама и сестренка.

И мне хотелось съесть пусочен миса. Но мы сто дазаля отцу — он хворая, он быя нашим кормильцем, ему пульно конять силы. Сами ели партошку, а ее не хватато. Она кончилась в январе. Теперь в подполе жежали плаько закатившиеся проросине картофелица.

Ростии их были как лапы белого паука.

и педоверчивые старики говорили мне:

А чтобы у нае снова появилась партошка, был нуыги нашатырь. Тот самый, что упогребляют для паяппа. Димка приносил нам нашатырь в свертке на обер-точной бумаги, грубой, скаерно сделанияй, с деревяяпими запозами

Но я вленл из нее маленькие пакеты, развешивыл пошатырь по сто граммов и гвердой рукой писал: «На-

шатырь натуральный, Вес 100 г». Четки, уверенны были мон буквы, колхозные женщины не сомневались в нашатыре и дечили им телят. Толь- Если врешь, паря, большой тебе грех, животное

Хороший нашатырь, — влядся я, вертя головой.
 Смотрите, пробуйте, похайте. Сахарный нашатыры!

-- Ладво, ладво, не трещи... сорока...

Я не врал — Димкии нашагирь был действительно хороший. Цена его тоже: ведро картошки шло за стограммовый пакетик.

Картошка могла быть крупной или мелкой, розовий или желтой с фиолетовым (отец называл ее Вторым ван желтон с фиолетовым (отец называл се Бторды Интернационалом, в Димка — совлинками). Любая, по ровно ведро. А вот за отцовский костюм, незаденянный, нам даля только мещок картошки.

Такие были нашатырно-картофельные дела.

Так нашатырь в химии жизни обращался в деревенскую картошку. Она же, если кормить поросенка, ста-новилась мисом. Наевшись картошки, можно было идти на охоту и добыть дичь, то есть опять превратить картошку в мясо. А оно давало свау жить дальне. Шел воскресный день. Я побежал в Димке Горину.

падо было уговориться о нашатыре — зима клонилась к лету, рождались телята. И надо было договориться с ним о дроби: с юга уже спешили к нам утки.

Я бежал улицей, серой, с исчезнувшими заборами,

с недовольными рожами домов. Бежал, подпрыгивая, фепраль прожигал насквозь подошвы валенок.

И была во мне ласковая слабреть, и хотелось мяса (утром мы ели паренки из турненси, кисленькие, с привкусом редьян. Отну же дали сало и несколько ложек меда).

Димку я не застал, дом был открыт, но пуст. В нем пахло горелым порохом — значит, Димка опять практи-

ковался в стрельбе.

Дом после смерти тетки Аниа торопливо препрадом после сверги тетки павы горование превум-нался в берлогу, стены поковыряны Димкиными дроби-вами, братья Горины колют дрова отчего-го не на улице, а прямо на пороге, и тот ерошился щенками. Стены не нобелены. На печи углем написано: «Жди!» Написано Димкиной рукой мис. На столе же рассыпаня нареная влатошка и постав-

лена солонка со скотской крупной солью. Одна картофельма наполовину очищена и кудряниллясь кожищен. Она видеохля и пожелтела, будто кусов лежалого сала.

Она видеомта в пожелтела, будто крези лежалого сала. Слюна наволяная мой рот: в свои четырнаднать лет в всегла мотел есть. Еда не голько спилась мис.

Свля на уроках, я рисовал на промокашке коглегу и тогчас начинал видеть се, шохать, жевать,

потчас начинал видеть ее, июхать, жевать.
 Сейчас я повелел подсохшей картошке стать сладким

пирожным.
Я наява ее, слизал крем, съел и, не раздевансь, сел в печке. Она колодила — куржае медавино правималич

в печке. Она холодила — куржав медленно воднимался вперх по двери.

116 где же Димка? Раз велел мне ждать, значит, он

недалево. Он не ходит без дела. Изверное, Димка сейиспалево. Он не ходит без дела. Наверное, Димка сейизк в хлебном — стоит в очереди. Ему тепло в инусно похнет хлебом.

Пусть стоит. Я буду ждать.

Димке корошо, у него рабочая карточка (он работал

на месте своего отца в вароволном депо).

Кстати, где его братья? На работе? Хорощо, что их ист, а то бы стави шутить, загибать мне салазки, Или, схватив за виски, поднимали вверх, покальвали Москву,

От скуки и стал конаряться и инструментальном стосоратьев. Они богатие — тисы, щинцы, поднилжа разной величины. Что и говорить, мастера... У меня же строино косоланые отношения с инструментами: и могос придумать, а делать пичего не умел.

Вот придумал разборные сани для поездок в дерев-

по, по сделать их придется Димке.

А тот умел все делать. Сейчас он делал финские пожи. На столе лежали заготовки — несколько стершихся напильников. Один нож был закончен — поэпронанпое чудо!

У него наборная рукоятка.

Набирал се Димка на кусочков плексигласв. Он опидивал, формовал ручку, шлифовал ее шкуркой и затем хромовым порошком — до игры на ней солнечных

Я азял пож — и тотчас увидел фациста. Тот шел прямо на меня Кашкиун: «Гиглер капут!», я поравил

его точным ударом.

Пока фриц корчился на волу, я положил нож и стал искать ружье. Мне хотедось подержать его в руках. В четыризднать дет мяе не только все время хотелось есть, но и было скучно без ружья в руках.

Я мог вертеть его цельми дняки, всяндывать,

пелиться.

Охота же для меня была вепрерывным счастьем.

Я охотился с отновской тулкой — Димка купил себе ефрозовкув — одностволку двадиать посьмого калиб-

ра, переделянную в дробовик из трехлицейки. Но ружья не было. Скучно! Я из окна стал рассматривать двор: сарай без крыши (ес сожгли), черное пяхпо помойни, забор. Доски его оторваны, от забора остались столбы в продольные жерди.

На них силят две сороки. Пеподкижные.

...Эти сороки).. В город они являются с первыми морозами - кормиться, но каждый день улетают поченать в лес — вечером, на закате.

Летят высоко, скрипя мороженными прыльями. Закат

румянит их белые животы.

А вот ак прилет в город и накогда не видел. Чуть рассистет, а сороки уже торчит на наборки, деревьях и дымовых трубах.

...Сорови силели. Я прижая ное в стеклу, разглядывая забор, его жерди, торчащие гвозди от оторванных догов. Около сисжимй излув. В конце дорожки, подхолившей к забору, видна нишенская помойка братьев Гориных — натно гризной воды и росовая картофеавизя кожура. Я свитрел и не верил этим двум сорожам. Их непод-

Я свитрел в не верил этим двум соронам. Их неподвижность страниам, так же, как исчезновение Димки в

его ружья.

Ведь сорона всегда в движении, ее бойний глаз не дорожите. Только в сильные морозы сороки задумчины. Паперию, соображают, замеранут они или ист

А вот и третья — обыкновенная — сорока. Она тольпо что прилетела, она вертится, переступает, качает

хвостом.

Она то глянет вияз, на помойку, то в сторону пеподшивамы сестер. И тут удария выстрел, будго палку сломали.

Объявляемная сорока качиулясь, махнуда одним арманом и уваля. На безого спеѓа черным вожом аметавался се вазратнаваний кност. Я же увида, Димку, би вышёл из саран с «фроловной» под мышкой. Из топмого се станол пол умей дымок.

Я выскочна на узниу — анцо и губы Димки были пости белые. Такое энцо, конорат, бывает у замерацим

Asunen

Сорока! — крикнул я. — Ты убил сороку!..

Ясно, — сказал Димка. Он такой, ему всегла и псе вено.

Я тычу пальнем в сидящих на заборе сорок.

- А эти почему не летят?

Мон. — ответил Димка. — Мороженые чучела.

— Ты был в сарае?

За-замеря, как фриц. — сместся Димка.

Давно там сидишь?

 Часа два не шевелилея. Тебя увидел, а не шевельпулся.

II он раздванул губы в замороженную улыбку.

Я подошел и сиял сорок с забора. Это были убитые

и хорошо заморожениые птицы. Сороки-чучела, сорокиподманки...

Ну и хитер! Я взял убитую сороку за хвост, поднял ее: такая красьная, по легкая птица! Она пробита единственнов драбиной. Та вошла в сорочью голову.

И меня распирает гордость за Димку. Я тоже охот-Во меткость! ник, и не раз я стрелял настоящую дичь, угок и течеревов. Но сороку убил только одну, и то в гнезле: с одной стороны гнезда высовывался ее хвост, с другой -MARIOR

Сорока вричала стонуще-счастливо. Я выстрелил в нее из «тулки», и дробь расхлестнула гиездо, вышныр-

нува на него спроку и разбила ее инца.

Они повисли на березовых встках - яркие цветки желтков. И тогда лишь я повял, ночему сорока подпустила меня.

... Мороженых сорок Димка спрятал в ящик, постав-

ленный в сенях, и мы вошли в дом.

Войля. Димка поставил ружье и стал греметь зубами и трястись.

Замера? — спросил я Димку.

 Н-и-парочно, — ответил тот, — Хол-л-лод из себя вытряхиваю. Понимаешь, сначала надо вытрясти несь холод, а греться потом. Протрясяев. Димка набил печь кусками легкого па-

рововного угля — он носил его домой в сумке, с рабо-

ты, на паровозного депо.

— Стравять зимой неловко, — говорил он. — Пальпы... В суставох смазка замерала. Ты за нашатырем? - Картошка у нас кончилась.

- И нашатырь кончился. Мастер меня застукал, к начиема таскал. За ворот. Воа, бери на столе картошку, дожевывай.

- А ты?

- Я сыт, я вчера ножик продал. За три ведра.
- Вкусно, сказал я, пожирая колодную картошку.
 Ты что, озять ской наск вчера сожрал? презри-

тельно спросил Димка. Ага. А отиу мы сегодия мед давали.

 Напрасная грата. — ведохнул Димка. — Все одно nomber.

— А твой? Молчит?

Двина смотрел в окно. Оттаявшие его губы стянулись в узкий щов. Он молчал.

Мама говорила: мон чувства все лежат nanepay. словно картошка на сковороде, а Димкины плубоко

запыты Димка смотрел в окно и молчал, а я, его лучший

друг, не знал, о чем он думает. Вернется, — свазвл Димка. — Куда он денется? Горины не пропадают. Партизавит ов, фрицев бъет.

А твой все кашляет?

- Кашляет. Что и мог склаать? Отец мой болел туберкулезом с озчала войны, и с тех пор он становился все суще, беьее и меньше. Бывало, силит у печи в зимием пальто, по рассказывая о гражданской войне в Сибири, то размечая на карте стреды наших фронтовых ударов.

Что о нем скажень?

- Еще учится на касторке лепешки жарить.
- Лепешки картофельные?
- Ага. - Скажи, пусть гогда не старается. А пот рыбий пр — верное дело. Его можно и так есть, с луковицей.

Но мне хочется сказать что-нибудь. Я говорю: Отец половину легкого выкашлял.

Димка смотрит на меня. Глаза его маленькие, серые, слкие. «Нашатыры!..» — пногда зовет его мой отец.

 Ошибаещься, полтора ушло. Я уже прикидивал. А что, по ночам Невилимый холит?

— В аунице почи аж пол гнется. Сидет — стул под

- Ты смотри, это смерть к твоему отпу идет. К маним трещит. тери мией тяп же ходила, я ее слишал... Я бы па твоем месте сиял в школе, а ночью от отих смерть отгония. Отец, он, знаешь, все же один.

- А вот мой праться любил ремнем. Но бил за де-

ло. Э-эх, проспишь ты отца.

И Дамка презрительно ежит плечи. Кожа белеет в прореку. Он сует в исе палец и чешется. Зачиния бы рубаху, — говорю я. — Мамку мою

— Так удобней, вишь, свободно чешусь. Нет, не укапопроси. раулишь ты отца. А я бы укараулца, я ужас какой терпеливый. Потерна хлебную карточку, и, как братаны не орали, и их хлеба не са! Хочень, налец себе в огне COMEY?

Ов тянст валец к покрасневшему железу дверны. О-о... Я чувствую его боль, и меня охватывает сдаблеть Такия: все перспорачивается вокруг мени, и я падаю. Обычно, когла такое случается, я старансь побыстрей сесть. гогда доть голову не разбиваены. Вот и себиас окиа. Димка и печь персперпулись во-

вруг меня и стали на свое место. Я сидел на полу.

- Слаб ты. - взамхает Дамка, дун на палец. -

Как ты весной на охоту пойдешь? А пот я бы не брякнулся в отна вылечия. Голорят, если разом съесть кило стрентоциява, можно выдечить любой туберкулет. Даже чахотку.

Печка расказяется до белого цвета, дышиг, и весна кажется близкой, завтранней.

Давай стрелять; — говорит Димка.

Мы долго стреляем в цель одной дробиной из встав-

пого стволика. Дом наполниет восхитительный запах

горелого пороха.

— Нет, — варуг сказав Димка, отставляв ружые. — Та сообрази, уж дучие есть сорок, чем ходить в вереню по морозу. Во-первых, мисо, по-вторых, валенки исза. В-третых, на себе картовику не таскать. Гланы-ка, ты «во себе, как прессом, всю грудь сплющия. Оттого и падаень.

- Сороки поганые, их не едят.

А давай-ка сварим. Я уже двух слонал. Братавы орут, а я жру.

- Не буду.

— Тогда ставь кастрюлю и помогай щинать.

Мы оцинали сороку и осмолили ее разогретой кочертоп. Пахло горелым пером. Мы выпотрошили, сунули

итину в кипяток. Сицеватая жалкая тупка пыриула при працепни кипящей поды и тут же вспањая ваверх поотнашая, держа лапы двуни оглобелькази. Огромная соротья голова погляделя на нас темными.

Огромная сорочья голова поглядела на нас темными, чынукло-закрытыми глазищами.

Во, моэгов-то у ней! Как у меня. — сказал

Macol

И не хотел есть эту сороку, но она пахла так ввусно. 5 когдя мы положили картошку и лук, я уже вичего не наил против сороки, только старалев не видеть перную голову. Ее съол Димка, гоноря:

Вот еще мозгу прибавилось, жить легче станет.

Потом влебади ств. и и стал блашенно сыт.

— Я тернедив, в асе могу, — кваства Лимиа.

— Изгазакую себе зеркальную добь начатал. На десять поттике дальше чванё детит Я и отим могу дождаться, в горожана прохоряльсь, в порожини е олоты не пойду. Я нее на свете могу.

Вечерело. Летели обратно в лес сороки. Каждая

125

их, на наждом десятке загибая палец, и говорил довольно:

 Тысячи их здесь, тысячи, прокормяюсь. И конца войны дождусь, и буду есть курипу! Каждый день. Во-о! Увидиць.

...Солице садилось. Вспыхнули окна и порозовели, и стали добрыми поношенные морды соседних домов.

Сороки летели. Я глядел на них, и летел вместе с

сороками, и видел наш город сверху — реку, двя миста, кубики домов. Мне было и стращно и весело... Грохнула дверь — пришли братья. Они раздевались, смеясь, говоря что-то, но я не видел их.

Очинсь! – крикнул на меня Димка. – Блажной!

Сеструха твоя бежит.

И точно, мимо окон дома бежала моя сестра, в ватнике и пимах, с гольми синими коленками. Она раскрывала круглый рот, крича на бегу.

-- Иди! Отцу плохо... - сразу догадался Димка.

...Братья хором ругали Димку за сорочий суп.

Он дождался-таки своего отца. А мой умер той же весной... Умер! На похороны Димка принес нам три булки хлеба — для поминания. Сказил:
 — Это для гостей, сам не жри. Мы с братанами

три дня копили.

Димка шел за гробом ридом со мной. Мы все как по раскисли — маму вели соседки, а меня Димка держит под руку.

Блелинге губы его все время шевелились.

Он говорил:

-- Вот в чем дело, черемуха сильно цвела. Она твоего отца убила. А если бы ты вовремя позвал меня, я бы оживы его, я бы велел ему встать миллионов де-сять раз подряд. Я ужасно терпеливый. И чахотку его я бы пересилил.

... Димка дождален своего отца — в 46-м году — н умер после. Я бываю на его могиле. Уж двадцать с лишком лет, как он похоронен в голстом красном мужике, озабочением квартирой, автомобилем и сытной едой,

Муживна этот отличный слесарь в померном виституте в может слезать все на свете. Живет он засауженно хорошо, имчего не сехажены, но мне он чужой. Насдержит прежисе — сороки, охоты, нашатыры, картошка... — Поминиь. — говорит мне Дамгрий Сергеевич. Я сорок сл? А сейчас жую куроку. Лавай сшь, пей...

И ты, старав, жуй, — велят он отцу. Или:

 Поэдрань, — говорит Дмитрий Сергеевич. — Завазал себе штучную тулку. Не ружье, молодой сон. А тогда чем стрелял? «Фроловкой»...

Я слушаю его, сам же думаю о своем отце.

Я почти не знал его тогда. Но он добр, он приходит ко мие вечером, когда в лее из города аетят сорова, неен но кусовку заката на груди. Я молчу и смотрю на пих. Он же, сидак в зимнем планто, малелький в небритии, спрацинает, нелести голосом, хорошо ли живет Нашатадь.

 Богато... — отвечаю я и опять молчу — нам хорошо вместе...

ЧЕТУШКА ТОПЛЕНОГО МАСЛА

Я промахнулся и вторым выстрелом, пущенным вдогои тетеркс.

Она летела над картофольным полем, темным и варытым. И все, кто выклименал картошку, обрадовались, что можно выпрямиться в глядеть, как тетерка летит в желтым березам.

А я смотрел на лес с упреком. Зачем он напустил на меня эту хитрющую тетерку? Почему так подвел? Веаь сотии раз он спасал меня, давая застрелить какую-

нибудь дичь А тут поступил жестоко: пагроны на счету, пороха не достанень. Кроме военного, висковного, от ко-

торого ловаются стволы охотничьях ружей.

Да и сам я корош! Должен был догадањен, что порядочная птица не смогла бы здесь упелеть. Ведь из каждого десятка копающих пятеро были охотники. И свои ружья они не принесли лишь в твердой уверенности, что еще весной перебили всех здешних итиц.

Я погрозил улетающей тетерие кулаком и пошел к своей делянке - на общем поле у нас было десять сотох, засаженных картошкой. И, вырастив ее — трижам

прополов, два раза окучив. — мы теперь копали ее. Кипать картошку готовились загодя. Еще прошлой осенью мама выстирала мешки и починкае из громалной иглой, суровыми питками. Всю зиму мы собирали посадочный материол, а для этого у наждой картофеанны, которую готовались съесть, срезяли макушку с глазками — зародышами будущих корией, листьем, карто-фелии. Эти глазки мы прорастили веспой.

Чтобы не мять зеленые ростки, унесли их на поле в фанеримх ящиках, на спрей слине. Несли к этой вог педоброй, жесткой земле макушки с листиками, весеявмя в мориналетыми, будто лино бабки Семеники. Затем ждали вслоды, пололи, охучивали и снови подоли.

Наступила осень и мы засуствлясь — волка подо-

111.112

Готовилась в ней отновикая организация, добывая грузовичок для выволки картошки (а нам назо было принасти расчет с нюфером - деньги вли бутмаку волки).

Готовилась мама — конила масло, сахар,

хлеб.

Я же сам точил орудие копки. Его придумал отчи, а сделал Димка. Это была помесь вил с лопатой (сейчас бы сказали — гибрид): три широких, длиниющих зубиа. тяжелых и кренких.

Копалось лопато-видами удивительно легко. Они пили в любую лочву и выгребали, почти не пошевелив землю,

картофельные клубии.

11 выворачивать их из земли было легко из-за осопалго выгиба руконтки. Поэтому Димка, выкопав с братьями евою картошку, в выходные для ванимался выворачявать чужую (собирали ее сами козяйки). Платили хорошо - мешок с загоня. Так набирал он пить-дечть мешков, назначаемых им к продаже весной, когда стоит она дорого.

Ну а мы садиля и копали картошку сами.

... Гетерка улетела в березы. Лес здесь был реденький, нищий, как сама земля. Да и гол выдалея засущливый: в лесу нет осенних опенков, таких вкусных в похлебке.

А картонка! Не земля была — глича, а картонка не росла, а задыхалась в ней.

Дрянь земля, пеудачный гол!

Много времени прошло с тех пор. Делал и самые ражые работы, даже составлял топографические карты И усперь янаю, что трудиее всего выкапывать картошку из влохой этмли, осли она величиной с горох.

 Без аупы не разглядинь, — бодро острил отен. омобирая партошку из выпороченного твердого кома, не

желавшего рассыпаться.

... Мы колали день, второй, гретий, а картешки инбралось всего навсего пять меников. Можим было ожилать сще один. Хлей мы слопали, алже растительное масло, темпое и горькое, подходило к концу.

Мана почернела от грязи и расстройства, отен по-

тил, а в упрекал родителей в безмоплачети. Виль даваля же нам другое поле.

 Но эпо очень далеко и заросло поликом, — покорно говорил отец. - Его полоть - черта за THRUTH.

Зато там вастоящая ка-арто-вики-а-а! — орая з

(Время от времени, дравия, приносился грокот с желеений дороги, по могорой можно было ускать к гаупо отпергнугому поля. И локомогия выговаривал скилнос!— «Дорин картошка... дрянь картошка... дрянь картошка..»)

Отен решия отдохнуть. Он аоткнул вило-ловату, оперся на рукоятку и заговорил. Как обычно, ни и селу ни

к городу.

 Раньше в Сибари было удавительно много стерляди, — сказал отей, и мама внимательно погмотрела на него.

Отен стал подрибио рассказывать, как он в дугство ловал стерлядей в Оби, варил, ед... Также рассказал, сколько в Собири водалось зайшее — тучи! И таотиуа скоиу, Инцо его было старое и кудое, бирода серебрилась, а глава ушин вглубь, туда, где и дежали его писпоминания о стерляжьей уже.

поминания о стерляжаем ум.

— Ладно, — сказала вдруг мама, по теперь уже газдя на меня. Я видел во всех узеньких морицинках ее лица черную пыль. Она прорисовала ее лицо, будто ка-

рандаш недопроявленную фотографию.

— Сынок...

- Чего тебе?

 Силмай-ки рубашку, мы ее продадим, — велела она. И я сиял рубашку, доставшуюся мне от дядьки к дню рождения.

Хорона была рубашка, шерстиная и яркая, словно апельсии. Мне завидовали все мальчишки с нашей

улины.

— А что надеть? — спросил я, ежась на ветру.

- Ходи в ватнике, а мы...

И а поиял маму: если что было возможно обменять в деревне на еду, так это рубашку или отцовское ружье.

Но ружье выгоднее оставить. Оно кормило нас двчью и будет еще кормить. К тому же я люблю стрелять. А рубашка — это ерунда!., Кончится война, и красных плых рубах будут горы... Мать свернула рубаху.

- Пойдем-ка, отец.

Он встрененулся с неприличной, даже хишной, радотью, чем поразил меня в сердце. Не то чтобы в любил рубаху больше него, нет, отна и жалел.

Он оброс светлой и толстой щегиной в эти четыре ляя, адорово похудел. И лишь сейчас я понял, как отнуотелось есть. И пусть ест! Что мне, жалко вубаху?

Да инчуть!

Он потрепал меня по голове.

- Ты не печалься, мы поменяем ее на масло, смета-IIV II OFVDIIM.

Попробуйте-ка, — сказал я. Отец прихватил с со-

 и холщовую сумку — надеялся на крупный обмен. SI ВЗДОХНУЛ. Обычно менять вещи на еду ходили в деревни мы с вамой. В этой деревие и бывал и знаю, здесь свиной

овхов. Все кусочки сала, что оставались на спятой шкуи синны, деревенские срезали и засаливали. Это и быпо их продуктом обмена на городские вещи - пальто, велосипеды, ружья. Огурцы и сметану онл и сами не учи - коров не держали, огурцы выращивать не умели. ...Я надел ватник и затянулся ремнем. Взяв ружье,

з обощел поле, все его закрайки - без надежны, а так, ня удачу, авось что-вибудь попадется. Скажем, дрозд. но повсюду я видел лишь угрюмые, грязные лица и ренькие сборища картофельных мешков: у многих уро-

жай был еще хуже нашего.

Мы была — в масштабах этого поля — картофельнеми капиталистами. Ее нам кватит до середины вимы: челкая картошка выгодна в еде — клейкая, и много ее не начистинь.

А если мама отпустит меня с Димкой на дальнюю оту, то я привезу домой штук ето присоленных уток. . мы протянем эту картошку до весны. А вдруг и уло-

маю старика Викентыча, что торгует барсучым жиром Он возьмет меня с собой на охоту, в я настраляю барсуков. И мы сытно проживем зиму. Не нужно будет в моровы ходить по деревням, Ди. надо, надо кормить отца. Но раз он хочет масли.

то нужна зареная картошка.

Я вернулся и стал разводить костер. Когда он загорелся, пустив дым, я лег с заветренной стороны и гред-

Я дынал теплом и дымом и мечтал о солених огур-CH. цах и сметане, которые не принесут мама с отном. А вон, на лесной опушке, мон родители. Они наут быстро, Вот отец подиял руку и что-то блеспуло в вей, а темерь тав ярко желтеет в отцонской дадони. Будго солнечное пятно велыхнуло в этом сером, ветреном дне. Отец кричит:

— Настоя-ше-е мас-ло-о-о-...

И все попальщики с запистью посмотрели на отна.

Нечего запидовать, надо пметь красные рубахи.

И выт оно уже рядом, это масло. Топленов! Налито в четушку! Я беру четушку и гавжу сквозь стекаю. И выжу, что масло крупитчатое и каждая его круппика звездочка. А в гущине масла (оно в середке полужиддое) ходят и свиваются какие-то спирали, будто кипот

Я знаю, что додит, Связ! Она поможет нам зоконато картонку, просущить ее и ссыпать в мешки. А натем кинуть ах на машину, и даже самим забраться наперу. и быть счастанвыми — картонка вывопана.

Хорошее масло! — ликует отец.

По запаху похоже на довоенное. — говорит ма-

ма. — С иим ты поеть навтонку. Вы отдывайту, — говорю родителям. — Я симрю

картошки. И пот они лежат на сене у шаланияла, серые, ван земля. Я же сбегал к ручью в быстро намыл картошки И вот сижу у костра и в котелкс варю картошку. Собтаения, варит востер, а все винкомые наши художники фиколят, нохают ваше масло. И, исветя посами, топарят, что пахнят оно божествению.

А отен увернят, что осли бы он ел гакое масло, то «Эдоровел бы. Я же то и дело иду и нему от костра, сру четушку и нохаю масло, глиму на ходящие в нем

пирали и не жалею свию рубашку.

 Не котели давать, такой вредный старикан, у неодного корова в деревне. Но я настова.

— А огурцы?

- Какие тебе огурны? Масла, что ли, мало?

Роцители дремлют. Я беру четушку и ставлю так, побы востер не граз, а только дышал на нее, преврания масло в солнечную жилкость. Погом мы станам есть кортошку.

И варуг тетерка!.. Вот перелатела поле и села у беп няка, совсем радом. Но там се путнува, и дура астит

над полем, мимо меня, охотника.

И прямо на гаваях салится, в даже умидел вспасси се умилея в киргофельной болик. Хватаю руже: до тетеристрии стол. План окоты тогом а помералусь в ней, слугиу и подстреню легящей. Вот бужет жизоне! Вареная тетерла! Свежая картошка!

Отнавеное тяжелое ружье в моих руках легов пе-

coma.

94 крадусь... Где же тегерка? Она адтсь, лицьь бы не

ипрежала! По хитрая тегерка выдетеля сзади от меня. Проклатие!

Я спящу, спотываюсь о какой-ть чертов кореаь. Как од попал сюда? И снова тетерка, выдетем, операжаменя. И опять села на поле — тякия странная тетер-

Затем она решительно полетела а б-резы, и дробычик пущенных с отчания далеках выстрелов не аллела се.

...Бывают года удачные и невезучие. Этот год всем был плох для нас — отен болел, я нахватал двоек. Взять хотя бы эту картошку. И лекарства отцу не помогают, он все кашиляет и кашиляет.

Гоняясь за тетеркой, я не подумал, что год этот жесток к нам. А и должен был подумать, что неспроста же попала тетерка в место, где дичь выбита подчистую. Залать вопрос, почему она и взястела-то ненормально, вверх, а там давала вираж. Так порядочные тетерки не легают! А потом увальнула от меня в лес.

Ушла тетерка... Одураченный и безнадежно несчастный, я щел к костру. Шел и думал, что и этом распро-клятом году все идет боком: наши отступили, Димкин

отен потерялся.

Издали я вижу коношащегося у костра отна. И мама тоже что-то делает. Что? Ага, картошка сварилась. Эх, подойти бы к иим с тетеркой, показать ее! А и шел с даром истраченными патронами.

Я теби бы разбила! — закричала мама.

 Тише, тише, — говорит отец.
 Проклятый год!.. Среди парубленных мной дров оказалось ольховое полено, стреляющее угольками. Они с хлопком выкатываются из горящей кучи дров и, случается, даже распахивают дварцу печи. А я-то его не заметил. Куда смотрели мон глаза?

Я подходил, а отец затантывал полено, что указилось к чегушке масла. Бутмака, понятно, лопнула, и масло сгорело. От сладковатой его гари отец и проснулся и не увидел меня у костра... Он вичето не сказал, по в тот день в впервые заметил в нем покорное уныние. С ним он и помер. И хотя я осенью землю носом рыл,

добывая дичь, но это уже не шло ему впрок.

Я смогрел на бутылочные осколки, на уходящие лымом! — солнечные спирали.

На масла, ни рубашки — все ушло дымом вверх, ж

серым тучкам. Проклятая тетериа! Злая сульба! Чертовы фашисты!

Я наказал себя — не стал есть горяную картошку и

пить чай с сахарином. Я ущел и вопал одив.

Я влавликал трезубое лезвие в гланистую землю, потом тянул ручку на себя: вспучниваем глинистый ком, в появлялись лазвия донато-вил. Разбивая глину, выбирал полузалушениые картофелины, бледные, жалкие, коростлявые. Складывал их в ведро.

Ово наполнялось медленно-медленно. «Не хочу есть, никогда больше не стипу есть, пусть будут проклаты нее пестрые тетерки, перестану охотаться и жить не буду, помру и все, так мне и надол, - думал я, всаживая вилы в землю... Пришла мама и стала выбирать картопрку - работа двинулась быстрее. Затем полошел отек. Я отдал ему трехзубую помесь, а сам стал помогать маме выбирать картошку.

К вечеру, когда смеркалось, посыпался редельяни сяежок. Отец и мама ушли разволить костер и глеться, Попятно, звали и меня, но я конал. От элости на саби я стал костяной, не уставал, даже руки не мерали. А осли

бы и замерали, то так мие и надо!

Темнело. Устав звать, родители ушли в шалашику. Я конал вею ночь и в утру прикончил наш участов. Тогла я лег у шаявшего костра и прослудся лишь в полдень от крика и шума: картошку группли на машинуполуторку.

Грузили сколом, крича почти безнадежно под тяжестью мешков, сделанных из матракной наволочки, на трилцать полных ведер картошки.

вторый рейсом. Мы уезжали, нивсегда оставив за свиной то лоле, шалаш, кострище. И осколки четушки из-пох удивительного масла. По только не беды этого тяжелоге гола...

Иногда приходит большая удача, но это понимаешь не сразу. А лет через тридцать вдруг спохватываещьея и видинь, что удача одного дня была удачей всей твоей жизии.

Люди быстрого ума такой промашки не допускают, но если мысль бредет с палочкой, то понимание при-

ходит всегда поздно. Но радуещься и этому.

Однажды такое было: навис туман, как дым. До полудня соляне его не пробивало, а только наполняло розовым свечением. Потом он рассеился. Быстро, Только что был, и уже нет его, и все так далеко видно.

Но за это время произошло то, что в ясные дни ве случается. Ведь туман не просто глотает землю, обрывая ее впереди тебя, он притемияет голову. Вот и мы тогда заблудились в тумане, хотя дорога была прямая. Мы шан на картофельное поле накопать молодой картошки.

Я нес лонату, мяма — два чиненых перечиненых менка. На поле и подрозо кусты, и, набрав по два ведра киртошки и мешок, мы завижем их, потряся, разделим картошку ровно пополам.

Затем перекрутим меняки посредние и, заброени вк на плечи, упосем на станцию, а там увелем домой -еда винчилась. До поля было примерно семь километров ровной степи, и вела в нему почти прямая дорога.

Но в тумане мы спутались.

От станции отходило множество дорог, нам же нужва была ти что спачила шла мимо будув сторожа, мимо его лопат и метел.

С пригородного поезда мы сошли прямо в туман, в на перроне вдруг произония какая-то суета, раздались крики. Кажется, в отходящем поезде что-го забыли.

Это произвело шум и сутолоку, а маму клебом не вирми, жиць дай побегать и покричать от вестернимого желания помочь. Я бегал рядом с нею, чтобы нам не разбрастись в тумане, таком кустом, что он запросто столотум нельяй посяз. Когда мы встромитель о будаях и допатих, то уже давно шли, а впереди нас бежала степная дорога с пучками польяю, тут же иследионным в тумане.

Наша дорога ван нужая, мы не знали, все дориги в степы положн одати и другую. Потому и шатать ао ней было страниювато. Но бодрая мамя у жеркая, ято эко писсо, яна придем куда-нибудь, и добрые доали скажут, тде нибце пове. Еще совориля, что тумая произошел от десных пожаров, что так бывает в ангусте, котда на сенене горит таки и даму достидает Сибите.

Что такое семь километров для тошего хожалого человска военных лет. Ерунда! Но мы прошли семь и еще семь калометров, а березовые столбика у дороги, ко-

горые отмечали наше поле, куда-то провалились.

Если бы не туман, пробраванийся в наши головы, мы должны были ворреми спокватиться и все начать ванново верпуться на станцию, найти будку с мегальн и тым свяю дорогу. Мы даже говорили, что нужно быжать обратно, некать вывлемую дорогу. По туман вошел и раши головы, и мы оскорбились за себя, пеуласан умтакие бестъялни и забоздамся. Куже, мы убедили себя, что здем почти верно, что туман рассчется и мы увидам воле. Даже, спримлии путь, мы пешигали прямиком в степь.

Не бездумно: и стервну нацието имя имя не одив, я две повезмиту расходящиеся дороги. В порязальныдям, щатав по своей, мы е зепостью виделя сочениюм, даже фонтаччика имян, что вабраемняль боссыми потажчика задели и они, потому что мы тоже ходили битажчика задели и они, потому что мы тоже ходили бистаком. Серечая обудь к осени.) Но очем дажните, тембольне расходились дороги. А затем наша оппедаваля възграфия и приводила в подю. В этом месте, кы дванозудурут и приводила в подю. В этом месте, кы двали, дороси отстояли одна от другой на три-четыре километра. Им-то и решлял спримить затуманениям выма. Я же, как и все охотники от ияти до семидесяти пяти лег, всегда стремился к приключениям, к ходябе дадле. К тому же ма сильно рассчитивали на поояснение.

И здесь, в степи, мы погибля окончательно. Если верить отновскому «мозеру», что был посвжен в моем кармвие на цепь, было восемь утра, потом девять, десять,

а туман не рассенвался.

Мы шли по траванистой, от веку не наханиой степи, и нам хотельсь есть. Но еда была на поле — картофель, который можно выкопать, а латом исиень и костре. Для иего принасены соль и аптечный пузырек с растительным маслом.

Часов в одиниадцать, если судить по «мозеру» (и ворчанию взиних желудков), мы уже роптали на свою

неудачу. И не то чтобы устали.

Мие не раз приходилось с ружьем и натроитапием, синбавшими меня в дуту, негаживаеть в день по сопокнить десят князометров, чтобы добыть какую-инбудь зачину. Мака на такие же расстояния ходили но дерезням, обменивая отповение рубахи и сила патала на сау. Провить нас ходибой было ислегко, а запугать километрами просто неозможно.

Но туман... Казалось, что он лег навсегда, что мы будем илти и никуда не придем. А отен и сестренка

останутся голодными и помрут без нас.

И вдруг туман стал расходиться. Он быстро редел, поднимаесь в становылся жеатым. Солице, что было за нашимы спинами, отброскаю на убегающий туман папта

тени, громадные, будто мы были великливми.

А мне была пужна яспость.

Я хотел ее, я дрался за нее: тогда я был сильный и злой мальчишка, заботящийся о пролитании семьи. От меня зависело все относящееся к картошке (мама лишь помогала).

Я садил картошку, окучивал ее, копал. И мешки грузил в машину тоже и — двадцать или тридцать кулей —

не хуже взрослых.

А еще я охотничал. Я выслеживал дичь, стреляя ее из отповского ружья. Охотился в одиночку в свои пятнадцать лет, бродя по лесам, бывая в поле, на берегах рек. И пока ясно видел все вокруг, пичего не боялся. Ни-че-го!

...Туман поднялся в открыл незнакомое Мы увидели поблескиванье поды и темные избы де-

ревии.

Деревия! Озеро!

Значит, найдутся люди, которые скажут, как нам идти в картофельному полю. Но могут и паврать. Я знал, есть деревни добрые, в которых покормит

даром.

В иных живет люд недоверчивый и злобный. Там могут обмануть и даже отобрать нещь, принесенную мамой из обмен. Конечно, если рядом нет меня, взъерошенного, верткого, злого. Моя городская голодивя озлоблевпость поражала деревенских мужиков. Они говоряли:

Тебя я соплей перешибу.

 Попребуй, — отвечал я, подбираясь ближе и зная, что военный хилый мужик не устоит перел жестокими приемами чаших драк-

- "Неудачинки вы с тобой, - говорила мама, по я молчал, злобствуя на туман, на нашу безголовость. Еще во мне сидел вызов неведомому, тому, что близилось с кажлым шагом.

Какие дюди здесь? Добрые? Злые? «А ну попробуйте обилеть!» - топорщился я.

Но когда долго не везет, то приходит и удача. Мама, шагавшая со своими мешками, вскрикиула:

— Uто это?

В траве лежала, раскинув крыльшки, красивая уточки, мертвый чирок-трескунок.

Я охотник и многое знал об утках, а в огобеничета о чирках. Их было проще встретить на весених пра-

городных лужах.

Осотись, и чирков влет не стремви, носывись они с греммилий скоростыю, котя были педичиний с голуби. Я схотыски на чирков скрадом, был сидищими, полья в берегу на бриже, пока не останалнеть до утовки метров питиодить двадилеть.

Умериний чирок... Все равно к мертвому ян, к живому чирку в питал большую нежность. Обожна их, убикия, в не задумывался почему. Как и все охотники.

Я любоналея уточкой. Мама всеми завыдившимием по дороге морининами тоже смотрела на нее. И вдруг задала женский вопрос:

- Почему он умер?

А в инием знато? Может, заблудился в гумане. Не знав, где инз в где верх, он расшибся о землю.

Есть его можно? — спращивает мама.

Дохлого! — возмущаюсь я.

Ну, если он не соиссы протух, — бормечет она.
 И я деляю то, что деляет каждый косичик, найды убитую птину; си раздумеет перыных и смотрыт, куде попала дробь. Я тоже дую и вику кровиные следы дробнюю: чирок бысь разлен выстреаом. Это пошично, вог озеро и деревия, и в ней костину.

 Ов застрелев. — говорко я, и мама вячинает улибаться. Ведь кождого убитого много чирка она делит спачала пополям, а затям еще и еще. И каждую часть

варит в полуведре нартофельной похлебки.

Ладно, убит... Тогда проверим, давно ли убита красиван уточка. Она еще гверденькая, не отмякла. Значит, недавно. Может, ода подбита вчеранним вечером, но улетла в умерла в стени? Остается самое пяжное неплетание. Мака раскрывает плоской алюник и приближает в нему свой засетренный голодом пис. Номает долго. Затем волаю в, и снова она. И на узабобевся друг другу — уточка снежая. Во удава! Добым арти», не нетратив не единой дво-

Во удачат доны в динь, не истратав не единов дро бинки!

Что там картошка! Она в земле, не убежит, а вот

 Спасибо тебе, туман, — говорит мама, а я прячу уточку в чендоря, в мы специм в селу: напиться ко-

лодезкой воды и узнать дорогу к нашему поль.

И вот мы выем холодную, до боли в захнаже, воду, а хозывка колодыя, курносы старуях, глядит ва нас. Потом она загокорыва с мямой, свачала о тумане, откула такой, о войне, семьях. Старука безкватостно в подробно аменрационаю мизму о хнором отие, о сестренке.

— Полему тощий паринцика? Чакоткой болем? — допытывалась она. А мама такам, с ней тольке заговори, и они вее виклюдывает, со смехом, с веприками, сасами.

Вот и сейчас она рассказала исе до инточки, а я стоял и молчаливо презирал ее.

Старужа, случван, подперла шеку рукой. Сама она допилам и худам, подперла шеку рукой. Сама она допилам и худам, и аст ой, конерное, двести. Вон вак се маршилитам перепахалю! Она случшала и значалала: да, дв. в в горьде чавела война... Подошел и стал случшаль мазу мастений дед, подбежки пириника с мени растом, только в высова ношире, и тоже стал. Распакцуя рок, булто колитку.

Они жадно впитывали неудачливую историю нашей семьи.

— А отец при смерти? — сказала старуха.

— Болен он, болен...

— А сына спасень?

Детей я сберегу.

Государство помогает?

Обед по талону дают.

Эх, увести бы мамку! Но разве ее теперь утанцинь... Но как хорошо, что я не увел маму, замечательно, что ее слушали старик и парнишка с круглыми глазами. Прекрасно, что в русском человеке есть та доброта, что обнолакивает все шершавинки мира, этим смягчая их и давая возможность жить.

Мне было пятнадцать лег, и я хорошо знал, что деревии в сосияках и березовом лесу населени людьми благодушными, те, что поставлены около комариных болот или в глухом лесу, серанты и скучны. Я знал. что степной человек хитер и скрытен, он словно бы городит в себе те деревья, что укрывают от беды живущих в лесу.

И так же хорошо знал, что всюду есть и злые и добрые: и около болот, и в лесу, и в степя. В этот день туман привел нас к добрым людям.

И ежели теперь я, поживший человек, внугрение холодею, стращась увидеть новую жуть человеческой истории, то вспоминаю старуху и ее зеленого деда, преддоживших нам - даром! - кровь телки, что они заколоди.

Когда мама сказала им, что нет, не донести кровь в город, испортится, они подаряля нам подовниу головы телки, объевшейся клевером. Да, да, нам дили половину несчастной телячьей головы и показали дорогу в картофельным полям. И мы, легине и почти бесплотные, пробежали сначала в поле. Оттуда же, взвалив на влечи менки, рванули на станцию, к будке и метлам, решив, что ладно, поедем голодными, зато накормим отца и сестру.

А когда, устав так, что шенелился только язык, мы садились у дороги и отдыхали, мама говорила сразу о

всем: о доброте людей, о телячьем студие, о том, как его делать.

 Во-первых, нужен чеснов, и не забыть бы сказить Семенихе, чтобы, молясь, она попросила лет десять жизни той старухе и ее старику.

А еще мы бредили о супе из головизии, о жареном

с картошкой чирочке.

...Пригородного поезда ждать было долго, и мы уехали даром. Взобрались на буфера одиноко стоявшего паровоза, а тот помчался в город почти без остановок.

Паровоз ревел и дрожва, будто хотел стрихнуть нас паши слабели, клуби то дмма, то пара обволякивали нас Из тепаера, обдуваемого встречным ветром, осыдадо условными крошками.

Полнился на тендере кочегар. Он что-то крикнул, но мы не услышала его. На первой остановке к нам подошел машиниет, перемазвиний с головы до пят червым маслом. Он сказал матери:

Тебя же ветром сдует, бабка.

 Не сдует, милый, — ответны мама. — Удержусь.
 Но было что-то странное в се голосе. Что? Я взглинул на маму и впервые увидел сухонькую, пыльную, озабоченную старущку.

Мама старая...

мава старам... Это меня как-то придавило, будто я на плечах держал не два, а четыре ведра картошки. Домой и шеа молча и не садинал, как ола будет кормить нас жареной, иет, тушенной в духовке уточной.

...Вот какой в жизни был счастливый тумав. Он привел мени к добрым людям. С тех пор их доброта берегля мою жизнь, егопля она того или нет. Но поиял

я это, лишь постарев.

Да. часто силу жить дает вне внавне, что доброта в есть тот слов, который держит ваш яркий, малый, пропитанный горечью мир. 1

Когда наметили отврытие выставки (откладывали се раз десять), шла зима с желтым небом, средией гаубины спетами и пестерлимым их блеском.

В такой день Горшков, в черных очках, похудевний и словно выросций из старого замнего пальто, исс. картину на выстанку. Помогал ее нести сын, Колька-Мол-

чунок.

Картику они обернули двумя бялезыми вечными простымями, персвизали веревками крест-накрест. И по песли, жмурясь на встречный ветер.

Не хотелось Горшкову показывать ее, по выстанка... Окончение полотно гребует показа людам. Горшков и так задержал: покрывая ходст лаком. Работа была деликативя, чтомительная, принтизм.

Они песли картину: внереди шагаа Колька — бысерыма мелкини шагами, за инм пыхтел Горшков в

повых жестких валенках

...В зале они поставили картину, спала веревки и простави. Горшкову было стращию — рядом стояля картина Пуушки. Ограмина картиница! И ках сработана!

Горинсов решил, что сорезнование он проиград.

1

Горшков жил на окраине города, и ему это правилось. Во-первых, парод сще не городской, по уже и не деревенский.

Все, все у них городское: и приемпаки екрипят, и антенны телевизоров выставили рога, и мотодивлы, будто кони, поставлены во дворах. Виолие городские люди! Но и деревенские в то же самое время — живут в своих демах, у каждого есть двор с яблонями и зеленая плекень ихов на тесовой крыше.

Были дома, вызитые из имаки с цементом. Крыни их покрывали черенивей, похожей на чешую вымерших

ящеров, либо черими толем в несколько слоси.

Толь — яруетия итупа. Бывью, разоблегся, разгуляется ветер. В невтре он оборяет привида да расшибет в лединые клопы неваритые оказ. В десе и деренья трисет и ярыни. И толь соряет, пусти лететь по возляху оголомейщей ценной итиней.

Потому и правились окраинным жителям тесовые,

жено.

И художникам правились: в дождь крыши темнели, в ведро бакстели выгорившейся смолой, а всчерами мох, процедший назван крыш, обретал цвет ржавчины. Глаз радуется!..

И в огородах сущия благодать: морковки, редьки, томаты, полеолиуха. Напригая шершавые, мускулистые шен, они поворачналы головых за солисем, доля сто ппировизы лепестками и теми мохрушками, это поликры-

вали вызренающие семена.

Любили художники окраниу. Они приходили с дерепинами треполення, развирими студьтиками. Потнив треполення, развирими студьтиками с потекая запах скивидура тулять по улице, писали голубитим, тополя, лютиме подсомуму. И, книва друг другу им краты строителей, говорнам: «Надо специть, это уходит».

Готинов объягаял подробнее:

 Исченает окранна, наступает город, теснит. Надо поскорое зарисовать и сберечь красоту окранны нашим правичкам.

Рад, что на дота это понимаещь, — отвечал Птуні-

ко, набирая на кисть краску. Он не любил Горшкова, считая его инпущим по старинке чудаком.

 — А солице-то, солице, — говорил, крутя головой Горшков. — Слепит! А ты черно иншены. Говори, зачем сажей пачкаещь холст?

Это сложное дело, объяснять, — отвечал Птушко.

Нет, не любил он Горшкова: непостижнымй тилі Живет здесь, а мог бы переселіться в центр. Отеров возделізават глупо. Надо посадить сладкую, с витамином, морковь, благоухачные отурцы и высокие, делативичеся за падки томаты. Горшков же сеза один подсоанухи. Их в гориковском отороде полным-полно. Разных: величиной с политру и маленьких, черномазых, с фиолетовыми ленесеткими.

Осень, а случалось, и зиму, горшковское семейство шелкало семечки этих подсолнухов, сели пейзажи Горш-

кова не покупали.

Птушко в добрые минуты не раз мания его в центр. Но Горшков твердил о бархатистых юнах, о чароденстве дождей, о подсолнухах.

- Одно меня объемиет, Вася, говорыя Гервиков.
 Подинивансь, в в може мен приходит последицим.
 Подинивансь, оно оснещеет саможета. Что же, я ле объемен, наковко залотеля. Потом грест телевизионную банино, которую в ненаважуе сколько тератот якуда! Они мало бывают на улице, прасота ее гибиет незамеченной.
 - Я смотрю на то же самое противоположно, говорил Птушко.
- Когда солице подинмется выше, лучи его падают на горолской центр. Последним нау я. Есть и другая обида — псе могу написать, я солице нет, криски тускды. Но вот солице лежит на моей крымие.

На дырявой крыше, — язвил Птушко.

Я прикрыл дыры старыми этодими, — возражал Горшков. — Дождь не пробивается... Солице по крыше

ручьями скатывается в огород и падает на подсолнухи. затем начинают светиться тыквенные и огуречные пветы у соседей. И каждая травка просит солнца. Кстати, ты не думлешь, что в травинке проступает человек?... Мы с тобой, например?...

Не думаю, — отвечал Птушко, кладя следующий

мазок. - А солние ты пиши белилами, вот и все!

Он начинал сердиться на Горшкова, мыслящего исвиятно. Оттого тени, крыши и деревья казались ему гинее, чем были на самом деле, «У меня синее настроение, - соображал Птушко. - Пусть и уличный пейзаж будет синий».

Солице, солице... Не забывай роль тени, — ворч-

ливо говорил он.

 Но мы, живописцы, дети солица, — отвечал Горціотв. улыбаясь. Птушко скосил глаз и заметил на его

посу шелуху сторевшей кожи.

- Твое солние, дай ему волю, сожгло бы все. Тень ручит жизнь. И какое же ты дитя солица? Ходинь бо-• этом, рубанку на груди не застегиваень, не уважаень па оканне живописца. Погляди на меня — я всегда в постюме и при галстуке.

Ты прав... — соглашался, котфузись, Горшков п

зистегивал ворот.

Биу было весело. Солице, когда он смотрел скнозь ресчины, становилось то зеленым, то черным. Игралоr cass.

Отчего умный Птушко пишет солнечную улицу черпол праской? — задумывался Горшков и не попимал. — Гозть может, в черноге зврыта мысль?»

— По-моему, — говорил оп. — Каждая мысль свепозрна и выражается ясными красками,

 Нет! — отвечал Птушко. — Мысль плотна и тятота. Как тень, в которой мы отдыхаем, как сталь Сталь можно отполировать, и она заблестит. Ее можно положить до времени. Мысль плотна и крепка, такое

мое убеждение. А световые кванты?.. Унеслись и нет их. Но ты мне мешаешь.

 Прости... — Горшков уходил домой рисовать пейзажи.

3

Посреди комнаты стоял мольберт, в окно било солице, во крыше, стуча пятками, бегал сын. Горшков писал — по этюду — реку и по ней плывущие лодки.

Вода принимала в себя розовый цвет солица, а лод-

ин вбирали в белизну своих бортов небо.

В лодках сидели голяе на пояс рыбаки, кожи которых быля и риловая и голубам в одно и то же время. Но солние... Горцико вонимат: солние не может быть паристано, оно выражается только и систоавриой мысли, дложенной в каренну. Мыслы... Птушко всетда думаст, всетда разъминиет. Но мисла сто тяжела.

— О чем я думаю, когда пишу? — спросил себя

Горинов. - И думаю ли вообще?

Оп ства перебирать этоды: на одник манисани небо, дургих — режа, на третавик — аес. И асполу солникд мыслы-, «Я авобаю теби, солнце» г. Гориною разбросал этоды по полу и ходна между инми, за ины бродна кот Фалика, досораю пущистый ходен.

Па, в каждом этиде он пытался поймать солице, ловил его, но солице было рисованное, а не горящее.

Слаб в, — бормотал Горшков. — Слаб!

 Мрм. — свгаашался Филька. Зеленые его глаза были прижмурены, усы огромны, шерсть отвисла до пола.

 — А тебе, брат, жарко, как Птушко, — сказал ему Горшков. И ужасълск: — Какой я художник, если нет у меня мысли? Люблю солице! Это не мысль, а ощущение.

— Мрм-мря... — Филька, утешая Горикова, потерея о штанину.

 Я бездарный, — сказал Горшков, как все художшки, любявший ругать себя. — Но чем рисовать солице?.. Какими красками?..

8

 Вот дом еще плинцу в уйду, — решил Итушко. Птушко не мог писать не думая. Временами ему лаче казалось, что каждым мазком на холете он говирит слово и его картину можно читать, словно кинич.

Работая, Птушко говорил с собой.

— В тим доме, — рессуждал он, — живет старушета с дурным гаваюм. Так сообщия Горимов. Старухи не видио, но в должен отметить ее проживание в доме. Чтах. Дом. старуха. Как это передать? А пот вах — дом обязан походить на старуха. Пусть будет дом-старуха е недобрим окном, то есть галяем. Я должен передать присутствие старухи циетом, но с пропией: кто верит в дурной газа? Решено: пишу дом черным швегом с проблесками сингог, цителого в желого. А окно сделато гласом. Так гладит уходящая оправия.

Птушко перемещал краски, подцепил их вистью, и

лом стал похожим на горбящуюся старуху.

 Молоден, старик, молеток! — хвалил себи Птушсо. И закрыл шкатулку: сму котелось пить колодинай выс в густой тени и рассуждать о живописи с чудаком Горшковым.

Зайду в нему, — решил Птушко.

5

Дом Горшкова стоял в глубине двора.

Птушко шел по дорожке. Видел: каждое дерево, каждля травника бросает тень и ею прикрывает землю от солица. «Вот она, спасительная роль тени!»

Гориков в одних трусах любовался подсолнухами.

Жена сго, сида на корточках, щипала растительность с грядки — одна морковная грядка псе же была.

Здравствуйте! — сказал Птушко. — Опасно ра-

ботить в жару, я чуть не сварился.

Пойдем в тень, — сказал Горшков.

Они ушли в тень большой яблони, там пили холодный чай и ели оладын, смалыная их медом. Закружились пчелы. На ветке тряс крыльями, требуя еду, знакомый поробьеным Горшкова.

Птушко рассказывал Горшкову о тени, умирающей окрания и доме-старуже. Он сиязе с шел галетук к изпул его на веточку, сива виджак, еКучлю ка я себе дачу, — думал Птушко. — Там буду пить чай и кораить оладыми воробьев».

Горшков думал, насколько умнее его Птушко. «Мне

бы такую голову!» — завидовал он.

 Тм говорил о светоносной мысли, — разглагольствовал Птушко. — Это, зпасил ли, метафора, поверхность мечты. Чем ты сможены выралить ее на колсте? Провертник дмру в колсте и поставины ламиу?

— Не знаю, — сказал Горшков.

 Вот то-то же! А в свое мнение о тени могу спокой по выражать краскачи. Хм., знасшь, мне пришла в голопу идейка. Двана-на сравниска, а ? Я беру мыслы реальную, плотную, в ты светоносную. Стария, мы нанищем окраяну, в свое мнение — она предна, а ты свое да жинет окрания! Согласса?

Горшков сматрел в широкое лицо Птушко. Они вместе учились, потом разошлись: Птушко гремел на вы-

станках, он коношился в своей мастерской.

Пасмешливы глаза Птушко, до желегной сипевы выбриты щеки. А рука, держащая ставан, а плечо?.. Сильный человек сидел перед ним.

Этот все напишет.

А если согласиться?

- Старик, этим предложением я тебе открываю го-

ризонт славы и опасности: ты не писал картины, все пейзажики. И предупреждаю: победит тень.

Светозарность!..

 Вот и шикажи светозарность окраины, я же сделаю ощутимость ее. Ну пока.

6

Смериалось... Текла по улице мутная река сумраков. Горшков пошел пагулять сон. Ему было приятно идти все знакомо, родственно...

Всплыла лува, похожая на тыкву, скрипела транзисторами гуляющая молодежь, бегал вдоль улицы сын Колька, раскидывая руки, хотел валететь, как он сам когла-то.

Горшков размышлял... Хороно, картиня. Но справится ли он? Ведь картиня растет, как дерево: семя, корви и так далее. Любое доло прочно годами работы, по Игушко работает быстро, и выстанка на посу. Горшков периулся к дому, и лонум касались его, а табак раскрыл болье внежды своих пьетов.

И Горшков вдруг увидел будущую, написанную им

картину: улица светится в широкой темной раме.

Поринов видел съемво нее додей, гам бил в сверхмодном галстуке Птушко. Он кривиз железную щеку и ругая Горинкова, говоря, что одла гравира честно съявлетел в том, что изм не по свлам отобразить краски мира.

 Светозарность... — шентал Горшков. — Нужно заставить краски светиться. По как?

Он схватил себя за толстые щеви.

...Пришло утро. Зари разбросила крылья над городом. Проносились, митая плоскостими, самолеты. Раскалялся шпиль телебашии.

Горшков проследня утро — серое небо, движение по нему пятен и красных полос, а затем возгорание солица.

«В конце концов это как и у нас, живописцев, — думалось ему. — Сиачала герый льияной холст, затем его мажешь грунтом, делаень подмалевов. И наконец пишень картину. Так и солице. Оно неликий живописец, я малый».

Горшков дело не откладывал. Позавтракав, он стал вычислить размеры будущей каргины. Она не должна оглушать зрятеля размерами, а обязана тихо вопрать его вянмание. Значит, размер се должен быть для бодьшой комнаты ван малого зала, а холет самого мелкого зерна.

Горшков пошел в магазии, где продавали льняные ткани. Отличные! Один были приятим глазам, другие -рукам... Наконец он зашел в уголок, где были повещены ткани поплоше — полосатая бязь на метрацы, образцы

льияного холста, зеленовато-серые и илотные.

Горшков смотрел их, изучал, как шла вить. Он тянул, пробуя, уступчива ли такиь. Наконец выбрад в подолвал продавщицу. Девушка с нарисованными глазами осмотрела простоватого Горшкова, зевнула от скуки и выписала талончик.

Этот холет, если отодвинуть его подальше, сильно

походил на предутрениий сумрак.

— А вот мы тебя загруптуем, — связка Горшков холсту. — Свачала тякем на подрамок и... того.

Он ваял рейки, разметил их, отпилил. От сыплишихся дождиком опилок поднялся запах дерева - смолистый, бодрыв. Горшков взял рубавок и сопсурился... Пустил первую стружку. И, как всегла при такой работе, Горшков запел: с забора вверх полетели воробы Стружки, падав на пол, корчились. Пришла жена в стала брать их на растонку.

А ты вессл, — сказала она, улыбанеь.

Как вор-воробей, — отвечал Горшков.

Выструганные рейки Горшков сбил в подрамник, в уголин его вделал клинышки. Тенерь, если натянутый холет ослабиет, подбив клинышки, можно сделать его снова упругим. Горшков сбрызнул холет водой и натынул на подрамник.

Он брал врай холета швицами-илоскогубцами и натягивал. В этот момент сын молчаливо ставил гвоздик

и стукал по нему молотком.

Последний нынешний денечек, — нел Гормнов.

На следующий день он сварил клей для грунта. Особенный. За ним ходил к Птушко: тот славился качеством своих художначеских принасов. Был у него и рыбий клей. Отсыная в бумажный кулек, он спросил Горшкова:

Что, заказ?..

М-да, — ответил Горшков.

- Трудись, старик.

 На тебе не кажется, что денижную рабиту изжно брять зимой? — епросил Птушко. — А летом полноценпо отдыхать.

 Зимние для коротки, — отвечал Гершков.
 Их я продавю дамкой днешого света. Это удобно, купи себе. Ее спектр блилок солночному.

Интересно! — оживился Горшков.

— Так что же ты затеял?

 А я, — сказал Горшков, — за картину принядея, кик мы договорились: улица, соседи, березки в родах.

Птушко потер грудь ладонью - сердне больно кольнуло.

 Справинься? — спросил оп. — Не принимай близко к сердцу тот разговор.

 Я буду писать, — сказал Горшков. — Пейзаж и жанр, соединение города и природы на окраине. И солице, конечно.

це, конечно.

— А деньги? — напомнил Птунико. — Большая картина — большая работа, а семью надо кормить. Где ты

возьмень деньги?

В самом деле, о них Горшков не подумал. Деньги... Он даже вспотел.

А ты мне не дашь взаймы? Рублей сто.

Птушко обрадовался: просъбами денег Горшков признавал, что плохо разбирается в деле жизни. И, помогая, Птушко дополнительно возвышался.

Дам питьсот, — сказал он. — Сам принесу. А что

писать-то будешь, откровенно?

Окраину, солице.

Окраниу! — векричал Птушко, до сих пор не верининий. — Но как будещь рисовать, если... — начал он и остановился, у зудожников это сирацивать не познатается. Поправилея: — В каком... размере?

Для небольшого зала.

 Но ты же теряень а силе воздействия на зрителя! Простейная догока! А тон картика?

Она будет светиться.

— Попизано, световирность... Но презупреждаю, та едаботаеннь световую обманку. А ног и бы стал писать ограмных размеров чарную гравору. Но кождаті черти каждай штрих картины — это слою, это оголодія корание, это мысль о городе будущего. И нееколько красных пятен придадут треноку, и иссколько снипх протинут и картине зненицую ноту вечности.. Ладно, мы посолевнующего стобой, старик Я тоже берусь. А деньтие сняму в инижин и эриниесу. Трать расчестанно.

- Спасибо.

Горшков проститея и ушел, думая, отчего у него нег сберегательной книжки?

— ...Где ты был? — спросила его жена.

Куда ходил? — закричал Колька.

Горшков расскавал им и стал распускать клей в горячей воде.

9

Зрел грунт, готовясь принять краску. Но через болтляного Птунко всем стало известно измерение Горикова иткеать окраму и солице. Художникя завилновались: сломяет шею, чудав, а поднимется ли? Все же семья. Они заходили к Торикову, будго нечавню. Пыли чай и веан с ими разговор об опасностях такой работы.

Как писать солице? — спрацивали они. — Под-

нимешь ли?

Попробуем, — отвечал Гершков.

 Ну-ну, — говорили художники. — С пуна не сорви. Нашему бы теляти да волка поймати.

 Поймаю, — отвечал Горшков и решва картину на мольберт не ставить: придут, будут сочувствовать наи ругать, портить настроение. Пусть мольберт держит на себе ерундовую картину: полотию он привеска к стене.

Он вбил посредине рамы два гвоздя и образовал

этим продольную ось картины.

Другую пару гвоядей он вколотил в стену и привязал к ним див крепких шиура. И концы шиуров — к споэдям, высовывающимся из рамы: получилась вертушка.

Чуть кто приходил, брал Горшков картину за край и переворачивал лином к степе А картина не человек, ее с затылка не узнасшь.

10

Птушко, предчувствув победу, подобрев в Горикову. Однаждае заментался, будто со сварточками присменет в гориковские семейство. Женя Горикова срочно варит картошку в кипятит чай, его Ирашы тоже участвочет. нарезает севрюгу и раскладывает на тарелку. Затем

варит креветок с укропчиком и перцем.

Горинов же, красный от благодарности и смущения, откуморивает бузылки с инном, тоже привезенные Птушко. Младший Горшков смотрит удивленными глизами на этот натюрморт.

Затем они ньют чай под яблоней: Гориков повосил в се листьях питисотсвечовку, и лампа рождает световые эффекты в листьях, целых или сверкучых насекомыми

в трубочку.

 вдохиовленный крепким чясм, обнял бы он Горшкова за влези и прошентал на уко (чтобы жена не услышала);

 А ну их, эти пятьсог рублей. Не поеледние! Никогда и ничего в тебе не дарыя в день рождения, нот

и забери их. Лады?

Горивков станет откламваться, а потвы многодлевию спотодярить. А он, Птушко, будет втолкованать, что без Горивкова не взялся бы за тему окраниы. Или ванаси бы слишком повдил, когда се сиссли. А время-то уходит, его впитывает вечность.

Горшков мерщит лоб и суетится душой. Благодарность к Птушко плющит его, как камбаау. У Птушко

же отличное настроение.

 Спаскбо, друг, — говорит ему Горшков. — Без твоего влея, без изтисот рублей не смог бы и пристунить к работе. Пусть неудача, но и высъква жизнь!

Птушко отвечает ему:

 Есзумству храбрых, как говорил Максим, мы поем пескию и каждый свою. Я рад тебе поможь, Комучибудь, другому в бм вите посмотрил, а ты добрый человек. Кого ин сприси, все говорят, что ты добрый. Я умерен, что и кот гооб, и подволнухи, и воробыя, и лес, поле, ремя все аналот тебя, доброго человена.

 — "Нет" — вскрикнул Пгушко. — Он денег не примет. Провил потериит, будет семечки шелкать, а деньги мне вернет. И потому, что не может понять: мне дыньги достаются легко.

Но Птушко все сделал: и закуски добыл, и прихватил жену, и приехал в своей «Волге». Был чай, картошка, дамна (не в пятьсот свечей, а двести лесят).

И, гуляя с Гориновым по мекрой от роги дорожке,

где репьи кватались за брюки, он связал: - Вот тебе деньги. С отдачей не специ.

Опутав протестующее движение Горшкова, добавил:

 Жена вы быстро ножки приделает.
 Гулять по дорожке было хорошо. Летучне мыши не садились на белую рубашку, запяхи белых табаков удетали к внездам, вазалось, ходили среди них серебристыми облаками.

Птушко на миг показвлось, что и он там, в черноте поднебесья, а тайны коемоса глядят на него открытыми глазами.

И Птушко стал втолковывать Горшкову, что почь

Горшков слушал, хотя ему было скверио. Он страдая: креметки и севрюга вместе с кетаныни икринками гонились в желудке друг за другом, вызывая исприятиме ошущения.

 Смена дия в ночи. — дивлектика мироздания. — втолковывал Птулике. — А ты кочець одножерности солнечного дия. Похоношо, старик

Он подумых о стоей мартине - пот бы написать ее размером от той звиялы в досюда. А?

 Там что за звозда? — спросва од Гопшкова. Тот. икаха в ответил, это в голову привыо:

Альфа Центавра.

Ирина Птано в это самое врема говорала с женой Горшкова.

- Скажите, милая, как вы делаете растертую калину? Я тоже абчу удинаять своих гостей.

— Муж осенью набрал калины, а я ее протерла с сахаром.

- Вы мастерица. А салат? Он слегка горчит и все

же очень приятен. Какая в нем тайна?

 Я добавляю листья одунанчика, муж неравноду. шен к иим, он видят в одуванчике образ солнца.

Очень мило, — говорила жена Птушко. — Очень.

Ваш муж оригинал.

ш муж оригинал.
— Дорогая, не пора ли нам домой? — сказал Птуш-

ко, вдруг захотевший немедленно рисовить картину.

 Прощайте и заходите к нам, — говорила жена Птушко.

11

За руль села жена, Птушко смотрел на отражения фар. Бегучий свет мерцал на асфальте, но подчеркивала его тень. Не будь ее, и понятия света не существовало бы.

- Чудаки опи, - сказала жена. - И как на севрюгу кинулись. Икра, я заметила, им тоже пришлась на

BKVCV.

Птушко ощутил злобу.

 Странно, — сказал оп. — Очень странно. Я помию теби тощей студенткой, большой любительницей поесть. Счета в ресторане бывали изрядные.

- Прости, я сказала не думая, - прошентала же-

на, по Птушко не расслышал ее.

- Странно, странно... А что ты следала с сыном? Вбила в его голову, что ему можно, не заработав на конейки, посить костюмы, о каких Горшков даже не слышаа! ...Пора, пора все опроквнуть, — заобствовая Птушко. — Вот уйду на творческую работу, в посидите вы, голуби мон, на картошечке. А когда продам картину и куплю ветчинки, грамм этак двести, вы ее сожрете причмокивая.

Тут машина остановилясь, они приехали... Пока жена стелила постель, Птушко бродал по квартире: все не правилось ему. Работа будет тижелой. Готов ли он к ией?

Надо и жизнь, и себи очистить! — ворчал он,

Птушко не ложнася всю почь, со злабой рассматривал мастерскую. Лампы дневного света пужны, слов пет. Но к чему здесь понавешены тряпки? Даже поставлен бар?. К черту!

Завтракая, Птушко смотрел на жену: в ущах ее во-

лотые побрякушки, и это для выхода в магазии!

— Странио та на меня смотринь, — сказала жена. — Странио, странио... — передразина он. — Я подумал о человеке, имевшем твердое мнение о золоте и его роли в мире.

Ты кочешь писать его? — догадалась жена.

Пова нет, по Горшков расшенення меня. Въдищь ли, мы устранняем некое сореннование, и невольно он подголжнум меня к новой картине и, уверен, к славе.
 Близкой.

Горшковы — добрые люди, — говорила жена.

«Странно, — подумалось Птушко. — Если разобраться как следует, его вдея света, произвающего всоду, безкалостива в зая. Но добрым докут его, а не меня. А солище жжет, и если его спликом минто, то подучитем не вемля, а обугленный Меркурий. Надо поразмыслить о роли тения.

Чего-чего, а головой работать он умел. Настолько, что даже учитывал вред города для спокойного раз-

мышления.

— Здесь слишком много ядя для ума. — объявил он лене. — Шум. телефон, ядовитость стен, в которых масли заставаются. Словом, я уезжаю ва природу. Проветриться, подумать...

- Куда же?

Сам ве знаю. Купи дня на три продуктов.

Птушко верил: решит задачу! А вот Горшков страиный тип, пренебрегает работой мысли, все постигая чувством.

Прихватив удочку сына, Птушко рванулся из города. Он ехал, подминая машиной столбы света, -- дорога вила зеленым лугом.

Километров через пятьлесят Птушко свернул и реке. Ов долго выбврал место в нашел его в окружении тальпиновых пустов, над омутом. Солице просвечивало воду, и Птушко увидел ходящих среди кувшинов подъязаков с красными планинками.

Не свеща Птушко развел костер, закввул удочку. И входиля в него твинива в солице, и уходила вон городская суетливая хлопотия.

Дией пять он жил на берегу реки, купался, полеживая на солице, снал в машине. Голова отдохимла, и мысли его взбурлили.

Надо писать дом-старуху... Ура! Догадаяся!

- О, я умен, - ликовал Птунско и реница писать киртину-гранюру, примении лишь красную подсветку.

Приехан в город, он сходил в знакомому физику спросить, существует ли вещество, поглощающее свет пеликом

- Зачем тебе светован довушка? удивился - Мне нужна особая краска, чернее черного.
- Не могу помочь, старина. ...Птушко ушел ва завод, наблюдал за обработкой
- металла. - Если растереть железо в краску, что будет?
- сиросил он технолога. Грязь.

Тогда Птушко утвердился в замысле рисовать картину, как гравору. Но словами, выписывая имя штрими. Пусть за несуз сразу два груза: и художнический, и тяжесть информации.

О, он такое скажет картиной!..

Птушко переделял компату — убрал всс, что изпомалась разнообразые содночного спектра. Маляры звасто рублей выболял степь до спектра. Маляры з накрасная пол сажей. Единственным арким пятном были красная тородини, что ставила жена в простую ваку,

Пока уходили из комнаты занахи покраски, Птуш-

со искал

Три краски разыскивал он: белую, черную и криспую. Ему был нужен гяжелый оттенок черного цисти.

произительная белизна и краснога, как пожар!

Белила он заказал хамикам, саму брал в грубе Горшкова, а винивары правиская духам — английскую. Только шенотку, поставить в пулном месте пужный мазак. Он растер ее с лыяным мислом — праска горела
отнем...

Когда он все подготовил, он заперся в мастерской. И пошли гулять в Союне слума о затворивчестве Птуппко. Говорили, что, выхода обедать, он запирате комнату (это была прикал), что-де поселья ян в квартире паитого папрокат зигра и тот- съевает в день луд сърото мяса. А когда гуляет вечерома, то из газа Птушко брываут отсвета творческого пожара и освещнот сму путь в темпоте, кож фану.

Нет, Птушко не сметна глазами, тигра не держал. Он работал, работал, работал. Это он умел — миого

работать.

Горшков вая то пришел к нему сказать, что деньги скоро не отдяст. По Птушко не захотел видеть Горшкова.

Ладио, ладио. — говорил он, не открывая двери. И Горшков не обиделся, у него были и саон проблемы. Картину он писал такую: по окраинной улице шел рыжеватый крепкий блондии, а с ним девушка, его будущая жена (верхний угол полотна занимало солице).

Они шли. За изгородями распускались подсолнухи, в

каждом сидело по солицу.

Любовь, молодость, солице, летающие воробы — все написал Торшков, все было на месте. Даже написаты подсолизум с мускулистыми шемин, отород с пресвеченными насквозь растениями. И с натурой ему поведю — был сосед Лукьянов, была девушка, испеста его.

Вначале картина двигалась подогрительно легко, в

KORV

кову.

— Что ты дочешь сказать картиной? — негодовал забредшай к нему на огонек Птушко. — Где светозарность?

Птушко был прав, Горшков понимал это.

— Тиоя каргина должна бриагать светом, — внушал Птушко. — Бить в глава, жевь душу. Иначе это просто милый свяжетен. Но талих красок еще не придумали, ак имми тебе к солицу надо лететь, на ракете. Хо-хо! Где световариость? Где локуни: «Да живет прекриечая окраниа»?

— Что делать?

Схитри.

Птушко зашел к Горшкову из мастерской, где наблюдал оттенки металла. От него пакло железной гарью.

Преводолей себя! — привазывал Птушко. — Бери пример, и привняван в благам жизни, по для работна отрешьного от пих. Я обычен, по стону теннальных, касыми тоок подлюбленную окранину. Я крикиу: она мешает бить вышему город прекрасным! Скажу: «Она укодит, туда-ей и дорога». Шешу: «Ми создаем другую, пашу, чезопеческую природух. А тебе и советую перенисать.

картину. Хочешь дать свет? Дай его иллюзию, сопоставив белизву цинковых белил с чернотой сажи. И картина засветится фантастическим светом.

 Не могу, — стоная Гориков. — Я вижу только обычный свет, люблю обычное: людей, дома, Фанта-

стика хололна.

Пойдем-ка, я пекажу тебе свою работу!

Он привел Горшкова к себе, отомкнул зверь. - Но голова, но зрение не выдержат так! - вос-

иликнул Горшков в ужасе. — Ты убиваещь себя! — Эх. милый, кому дело до наших голов. Искусство...

Оно безжалостно.

Я не смогу так.

- Что и требовалось доказать. Пойдем-ка пить чай, - звал Птушко. Он внушал Горшкову, что ждет от него качественный пейзаж. И только.

Брызгали светом автомобильные фары, шла почь,

Ночь-то... — вздыхал Птушко. — Черный бархат.

Горшков долго ходил от калитки в дому и обратно -шаткой походкой.

Да, Птушко писал исобычно, ставить рядом их каргины нельзя. А ведь решили дать их на одну выставку, Да, Птушко сказал на холете все, что хотел, а он

не может...

В следующие дви Гориков ставил опыты с краской. Он похудел, одичал и диями торчал в огороде, пыталеч парисовать светозарность. И видел, что может дать тольво эффекты летнего соляца. А солнечный свет?...

Однажды Горшкова охватила работа — до восторга. до поднявшихся дыбом волог. Он вынес мольберт и партину на улицу и работал там.

Самонтверженный сосед с невестой (он ухаживал за ней с прошлой осени) костенели в неподвижности.

Горшков, работая, все поглядывал на солице. И вдруг крикнул ему:

- Слепинь меня? Да?

Борода его ощетинилась, мороз прошед по коже. Была не была! — закричал Гориков. Он выбрал чистую кисть, шагнул к солнечным ра-

стенням и смахнул с подсолнуха сияние. Оно исчезло с растения и веныхнуло на конце висти, в Горшков всренес его, как бабочку, и осторожно посадил на вар-TRRY.

Он забегал — сначала перенее огоньки солнечного

света с растений. Осмелев, взядся за дюдей.

Он принес из дома чистые, сухие кисти, толстый нучок, и стал ими обирать сияние с позирующих ему людей. Те замерли, одеревянев от страка, а он водил кистью по их лицам, плечам, рукам. И видел, что они тускиеют в ярком солнце дня.

Видел - разгорается полотно.

 Эл. до облаков не подскочищь. — хищно заметил Горшков и собрал кисти. Заорав «сласибо», он схиитил холет, опрокинув мольберт, и убежал в дом. Бежал не к двери, а отчего-то прямо в скио. Он бы порвал и испортва картину, да жена возремя увидела его. Крикнула:

 Куда тебя несет! Горыгиль остановился. Жена смеялась над ним.

Допаботался, поздравдяю.

- Но в не виму двери, - сказал ов. - Все так черно.

Жена вышла по дома. И за руку увела Горшкова в дом.

В комнате, взяв картину из его рук, она зажмурилась — так светились краски.

Тебе все же удалось! — воскликнула она. И по-

глядела в окио - там серые, будто фотографии любителя, торчали фигуры их молодых соседей. Те с ислоумением и ужасом разглядывали друг друга.

Она виглянула на мужа: глаза Горыкова тоже гляцели в окно, но примо на солице. Будто стеклянные.

— Ты? — спросила жена. — Ты... не видиць?

- Да, все черно, будто картина Птушко.

 Значит, ты потерил зрение, — тико сказала жена. - Похоже! - ответна он. - Я смег сетчатку, Но картина получилась?.. А?..

Она замечательна!

- Теперь все увидят, как хороша окрание. Авось и не тропут се. Я победил. - Я зикла, я знала, что этим кончится! - закричала жена.

Да заможня ты. Киртина светится?

- Светится...

 Ну в авды, — сказал Горшков, ища рукой стуа. — Она греет? - спросил он погоди.

- Грест. - Так веди меня к врачам.

В больнице Горшков пролежал до поября месяца и был винушен - запретом глядеть на солите и выходить га уавиу без наотных темных очков.

А дома? — спросва ов. — Тоже в очках?

Дома носите дымчатые очки.

И вадолго это? — спрокна Горшков врача.

 Манимум месть месянев, — отвечал тот. — II мы. во ручнемен за ваше вопвращение в искусству. - Значит, не вернусь?

Природа творит чудеса.

 Спасноо и на том, — съзъяла Горинков. ...Жени вела его узвидан и подробно говорила, что приходили товарищи из отборочной комиссии. Они смотрели картину и давились произительной силе ее красок. Картину они берут на выставку, и уже есть желавине купить ее, приходили из музея.

На выстанке были «шумные» две работы — Горшкова и Птушко. Комиссия, устав гадать, чья картина дучше, сивчала повесила их в разных местах, подальше друг от друга.

В первом выставочном зале повесили картину Гориикова, оснещавшую все. Птушко висел в третьем выставочном зале, большом, только в нем картина и могда

поместиться. Но походили походили члены выставкома и верев сили Горшкова в средвий зал. Так, путем многи: переносов картины, к удивлению всех, оказались

Пришел Птушко, посмотрел и промолчал.

Пришед Горшков и прирос к картине Птушко. Гля деть на нее было сладко его обожженным глазам: та кая черная. Горшков прочитал все мысли Птушко космосе и городе, о человеке и окрание, с громадно ловкостью вписанные в каждом штрихе.

 Вот это работа! — сказал Горшков. — А ум!... Но лишь случай помог узнать художникам миеви

Птушко.

Кутив, председатель правления, возвращался дами

с заседания. Была зимияя почь — ни светрая, ни темная, а ка негруптованный холст. Проходя мимо выстаночного за ли (сообщающегося, между прочим, е мастерским стариков художноков), он увидеа странное симпне Пожар?. Нет, светит ровно. Тогда он вепоми сказки о картине Горшкова. Что она-де не прост феноменально передает солнечный свет, а сама излучиет его.

Словом, бред.

 Проверям, — сказал он и подощел к окну. Приподняяся на цыпочки и выглянул. С улицы он унидел в промежуток штор только две картины в выставочном зале.

На одной, весь в летием солице, шел зеленой улидей молодой парень с молодой дебущкой и прямиком к солицу.

— Светит... Светит!!

Председатель водрогнуя, протер глаза, не веря им. Председатель водруг молодые люди, а им светит солине, и внереди живет такое сластье!

Необыкновенно. — прошентал Кутив. — Умря,

оршков, так больше не напишены! По это что?

Он явственно разглядел — свет от картины Горшновы падал на картину Птущию. На громадном полотие поднимался дом — символ сил человеки, направлениях к тому, чтобы все въять и унести к себе.

- Своеобразно, гм, гм...

И все же эта картина показалась ему лишь громадным фокусом трудолюбивого терпения.

Но вто это? — Ов увидел человека, врадущегося по выстаночному залу. Как злоумышленияк смог попасть

сюда? С какой целью?

Придстаттель, отся глагом в поисках мыниционеры, споль стекло поблюдья за челонеком и вдруг улнал Отупнко Тет подписса в картине Горивкова и долго смоткол, комая головой. Вит осторожно притинул в ней руку и отдернул. Подум на палец.

Председатали котелось крикиуть: «Не трожь!», но он волчал и смогрел, как Птушко греет руки у кар таны, ловит ее свет руками, щекой и смеется, и гово-

рит что-то.

Во дает! — изумился председатель. — Однако

как он здесь оказался? Понимаю, прошел из мастерских, днем не будешь такое выкидывать.

Кутин рассматривал Птушко, думая, стучать ему в окно или не стоит? Так и ушел не решась.

— Настоящее нскусство! — рассуждал вслух Кутин. — Ради него стоит слепнуть, как Горшков, и творить ночные глупости, как Птушко.

